Лазарь Карелин



Что за стенами?

Лазарь
Карелин

Что за стенами?





Художник А. Денисов

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1981

Р2
К22

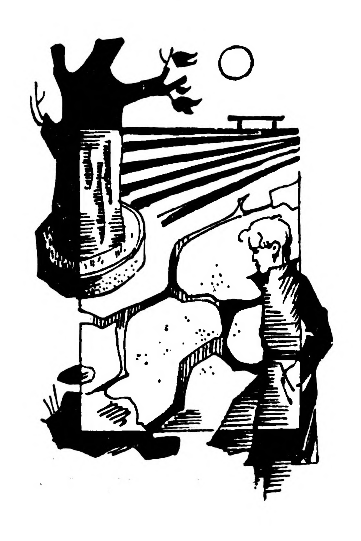
ОТ АВТОРА

В эту книгу вошли роман, две повести и несколько рассказов. Роман «Землетрясение» и повести «Что за стенами?» и «Сейсмический пояс» мне представляются как бы одной вещью, хотя сюжетно они совершенно самостоятельны. Но едина среда, в которой действуют мои герои, это мир кино, мир литературы. Автору кажется, что он достаточно хорошо знаком с этой средой, поскольку начинал как кинематографист, а уж потом стал прозаиком. Объединяет роман и повести и главный герой. Он дан в движении, в значительной протяженности жизненных обстоятельств. Между романом и повестями пролегло тридцать лет, из поры молодости мой герой ступил в такую пору жизни, когда не худо и оглянуться, подвести итоги. Это тем более важно, что жизнь прожита не неприметная, что личная судьба героя «совпала» с такими событиями в жизни страны, как Отечественная война, трагическое Ашхабадское землетрясение 1948 года. Во многом, признаюсь, роман и две эти повести для меня исповедны. Конечно, лирический герой далеко не всегда сам автор, но, скажем так, всегда с ним в родстве.

Рассказы, помещенные в сборнике, примыкают к роману и повестям, особенно к повести «Что за стенами?». В этой повести показаны первые шаги молодого литератора, который еще не скоро напишет свои рассказы, но напишет.

Таким образом, сборник, предлагаемый мною читателям, не просто некое слагаемое из написанных в разное время произведений, а единая книга, жанр которой можно определить как роман из нескольких частей, подкрепленных рассказами.

К $\frac{70302-159}{М\text{-}105(03)81}$ инф.— 81 4702010200



ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

РОМАН

Часть первая

ЗНОЙНЫЙ ГОРОД

1

Еще в проходной вахтер, бравый вояка, посмотрел на него каким-то ликующе-наглым глазом. Вахтер был о двух глазах, но смотрел на мир почему-то прищурившись, попеременно то одним глазом, то другим: не считал, видно, нужным смотреть в оба.

Леонид насторожился. Он привык к вахтерской почтительности. Она предназначалась не ему лично, Леониду Викторовичу Галю, молодому человеку неполных двадцати семи лет, а его должности: как-никак он был начальником сценарного отдела киностудии и членом художественного совета — словом, важной на студии персоной.

— Ну, уволили меня или что?— Леонид тоже прищурился, весело всматриваясь в сверлящий вахтерский глаз.

Смотрел, щурился, а сам уже заводил в себе некую пружину, изготавливаясь к бою. Какая бы новость ни ждала его за порогом проходной — что-то серьезное или пустяк,— все равно к бою. Невнятица последних недель осточертела. Нужна была ясность — в делах, в отношениях. На студии царил полнейший разор. Второй месяц не платили зарплату, был арестован счет в банке,

простаивали цеха. Единственный художественный фильм, запущенный в производство, ныне оказался без режиссера, без оператора, без актеров на главные роли. В режиссере усомнились, оператор уволился, актерские пробы не утвердили. И более того, уже месяц, как на студии не было директора. Его сняли. А тот, кто временно исполнял его обязанности, был вот именно временно исполняющим и не хотел или не умел что-либо предпринять.

— Так что же, что же за новость, Фаддей Фалалеевич?

— Приехали... Прибыли... Вот она какая новость...— Вахтер цедил слова уголком рта. Он не только щурился на мир, он на него еще и кривился.

— Новый директор?!— Леонид просто услышал в себе какой-то стальной щелчок — так все в нем изготовилось к бою. «Наконец-то!»

Он шагнул к двери, но обернулся, придерживая шаг. Еще чуть-чуть надо было повременить, еще надо было, ну, что ли, усмехнуться изнутри, а уж потом... Он понимал, первый спрос будет с него — начальника сценарного отдела. Два готовых сценария давно были отклонены министерством, новых сценариев нет, деньги на сценарии израсходованы. А ну, любезный, давайте объяснения. А он не собирался давать объяснения. Он собирался сам спрашивать, негодовать, требовать.

— Итак, прибыл новый директор... Каков из себя?

Вахтер широко развел руки, шевеля толстыми пальцами и покачиваясь на толстых ногах.

— Ясно,— рассмеялся Леонид.— Солидный, представительный. Молодой?

Вахтер продолжал водить руками и раскачиваться. Никак не давался ему образ нового директора, не находились слова. Он даже оба глаза приоткрыл на миг, отчего лицо его стало простоватым, а не умудренным и саркастическим, как обычно.

— Не вьюнош,— наконец выискал он нужное слово. Покачался еще чуть-чуть, что-то высчитывая.— Так думаю, подполковником войну кончил.

— А я младшим лейтенантом.

— Так ведь оно и видно,— вахтерский глаз все не уставал буравить Леонида.

«Да, плохи мои дела». Леонид сильно толкнул дверь и вышагнул во двор студии. Сразу ослепило солнце.

К этому солнцу невозможно было привыкнуть. Кончался сентябрь, а солнце тут еще пылало такое, как в Москве в самый жаркий июльский день. Но и не такое. В Москве оно тебя расслабляло, угнетало, ты взмокал от этого жара. А здесь солнце сушило тело, будоражило тебя, будто наделяя звонкими и сухими шлепками. Это солнце добиралось до твоей крови, делая ее горячей. И все вокруг было сухим, горячим, закаленным зноем. Дотронься ладонью до стены — обожжет. Леонид мучился от здешнего солнца и любил его. Оно было сродни огню, настоящему огню.

Заслонив глаза ладонью, Леонид двинулся через двор студии к одноэтажному длинному строению, где в ряд тянулись кабинеты многочисленного студийного начальства. И каких только начальников не было на этой по сути маленькой студии. И директор, и его заместитель, и вот начальник сценарного отдела, и начальники планового, сектора хроники, отдела кадров, и главный бухгалтер с целым выводком счетоводов и кассиров, и еще кто-то, и еще. Да, был, конечно, и художественный руководитель студии, были и главный инженер, и главный механик. А студия тем временем почти не работала. Отличная, умно построенная, с вместительным съемочным павильоном и с солнцем, которое не уставало светить по-летнему чуть не круглый год.

От шутливого будто бы разговора с вахтером совсем стало прескверно на душе. «А, к черту все! И к лучшему! Сейчас объяснимся, сдам дела — и в самолет. Домой, домой! Хватит, оттрубил полтора года в этом пекле!»

Из-под ладони Леонид оглядел двор студии. С ним здоровались, и он здоровался. Солнце мешало всматриваться в лица. Издали кивали друг другу, а что на уме, что в глазах — не видно. Так все сверкает кругом, что глаз не видно.

Вспомнилось вдруг, как в первый раз шел он через этот двор. Это было весной прошлого года. Так же вот бил фонтан посреди двора, так же сладковато пахло перегревшейся пленкой. И нещадно жгло солнце, хоть только еще начинался апрель. А ему было нежарко, он не замечал жары. Его даже знобило. Он шел и чувствовал, что на него внимательно смотрят. Со всех сторон, множество глаз. В тот день во дворе было много

народу, как, впрочем, и сегодня. И на него тогда смотрели. С надеждой. Все знали, что это идет новый начальник сценарного отдела. Все дивились, что он так молод, но и радовались этому. Он был из своих, из киношников, он кончил киноинститут — все знали об этом. Он воевал — и об этом все знали. А кончилась война, он демобилизовался, и его послали из министерства на эту студию и сразу на очень ответственную работу. Значит, он стоит того, этот молодой парень. И на него смотрели с надеждой.

Как оно так выходило, что все кругом всё про него знали и почему все радовались ему,— он об этом тогда не думал. Он был уверен, что это так, и все тут. Да, он уверовал тогда в этот уют и в эту радость, даром что многое в его приезде на студию было от случая, а многое не радовало, если вдуматься, даже угнетало. Но он не вдумывался тогда, не желал вдумываться. Он просто шел через этот заслепленный солнцем студийный двор, смотрел на фонтан, громаду павильона, белые стены лаборатории, вдыхал сладковатый запах пленки, такой родной, вгиковский, и его знобило от странного чувства, которое, кажется, было тщеславием. Вот идет по студии начальник сценарного отдела. Шутка ли! И все уважительно смотрят на него. Уважительно и с надеждой. Нет, его знобило не от одного только тщеславия, тут было и еще что-то. В нем разгорался уже рабочий азарт, он еще по пути из Москвы начал разгораться, этот азарт, это желание сразу же схватить быка за рога, все выправить, организовать, сдвинуть.

И вот прошло полтора года... Ну а сейчас как на него смотрят? Леонид не стал дознаваться. Один вахтерский глаз чего стоил...

Секретарь директора, милая, полная дама, которую почему-то все молодо звали Ксенечкой, едва завидев Леонида, панически вскинула к вискам полные руки, и вскинулась, заволновалась ее полная грудь.

— Леонид Викторович, а вас ждут...— Как много можно сказать голосом, о скольком предупредить. Вибрирующий, грудной голос Ксенечки играл тревогу, подобно сигналу запрокинутого полкового рожка.

Леонид взял ее руку и поцеловал. Ему нравилось быть этаким столичным, галантным. Нравилось быстрым шагом входить сюда и целовать руку секретарше, чтобы минутой позже быть невозмутимо правдолюбивым

на совещании у директора да и с самим директором, если случалось им разойтись во мнениях. Леонид нравился в такие минуты самому себе и, ему казалось, другим тоже. Правда, все реже он бывал таким, все чаще заскакивал сюда уже в той стадии раздражения, когда не до любезности, не до показного лоска и игры в невозмутимость.

Сейчас он не пижонил. Он поцеловал руку женщине, признательный ей за сочувствие, так явственно прозвучавшее в ее голосе.

Он даже сказал:

— Спасибо вам, Ксения Павловна.— Возле обитой клеенкой двери он остановился, поморщился сам на себя: «Что за чушь, чего это ты оробел?» Он оглянулся на Ксенечку, весело подмигнул ей, а заодно и самому себе.— Как звать ярило?

— Сергеем Петровичем!— быстрым шепотом отозвалась Ксения Павловна и замахала полной рукой, словно бы провожая в путь далекий.

— Можно?— Леонид распахнул дверь и вошел в кабинет.— Галь, сценарный отдел. Мне сказали, что вы меня ждете.

Он двигался вдоль длинного стола заседаний, всматриваясь в человека, утонувшего в громадном кресле с высокой резной спинкой. Это кресло раздобыл на складе бутафории и велел поставить здесь один из восемнадцати, нет, теперь уже девятнадцати директоров, что сменились на студии за годы ее существования. Директор тот явно тяготел к допетровской Руси. А письменный стол был тут от другого директора, влюбленного в ящики и замочные секреты времен императрицы Екатерины Второй. А еще какой-то директор обожал книги. Не самую премудрость книжную, а книжные роскошные переплеты. Два громадных шкафа, набитых разрозненными томами энциклопедии прошлого и нынешнего веков, были тому свидетелями. Бутафория. Как, впрочем, и столик с четырьмя телефонами, из которых работал только один. Эти телефоны поставил тут директор за номером восемнадцать, деловитость которого явно недооценили.

Леониду стало весело. Он не сдержал улыбки: «Интересно, а девятнадцатый что сюда притащит?»

— Я вижу, вам весело, коллега?— человек, утонувший в боярском кресле, наконец поднял на Леонида

глаза.— А мне вот, читая эти бумажки, плакать захотелось.— На директорском столе в навал лежали папки документов, приметил Леонид и продукцию своего отдела, аккуратно переплетенные сценарии, которые чуть было не начали снимать.

Директор поднялся, раскинул руки, потягиваясь. Во все глаза смотрел на него Леонид. Такого директора он уж никак не ожидал здесь увидеть. Солидный? Представительный? Из недавних подполковников? Все это не приникало к человеку, вставшему сейчас перед ним, чтобы в свою очередь откровенно пристально рассмотреть его, Леонида. И чему-то вдруг улыбнуться, чуть закосив синими глазами. Чему? Мальчишка, мол, перед тобой? Какой-то встрепанный длинноногий тип, по-киношному небрежно и пестро одетый? Ну смотри, смотри. А сам-то каков?

А сам он был вот каков... Лицо простецкое, нос уточкой, глаза маленькие, кругленькие, только тем и хороши, что синие, из глубины синие. Такая синева блекнет с годами, у этого не поблекла. Сколько ему? Да лет уже сорок. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Крепок. Не очень высок, но строен, с прочно-сухими плечами, с тяжеловатой шеей. Из спортсменов? Из кадровых военных? А может, из артистов? Ничего про него не угадаешь. Да вот и лицо вдруг стало не таким уж простецким. Лукавый веерок морщинок у глаз, да и губы не по-простецки ужаты. Кто ты? Каков ты? Умен или глуп, простодушен или хитер, зол или добр? Смотришь на человека, на его нос, лоб, плечи и руки, а думаешь про то, что у него сокрыто там, в голове, в сердце.

Леонид верил в свою способность с первого взгляда распознавать человека. Как-то так выходило, что самонадеянность его еще не была посрамлена. Случая еще такого не представилось. И Леонид уверовал в свою прозорливость, в свой человековедческий талант. Глянет, прикинет, и найдена уже подходящая оценка. Но сейчас он и глядел, и прикидывал, а оценка эта самая все не слагалась. Сбивало, путало, может быть, то, что уж очень хорошо, необычно хорошо был одет стоявший перед ним человек, а все-таки с простецким лицом. Побывал в заграницах, в Германии там, марш-маршем прошел по военной Европе? Так кто из нас не бывал, не ходил. Нет, чтобы так вжиться в крахмальную со-

рочку, такой подобрать галстук, такие туфли, запонки и чтобы не казаться при этом вырядившимся к празднику или вот ко вступлению в директорство, надо было не солдатом проходить выучку в задымленной Европе, а жить где-то в благополучном, далеком от войны мире, жить там и год, и другой.

— Вы не из дипломатов к нам пожаловали, Сергей Петрович? Откуда вы такой?

Синие кружочки глаз сузились. И разом изменилось лицо, очерствело.

— Что-нибудь знаете про меня?

— Только то, что вижу.

— Какой-нибудь дружок из главка не отбил телеграмму, жди, мол, тогда-то и такого-то? Признаюсь, я хотел опередить подобные телеграммы.

— Я не Сквозник-Дмухановский, чтобы получать известия о прибытии ревизора. Мне бы поскорей сдать дела — и домой.

— Ясно,— директор широко улыбнулся. Ну, черт его побери, миляга парень! Протянул руку:— Денисов. А вы угадали, две недели назад я еще был в Канаде. Да, что-то вроде дипломатической работы. Глазастый.

«Ага!»— Леонид крепко пожал протянутую руку, страшно довольный собой.

— Глазастый и быстрый. Заявление об уходе уже подготовили?

— Нет. Но я могу хоть сейчас,— Леонид потянулся к столу за листком бумаги.

— Даже очень быстрый. Что ж, и я такой самый. Говорят, вы ладили с моим предшественником?

— Он не мешал мне работать.

— Не вмешивался?

— Не мешал.

— Кстати, почему отклонили ваши два сценария?

— В главке, по-видимому, вас уже информировали?

— Конечно.

— И вы с ними согласились?

— Я еще не читал сценариев.

— Будете читать?

— Обязательно.

— Мое мнение: оба сценария могли бы жить. Но... один показался образцом мелкотемья — какие-то ребятишки, какие-то подземные колодцы. Я говорю о «Подземном источнике». Вот он,— Леонид взял со стола сце-

нарий, полистал его.— А во втором усмотрели гигантоманию. Сценарий о Каракумском канале.— Леонид взял другую папку, заглянул в нее.— Честное слово, хороший был сценарий. С мечтой. Как это говорят, дерзновенный.

— А вы хоть спорили?

— До хрипоты. На министерскую коллегию даже прорвался.

— И что же?

— Простили по молодости лет. Или нет, не простили? Все дело в том, что строительство канала перестали проектировать. Законсервировали проект. А я с этим сценарием лезу. Бестактность, если только не дерзость. Один мой знакомый старшина говорил...

— Старшины — народ остроумный, это известно.— Директор отошел от Леонида, прерывая разговор, и снова пристально глянул на него, теперь уже издали, как бы общим планом, вобрав в свои синие кружочки всего его — худющего, длинного, большеглазого, пестро по-киношному одетого с помощью барахолки: рыжие башмаки — чуть великоватые, синие брюки — чуть маловатые, рубаха — жарче, чем надо бы, но зато с «молнией», роговые очки от солнца, небрежно зацепленные дужкой за пояс, действительно отличные очки, предмет зависти всей студии, жаль только — с треснувшим одним стеклом.

Что еще вошло в этот общий план, что там еще понял про него директор, этого Леонид знать не мог. Но, кажется, что-то такое понял, такое, что даже заставило покраснеть. Вот кто глазастый-то!

— Знаете что, давай-те как попробуем поработать вместе.— Денисов проговорил это от двери, отворяя ее, спиной к Леониду.— Решено?

Леонид машинально наклонил голову, хотя Денисов никак не мог его сейчас увидеть.

— Вот и отлично!— Дверь настежь.— Входите, входите, товарищи!

Леонид шагнул было к Денисову, чтобы объясниться, чтобы тот поверил в его искреннее желание уйти со студии, понял бы, как ему опостылела эта работа впустую. И если он остается, так только потому... Куда там! В кабинет уже гурьбой входили большие и маленькие студийные начальники. Предстояло совещание. По технике, судя по тем, кто пришел.

Леонид кивнул Денисову, опять в его спину, и вышел из кабинета.

— Ну как?!— вскинулась Ксения Павловна.

— Остаюсь,— устало сказал Леонид.— Зачем-то там я ему нужен.

— Слава богу, слава богу!— Ксения Павловна быстро перекрестилась, небрежно, словно в шутку — так крестятся верующие, стыдясь на людях признаться в своей религиозности.

— А вам я зачем нужен, Ксения Павловна?

— Да так...— она улыбнулась ему издалека, грустно, как бы в себя заглянула.— Все-таки интеллигентный человек...

Леонид остановился. Подойти, снова поцеловать ей руку, поблагодарить,— не за слова, нет, за голос, за доброту! Он вдруг увидел себя со стороны, хлыщеватую свою походочку, какой подойдет к ней, изогнувшегося себя, когда приложится к руке,— шутовство, ведь все это шутовство!— и стал сам себе жалок. Как и там, только что, за свои мальчишеские кивки в спину. Насколько же этот Денисов взрослее его, сильнее...

— Вы чем-то потрясены? — участливо спросила Ксения Павловна.— Вы какой-то сам не свой! Что с вами?

— Потрясен?..— Он оставался верен себе: есть возможность сострить, надо воспользоваться этой возможностью.— Правильнее сказать, сотрясен, ибо все мы сотрясены в этом сейсмическом поясе.

Теперь можно было уходить, и он ушел, как триумфатор, подняв руку и презирая себя за это неискоренимое в себе позерство.

2

Снова двор студии с просто уже озверевшим над тобой солнцем. Пойдешь направо — придешь в свой отдел, где томятся две девушки-редакторши, которым совершенно нечего делать и которым надо придумать это дело. Пойдешь налево — там душевая, там можно обжечь себя холодной струей, а потом сразу замерзнуть и забыть на миг, где ты, позабыть вообще обо всем, слыша лишь всполошившееся сердце, словно стучащее в тебя кулаком: «Опомнись! Опомнись! Так нельзя жить!»

А прямо пойдешь — в павильон придешь, в пустынный, прохладный, как покинутый храм. Даже с хорами, откуда остекленело таращатся прожектора, до поры затаившие свой огонь. Католический храм, полоненный бесами.

Он пошел прямо. Захотелось побыть одному, даже, может быть, вслух поговорить с самим собой. В пустом зале всегда тянет заговорить. Громко и значительно. Про главное. Самому себе сказать речь. Одну из тех, что слагаются по ночам и никогда не произносятся вслух. А как бы хорошо произнести такую речь вслух. Хоть в пустом зале. Говорить и слышать свой голос. Прозвучавшее слово куда больше значит, чем сказанное внутри тебя. Звук выверяет правду этого слова, правду и смелость всей твоей мысли.

«Пойду и выкрикну сейчас все про себя,— Леонид усмехнулся.— Буду кричать и слушать, что посоветует мне этот крик. Войду и громко спрошу себя: дорогой товарищ, что собираешься ты делать в ближайший год, два, три? И вообще, кто ты и на кой черт родился, дорогой товарищ?»

В громадных воротах в павильон была маленькая дверца, и Леонид отворил ее, нетерпеливо запнувшись о порог. Так идет к трибуне оратор, спеша выкрикнуть в зал какие-то самые сокровенные слова, идет, запинаясь, перегорая от волнения, с каждым шагом теряя мужество и самые эти сокровенные слова.

Но в павильоне, увы, горел свет. В дальнем углу, где стоял рояль, виднелись люди. Обвинительная речь откладывалась...

Леонид двинулся на свет и на звук: какая-то женщина пела под рояль слабеньким, перепуганным голосом. Слова были неважны в этой песне, важен был молящий звук в голосе, он был понятнее слов.Он пел, замирая от страха, всякий миг готовый заплакать: «Возьмите меня, я талантливая, я миленькая, правда ведь миленькая, возьмите меня...» Вот что пел этот молящий звук, о чем твердил под бойко-рассыпчатый аккомпанемент.

— Возьмите ее, она талантливая,— еще издали, еще не видя, о ком идет речь, весело сказал Леонид.

— А что? А ведь верно? Гляньте-ка, разве это не Зульфия?

У рояля, оказывается, пребывал сам художествен-

ный руководитель студии. Он и его жена — аккомпаниатор и еще тоненькая, с прижатыми к груди руками девушка, застывшая в таком сейчас страхе, что на нее смотреть было больно. Да и незачем. Отойдет, и совсем иное станет у нее лицо, иной станет фигура.

— Зульфия?— переспросил Леонид, удивленно глянув на худрука.— Итак, Алексей Иванович, вы решились?

— Решился, мой дорогой, решился. Новый директор, знаете ли, обаял меня и улестил за какие-нибудь десять минут. Вам же ведомо, как я слабохарактерен...

Громадный красивый старик, седой и кудрявый и, как черт, хитрющий, все лукавилось в нем — глаза, губы, голос, хотя старик-то думал, что являет одно простодушие,— громадный этот старик сжал в могучих своих лапах Леонида и привлек к груди, чтобы лишний разок показать, как мал и хлипок в сравнении с ним этот будто бы высокий, стройный молодой человек. Леонид знал слабости своего худрука, его главную слабость: не признаваться, что старится, а посему откровенно хвастать силой, статью богатырской, знал и охотно подыгрывал старику, потому что любил его. За эту самую стать, силу, за невозмутимейший в мире характер, даже за его лукавство.

Они постояли, обнявшись, Леонид не противился, когда старик больно стиснул ему плечи, а затем приподнял, будто маленького,— все согласно намеченной программе демонстрации негаснущих сил.

— Ну как, беседовали с новым?— Александр Иванович отпустил его, повел поближе к горевшей в углу лампе.— Ну что?— Он спрашивал, стараясь приглушить свой победный бас, но это ему худо удавалось. Как обычно, когда рядом была жена, он секретничал так, чтобы и она была в курсе дела.— Имейте в виду, я охарактеризовал вас самым лучшим образом.

— Я остаюсь,— сказал Леонид.— Он предложил мне остаться.

— Да ну?!— Изумление и радость худрука были вполне искренними.— Клара, ты слышишь?! Галь остается, они поладили с Денисовым!

— И чудесно, чудесно,— вялым голосом отозвалась жена Александра Ивановича.— Прежде всего Леонид Викторович не чужой нам человек.

— Прежде всего я интеллигентный человек,— сказал

Леонид и потянул за руку Александра Ивановича назад к роялю.— Продолжим наш разговор здесь, чтобы не кричать. Да, я остаюсь. Да, я буду помощником. Итак, вы...— Он поглядел сперва на худрука, потом на его жену, не молодую и не старую, не красивую и не уродливую, а властную — это было главным в ней, главным в этой маленькой, худенькой женщине. Леонид посмотрел на них обоих, как бы объединяя в одно целое, чтобы в дальнейшем с этим целым и вести разговор.— Итак, вы согласились доснимать фильм?

Ответила жена:

— Не доснимать, а снимать почти заново.

— Но ведь в Москве вы наотрез отказались.

Ответил муж:

— В Москве не было еще Денисова. Мне только обещали энергичного директора, но я не знал, сколь основательно это обещание.

Добавила жена:

— Я видела его, он производит самое благоприятное впечатление:

Добавил муж:

— Я просто влюбился в него. Ну а вы, вы, Леонид Викторович? Признаюсь, я побаивался за вас. Рассказывайте, как и что у вас было?

— Рассказывать почти нечего. Сдается, он уже во всем разобрался сам. Немного послушал меня, предложил остаться. Я кивнул. Вот и все.

— «Вот и все»! Слыхала, Клара?! А я тут трясусь за него, мысленно готовлю протест: мол, без Галя я как без рук. Нет, дорогой мой, недаром вас по батюшке Викторовичем величать. Виктор! Виктория! Вы из тех, кому улыбается удача.— Леонид видел, старик рад, искренне рад, что так все хорошо обошлось, что не понадобится привыкать к новому человеку — какой еще будет?— а с ним, Леонидом, старик ладил и даже Клара Иосифовна ладила, что тоже имело немаловажное значение. Но был ли рад старик просто так, по-человечески рад за него, за Леонида Галя, которого вот не погнали с позором, как несправившегося,— этого Леонид углядеть не мог. Симпатичнейший ему Александр Иванович все ж таки был лукав. И потом, может быть, старости свойствен этот откровенный эгоизм, это самосбережение, которого нет ничего на свете важнее?

Тоненькая девушка — о ней забыли — все так и стоя-

ла с прижатыми к груди руками, с перепуганным чужим лицом. Она все слышала, но вряд ли что-либо поняла. Она только ждала: вот сейчас прервется этот непонятный разговор и ее опять начнут экзаменовать. Она уже и не рада была, что согласилась попробоваться на роль в кинокартину. Куда ей! Здесь все так страшно, так непонятно. Мечта, далекая, несбыточная мечта стать артисткой, сейчас, здесь отодвинулась от нее еще дальше, в еще дальшее небытие.

Леониду стало ее жаль. Ему захотелось протянуть руку и погладить ее, как девочку, по головке. Да у нее и прическа была девчачья, две тугие с бантиком косицы. Он решил ее выручить. Он вдруг качнулся к ней, будто пораженный увиденным.

— Ну конечно же, конечно, это она!— вскричал он таким восторженно-кликушеским голосом, что сам себе изумился.— Это она, Зульфия! Александр Иванович, вы нашли то, что нужно! Поверьте, я никогда не был так убежден!— Он все же унял немного голос под пристальным взглядом Клары Иосифовны.— Конечно, понадобится работа, но главное есть. Ведь Зульфия в сценарии не разбитная, как это кое-кому кажется. Она вся собрана из множества «вдруг». Она сама не знает, что взорвется в ней через мгновение. Тишина ли, озорство ли, песня, может быть. Она во власти этого «вдруг»...— Леонид явно увлекся, он и сам был во власти этого «вдруг». И вот «вдруг» вспыхнувшее в нем желание помочь этой перепугавшейся страшно девочке теперь уже было его убеждением.— Поглядите на нее, вот даже на такую, какая она есть сейчас, а сейчас она просто-напросто напугана. И все же...— Он исполнил свое желание, протянул руку и коснулся ее тугих, блестящих волос, девчачьего посреди пробора. И услышал под пальцами дрогнувшую, как у зверька, кожу. Он отдернул руку, смутясь, опомнившись.— И все же...

— Так, так! Да, да!— Александр Иванович с величайшим наслаждением внимал словам Леонида. И смотрел, смотрел на сжавшуюся девушку, как смотрят на картину, толкуемую знатоком.— Удача, удача, и я так думаю. А знаете, ведь это Клары Иосифовны находка. Надо же, доброе, доброе предзнаменование. Подумайте-ка, только я дал согласие ставить этот разнесчастный сценарий, только успел зайти в свой кабинет, как звонит Клара Иосифовна. «Ну, ты, конечно, согласился,

конечно, пал ниц перед этой сильной личностью?» — «Угадала,— отвечаю.— Согласился. Приезжай, я вас познакомлю. Именно так, сильная личность». — «Хорошо, еду, и не одна, а с Зульфией». Представляете, еще ничегошеньки не было решено, а она уже нашла для меня эту вот мою Зульфию.— Старик, по праву данному ему возрастом, наклонился и чмокнул девушку в щеку. Помедлил и еще раз чмокнул.

— Ну, ступай, Марьям.— Клара Иосифовна, призывая мужа к порядку, сухо хлопнула в ладони, словно выстрелила из дамского пистолетика.— Дело сделано. Мой супруг даже переусердствовал в своем восхищении. Ступай, ступай, теперь все зависит от тебя, от этого обнаруженного в тебе «вдруг».— Она обернулась к Леониду:— А вы это угадливо сказали, Леонид Викторович. Понять, что Марьям вовсе не бревнышко, каким она стояла да и стоит сейчас перед нами, для этого немалая нужна зоркость. Поздравляю вас.

— Ну, он чудо, чудо!— пробасил Александр Иванович и снова по праву старика, а теперь уже и режиссера, чьи права безграничны, чмокнул в щеку застывшую Марьям.

— Ступай же, тебе говорят!— прикрикнула на нее Клара Иосифовна.

Назревала сцена ревности, надо было выручать девчонку.

— Пойдемте, я провожу вас,— Леонид взял ее за руку.— Проснитесь же!

Она взглянула на него. Господи благослови, какие у нее были глаза! И никакого испуга в них. Человечек будто бы обмер от страха, а глазищи у этого человека такую внутри притаивали веселость, такую бедовую, бесшабашную смелость, дерзость даже, что Леонид, изготовившийся к роли покровителя, опешил.

— Пойдемте...— это теперь она позвала его тихим, трепещущим голосом. И пошла, низко опустив голову, сторонкой обойдя могучего старика, благодарно поклонясь Кларе Иосифовне, робко цепляясь за руку Леонида. О женщины!

— И пожалуйста, Леонид Викторович!— смягчившимся голосом крикнула Клара Иосифовна.— Пожалуйста, поглядите этот невероятный диалог в сценарии! Сомневаюсь, чтобы актеры смогли его произнести...

3

Они вышли из павильона, ослепли, быстро загородились руками от солнца, а потом, смеясь, поглядели друг на друга из-под ладоней, как два заговорщика.

— Притворщица, кто ты?

— Я не притворщица. Я сперва очень испугалась. У меня ведь никакого голоса. Но я люблю петь, святая правда!

— А потом, когда ты посмотрела на меня, тебе все еще было страшно?

— Нет, что вы! Я уже знала, они меня берут. И вы мне помогли. Спасибо. Очень милый этот старик, знаете ли. Но... бедная Клара...

Она на редкость правильно говорила по-русски, разве только чуть-чуть протягивала иные слова, нежданно открывая в них и еще какой-то затаенный образ. Она проговорила «спасибо» — и длинное «с» и длинное «о» вернули этому слову его изначальный, утраченный смысл: спаси бог... Она проговорила «знаете ли» — и Леонид услышал, как сплелись вопрос и утверждение, бесконечно поширив это «знаете ли». А когда она протянула «бедная Клара...», Леонид просто ахнул, о стольком сразу подумалось. И верно, легко ли этой маленькой, болезненной женщине владычествовать над своим кудрявым бурлаком? Да и владычица ли она?..

— Вы о чем-то задумались?

— Говорите, говорите, мне очень интересно вас слушать.

— То «ты», то «вы». На чем остановимся?

— Мне бы хотелось на «ты»!

Они переглянулись, прошли несколько шагов не отводя глаз, так глядя друг в друга, как глядят, когда пьют на «ты».

— Говори, говори... Мне очень интересно тебя слушать...

— Что ты, я совсем не умею разговаривать. Я ведь училась чему-нибудь и как-нибудь. Святая правда!

И вот еще эта «святая правда!», это присловье, кстати, много раз и недавно слышанное, но и как бы заново услышанное только сейчас. «Святая правда!» — какие действительно громадные два слова, если их говорят тебе, самозабвенно выпрямившись и ширя и без того огромные глаза, в которых, как по заказу, вспыхи-

вает святость. На миг, правда. И уже иное в них. Смех? Издевка?

— Ох и трудно же мне с тобой будет! — Леонид изобразил ужас на лице.— Святая правда! — сказал вслух и тотчас вспомнил, кто этак же несерьезно, балагуря, любил поминать святую правду. И мигом остыл к идущей рядом с ним девушке. Вон это кто! Здесь все было непростым, не для шуток, это другого шла судьба, всерьез судьба. Он знал, оказывается, эту Марьям, был наслышен о ней. Ее любил его приятель Володька Птицин. И вот из-за нее, из-за этой маленькой балеринки, понаделал он множество безрассудств, бросил жену, остался ныне без работы.

— Почему я вас никогда раньше не видел? — спросил Леонид, останавливаясь. Они как раз подошли к студийному фонтану.— Ну хотя бы в брызгах «Бахчисарайского фонтана»?

— Ага, вот вы и догадались, кто я. А потому, что я не хотела, чтобы вы меня увидели. Я запретила Володе. У вас злой язык. И вовсе я не в «брызгах», а давно уже солирую.

— В Володиной жизни вы даже примадонна.

— Вас это не касается!

— Володя мой друг.

— Собутыльник!

У нее побледнели губы, серыми стали смуглые щеки. Леонид вдруг заметил, что Марьям не так уж юна, нет, иное: что ей трудно живется, просто скудно живется, он увидел усталую, уже изготовившуюся для морщин кожу под глазами, усталую желтизну и в глазах, яростно, затравленно громадных.

— Простите меня...

— Значит, остановились на «вы»?

— Выходит, что так.

На ней было черное шелковое платье с белым кружевным воротничком, с белыми манжетами. И эти косички. Она шла на студию, все обдумав, нарядившись и причесавшись под девочку, под гимназисточку. Она думала не о роли, какую предстояло ей играть по сценарию, а о том, чтобы понравиться режиссеру. Старик не мог не умилиться, глядя на юное существо в трогательном, из прошлого, платьице. И страх ее, даже трепет, прижатые к груди руки, дрожащий голос... Старик был покорен. А между тем то была Марьям, знамени-

тая Марьям, о которой сплетничал весь город. Ни смелости, ни дерзости, ни даже безрассудства ей не занимать было. Но, кажется, она попалась, влюбилась. В толстого, веселого, добрейшего парня. Вот уж была не пара! Но и он любил ее, наверняка любил ее. Он даже прятал ее от друзей, помалкивал о ней, не хвастал своим романом — совсем не свойственная ему добродетель. Только сказал как-то Леониду с полгода назад: «Старик, без этой женщины мне лучше в петлю». И закрутился толстый, немолодой уже человек, которому лишь бы попить да пожрать, который в это пекло приехал, чтобы забить деньгу, ну и поглядеть на мир божий, каков он есть у самого края, ну а уж если роман, то не длиннее южной короткой ночи.

— Где он сейчас? Куда пропал?

— У меня дома.— Поглядывая в воду бассейна, как в зеркало, Марьям расплетала свои девчоночьи косицы.— Мы сидим без копейки.— Она тряхнула головой и обернулась к Леониду. Совсем иная, чем минуту назад, вот только сейчас натвердо шагнувшая в женщину. Все дело в прическе, в том, что не стало косиц? Нет, все дело в словах: «Мы сидим без копейки». Она не жаловалась, произнося их. Просто они сидели без копейки. Она собиралась на студию, наряжалась, обдумывая, как ей вести себя, говорила о чем-то с Володей, может быть, они шутили даже, а им нечего было есть.

Вот оно — настоящее! Эта Марьям, то девочка, то женщина в своей разноликости, и где-то там душная комнатенка почти без мебели, и Володя Птицин в ней, в углу на корточках, будто и он уже стал мусульманином,— осунувшийся, безработный, несчастный и... счастливый. Вот оно — настоящее, нешуточное, как это солнце над головой. Та самая любовь, которая давно уже подманивает Леонида, да только где она, где?..

Он старательно принялся шарить по карманам, хотя точно знал, что никаких денег в них не было. Последнюю тридцатку он оставил вечером в «Фирюзе», задолжав еще знакомой буфетчице.

— Пусто! Ну, ничего, я раздобуду. Давайте ваш адрес, явлюсь к вам сегодня с визитом.

— Кто это?! — Марьям быстро шагнула за Леонида, протянув вперед руку с вытянутым пальцем.— Вон там, там!

Леонид глянул: через двор, направляясь, по-видимому, к павильону, шел Денисов. Рядом с ним и еще были люди, но Марьям указывала пальцем только на Денисова. И глядела на него во все глаза, прячась за Леонида и привстав на цыпочки. Ну не дитя ли?

— Это наш новый директор. Хорош? Говорит, две недели назад он был еще в Канаде. Марьям, вот такие вот нравятся женщинам?

— Такие? — Она уперлась подбородком в его плечо, не сводя глаз с Денисова.— Такие?

Денисов приближался к ним. Увидев Леонида, он дружески кивнул ему и улыбнулся, задержавшись взглядом на торчащей из-за его плеча головке. Марьям мигом присела, спряталась. Ну что это в самом деле за девчонка! Леониду стало неловко.

— Марьям, Марьям! — окликнул он ее. — Денисов идет сюда.

— Я не хочу! — сказала она, жарко дохнув ему в спину.— Уведите меня! — а сама уже нервно обглаживала себя ладонями и менялась, опять менялась.

Леонид загляделся, дивясь этой новой Марьям. Она выпрямилась, губы разнялись, безгрешные глаза, никого не видя, смотрели вдаль.

— Притворщица, кто ты? — шепнул Леонид.

Подошел Денисов. Марьям и не взглянула на него, гордая и отсутствующая. Денисов усмехнулся.

— Здесь только что была маленькая девочка. Она убежала?

— Убежала, — кивнул Леонид.— Знакомьтесь. Это Сергей Петрович Денисов, наш новый директор. Еще две недели назад он был в Канаде. А это Марьям, примадонна здешнего балета. Сергей Петрович, Марьям, по-видимому, будет играть у Бурцева в картине.

— Зульфию?

— Вы читали сценарий?

— Да, в самолете.

— По пути из Канады? — это спросила Марьям.

— Когда я летел из Канады, я еще не знал, что залечу так далеко.

Она протянула ему руку.

— Марьям.

Вот, оказывается, как надо произносить ее имя: его надо петь.

— Денисов,— он наклонился и поцеловал ей руку.

Вот, оказывается, как надо целовать дамам руку. Эх ты, увалень!

Она обернулась к Леониду.

— Ну, я пошла,— кивнула Денисову.— До свидания. Не думайте, у нас тоже живут люди. И вот... — она вскинула руку.— Светит солнце. Не горюйте о своей Канаде...

И пошла, все такая же выпрямившаяся, по-балетному приподнимаясь на носках.

— Зульфия, она самая! — поглядел ей вслед Денисов.— Да, солнце тут несомненно светит,— он очень простецким движением завел руку к затылку.

4

Неподалеку от студии на окраинной улице, где дома стояли вровень с дувалами, толстостенные, как бы вбитые в землю, с зарешеченными окнами у самой земли, а то и вовсе без окон на улицу, и где иссохло все — арыки, деревья, стены, а стекла, казалось, поплавились,— странно было услышать влажный и прохладный звук гитары и русскую, северную, несбыточную: «Вдоль по улице метелица метет...»

Голос оборвался — не пелась тут эта песня. «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть...» Голос оборвался — не читались что-то эти стихи. И сразу, без паузы, рванул мягкий баритон, терзая себя: «Матчиш мы танцевали с одним нахалом, в отдельном кабинете за покрывалом!» И опять и еще про матчиш — с этой песней сладилось.

Леонид, единственный на улице путник, уверенно двинулся на голос, отыскал в стене поющего дома особенно поющее окно, пообождал немного, усмешливо вслушиваясь в пение, а потом крикнул в окно:

— Эй, разложенцы! Полиция нравов! Отворяйте!..

Все так, все здесь было так, как воображалось: комнатенка с ушедшим в землю полом, почти без мебели — вся жизнь на полу, на циновках и подушках, а по стенам висят юбки, платья, кофточки — нехитрое имущество Марьям.

Бедность... Леонид привык к бедности. Он сам был беден, по сути бездомен, второй уже год кочевал по гостиничным номерам. А до этого скудно жил в Москве, не имея в родном городе своего угла. А до этого была

война. А до войны — студенчество, стипендия, которой никогда не хватало. Он привык к картинам бедности, скудости, они не тяготили его. Эта скудость жила сама по себе, а жизнь шла сама по себе, и жизнь эта была небедной. Студенчество... Фронт... Работа на студии... Такую жизнь бедной не назовешь.

Но здесь, в этой комнате, в выбеленных до синевы стенах, безысходной казалась и жизнь, словно клубилась в папиросном дыму беда. У Леонида сжалось сердце.

Трое мужчин, довольно уже выпивших, как раз столько, чтобы обрести утраченную в раннем детстве непосредственность и неуклюжесть, бросились его обнимать и обцеловывать. Леонида встретили с ликованием, его — и то, что он держал в руках: сверток с колбасой, брынзой и бутылку взрывчатки под названием «арак». Все это тотчас выставили на стол, а столом здесь была газета, постланная на пол, и через миг уже забулькал желтоватый арак, изливаясь в зеленоватые граненые стаканы.

Птицин, рыхлый блондин в нижней рубахе, в белых штанах и босой, уселся, ну конечно же поджав под себя ноги, как мулла какой-нибудь. Впрочем, муллы не пьют арак, шариат не велит. Леонид и сказал ему про это:

— Достопочтенный мусульманин, отведи греховный сосуд от губ своих, ибо сие не угодно аллаху.

— Милый, милый ты мой! — Птицин потянулся к нему красными, влажными губами и вдруг заморгал белесыми ресницами и замер лицом, пережидая в себе слезы.

Маленький, черненький, носатый Гриша Рухович, приятель Птицина еще по Москве, жалостливо всхлипнул и тоже замер лицом. Третий, Иван Меркулов, всегда помнящий, что он красив, чертовски красив, что разительно похож на актера Мозжухина, по-мозжухински лишь завел к потолку томные очи и мягко коснулся пальцами гитарных струн. «А-а-а!» — вздохнула гитара.

— Мне необходимо выпить, подравняться с вами,— сказал Леонид.— Иначе вы все мне отвратительны.

Он долил себе в стакан до края и начал мучительно глотать, не дыша, припахивающую керосинцем водку. Гитара помогла ему в этом деле, коротким аккордом провожая каждый глоток. Птицин и Рухович хлопали в ладоши.

— Милый, милый,— снова сказал Птицин.

Водка была выпита, Рухович сунул в рот Леониду кусок брынзы, поощрительно подвигав челюстью.

— Жуй!

Леонид пожевал, прислушиваясь, как начала распоряжаться в нем водка, что-то там отмыкая у него внутри, распахивая, пробираясь в самые дальние его уголки. Он знал, сейчас ему полегчает, веселее станет, смелее.

— Братцы, я становлюсь алкоголиком! — весело сказал он.— Мне это начинает нравиться. Ну это... — он поискал нужное слово, уверенный, что оно удачливо объявится.— Ну, это вот...— Нужное слово не шло.

— Забвение, — подсказал Птицин. — Леня, дружочек, как ты меня осчастливил, что пришел. Святая правда!

— Нет, не то, не то...

— Ну, если не забвение, то кураж,— сказал Рухович.

— А бон кураж! — подхватил Птицин.— Ленечка, что там на студии?

— Не то, не то...

— Тогда допей до ясности,— предложил Меркулов. Подкинув на ладони, он протянул Леониду бутылку.

— Вот! — сказал Леонид.— Вот это слово: ясность! Совершенно точно, друзья, когда я выпью, я обретаю ясность. Это ощущение коротко, потом все летит к чертям. Но минута-другая моя. Я все вижу, все понимаю. Я на сто метров в землю вижу. Все про себя, все про других.

— Готов, пьян,— сказал Рухович.— Жара и потом сразу целый стакан. Ох эти вгиковцы, эти кавалеристы, эти бесшабашные парни!

— Заткнись! — Птицин, не глядя на Руховича, протянул ему ломоть колбасы.— Говори, Леня, говори. Милый, милый ты мой...

Минутой раньше Леонид и не собирался затевать о чем-либо разговор. И на тебе, разоткровенничался:

— Я про то, что странно как-то живу. Я утратил цель, я слишком далеко отъехал от дома. Или, может быть, в этом городе и положено мне тянуть до конца дней своих?

Леонид проговорил все это, дивясь тому, что говорит. Он не затем сюда шел, чтобы плакаться тут. Он шел к попавшему в беду товарищу, шел, как сильный к слабому. И вдруг заныл.

— Я живу не жалуюсь,— сказал Меркулов.— А что

поделаешь. Жена из местных, трое детей. Думал, приеду на год, а живу уже десятый. Даже на войну не удалось вырваться.

— Бедняга,— сказал Рухович.— Мне тебя жаль. На войне было очень весело.

— Смейся сколько угодно, но я сто раз просил меня разбронировать.

— Значит, очень тихим голосом просил, не услышали. Впрочем, я тебя не виню: надо же было кому-то заниматься воспроизводством.

— Григорий, заткнись! — Птицин схватил Руховича за узенькие плечи, притянул к себе. — Не задирайся, вояка. Лучше послушай, что умный человек говорит. Леня, ты что, с новым директором беседовал? Обидел он тебя?

Хваленая ясность все еще не покинула Леонида. И потому он сам себе про себя растолковал: «Это я сейчас подлаживаюсь к Птицину, к его беде, мне совестно, что я так благополучен...» А вслух, и снова дивясь своим словам, он сказал:

— Я сам себя обидел. Надо было воспользоваться случаем и уволиться, а я остался. На сколько еще — на год, на два? А там, глядишь, женюсь на какой-нибудь армяночке с домом и виноградником и фонтанчиком посреди двора. Есть такая. Даже целых три таких.

— Счастливчик,— сказал Рухович.— Мне бы этот фонтанчик. Посватался? Или дочка очень уж в отца?

— Учти, — сказал Меркулов, — виноградное вино в таких домах не переводится от урожая до урожая. И какое вино! — Он разлил по стаканам остатки арака.— Женись, Леня, чего там. Наплодишь детишек, будешь всегда сыт, ухожен — армянки чудные жены. Какая еще тебе нужна цель? Выпьем!

Леонид взял стакан, глянул в мутную глубь и выпил. Чудаки, они его жалеют! Пока пил, мысли взрывались в нем, одна другой краше. «Сейчас, сейчас я поверну этот разговорчик, копну пошире!» Он поставил стакан, открыл рот и... забыл все свои мысли. Да и какие мысли-то, о чем разговор? Пьем вот, закусываем — и слава те господи!..

Все молчали, ожидая, что он им еще скажет. И Леонид молчал. Поплыло все перед глазами, раздвинулась будто стена, и он очутился на улице. Идет, чуть что не бежит. Это он все врал про армянок. Их было не три,

а была одна. Все остальные, сколько бы их ни было, утонули в тумане. Была одна, и ее он видел, к ней и спешил, разомкнув стену, бросив друзей. «Ты снова пьян? — скажет она.— Ну разве так можно?» Она кончила педагогический, и эти учительские нотки в ее голосе только то и означают, что она кончила педагогический. «Лена, я должен поговорить с тобой,— скажет он.— Лена, уедем в Москву».— «Ох, опять за свое! — досадливо нахмурится она.— Ты же знаешь...» Да, он знает, что она какой-то ответственный работник в Министерстве просвещения, что ее удерживает дело, которым она увлечена, что она честолюбива, он все это знает. Он знает большее... Нет, об этом он ничего не желает знать! Ничего!

Стали явственней голоса его приятелей, Леониду показалось, что он попятился с улицы снова в дом, опять через стену, и стена сомкнулась, пропустив его. С глаз сполз туман. Он прислушался. Говорил Птицин:

— А что еще человеку нужно, ну что? Есть у меня прекрасная комната на улице Горького, ключи — вот они.— Леонид услышал, как ключи звякнули, большая связка.— Завтра утром в самолет, завтра вечером — дома.

— Если не заночуешь в Баку,— сказал Рухович.— Или в Сталинграде.

— Заткнись, тебе говорят! — гаркнул Птицин. — Прибью! — Но тотчас и забыл о Руховиче, снова заговорив тихо, как бы мечтая: — Жена примет, никаких упреков, никаких расспросов. Выложит на тахту чистую пижаму, достанет из буфета графинчик, потом уйдет на кухню поджарить что-нибудь. Братцы, я дома! Побегу к окну, распахну: дома!

Голос у Птицина сорвался, потом Леонид услышал какой-то хлюпающий звук. Леонид не стал глядеть на Птицина. Если не глядеть, не спрашивать ни о чем, он переможется. И верно, хлюпающий звук вскоре стих. Птицин прокашлялся, сказал смущенно:

— Пардоне муа, сильвупле... Ме... тре дифисиль...

Ох, его французский язык! Где только понабрался он этих словечек, освоил этот всамделишный прононс? Прячется человек, прячется. Добряк, весельчак, забубенная головушка — прячется человек. Ему скверно, прорвалось это, выкрикнулось и вот уж и спряталось. Сейчас того гляди скажет: «Хотите анекдотец?»

— Хотите анекдотец? — спросил Птицин, загодя прыснув смехом.

— Не хотим,— сказал Рухович.— Ляг лучше, Володя, поспи.

— Нет, это ты зря: смешнейший анекдотец. Сидит, значит, в ресторане один старикан, насосался уже до видений, и кажется ему...

Леонид посмотрел на Птицина. Тот беззвучно смеялся, тряслись у него плечи, щеки. Только глаза жмурились, сжались в щелочки. Прятался человек, прятался.

— Ну? — спросил Меркулов и лениво потянулся к гитаре, помня, что красив, все время помня, что красив.

Птицин продолжал сотрясаться от смеха и молчал.

— Ну? — повторил Меркулов и тронул пальцами струны. «Ну-у-у»,— сказала гитара.

— Ну вернулся, ну дома,— удивленно сказал Птицин.— Ну побегу наутро в Елисеевский за колбасой, к Филиппову за французской булочкой... Ну... зачем мне это все? А?..

— Да не будет там тебе ни колбасы, ни булочки,— сказал Рухович.— Я и за пижаму не поручусь.

В комнату вошла Марьям. Остро глянула на всех от двери, прислонясь к стене, сняла туфли. Босая, побалетному приподнимаясь на носках, подошла к Птицину, нагнулась, поцеловала его, что-то шепнув. Он просиял, потянулся к ней. Но она уже была у окна, присела на подоконник, подняв колени к лицу, задумалась.

Каждое ее движение что-то рассказывало Леониду. Будто маленькие то были сценки. Сценка у двери, сценка с поцелуем, сценка у окна. Актриса жила в Марьям всякую минуту.

— Володя, я буду сниматься,— сказала она.— Меня взяли.

Птицин вскочил, подбежал к ней и вдруг поднял к потолку.

Марьям невольно раскинула руки, как сделала бы это в сцене, когда принц умоляет Одетту остаться с ним. Одетту или Одиллию? Она была все в том же черном платье, лицо за день устало, осунулось, обострилось. Пожалуй, она сейчас больше походила на Одиллию.

Птицин все держал ее на вытянутых руках — толстый, в измятых штанах, пьяноватый. Вот уж не принц!

— Я познакомилась и с новым директором,— сказала она оттуда, из-под потолка.— Кажется, я ему понра-

вилась. Леонид, он вам ничего не говорил обо мне?

— Ничего. Почесал только в затылке.

Она засмеялась, радостно свела и снова развела руки.

— Володя, ну пусти же меня!

Она потянула свое «пусти», и сама вытянулась, вот-вот вырвется.

— Нет, летай, летай!

Он ходил с ней по комнате, шлепая босыми ногами. Он запрокинул голову и улыбался ей. Этот улыбчивый человек, оказывается, еще и так умел улыбаться. Вот так, когда круглое, пухлощекое лицо строжает, хорошеет от счастья.

Тихо стало в комнате, притихли мужички, глазея на этих двоих. Даже Рухович не смел вылезти с шуточкой. И солнце тут еще подоспело, метнув в окно оранжевые лучи. Не стало больничных стен, бедной одежды на гвоздях — оранжевая легла на них завеса. Все было как в театре, когда откуда-то сверху польются на сцену косые лучи, чтобы высветить Ее и Его. Но все было жизнью. Здесь не разыгрывался спектакль, здесь все было жизнью, и осветителем тут было солнце, заглянувшее на эту улочку, в эту комнатенку по пути на закат.

Леонид вскочил, поднял руку к потолку, прощаясь с Марьям.

— Я пошел! Мне надо...

Если бы можно было, он шагнул бы из комнаты сквозь стену, как в ту пьяную минуту, когда никаких не ведал преград. Но это в мечтах или в спектакле можно было сделать...

Он вышел через дверь, пересек террасу, спустился во двор, пересек его, отворил скрипучую калитку и очутился на оранжевой улице, изнемогшей от зноя.

Он шел к Лене. Какая нелепость — все его сомнения! Он скажет ей, что остается, что свет клином на Москве не сошелся, что нет ничего лучше маленькой комнаты с белыми стенами, если только... Нет, он ничего этого не станет говорить. Он просто скажет: «Лена, будь моей женой».

5

Он не знал, как выбраться из этих кривых переулков. Он впервые попал сюда. Где-то здесь и снимет он свою белую комнату с гвоздями в стенах и решеткой на окне.

Решетка от воров. Здесь все окна с решетками, можно подумать, что в домах живут богачи. Такие же, как Марьям?

Он свернул в один переулок, в другой. Закатное солнце творило чудеса. Все помягчело, от стен прохладные легли тени, ожили деревья, ожил в их изреженных листьях ветер. Запахло землей, а не пылью, запахло цветами, сушеной дыней — ее ломти, заплетенные в косы, висели по дворам на веревках. Запахло виноградным вином, совсем еще молодым, розово-мутным. Его пьют как воду, зачерпывая ковшом. И не пьянеют, только ноги делаются не своими, их начинает заносить то туда, то сюда. И мысли тоже начинает заносить то туда, то сюда. Он будет жить здесь. Он поменяет судьбу, как когда-то меняли веру, и станет жить в этом зное, в этих запахах и звуках. Сколько их проснулось тут, этих звуков! И ни один не напомнил ему дóма. Все были новостью, он к ним еще не привык. Это была Азия. В гортанных возгласах женщин, в пронзительном смехе детей, в сухом касании дерева о дерево. Он будет жить здесь. Он поменяет судьбу.

Вдали в просвете между деревьями Леонид увидел башенку текстильной фабрики. Теперь он знал, куда ему держать путь. Совсем недалеко была улица Свободы, главная улица, пролегшая через весь город. Он двинулся к ней и вскоре вышел на ее асфальт. Теперь ему никуда не нужно было сворачивать. Прямая и бесконечная, эта улица Свободы, когда он отшагает ее почти всю, приведет его к цели. Путь был неблизкий, улица Свободы как бы испытывала всей своей длиной его решимость.

Мимо проезжали автобусы, маленькие и пузатые, дышавшие таким жаром, что к ним подойти было страшно. Как они ездили, почему не плавились — это было всегдашней загадкой для Леонида. Как ездили в них люди — это было еще большей загадкой. Теперь и ему придется ездить в них. Ну, не прямо сейчас, через месяц, через год. Он станет местным жителем, и все, что делают тут люди, надо будет делать и ему. По воскресеньям он будет ходить с Леной в гости к ее многочисленной родне. Или принимать гостей. Ему предстоит запомнить до сотни имен и отчеств, иные из которых не так-то легко выговорить. Предстоит затвердить многие правила, прежде неведомые. Предстоит

поменять себя в чем-то малом, а в чем-то и большом. Да, да, поменять — ведь он меняет судьбу, как некогда люди меняли религию.

Значительность решения, которое он принял, изумила его, он проникся к себе уважением. Он шел по улице Свободы и очень уважал себя, преисполнясь торжественности. Он шел и оглядывался, и знакомился заново с городом, где предстояло ему теперь жить долгие годы. Город начинал ему открываться заново и по-новому. Он начинал ему нравиться. Не правда ли, это был смелый город? За его окраинами легла пустыня. Даже верблюды не могли пересечь ее, гибли от безводья. Эта пустыня наносила на город раскаленный песок и тучи москитов, от укуса которых тело покрывалось язвами. Эта пустыня не давала роздыха и ночью. Она дышала зноем и ночью, перебарывая прохладу, идущую с гор. А город не сдавался. Он рыл колодцы и раздобывал воду. Он сажал деревья, он прослыл городом-садом. Хорошо жить в смелом городе. Ты и сам становишься смелым. И хорошо жить в доме, во дворе которого журчит фонтан, а в трех километрах от которого начинается пустыня. Что-то в этом есть. Ей-богу, что-то в этом есть!

Леонида окликнули сразу в несколько голосов. Кто назвал по имени, кто по фамилии. Голоса сплелись, и в их гомоне прозвучало дружелюбие. «В Москве тебе так через улицу не закричат»,— подумал Леонид, умиляясь. Он не стал вглядываться, кто зовет его, он кинулся через улицу на голоса. «В Москве так вот не перебежишь, где вздумается»,— подумал он еще и снова умилился.

Множество рук протянулось ему навстречу. А какие смеющиеся, славные он увидел рожи. Это были студентки из медицинского, добрые его приятельницы Нина, Соня. А с ними московский сценарист Василий Дудин и газетчик из местных Александр Тиунов.

— Ты это где уже набрался? — спросил Дудин, привставая на цыпочки, чтобы расцеловаться с Леонидом.

Дудин был не шибко высок, не шибко красив, даже просто некрасив, курносый, белобрысый, с веснушками, как у мальчишки, а было ему все сорок. Но некрасивости его никто не замечал, как и сорока его годков, таким он был изнутри веселым, молодо оживленным, такая жила в нем готовность к озорству и приключениям.

— Вы где это набрались, товарищ начальник сценарного отдела, я вас спрашиваю? Нам же еще в «Фирюзе» заседать. Запамятовали?

— Хорош! — сказала Нина, энергично взмахнув рукой, будто гасила мяч у сетки: она бы могла быть прекрасной волейболисткой — рост, сила, порывистость.

— Верно, старик, ты что же это? — Александр Тиунов — рядом с Дудиным он казался великаном — до того как стать газетчиком, был секретарем горкома комсомола и сохранил еще в голосе начальнические, прорабатывающие нотки.

— А мы-то его ищем по всему городу,— укоризненно промолвила Соня, тоненькая, застенчивая девушка, очень милая, просто очень, очень милая. Всякий раз, когда Нина встречалась с Леонидом, она непременно говорила ему о Соне: «Вот, Леня, тебе жена. Лучше ее не найти. Умница, золотое сердце, дочь профессора...»

Оглядев всех, отступив даже на несколько шагов, чтобы всех сразу увидеть, Леонид молча и растроганно им улыбался. «Милые вы мои,— думал он.— Милые, милые вы мои...» Кто-то нынче уже твердил ему этак же вот: «Милый, милый ты мой...» А, Володька Птицин!

— Братцы, сестрицы, милые вы мои,— сказал Леонид.— Я решил поменять судьбу.

— Сколько? — спросил Дудин.— И за какое время?

— Ты о чем?

— Я спрашиваю, сколько ты выпил и за какой промежуток времени?

— Не помню. Дело не в выпитом. Если угодно, я совершенно трезв.

— Да, да,— сказала Соня.— Я вижу, это не последствия алкоголя. Это нечто другое. Леня, что с вами?

— Умница,— шагнул к ней Леонид и сжал в руке тоненькие ее пальчики.— Золотое сердце...

— И дочь профессора, — сказала Нина. — Леонид, ты мне не нравишься. Ребята, берите его под руки и не отпускайте. Он мне не нравится. Это я вам как врач говорю.

— Ты еще студентка,— сказал Леонид.— Маленькая студентка большого роста. Но будь ты хоть профессором, ты бы ничего все едино не поняла.

— Где уж мне! — усмехнулась Нина. — Мужчины, хватайте его! Ведите! Я с ним после поговорю.

Леонида схватили и повели. Шутка шуткой, а он не

мог вырваться. Все смеялись, всем было очень смешно, он тоже смеялся и не мог вырваться.

— Подумать только, — сказал он. — На улице Свободы лишили человека свободы.

— После благодарить будешь.— Нина загадочно улыбалась. Она шла чуть впереди, руководя всей процессией.

Они свернули в переулок.

— Саша, разожми свои лапищи! — взмолился Леонид.— Честное слово, я не убегу.

— Как скажет Нина.

— Отпусти, — кивнула Нина. — Под честное слово. Приступ, по-видимому, ослабевает. Соня, проверь у больного пульс. Действуй, действуй, коллега.

— Пульс учащенный, это видно и по глазам,— сказала Соня.— Послушай, Нина, давай отпустим его на все четыре стороны.

— На четыре я бы его отпустила. Болезнь опасна своей целеустремленностью.

— Вот пусть и переболеет.

— Глупенькая, врач не имеет права отступать перед болезнью. Мы его вылечим!

— Не вы, а я его вылечу,— сказал Дудин.— Вот как раз и наша аптека. Прошу, примем по нескольку капель.

— Нет, я не пойду,— сказала Соня.— Я не хожу в рестораны.

— А это, Сонечка, и не ресторан,— рассмеялся Дудин.— Будете в Москве, покажу я вам рестораны. Мы на минуточку.

Девушки переглянулись, Нина быстро осмотрелась, не видать ли где знакомых, решилась:

— Иду! Пошли! — она взяла оробевшую подругу за руку.— Медики мы, в конце концов, или мокрые курицы?!

«Зайду посижу с ними,— сказал себе Леонид.— Часом раньше, часом позже, но я постучусь в твое окошко, Лена...»

6

«Фирюза», куда они пришли, был главный в городе ресторан. По сути — столовая в большом, барачного вида строении с фанерным всюду избытком. Даже ко-

лонны при входе имитировала фанера, и потолок был в фанерных ромбах, и непременная лепнина тоже была закрашенной фанерой. Спасали этот барак громадные окна почти вровень с тротуаром, в них широко входил город — улица, площадь, а позади горы. Просто горы. Не такие красивые, как в Крыму или на Кавказе, а просто горы, выжженные и суровые, не манящие взойти на них. Всерьез горы с притаившимися в глубинах землетрясениями.

Уселись за стол, в ресторане еще было пусто, и свободные официантки сошлись к их столу, здороваясь с Леонидом как с добрым знакомым.

— Говорят, у вас новый директор? — спросила одна.— Придет сегодня?

— Молодой? Женатый? — спросила другая.

Студийцы здесь были завсегдатаями, для них этот ресторан был и столовой, и клубом, ведь многие, как и Леонид, жили в гостинице.

Подошла к столу и буфетчица, красивая, молодо осанистая женщина, недавно справлявшая в этом же ресторане свою свадьбу. Справила свадьбу, уехал через неделю муженек на нефтепромыслы и пропал. И не объявится, она и не ждет уже. А все-таки справила свадьбу...

Леонид жалел этих женщин, обездоленных войной, за тридевять земель отъехавших от дома, веселых будто бы, но готовых чуть что и разреветься, страшно одиноких, хоть и всегда на людях. С буфетчицей Ирой он даже дружил. Был как-то у нее в гостях. У нее была крошечная, очень чистая, прибранная комната, всюду вышивки, дорожки, занавески, и была у нее крошечная собачонка, карликовый терьер по имени Макс. Этот Макс поразил воображение Леонида. Весь вечер он провозился с ним, с этой живой игрушкой с грустными, помаргивающими глазами. Когда пришло время уходить — вернулась с работы хозяйка дома, не жаловавшая Ириных гостей,— Ира растрепала, выпроваживая, Леониду волосы, странно неумелыми губами чмокнула в щеку и сказала, не тая насмешки: «Эх ты, собачник...» Он знал, зачем идет к ней, они еще в ресторане договорились обо всем, смутные какие-то, корявые, стыдящиеся звука, сказав друг другу слова. Наглые и стыдящиеся слова. А пришел, увидел эту чистенькую комнату, печального этого Макса и понял, что все не

так просто, совсем все не просто. И она поняла, стала рассказывать ему о своей жизни, всплакнула. Она была наполовину немкой, ее выслали в первый же месяц войны. Только когда прощались, она упрекнула его, усмехнулась над ним. А когда встретились назавтра, она кинулась к нему, как к другу, не как к любовнику на неделю, а как к другу, и у нее слезы стояли в глазах. Потом она вышла замуж, замуж на неделю, и Леонид тоже был на этой свадьбе.

— Ну как там у вас? — спросила Ира, наклоняясь к Леониду.— Остаетесь?

— Остаюсь.

Она обрадовалась, улыбнулась, показав розовые мелкие зубы.

— Слава богу! А то стоишь, стоишь за стойкой, а лица все чужие.— С той же улыбкой она глянула на Нину и Соню. Поглядела, как только женщины умеют глядеть на женщин, вбирая в короткий взгляд все утаенное и безразличные к тому, что как бы выставлено напоказ.— Чистенькие,— сказала она благожелательно. Улыбка не шла ей, старя ее, обозначая на лице нежданные морщины.— Чаем вас угостить, барышни?

— Я буду пить только лимонад,— сказала Соня.

— А я, как все,— храбро сказала Нина. — Медики мы, в конце концов, или...

— Ирочка, золотце,— Дудин влюбленно глядел на нее.— Ирочка, по случаю великой радости воскрешения моего сценария, прошу, кинь нам на стол эдакое что-нибудь, дефицитное, припасенное.

— Есть вобла,— сказала Ира.

— Восторг! — подскочил Дудин. — Вобла — это как раз то, что мне снится, когда я не сплю.

— А для дам икорки отыщем. Не самой дорогой, красной.

— Еще раз восторг! Плюс пиво и водка.

— Я красную и люблю,— сказала Нина.— Я ее больше паюсной и зернистой люблю.

— Правда? — Ира улыбнулась ей, снова постарев.— Значит, у нас с вами один вкус. А из этих кого вы любите? — она насмешливо глянула на мужчин.

— Никого! — сказала Нина, с такой радостной готовностью откликаясь на вопрос, что ей нельзя было не поверить.— Тот, кого я люблю, далеко-далеко сейчас.

Смотрите, а вот и Георгиу! — Нина помахала рукой.— Пожалуйста, подойдите к нам!

Худой человек, сутулый и с запавшими щеками, свернул к их столу. В одной руке он держал скрипку, в другой смычок. Он шел через зал, пришаркивая, но и пританцовывая, кланяясь на все стороны и никого не видя. Он шел играть. Одет он был жалчайшим образом: бостоновый лоснящийся пиджачок, обтрепанные белые брюки, яркий галстук, порвавшийся на сгибах, разбитые сандалии. Но он шел играть. И скрипка у него была из тех самых, на которых играют настоящие мастера: легкая и напрягшаяся, крутобокая, какой-то древней прекрасной смуглоты.

Георгиу подошел, поклонился, не узнавая, Нине и всем остальным, выжидающие склонил к плечу сухо маленькую голову. Большие, с желтым белком глаза у него спали. Он шел играть.

— Простите,— сказала Нина, прижимая ладони к щекам.— Вы меня не узнали. Простите.

— Я для вас играл?

— Да. Мы сидели у самого оркестра, вы подошли к нашему столику...

— Я вас вспомнил,— сказал Георгиу, не поглядев на Нину. Он и не пытался вспомнить ее.— Вы сидели у самого оркестра. Я играл вам «Цыганские напевы» Сарасате. Это... — он кинул под подбородок скрипку и сразу заиграл, покачиваясь. Он только и ждал этой минуты.

Играя, он двинулся между столами к эстраде. Там уже уселись на свои места оркестранты, три волосатых толстяка — пианист, ударник, трубач. Они не утруждали себя пиджаками, они были в рубашках, рукава засучены, вороты распахнуты. Они взмокли от жары, от выпитого пива, они с тоской и мукой изготавливались к трудовой своей повинности. Вот заиграют, и ахнет барабан, охнет пианино, ухнет труба. А этот в строгом жарком пиджачке, с запавшими щеками туберкулезника, припав к скрипке, заиграл на радость и в утешение себе и своим слушателям.

Как он играл? Леонид слышал отзывы знатоков об его игре. Они утверждали, что Георгиу не такой уж сильный скрипач, что он и подвирает часто, много допускает отсебятины. Пусть так. Здесь, в фанерном дворце на краю пустыни, он был Яшей Хейфицем. Этот ру-

мын все понимал, все переживал вместе с тобой. Надо очень далеко отъехать от родины, чтобы так играть.

— Он это играл вам тогда? — тихонько спросила Соня, наклонившись к Нине.

— Нет, не это. Он не узнал меня.

— Он и меня не узнал,— сказал Тиунов.— А ведь знакомы который год. Ничего, отыграется, все вспомнит.

— А сейчас он далеко-далеко,— сказала Нина.— В своей Румынии.

— Все разъехались,— усмехнулся Дудин и с ожесточением стукнул воблой о спинку стула.— Смотрю, и ты, Галь, все куда-то глаза отводишь. Ты-то куда укатил?

— Я недалеко, за два-три квартала отсюда.

— А тебя там ждут? — быстро спросила Нина.

Георгиу кончил играть, все ему захлопали.

— Как стыдно, мы его и не слушали совсем,— сказала Соня.

— Почему, я слушал,— сказал Леонид. Он поднялся.— Мне пора. Прощайте, друзья. Вася, загляни завтра ко мне на студию. Будет диалог по поводу диалога в твоем сценарии.

— Как, опять поправки?!

— Опять. Новый режиссер, новые и глаза. Даже две пары глаз.

— Но Александр Иванович ничего мне не сказал.

— Он и не скажет, он человек мягкий. А вот Клара скажет. Да не тебе, а мне. Приходи.

— И не подумаю! Сегодня же вечером уезжаю в Москву!

— Вася, стоит ли так горячиться? — Леонид обошел стол, обнял Дудина за плечи.— Ну полистаем еще сценарий, поглядим, что можно поджать. Не злись, не злись, фильм-то запускают. Ты просто счастливчик, Вася. Девять фильмов делает страна в год, и один из них твой. Ликуй!

Дудин встал, они расцеловались.

— Ладно, черт с тобой,— сказал Дудин.— Приду. Ох и хитрый же ты, Галь!

— Совсем он не хитрый,— сказала Нина.— Вот уж не хитрый!

Прощаясь, Леонид отвесил всем шутовской низкий поклон.

— Помолитесь за меня, друзья!

Он зашагал к выходу, мгновенно обнаружив кругом знакомых. Ресторан как-то незаметно заполнился людьми. Леонид шел и раскланивался на все стороны. А все-таки он был довольно видной в городе фигурой. Он подумал об этом не без удовольствия.

Его окликнула Ира. Он подошел к ней. Она не сразу заговорила, была занята, наливала официантке в графин вино. У нее были красивые руки, полные и молодые, удивительно не поддавшиеся загару.

— Зашел бы как-нибудь,— сказала она, когда официантка унесла свой графин. Она улыбнулась ему осторожно, только уголками губ.

— Нет, Ира, я не приду,— сказал Леонид.— Я не могу прийти.

— Уезжаешь?

— Нет.

— А-а...

7

Он снова был на улице. Он удивился, обнаружив вечернюю уже темь. И обрадовался ей, тому, что так тусклы фонари. На улочке, куда он шел, совсем, наверное, темно. Только и свету, что из занавешенных окон. Да огни редких фонарей за спиной на улице Свободы. Да еще луна в небе. Она не очень-то ярка в этом небе. Пыль, повисшая над пустыней, скрадывает, туманит лунный свет. И отлично. Он любил темноту Лениной улочки, тишину ее, безлюдье. Лена ближе была ему там. Он видел только глаза ее, смутно различая прекрасное ее лицо, он слышал только ее дыхание. Ни дерзкая победоносная ее улыбка, ни звонкий победоносный ее голос не ранили его на этой улочке своим нестерпимым блеском и звуком. Они целовались и почти не разговаривали. Лена не умела говорить шепотом, а надо было говорить шепотом, чтобы на голоса не выглянула ее суровая тетушка, сухонькая старушка, имевшая над Леной безграничную власть.

Леонид что-то приуныл, побыв в компании милых своих приятелей и приятельниц. Ушло куда-то, спряталось, не ухватить одушевление, с каким бросился он из дома Марьям, чтобы в миг один взять да и поменять судьбу. И зажить, как люди живут, как вот Марьям и Птицин живут, не рассчитывая свою жизнь. Эх, не надо было сворачивать в эту «Фирюзу»! Что, собственно, со-

биралась сказать ему Нина? Ну что? Она спросила: «А тебя там ждут?» Глупенькая, ведь она не знает, как быстры шаги Лены в ответ на его стук, условный стук в окно, их стук: два медленных, раздельных удара, мол, это я, вот, мол, и я, и два коротких, нетерпеливых, скорей, скорей выходи. И сразу же, почти сразу же шорох шагов по гравию двора. И нетерпеливо откинутый засов калитки, и нетерпеливо протянутые вперед руки. Нет, Нина, ты ничегошеньки не знаешь и не понимаешь. Вообще, дружок, лучше не вмешиваться в чужую жизнь. Вот Соня поумнее тебя будет. Запомним ее слова: «Человек не хочет, чтобы вмешивались в его жизнь. Это так естественно...» Хорошо сказано! И не для студенточки даже мудро. А мы вмешиваемся. Мы только и делаем, что вмешиваемся. Мы даем друг другу советы. Только этим и занимаемся. Мы оберегаем, предостерегаем. Ах, какие же мы все грубых душ человеки! Нет, не грубых, а худо воспитанных душ. Нина, ты добрая, ты очень добрая и славная, но, прости меня, у тебя невоспитанная душа. Прости меня. Думаешь, я не знаю, о чем ты собиралась со мной поговорить? Знаю. Чушь все это! Чушь, Нина, слышишь? И про тебя сплетничают, не так ли? Про тебя и про Юру, что укатил в свою Москву и не пишет. Он не пишет, а вот Дудин станет писать. Но ты будешь думать о Юре и позабудешь о Дудине. Не правда ли? То-то и оно.

Одушевление не возвращалось. И рядом где-то оно, и не вернуть, не вобрать снова в себя вместе с жарким этим, из пустыни, воздухом. «А тебя там ждут?..» Наваждение!

Темная улочка внезапно и скоро легла ему под ноги. Вот и дом Лены, в один этаж, такой же, как все тут, но сразу узнанный, вот окно ее комнаты. «А что, если отложить все до завтра?..»

Леонид быстро подошел к окну и постучал, спутав стук: сперва дважды коротко, а потом уже дважды раздельно.

Он прислушался: все должен быть решить первый же звук. Если Лена дома, то первый же звук скажет ему это. А нет ее дома, то скажет и об этом. Леонид оробел. Он не решения своего испугался, а чего-то еще. Он не мог понять чего. Повременить бы денек, он бы понял.

Оттуда, из дома, пришел первый звук, просто чуть

слышный шорох. Лена была дома! Леонид привычно обрадовался: «Она дома!» И испугался: «Она дома!» Он никак не мог понять своего страха. И не было уже времени, чтобы понять. Зашуршал гравий во дворе, быстро и тихо стукнул засов, Лена, стоя в раме калитки, протягивала Леониду руку.

Он шагнул к ней.

— Лена, будь моей женой.

— Что, что?

Он молчал. Она отлично слышала его слова. Он молчал.

— Но ты же знаешь, я не могу с тобой уехать.

— Не надо никуда уезжать.

— Как?

— Я остаюсь, Лена.

— На год? На два?

— Нет.

— На сколько же?

— На сколько нужно будет. Я остаюсь. Вообще...

— Леонид, что случилось?

— Случилось? Я же сказал тебе...

Как жаль, что он не курит, нет у него спичек. А то бы запалил весь коробок, чтобы светло стало, чтобы можно было заглянуть в ее лицо, в ее глаза и понять, понять, отчего она молчит.

— Не молчи,— попросил он.— Отвечай.

— Это так все неожиданно...

Он вдруг почувствовал, что очень устал. И вдруг поймал себя на мысли, что это не с ним все сейчас происходит, а с каким-то персонажем в весьма заурядном сценарии.

— Ну, ну, а что же дальше?— насмешливо спросил он.

— Не знаю,— сказала она не своим, бесцветным, каким-то сникшим голосом.— Понимаешь, я не знаю.

— Надо с кем-то посоветоваться? С тетушкой Кнарик? Со всеми родственниками? С кем еще?

— Вот ты смеешься...

— Я не смеюсь. По сценарию мне еще чуток рано смеяться.

— По какому сценарию?

— Не важно, это я так, это проклятый подтекст затесался. Лена, пойдем на угол, там фонарь. Пойдем.

— Зачем?

— Я повешусь на нем, а ты будешь смотреть.

— Леонид, что ты болтаешь?

— Конечно, болтаю. Опять проклятый подтекст. Просто я хочу поглядеть на тебя, взглянуть в твои глаза. Тут темно. Пойдем.

— Не глупи. Ты какой-то странный сегодня. Что у тебя на работе?

— На работе у меня о'кей! Ты так и не ответила мне, Лена. Нет, лгу, ответила. Жаль только, что я не курю, нет у меня спичек.

— Леня, ты уходишь?

— Как ты догадалась?

— Позвони мне завтра на работу. Слышишь?

— После совещания с родственниками? Лена, сбегай домой, принеси спички. Я хочу взглянуть на тебя.

— Замолчи, мне вовсе не смешно.

— Мне тоже. А почему, Лена, почему?

— Что?

— Почему ты не хочешь стать моей женой? Мне казалось... Значит, это все чепуха — все наши встречи, ну, все, все?..

— Ты не понимаешь...

— Так точно, не понимаю. Ну, что там еще по сценарию? Ага, я должен резко повернуться и броситься бежать. И музыка, музыка... Бегу!

Леонид повернулся и побежал. Глупо? Конечно, глупо! Все глупо! И то, что он бежал, и то, что ему хотелось плакать, все глупо.

Он так и не остановился до самой гостиницы.

Ночью ему приснилась война. Накат над головой в блиндаже ходил ходуном. Было душно и страшновато, но ничего, он спал, на войне ему всегда хорошо спалось. Он спал и был рад, что немцы зря расходуют снаряды.

Наутро он узнал, что было землетрясение, крошечное, балла на три, тряхнуло только стены, качнуло люстры. На такие землетрясения тут не обращали внимания.

8

События на студии развивались с истинно кинематографической быстротой. Ну, как в вестернфильмах, в эпизодах погони. Все завертелось, бешеный начался

гон. Словом, студия заработала. И тому причиной был Денисов. Это он раздобыл для студии какие-то деньги, вызволив из-под ареста ее банковский счет. Это он сманил из Ташкента нового оператора, кажется, очень хорошего, плохого ведь не сманивают. Это он раздобыл и нужную для съемок пленку, совсем новый съемочный аппарат, о котором раньше могли лишь мечтать, и тонваген, чудо-грузовичок, столь необходимый для звуковых съемок на натуре, о котором даже и не мечтали. Все прибыло, прилетело, прикатило в сказочно короткие сроки, двор студии заполнился новыми людьми, гостиничные коридоры стали будто коридорами студии. И все это совершилось без крика, без излишних слезниц по телефону и телеграфу в Москву, без беготни с утра до ночи к республиканскому начальству. Денисов работал споро и радостно. На него приятно было смотреть, когда он — этакий канадский джентльмен — спозаранку появлялся на студии, улыбающийся, бодрый, невозмутимый. В кабинете он не засиживался, решения принимал на ходу и все помнил. Пообещал — помнил, приказал — помнил. Он был так разительно непохож на своего предшественника, человека медлительного и нетвердого в решениях, что студийцы вскоре же отдали Денисову свои сердца. Все, кто ни работал на студии, даже самые закоренелые скептики, все поверили в нового директора, поверив и в новую для себя жизнь. Словом, студия заработала.

И пришел день первых съемок. И настало утро...

Но прежде небольшое отступление: Владимир Птицин снова был принят на студию. Не на старое место, не на должность директора картины, а всего лишь на должность администратора. Но и это было счастьем. Для него — счастьем, для всех студийцев — доброй приметой. Новая полоса в жизни студии начиналась с поступка великодушного, которому сопричастны были все. Вдруг обнаружилось, что у Птицина нет врагов, что все ему сочувствуют, все его жалеют. Даже те, кто недавно ратовал за изгнание этой паршивой овцы, этого спившегося, нелепо увлекшегося девчонкой неповоротливого толстяка. Позабылись злые слова, всеобщая нетерпимость сменилась жалостливым участием. О жалость, так ли ты добра, как кажешься? Не сродни ли ты чувству превосходства, уютненькому чувству собственной удачливости перед лицом чужой невзгоды

Как бы там ни было, а Птицин опять бегал по павильону, заскакивал в кабинеты, сновал по цехам, хохоча, роняя французские словечки, рассказывая анекдотцы, старательно изображая себя все таким же, каким был с год назад, когда прикатил сюда директором картины, но был теперь он не таким, он очень изменился, и все это видели. Разными глазами, конечно. Кто подмечал его униженность и то, что он постарел и обносился. Кто видел добрую вдруг улыбку на его лице, не веселую, не нагловатую, а добрую, мягкую улыбку, непривычную еще его губам, всему складу кругло-самонадеянного лица. А кто и вовсе перестал замечать его, какого-то там администратора. Но все дружно его жалели, все без исключения. Великодушие — добрая примета. Это понимал каждый. Студия заработала...

Первый съемочный день, первые полезные метры, каждый метр — две тысячи отчисления на банковский счет, а в день можно их снять до ста, этих метров, ну пусть хоть до полста. Жизнь, начиналась жизнь, зарплата в срок, сверхурочные, премиальные. И не только это. Начиналось творчество. Всяк мог что-то придумать, что-то предложить — картину снимают не режиссер с оператором, а вся студия, любой осветитель, он тоже ее снимает. Разве не было случаев, когда робко поданная реплика оттуда, где у осветительных приборов стоят будущие великие кинотворцы, подхватывалась режиссером, оператором, актерами и обретала жизнь в пленке? Сколько угодно таких случаев. А разве не мальчишкой-осветителем начинал великий Москвин, нет, не артист, а оператор? И разве не с подсобного рабочего начинал на студии великий Пудовкин? То-то и оно.

Марьям тоже теперь работала на студии. Не так-то просто оказалось утвердить ее на роль Зульфии. Кто говорил, что она не туркменка, кто сомневался в ее актерских способностях — одно дело плясать и совсем иное играть, кто сомневался в ее нравственных устоях. Ведь Марьям надлежало играть юную, чистую девушку, почти девочку. Сумеет ли эта Марьям, эта легендарная татарочка из кордебалета, так перевоплотиться, так вдруг поюнеть, чтобы от всего облика ее повеяло чистотой?

Александр Иванович Бурцев внимательно выслушивал все сомнения, соглашаясь, наклонял голову, падал духом, но никакой другой актрисы не искал. Это была

его извечная тактика: он ни с кем не спорил, даже соглашался со всеми охотно, а делал все по-своему и еще так, как советовала его Клара Иосифовна.

Денисов, кажется, сразу же раскусил лукавого старика. «Ему снимать, ему и решать,— говорил он всем, кто пытался навязать свое мнение Бурцеву.— Вот пойдут полезные метры, вот тогда и поглядим, кто чего стоит...»

И полезные метры пошли.

Этот праздник для студии, возможно, не без умысла, совпал с праздником по сценарию: в первый день решено было снять колхозный той.

Еще с ночи привезли в студию горы дынь, арбузов, винограда, персиков, инжира. Привезли для заклания черную овцу и белых петухов, развели в углу двора костер из саксаула. Рано утром приехали статисты — колхозники из соседнего с городом аула Багир. Женщины были в красных, прямых, как хитоны, платьях, на груди украшения, мужчины в праздничных халатах, в высоченных тельпеках. Студийный двор стал вдруг похож на рыночную площадь в воскресный день — растеклись по нему мягко-гортанный говор мужчин, робкие всплески женского смеха и воздух, воздух, как в фруктовых рядах, да еще горчинки от дыма саксаула.

А в павильоне уже были постланы на коврах скатерти, и чего только не стояло и не лежало на них! Пожалуй, избытка такого и не требовалось, ведь той был не у бая, а у колхозников и год шел лишь третий после изнурительной войны. Но потому-то и сотворен был в павильоне этот избыток, что в жизни еще многие попросту недоедали. Хотелось ну хоть в кино увидеть, как едят и пьют вдосталь. Руки, собиравшие той, были руками помрежей и ассистентов, и им этого и хотелось. Не для себя, а для будущих зрителей творили они эту сказку. Впрочем, и для себя. Сглатывали слюну и творили сказку. Все это было понятно и извинительно.

...Скромная колхозная звеньевая Джамал принимала дорогого гостя, донского казака, которому она в войну привезла на фронт в подарок от туркменских колхозников изумительного коня ахалтекинской породы по имени Карлавач. Много подвигов совершил со своим скакуном молодой казак, а как кончилась война, взял да и затосковал. Ну конечно же по красавице Джамал, что живет далеко-далеко, за песками знойной пустыни.

Он видел ее во сне, он писал ей письма, а потом надел парадный китель — вся грудь в орденах,— сел в поезд и поехал к своей Джамал, к своей далекой невесте. Но нет, до свадьбы еще не короток путь. И старики против этой свадьбы: как так, туркменская девушка пойдет замуж за русского? Отсталые старики. Да и Джамал не спешит, испытывает своего милого. Каков он джигит? Вокруг ведь столько джигитов! И верное ли у него сердце? Вокруг ведь столько красивых девушек! Трудны испытания — будут и скачки, будет и рубка лозы, и укрощение коней, будет и дурманная ночь, когда не Джамал, а ее подружка Зульфия, смешливая, легкая как бабочка Зульфия, поманит за собой синеглазого казака. Только не пугайтесь, ах, только не пугайтесь: все будет хорошо, испытание наш парень выдержит, будет, конечно, свадьба и не одна даже, у Зульфии тоже найдется суженый и тоже славный воин, воин-туркмен Халлы. Вот такая вот история. А пока снимался первый той, день первой встречи, когда еще намерения молодого казака не совсем ясны и все его чествуют, и старики тоже, как смелого джигита, приехавшего в аул поблагодарить за коня. Кстати, славный Карлавач погиб в бою, но растет уже его сын, как две капли воды похожий на отца, тоже с белыми бабками, со звездой во лбу и с тем же, главное, характером — никак не удается его объездить. Ничего, ясное дело, наш герой его объездит, они еще станут друзьями — наш герой и юный Карлавач...

Аппарат поставили на тележку и медленно повезли мимо пирующих. Горели все осветительные приборы, хитро попрятанные за фанерными стенами домов и фанерными вершинами гор. День. Солнце в небе. На площади перед зданием сельсовета (а чуть правее — здание школы, еще чуть правее — здание клуба) артисты и статисты изготовились к пиру. Хлопнула перед объективом хлопушка с номером кадра, вспыхнули во многих местах сигналы «Тихо! Идет съемка!», и Александр Иванович негромко, хрипловатым вдруг голосом сказал заветное:

— Камера!

И застрекотали, зажурчали сладостно, как ручеек в пустыне, первые еще только сантиметры отснятой пленки.

Снималось человек сорок. А столько же, если не

больше, следило из углов и от дверей за съемками. Вся студия была в павильоне. Всем нужно, просто необходимо было знать, как пойдет. Думалось, что-то можно будет угадать по первым же кадрам. И всем хотелось чуда, удачи, хотелось немедленно же увериться, что актеры хороши, декорации лучше не надо, оператор смел и находчив, а режиссер просто-напросто гений. И хотя все или хотя бы многие отлично знали снимавшихся актеров, давно познакомились с декорациями, понимали и то, что за час один оператора не распознаешь, и хотя все давно хорошо знали Александра Ивановича Бурцева, как режиссера знали, но сейчас всем хотелось открытия, чуда, хотелось уверенности в том, что наивная эта историйка, которая пошла, потекла ручейком в объектив, выльется потом на экран могучей рекой, да, да, сказочно прекрасной рекой.

— Стоп!— крикнул Бурцев и хлопнул в ладони.— Что-то мне не глядится на вас. Начнем от печки.

Мудрый старик! Леониду тоже было трудно глядеть на этот той. Леонид стоял у стены вместе с Дудиным и девушками из своего отдела, деля с ними и всеми зрителями общую тревогу и надежду, отыскивая, как и все, в любой малости приметы будущей удачи. Но приметы не отыскивались.

Леонид смотрел на этот колхозный праздник перед объективом, на ряженых артистов и статистов, растерянно, с фальшивым оживлением подсевших к скатерти-самобранке, а перед глазами вставали совсем недавние картины, которые довелось ему наблюдать в том же ауле Багир, куда он ездил с хроникерами. Иное, иное стояло в глазах. И тогда тоже был в колхозе праздник не шуточный — Первое мая. И шел той на площади перед сельсоветом. Из котла накладывали всем какую-то серую затируху. Люди получали свою порцию и быстро отходили, на ходу начиная есть. Много было ребятишек, босых ребятишек, воробьиными стайками перелетавших с места на место. У праздника был серый цвет, который не могли победить ни солнце, ни красные платья женщин, ни зеленый, до горизонта зацветший маками весенний разлив пустыни. Колхоз был беден, колхоз только еще оправлялся после войны, в нем мало было мужчин, не видно было коней, бродили облезлые верблюды. И это их цвет, цвет свалявшихся верблюжьих горбов, побеждая все прочие, стоял перед

глазами. Хроникеры тогда не знали, что снимать. Решили было собрать всех перед зданием сельсовета, усадить рядышком, наставить на ковры побольше посуды, развесить на стенах плакаты. Начали было все это делать и бросили. Стыдно стало. «Будем снимать как есть,— сказал Андрей Фролов, лучший на их студии оператор хроники.— Ведь война была, и это вроде бы всем известно...» Леонид шагнул тогда к Фролову, обнял его, признательный за это решение. Нельзя, ну невозможно было заставлять этих людей лгать друг перед другом. И во имя чего? «Ведь война была, и это вроде бы всем известно...»

Но нет, старик крикнул: «Стоп!» Мудрый старик! Молодчина! Спасибо ему!

Тележку с аппаратом откатили. Бурцев, подойдя к оператору, о чем-то негромко с ним заговорил, широко рисуя в воздухе руками. Гениальный старик!

Оператор, слушая, картинно скрестил на груди руки и ни слова в ответ. Он был красив — этакий скандинав чуть за тридцать — и невозмутим, как и должно скандинавам. И он, кажется, ни на минуту не забывал, что красив. Какие они все же одинаковые, эти красавцы, как все время смотрят в себя и только собой и заняты...

— Старик недоволен!— радостно сказал Дудину Леонид.— Пойдет, пойдет дело!

— Думаешь?— У Дудина было сонное какое-то и несчастное лицо. Он измучился, ожидая этого дня. Дождался и снова начал мучиться.

— Только бы оператор не подвел,— сказал Леонид.

— Валька снимет крепко, я его знаю, он снимет крепко.— Дудин морщился и зяб, сжимая локти, хотя в павильоне было жарко, как в аду.— Эх, надо бы эту сценку поскромнее сделать! Ну чего они столько всего нагородили?

— Точнехонько по сценарию, Василий Павлович,— сказала одна из редакторш сценарного отдела.— Можем проверить.— Это была худенькая, хрупкая девушка с серыми распахнутыми глазами, сейчас очень сердитыми, непримиримыми.— Я же говорила, мы все говорили вам...

— Да нет, нет у меня ничего этого в сценарии!— мучаясь и совсем озябнув, запротестовал Дудин.—

У меня строка какая-то про то, как колхозники встретили казака, а тут...

— И тут строка,— сказала редакторша.— Одна только строчечка: «И грянул той, веселый, щедрый колхозный той». Мы когда с Зоей идем в столовку, имея пятерку на двоих, всегда выкрикиваем эту фразу, эту строчечку. Верно, Зо?

— Верно, Маш,— кивнула другая редакторша, тоже худенькая, только длинная и уже немолодо поблекшая.— Две порции винегрета, два стакана компота и сорок копеек долгу.

— Не может быть, не мог я написать этой фразы!— затряс головой Дудин.— Да мне и важен был не сам той, не все эти яства и наряды, а то, что Джамал и Иван сидят за столом рядом, что русский и туркменка сидят рядом и у нее открыто лицо. Мне это было важно, новизна эта.

— «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».— Маленькая Маша презирала сейчас Дудина и не скрывала этого.— Поглядите, как сидят перед аппаратом женщины из аула. Яшмака у них нет, но они хоть рукавом, хоть краешком платка да прикрывают лица. И это по правде. А у вас...

— Позвольте, позвольте, ведь это же музыкальная комедия!— Дудин не спорил, он самому себе сейчас внушал.— Ведь музыкальная ж комедия. Жанр...

— Суду все ясно,— рассмеялся Леонид.— Суд удаляется на совещание. Пойдем, Василий Павлович, нас Бурцев зовет.

Верно, Бурцев глядел на них и махал, подзывая, рукой.

— Ох, не хочется,— сказал Дудин.

Леонид взял его под руку и повел к Бурцеву и оператору. Там был уже и Денисов. Потянулись туда и актеры. Гуськом, забавно блюдя субординацию, определенную вовсе не сценарием, не размером роли. Впереди шел председатель колхоза, потом дед Джамал, потом отец Джамал, потом артист, игравший казака, потом артист, игравший джигита Халлы, а уже потом — женщины: мать Джамал, ее тетка, Джамал и Зульфия.

Марьям шла пританцовывая, ей все было в радость — сниматься в радость, идти вот к Бурцеву в радость. И она еще и хитрила: она и в перерыве была уже не сама собой, а Зульфией. Она играла Зульфию,

озорную девчонку из колхоза, с ветерком в голове. Прыг-скок, так она шла.

Когда все собрались, когда подошла и Клара Иосифовна, где-то до этого прятавшаяся, Бурцев оглядел всех внимательно, побурчал, побурчал что-то себе под нос и вдруг весьма отчетливо и весьма нецензурно выругался. Фраза была длинной и заканчивалась уничижительным ругательством по адресу самого Бурцева. Мол, провели, такого-эдакого, сунули по ноздри в дерьмо. Выбранившись, Бурцев заметно приободрился, даже повеселел. Он мельком взглянул на жену, она кивнула ему.

— Ладно, будем снимать, как есть! — сказал он и бесшабашно махнул рукой.— Смотрите, сколько глаз на меня уставилось. Надо снимать. А там поглядим, экран подскажет, где ножницами чикнуть. Мне экран нужен для ясности. По местам!

— Вот и весь совет в Филях,— усмехнулся Денисов.

— Не согласны, возражаете? — Бурцев с такой поспешностью обернулся к нему, словно только и ждал, чтобы ему сказали: «Нет, снимать все это нельзя».

Денисов отвечать не спешил. Он повел глазами, пройдя тот же путь, который надлежало пройти аппарату, потом оглянулся на стоявших в дверях студийцев. И все, кто был рядом, так же повели глазами, сперва пройдя панораму пышного колхозного празднества, всех этих яств и фанерного великолепия, и растерянных лиц колхозников, а потом поглядели туда, где стояли зрители, на их лица, в которых все еще жила надежда.

— Писали, строили, собирали на стол — все было терпимо,— сказал Леонид.— Зажили в кадре люди — и все стало невмоготу.

— Справедливое замечание,— Денисов отчужденно взглянул на него.— Да, Александр Иванович, вы правы — надо снимать.

— По местам! По местам!— сразу и радостно прозвучали голоса. И даже в массовке обрадовались:— Снимать! Снимать!

Марьям — Зульфия подпрыгнула, захлопала в ладоши и прыг-скок побежала на свое место. Весело было на нее смотреть.

Пробудился красавец оператор, расплел руки, по-

глядел, не видя, на стоявших у аппарата, презрительно шевельнул губами:

— Прошу местком покинуть площадку.

Прыгающая Марьям, радостные возгласы... На миг Леониду показалось, что все не так плохо. Но только на миг. В этот праздник сверхизобильный и в то, что казак мог пуститься в столь далекое путешествие, и в его любовь к Джамал, и в ее любовь к нему,— нет, в это поверить было трудно.

— Камера! — бодро крикнул Бурцев.

Леонид вышел из павильона. Дудин тоже было побрел за ним, но застрял в дверях. Завораживающий стрекот пленки сковал его движения.

Студийный двор был пуст, все были в павильоне. Пошли, пошли метры!..

Леонид зашагал к себе в отдел, уныло опустив голову. Да, а вышел ли на экран тот сюжет, который тогда сняли они в ауле Багир?.. Ведь нет же, не вышел. А кто отвечал за его выход, от кого это зависело? Во многом и от тебя самого, от тебя, Леонида Галя, выполняющего на студии и обязанности главного редактора хроники. Так почему же?.. На экране, когда подмонтировали все сюжеты для первомайского журнала, когда парад физкультурников, мастерская ковровщиц, шелкоткацкая фабрика, ансамбль дутаристов и танцующие джигиты обступили, навалились со всех сторон на жалкий этот праздник в ауле, где хорошего только и было, что улыбающиеся весне люди, их глаза громадные, в которых ожила надежда,— на экране этот эпизод выпадал из общего праздника, был чужд безоблачному веселью. Материала было много, эпизод легко вынимался, и ты не возражал против его изъятия. Так-то вот... А надо было возражать. Надо было спасти этот эпизод, подобрать ему достойных соседей, пусть не таких нарядных и радостных, но таких же правдивых.

9

Еще не дойдя до своего кабинета, Леонид услышал телефонный звонок. Звонил телефон на его столе. Голос этого телефона Леонид мог бы узнать из сотни. Старичина аппарат, порыжелый, с трубкой раструбом, был мил его сердцу, напоминая детство. Такой же аппарат стоял дома на столе отца. Кажется, в доистори-

ческие времена, лет двадцать с лишним назад. И у того аппарата, как и у нынешнего, был голос старичка из сказки, дребезжащий, слабый и могущественный голос доброго гнома. Всякий звонок и верно бывал чудом. Всякий звонок что-то менял в жизни маленького Леонида. То отец куда-то уходил, послушавшись звонка, и в его комнате все становилось твоим. То звонок возвещал о гостях, а гости — это всегда веселье. То звонок рассказывал какую-то новость, и отец и мама принимались ее обсуждать, и можно было их слушать, как слушаешь сказку, всегда ожидая в конце какого-нибудь чуда.

И сейчас Леонид тоже ждал чуда. Он побежал на звонок, боясь, что старческий голос оборвется, он схватил трубку, чуть не выронив ее, он сразу охрип, еще не сказав ни слова.

— Да, я слушаю.

— Товарищ Галь?— строго, но с мягко-невнятным туркменским «л», спросили в трубке.

Чуда не произошло!

— Он самый.

— Звоню вам сегодня все утро. А вас нет и нет.

Чудак, как это он мог подумать, что Лена вдруг позвонит ему?

— Я был на съемках. С кем я говорю?

— С вами говорят из республиканского министерства культуры. Здравствуйте.

— Здравствуйте. Слушаю вас.

Вот ведь, из министерства культуры тебе звонят, а из министерства просвещения и не думают. Она сказала: «Позвони мне завтра». Он не позвонил, он ждал, что она сама это сделает. С тех пор прошел почти месяц.

— Да, да, я слушаю. Какая статья? О нашей студии? Простите, но зачем вашему министерству понадобилась статья о нашей скромной киностудии?

— Для заграницы,— коротко сказал министерский работник.

— Их это интересует?

В трубке послышался смех.

— Нас это интересует. Мы должны пропагандировать свою культуру, понимаете? В частности, эта статья будет переведена и напечатана для Ирана, для нашего соседа. Теперь понимаете?

— Но студия не так уж хорошо работает, хвастать-то вроде нечем.

— Как нечем? Вы сами говорили, что идут съемки. Каждую неделю я лично вижу в кино вашу хронику. Как нечем?

— Понял, понял...

— Будете писать?

— Нет, не буду. Вот заработаем по-настоящему, тогда и напишу.

— Странный вы человек... Знаете что, заходите ко мне, побеседуем, это все-таки не телефонный разговор. Между прочим, у нас хорошие гонорары...

— Нет,— сказал Леонид.— Статью написать я не могу. Очень, знаете ли, занят,— он повесил трубку.

А все-таки ты, Леня, запальчивый, быстрый на ответ паренек. Мало тебе доставалось? Погоди, еще достанется... Чепуха, ты меня не запугаешь, товарищ начальник сценарного отдела! Погонят с работы? Боже мой, да сделайте милость!

Почти месяц прошел, а Лена не звонит. И ни разу они не виделись. В городе, где труднее не встретиться, чем встретиться. Он тому виной? Нет, он стал с недавних пор там бывать, где прежде бы и по приговору суда не оказался. На лекции о международном положении в Доме учителя побывал. Сидел с какими-то старушками. «А друа и а гош»,— как бы сказал Птицин, глухими. Одна все переспрашивала: «Что, что он говорит?» Другая помалкивала, только не к месту вдруг принималась кивать докладчику или вдруг руку тянула, как в школе. Страшно вспомнить! Он побывал на концерте в филармонии. Оркестр там был такой, что слушать его игру лучше всего было из фойе или с улицы. Но ребята были смелые, играли не иначе как Чайковского, Глинку, Римского-Корсакова. Местный «бомонд» ходил на эти концерты. Что ни говори, а Чайковский, Римский-Корсаков, Глинка! Не в «Фирюзу» же им идти. Чудаки, в «Фирюзе» был Георгиу!

Нет, не было Лены ни в Доме учителя, ни в филармонии, нигде ее не было, будто она уехала из города. Но он знал, она никуда не уехала. Иногда ему казалось, он слышит ее. С кем-то она идет и разговаривает торжествующим, победным своим голосом. Иногда чудилось, что это она свернула за угол. Ему бы пойти на голос, ему бы прибавить шагу, чтобы поглядеть, Лена

ли это свернула за угол, но он всякий раз останавливался и всякий раз кто-то невидимый протягивал к нему руку и тихонько, не больно сжимал ему горло.

Разговор с министерским работником ободрил Леонида. Хорошо совершать хоть крошечные поступки. Тогда можно решиться и на большее. Он быстро снял с рычажков трубку и приложил, прижал к лицу этого гнома с бородой раструбом. Гном окликнул его голосом телефонистки, гном поторапливал его, старичку было некогда. Леонид назвал номер. «Соединяю!» — посулил гном. Не было никакого сомнения, что он решил сотворить чудо, что Лена сейчас окажется на месте и вот прямо сейчас скажет в трубку свое протяжное, самонадеянное, деловитое, насмешливое, ласковое «алло!».

— Алло! — сказала Лена устало и раздраженно.

Леонид помалкивал. Опять кто-то невидимый протянул к нему руку и тихонько, не больно сжал горло.

— Да говорите же! Слушаю вас!

Эта женщина с гневным, с начальственным этим голосом никогда не станет его женой! Нелепо даже надеяться на это. Как он мог только надеяться? Леонид молчал.

— Это ты?.. — Голос у Лены смягчился.

Отозваться, сказать, что да, совершенно верно, это он самый? Но она не назвала имени. Она сказала всего лишь «ты». Этим «ты» мог быть и кто-то другой. Леонид молчал, прижимаясь лицом к своему гному, который сделал чудо, раздобыл ему Лену, но, кажется, на этом и успокоился. Не очень-то щедрый чудотворец.

— Леня, это ты?..

Ага, расщедрился все-таки гном!

— Да, — сказал Леонид. — Представь себе, это я.

Хуже, развязнее, глупее ответить было просто невозможно! Гном, старый друг, будь моим Сирано!

— Ну здравствуй, Леня... А я уж думала, что ты уехал, в свою Москву укатил... Нет, убежал. Как бросился тогда бежать, так до самой Москвы и добежал...

Леонид молчал, ожидая вдохновения. Ну где, где эти слова, которые помогут ему сейчас спастись в глазах Лены?!

— Отвечай же!.. — торопила она его.

— В Москве мне делать нечего, — сказал Леонид. Он начал говорить без всякой надежды, что выпутается.

Просто начал говорить.— Зачем мне Москва, когда в Ашхабаде столько всего интересного.

— Да?..

— Ну, к примеру, побывал я в Доме учителя на лекции о международном положении...

— Да?..

— Потом побывал на концерте нашего замечательного симфонического оркестра.

— Да?..— Всего две буквы в этом «да», а кажется, что много слов, целые фразы, говорящие тебе, что ты не более как мальчишка, а собеседница твоя мудра, снисходительна, терпелива.

— Лена, я хочу тебя видеть.— Спасибо, гном! Наконец-то ты помог найти нужные слова. И какие это простые слова.— Спасибо, старый, мудрый гном.

— Какой гном? — удивилась Лена.— О чем ты?

— У меня в кабинете есть гном,— радостно переведя дух, сказал Леонид. Самое трудное было позади, теперь можно было и помолоть языком.— Знаешь, этакий старичок гном из детства. Твой добрый друг из детства. Двадцать лет его не было со мной, а теперь он тут, рядышком. У него борода раструбом, и он рыжий. Зашла бы поглядела. Кстати, у нас начались съемки. Снимаем фильм под названием «Клюква в сахаре». Очень забавный фильм. Заходи, посмотришь.

— Сегодня вечером я дома,— сказала Лена.— Два длинных и два коротких... Прости, ко мне пришли.

Она повесила трубку.

— Ура!— сказал Леонид и почесал гному пальцем бороду.— Спасибо тебе, мой высокочтимый друг!

— С кем это ты разговариваешь?— В дверях стоял Клыч, его друг. Действительно друг, еще по ВГИКУ, когда Леонид и думать не мог, что судьба сведет их на этой студии. В дверях стоял Клыч, замечательный парень, просто отличный парень. Он был курносый — вот так туркмен... Но он был туркмен, самый настоящий, влюбленный в свой Ашхабад, в свой край родимый. И он был совсем другой здесь, не такой, каким был в институте. Там он был почти русским, здесь стал только туркменом. И строго следил, чтобы быть всегда туркменом. Гордый, сдержанный, даже настороженный и добрый, обескураживающе добрый — на, друг, бери все, что у меня есть. Замечательный парень! Он считал, что нет у него важнее дела, как всякий миг стоять на

страже чести, достоинства своего народа. Не зря же он учился, сын чабана, и доучился до звания кинооператора художественных фильмов. И не зря знал английский, не зря был сильным шахматистом, и не зря был спортсменом — волейболистом и гимнастом. Всем этим он овладел ради своей Туркмении. Замечательный парень! Он был как раз таким сыном своего народа, каким и должен быть настоящий человек, он заслуживал уважения.

— Клыч, дорогой, я разговаривал с гномом,— сказал Леонид.— Прости, ко мне пришли,— сказал он в трубку, нет, трубке и осторожно уложил своего гнома на рычажки, похожие на оленьи рога. Ничего удивительного, гном ездил по лесу на оленьей упряжке.— Клыч, дорогой, я несказанно рад тебе.

— Выпил?

— Да, утром. Два стакана чаю.

— Тогда это от счастья, что начали снимать фильм?

— Садись, Клыч, и не напоминай мне об этом фильме. Говори со мной о чем угодно, только не об этом фильме.

Клыч быстро подошел к Леониду и быстро коснулся пальцами его ладони.

— Спасибо, Леня. Знаешь, я сбежал оттуда. Знаешь, я рад, что не работаю в этом фильме. Сперва обиделся, а теперь рад. Слушай, почему это так? Почему утвердили самый плохой сценарий? Ведь те два были лучше, очень даже лучше. Ты что-нибудь понимаешь?

— Садись, Клыч, садись на диван и давай поговорим о чем-нибудь другом. Не о кино, а о чем-нибудь другом. Ты давно женат, Клыч?

— Два года.

— Мне нравится твоя жена. Ох, прости! Это, кажется, не совсем в ваших обычаях — хвалить чужую жену? Но я хотел только сказать...

— А я понял, что ты хотел сказать. Не оправдывайся.

— И твой сын мне очень нравится. Такой же курносый, как и папаша. Сколько ему?

— Год и два месяца.

— И три дня и пять часов и шесть минут. Ты счастлив?

— Леня, чай был наполовину с араком?

— Даже без сахара, а не то что с араком. Сахар

в нашей колонии имеется только у Руховича. И знаешь, почему?

— Интересно.

— У нас у всех его крадут, а у него нет. Он насыпал свой сахар в банку из-под какао, затем вырезал кружок из бумаги диаметром с банку, написал на этом кружке «Стыдись!» и положил его поверх сахара. И представь, кто бы там ни рыскал в его номере: уборщица, администраторы, полотеры — все до единого стыдятся.

— Среди уборщиц есть туркменки?— насторожился Клыч.— Те, что крадут, туркменки?

— Ну ты хорош! Ты просто великолепен! Тебя это всерьез интересует?

— Всерьез.

— Нет, Клыч, среди уборщиц нет туркменок. Их вообще нет в гостинице, твоих туркменок. И в парикмахерских, и в столовых, и в магазинах. Вы попрятали своих туркменок. Хорошо ли это, Клыч? Скажи, дипломированный деятель культуры, хорошо ли это?

— Хорошо,— убежденно сказал Клыч, убежденно и серьезно.— Мы маленький народ, и наша сила в гордости. Если женщина не горда, у нее вырастет не гордый сын. Женщина не должна быть в услужении.

— А мужчина?

— Мужчина может постоять за себя. У него кулаки. И вообще он мужчина.

— Убедительно. Тысячу лет назад думали точно так же. Тебе, дорогой Клыч, тысяча двадцать пять лет. Скажи, ты не чувствуешь усталости, бремя лет тебя не гнетет?

— Нет. А что, ты прав, Леня. Иногда мне кажется, что я жил давным-давно когда-то. Водил караваны, участвовал в набегах, бывал в Персии.

— И было у тебя четыре жены и дюжина сыновей.

— Нет, не смейся. А тебе разве не кажется иногда, что ты жил на земле и раньше? Ну, в те самые времена, которые тебе особенно нравятся из истории? Какие времена тебе особенно нравятся, Леня?

— Не времена, а люди.

— Хорошо, пусть люди.

— Когда-то я мечтал быть Наполеоном.

— Так. А еще?

— И Александром Македонским.

— А еще?

— Но самой моей заветной мечтой было стать пожарником.

— Ну вот, снова ты все поднял на смех!

— Это я с горя, Клыч. Ведь я так и не стал пожарником. Ну, а Наполеон, когда я подрос, померк в моих глазах. Он был захватчиком, оказывается. И Македонский был не лучше. Подумать только, он даже посмел в Туркмению вступить. Кстати, вы не встречались? Тогда, в бытность твою до нашей эры?

— Нет, с ним нет. Но я гнал его воинов. Я гнал их с нашей земли. Я и горстка моих товарищей. Крошечный отряд. Но мы наводили ужас на завоевателей. Наши кони были быстрее ветра. Наши стрелы всегда настигали цель.

— Помню, помню, мне докладывали о каком-то отчаянном кочевнике из племени теке. Так это был ты?

— Я. Но только из племени иомудов. Нас считают не воинственными, но это не так.

— Верно, из племени иомудов. Да... А потом мы встретились в киноинституте. Помнишь, в коридоре возле лестницы с бронзовыми кентаврами?

— Помню. Ты стоял у стены с Марком Шпильбергом и с ребятами из сценарного, и Марк рассказывал вам свои одесские истории. Я подошел, и ты кивнул мне, чтобы я тоже послушал Марка. Я понял, ты гордишься Марком, тем, как он здорово рассказывает. Слушая его, мы тогда от смеха садились на пол.

— Все-то ты помнишь... Марк погиб в первые дни войны. Хороший был парень.

— Да, очень. Никто не знает, что его ждет впереди.

— Это верно. Но Марк Шпильберг был самый мирный из нас, самый невоенный.

— Интересно, о чем он мечтал в детстве?

— Этого никто теперь не узнает.

— Жаль его. Жаль всех, кто погиб молодым.

— Ага, вот вы где, Клыч!— В комнату быстро вошел Денисов. Повернулся на каблуках, глянул с прищуром в печальные лица друзей.— Кого вы тут оплакиваете, вгиковцы?

— Всех,— сказал Леонид.— Весь род человеческий. Присоединяйтесь к нашему плачу.

— Никогда. Послушайте, Клыч, как вы насчет того, чтобы пойти на картину вторым оператором?

— На какую картину?

— На ту, что снимается.

— Нет.

— Это не ответ, Клыч. У студии одна-единственная картина, вы на студии первый туркмен — оператор с дипломом и правом снимать художественные фильмы. Вам нельзя стоять в стороне.

— Я не собираюсь стоять в стороне. Будет другой фильм, не комедия, и я стану работать хоть ассистентом оператора. Я не понимаю комедий.

— Скажите прямо, вам не нравится этот сценарий?

— Не нравится. Это не про нас. И вообще ни про кого.

— У нас не было выбора, Клыч. Слушайте, если началась атака, пусть даже по-глупому, из-за дурацкой, никому не нужной высоты, солдат не смеет стоять в стороне. А вы солдат, Клыч. И я очень рассчитываю на вас. Этой картине необходим человек, знающий, что к чему, ну, что ли, по-родственному.

— Там таких хватает.

— Клыч, нас тут трое вгиковцев. Мы все товарищи, какого бы года выпуска мы ни были. Я вас прошу, как друга, как вгиковца, идите на картину.

— Но еще вчера об этом не было разговора.

— Этот разговор приспел сегодня. Галь, не отмалчивайтесь. Скажите, будет Клыч полезен там или нет?

— Будет,— сказал Леонид.— Если только сработается с красавцем из Ташкента. Клыч, ты с ним сработаешься, как думаешь?

— Никак не думаю. Зачем мне думать, если я не собираюсь с ним работать?

— Чудачок, но ведь ты уже работаешь. Уже целую минуту как работаешь. Разберись-ка. Во-первых, ты солдат и не смеешь стоять в стороне во время атаки. Во-вторых, ты вгиковец, а вгиковцы — все за одного и один за всех. Сергей Петрович, все более убеждаюсь, что вы прирожденный дипломат. Скажите, Сергей Петрович, о чем вы мечтали в детстве, кем хотели быть?

— Я-то?— Денисов наклонился к Леониду, положил ему руку на плечо, а другой рукой притянул к себе Клыча.— Эх, ребятки, о чем я только не мечтал в детстве! Но, знаете, все какие-то честолюбивые, ненашенские мечты. Я ведь из рабочих, из самых-самых, а мечтал... Так что, Клыч, заметано?

Упираясь, не очень-то позволяя себя обнимать, Клыч медленно, движением скованным и гордым наклонил голову.

— Ягши,— сказал он.— Пусть никто не скажет потом, что Клыч стоял в стороне.

— Эх!— воскликнул Леонид.— Ну какой я начальник сценарного отдела, если у меня нет в шкафу бутылочки коньяку! В Голливуде, например, всякий договор без рюмки просто считается недействительным. Товарищ директор, мне необходим подотчетный коньяк.

— И ящик с сигарами. А что, в моей конторе в Оттаве все это и было. Коньяк, бренди, виски, сигары. Именно так, Леонид Викторович, мы и работали.— Денисов прижмурил свои маленькие, синевой сверкнувшие глазки.— Как же это все далеко сейчас! Просто и не верится, было ли. За морями, за долами...

— Чем вы там занимались, Сергей Петрович?— спросил Леонид. Он давно собирался задать этот вопрос, но все не решался. Было ясно, Денисов не по доброй воле сменил свою работу в Оттаве на работу в Ашхабаде. Да Денисов мог бы и не ответить на вопрос, мог бы отмолчаться. А вот сейчас и спросилось легко и ответилось без труда:

— Торговал, торговал нашими фильмишками, ребятки.

— И все?— невольно вырвалось у Леонида.

— И все,— Денисов улыбнулся, прищурившись до синих лукавых щелочек.— А вам что, тайны мадридского двора нужны?

— Обожаю всякие тайны,— сказал Леонид.— Самому не дано, так за другого бы порадоваться. Жил человек! Повидал на своем веку! Играл в большую игру, в такую, где ставкой жизнь! А?! Верно, Клыч? Недаром же я мальчишкой мечтал быть пожарником. Дом в пламени, крыша рушится, пожарные лестницы и те уже занялись, а я... Да что расписывать, все и так ясно... На десятом этаже в окне показалась девушка. Она заламывает руки, она кричит: «Спасите!» Но нет, даже самый лихой, самый лучший, самый усатый брандмейстер не смеет подступиться к пылающей стене. И тогда я, еще совсем новичок, этакий Гарольд Ллойд, выхожу вперед и... Стоит ли говорить, что девушка спасена, что она влюбилась в меня и настойчиво желает

стать моей женой. Между прочим, самая красивая в городе девушка...

— Ее случайно не Леной зовут? — осторожно спросил Клыч.

— И ты, Брут из племени иомудов?! Кстати, в детстве я еще не прочь был превратиться в Юлия Цезаря. Но в Брута — никогда! А вырос, и выяснилось, что Брут был очень положительный персонаж, что он горой стоял за демократию... Да, Брут, ее зовут Леной. Есть возражения?

— Раз ты Юлий Цезарь, а я Брут, ты все равно не станешь меня слушать.

— Не стану. «Уж иды марта наступили...»

— «Но не прошли!..» — подхватил Денисов, радостно просияв.— Ребята, если бы вы только знали, как мне хорошо с вами! Вот слушать вас, всю вашу разлюбезную сердцу вгиковскую болтовню! Да и комната эта чем-то напоминает мне институт. Тот еще, на Ленинградском шоссе. Могу поклясться, что точно такой же диван стоял в нашем деканате.

— Бог с ним, с деканатом,— сказал Леонид.— А в сценарном отделе студии его следовало бы сменить. Смотрите, товарищ директор, пружины прут из него, как опята из пня.

— Тем лучше, не так авторы будут засиживаться.

— Авторы засиживаются не у меня, они засиживаются в бухгалтерии. Кстати, Сергей Петрович, когда мы начнем платить по договорам с той элегантной аккуратностью, которая и авторов понуждает быть аккуратными в выполнении договорных обязательств?

— Нет, вы не лирик, Галь, вы только внешне похожи на лирика.— Денисов по-мальчишески, с подскоком сел на диван.— Да, точнехонько, как у нас в деканате! И такие же шкафы там стояли с книгами, со всеми этими разрозненными Брокгаузами и Далями. Стойте, стойте, дорогой друг, а не в этих ли шкафах таятся те самые тома, которых недостает в моей энциклопедии?

— В вашей?

— Да, в той, что покоится в шкафах директорского кабинета.

— Так это как раз те тома, которых недостает в шкафах сценарного отдела!

— Ах, так?

— Конечно, так. Сценарному отделу и книги в руки.

В вашем кабинете, прошу прощения, они бутафория, а у меня орудие производства.

— Как, видимо, и диван! — Денисов, смеясь, повалился на диван, закинул ноги на спинку.

— Канада,— сказал Леонид.— Соединенные Штаты. Босс. Бизнес. Вам бы сейчас сигару, Сергей Петрович, а рядом бы столик с виски и с содовой. И готово, снимай кадр из жизни миллионера. Нет, ни в жисть не поверю, что в Канаде вы всего лишь поторговывали нашими фильмишками.

— За кого же вы меня принимаете, сэр?.. — Денисов соскочил с дивана, ловко, упруго оттолкнувшись, будто это был спортивный снаряд.— Решено, сегодня же отстукаем приказ о вашем назначении на картину, Клыч.

Денисов, заторопившись, направился к двери. Тут ему больше делать было нечего. Все, что нужно, он сделал. Он даже сверх дела сделал: не только уговорил Клыча пойти на картину, но и пошутил с парнями, показал, что прост, дружествен с ними, но и от них тоже ждет дружественной поддержки. С порога он улыбнулся Леониду:

— Галь, завтра же пришлю вам все недостающие тома. Ваши, ваши они, согласен.

И ушел, прикрыв за собой дверь спешащей рукой. И вот уже слышен его голос во дворе студии. Распоряжающийся голос. Но никакого крика в нем, никакого начальнического напора. Спокойный, даже негромкий голос человека, уверенного, что его услышат, поймут и сделают все так, как ему надо.

— Молодец! — сказал Леонид.— Крепкий мужчина.

— Что за человек? — спросил Клыч. Он был подавлен, нет, оглушен случившейся в его жизни переменой. Уж очень все быстро сладилось. Пять минут назад он был в стороне, был зрителем и критиком, а сейчас надо было ему изготавливаться и срочно что-то менять в себе, решать для себя, чтобы назавтра встать к аппарату.

Не дождавшись ответа, он побрел из комнаты. У него даже спина была несчастной.

— А все-таки, старик, поздравляю с назначением! — крикнул ему вдогонку Леонид.

Клыч слабо отмахнулся от поздравления. У него и рука была несчастной, когда он ею взмахнул. И дверь

он прикрыл за собой так трудно, словно отправлялся под нож хирурга или к зубному врачу.

А верно, что за человек? За этот месяц Леонид понял о Денисове еще меньше, чем тогда, в первую их встречу. Руководитель — да, и отличный. А каков человек, не разглядишь. И такой и этакий. И простодушный и лукавый. Вдруг вспомнил про институт, вдруг рассказал о своей работе в Канаде. Вспомнил ни о чем, рассказал ни про что. Затаенный какой-то. Может, замерзший? Жила ли в нем обида, потерпел ли он поражение или все было в порядке у него — никак этого нельзя было понять. А интересно бы понять. Человек не пустяковый — это видно, это чувствуется. Чувствуется даже на расстоянии. Эх ты, человекознатец! Чуть задача оказалась потрудней, ты и спасовал. И запомни, заруби на носу, человекознатец, что задачи такие все чаще и чаще станут попадаться тебе на жизненном пути. И твоя Лена — это тоже задачка, ответ на которую ты, оказывается, не нашел, хотя полагал, что тут все просто решается. Стоит только сказать тебе: «Лена, будь моей женой»,— и ответ получен. Ошибся, человекознатец. Мальчишка ты, верхогляд, младший лейтенант — вот ты кто. Младший лейтенант в армии — это что-то очень зеленое, с петушиным срывающимся голосом. Но сегодня у тебя счастливый день, младший лейтенант. Сегодня ты набрался смелости и позвонил ей. Это во-первых. И сегодня ты понял, снова понял, что ничего еще не понимаешь в людях. Критика самого себя — это признак возмужания. Это во-вторых. Ну, а в-третьих, в-четвертых, в-пятых, это то, что она сказала тебе: «Два длинных и два коротких...»

10

Гостиница называлась «Дом Советов», но должна была бы по нынешним временам именоваться Домом кино. Работники киностудии занимали тут чуть ли не весь второй этаж — и с номерами на улицу, и с номерами во двор, и с номерами на остатки крепостного вала, так называемую Горку, где сейчас — на самой вершине вала — разместился летний ресторан под открытым небом. В гостинице жили все приехавшие на съемки художественного фильма, те, кто приехал только на один фильм. Тут обитали и постоянные работники

студии, но недавние, еще не успевшие обзавестись в городе комнатами. Таких тоже было много. И получилось, что в гостинице собралась целая колония кинематографистов. Жили шумно, весело, выручая друг друга деньгами, едой, даже одеждой, не очень-то тяготясь таборным своим бытом. Для большинства он был привычен. Кинематографисты по профессии своей из племени кочевников. То гонятся они за диковинным пейзажем, то за уходящим солнцем, то подавай им снег летом или траву зимой. Собственной травы, собственного снега, своих сосен и берез, что в километре от родной студии, кинематографисту всегда мало. Да и не тот это снег, не та трава, не те березы. Суматошный, непоседливый, со стороны даже смешной народ, эти киношники. Не очень, надо сказать, благополучный и совсем неустроенный народ. А спроси любого, сменит ли он профессию на другую, и услышишь незамедлительно: «Нет, не сменю». Есть в кино громадная притягательная сила. И для лодырей и для тружеников. В чем секрет этой силы, этого магнетизма, сказать не так просто. Кино это кино...

По пути в гостиницу Леонид заскочил в «Фирюзу», поклявшись себе, что лишь наскоро пообедает там. Ничего спиртного, даже пива он поклялся себе не пить. Клятву Леонид сдержал. Уходя, перебросился с Ирой несколькими шутливыми фразами, ставшими обычными у них. Он вроде как бы все еще ухаживал за ней, она вроде как бы все еще ждала, не придет ли он в гости. Это была игра, в которой ставки делаются понарошку, а потому совсем не опасно бросаться дорогостоящими словами.

— Здравствуй, любимый мой человек,— сказал он.

— Здравствуй, родной,— сказала она.

— Ну как ты, Иринушка?

— Спасибо, хорошо. А ты, милый?

— Все занят, занят, но...

С этим «но» Леонид и вышел из зала. Игра продолжалась. Это «но» было посулом. Верно, он занят, очень занят, но ведь когда-нибудь все же выдастся у него свободный вечерок...

Осень стояла на дворе, пришла в Ашхабад наконец осень, пришла прохлада. Температура днем не поднималась выше каких-нибудь двадцати восьми градусов, а вечером было и еще прохладнее. Давно закрылся го-

родской парк — холодно. Кое-кто надел уже пальто — зябко. В Москве при такой температуре люди ходят без пиджаков, а здесь и верно стало как-то по-осеннему неприютно. Но только не для Леонида. Он здесь отдыхал в эти дни, он приободрился, когда спала жара. Вот таким, остывающим от солнца, потускневшим, он и любил этот город. Стало возможным, не жмурясь, глядеть на его улицы, на его дома. Город не так сиял, но у него прибавилось красок, появилась глубина, обозначился горизонт. И дышать в этом городе стало легко, а в воздухе зажил запах московских скверов, запах сохлой городской травы, родной, из детства.

Леонид не собирался задерживаться в гостинице, он хотел лишь переодеться и сразу уйти. К Лене было рано. Он хотел побродить по городу. Найти какую-нибудь незнакомую улицу и медленно пойти по ней, вглядываясь в ее жизнь. И поразмышлять о собственной. Он снова идет к Лене. Что он скажет ей? Надо было подумать, подумать. Побыть одному и подумать. Тогда он пришел к ней, не подумавши, и убежал потом, как мальчишка. Все не так просто, надо приготовиться к трудному разговору. А то опять побежишь, как мальчишка. Смешно, как же это ты собираешься приготовиться? Хочешь какие-нибудь фразы затвердить? Смешно. Ты идешь не доклад делать и не экзамен держать. Ты идешь к женщине, которую почти не знаешь, жизни ее не знаешь, мыслей, а идешь затем, чтобы снова просить ее стать твоей женой. Смешно устроен человек. Он только думает, что обо многом думает. А он не умеет думать и не хочет думать. Вот ты, ведь ты ни о чем сейчас не думаешь, у тебя никаких мыслей в голове. Ты размышляешь, но без мыслей. Тобой не разум движет, а иная какая-то сила. Это и называется любовью? А когда ты ехал сюда, за миг один решив принять это назначение, а тогда что тобой двигало? Ты размышлял тогда? Чепуха! Ты совершал поступок, не размышлял, а совершал поступок. И да здравствуют поступки! Побольше поступков и поменьше самоанализа. Ох, как же ты непоследователен, младший лейтенант! Ведь опять побежишь, сорвешься и побежишь, как мальчишка. Нет, надо думать, думать! Слышишь меня, ты должен крепко подумать, прежде чем постучишь к ней в окно.

— Есть подумать! — сказал вслух Леонид. Но в голове не было ни единой мысли.

Он быстро переоделся, повязал даже галстук, действуя как автомат. Ни единой не было в голове мысли. Он даже не мог бы сказать, зачем это он наряжается. Решил, что так надо, решил — и все тут.

В коридоре, закрывая дверь, он снова прислушался к себе — ни единой мысли. Просто очень хотелось увидеть Лену, вот и все.

В холле его окликнули. Там уже собралась вся бражка, кто-то уже бренчал на рояле. Начинался вечер, предстояло решить сообща, как убить время.

Не поднимая головы, Леонид сбежал с лестницы.

В холле первого этажа его снова окликнули. Нет, он не станет останавливаться!

А в дверях его окликнул горбун привратник, он же чистильщик сапог, он же добровольный гостиничный соглядатай.

— Куда, дорогой? Зачем при галстуке?

— Свататься! — Леонид сбежал по ступенькам пышного подъезда, тесного от колонн.

— И-эх, шутник,— крикнул ему вдогонку горбун.

И на улице его окликнули:

— Леня, постой!

Он не стал смотреть, кто это. Согнув в локтях руки, он побежал. Бежать было легко. И хорошо было ни о чем не думать.

Часом позже, отшагав целую дюжину улиц и ничего, конечно, не надумав за этот час — мыслей не было, их не было,— Леонид свернул на улочку, где жила Лена. Как и обычно по вечерам, здесь было темно и тихо. На сей раз он ничего не спутал, он постучал, как надо. И стал ждать, когда зашуршит гравий во дворе, а потом стукнет засов калитки.

Зашуршал гравий, стукнул засов. Леонид поднял голову, радостно качнувшись вперед. В узком проеме калитки, где Лене всегда было тесно, стояла маленькая, вся в черном фигурка с громадной луной на плече.

— Вы к Лене? — спросила фигурка и поправила сухонькой рукой на своем плече луну, чтобы она посветила ей, помогла разглядеть Леонида.— Лены нет дома. Ее вызвали.

Старческий голос звучал резко, хотя и был тих. Старуха говорила по-русски, Леонид понял ее, и все же он

не сомневался, что она заговорила с ним вовсе не на русском, а на каком-то неведомом, древнем, давно умершем языке. Но он понял ее. И понял, что она говорит ему неправду. В этом древнем языке не все еще умерло, в нем жила неправда, в скриплом голосе жила неправда. Неуловимый звук, которому тысяча лет, лгал совсем так же, и черная фигурка старухи была из тех времен. А он, разве он был не такой же, не тысячелетней давности? Он посмотрел на свою тень, на зыбкую тень, длинную и носатую, ей тысяча лет, не меньше. Он посмотрел на тени домов, слившихся в черную полосу, какая ложится от крепостной стены. Каждый дом крепость, и улица тоже крепость, и город тоже крепость.

Не было смысла спорить со старухой, говорить ей, что Лена сама позвала его — тысячу лет назад такой разговор был бы невозможен. Но можно было стоять и ждать, что Лена все же подаст ему какой-нибудь знак. Он прислушался. Он сейчас так слышал, как никогда за всю свою жизнь. Он, кажется, слышал, как дышат стены.

— Зачем стоишь, что слушаешь? — на своем мертвом языке спросила старуха.— Ее нет дома. Уходи.

Он не двигался. Он слушал, как дышат стены, как спят половицы у Лены в комнате, прижавшись друг к другу, и он мог поклясться, что слышит их, хотя никто не ходил там в комнате, все замерло в доме. И он мог поклясться, что Лена там, что она там, что она затаилась в самом далеком углу, откуда даже до него не доходили звуки.

— Уходи,— повторила старуха и поправила луну на плече, чтобы она лучше светила.

— Почему? — спросил Леонид.

— Ты другой нации,— сказала старуха.

Теперь он все понял! Как же это он позабыл, что он другой нации, другой веры? Как же он посмел прокрасться в чужую крепость?! Стоит только старухе крикнуть, и на него накинутся стражники...

Леонид затряс головой, чувствуя, что сходит с ума.

— Ну и ну! — сказал он и попробовал улыбнуться.— Так какой же это все-таки годик на дворе? Какой же все-таки годик?

— Не шути,— сказала старуха.— Зачем все шутишь? И иди, иди. Лена ушла. Надолго...

Ее мертвый язык был отвратительно понятен.

— Лена дома,— сказал Леонид.— Я вспомнил, на дворе стоит тысяча девятьсот сорок седьмой год. Никакие нации нам не помешают, поверьте мне.

Старуха засмеялась очень тихо и опять как-то не по-нынешнему, а так, как смеялись такие вот старухи много веков назад. Серьезный это был смех. В нем звучала беспощадность.

— Уходи.

Можно было протянуть руку и тихонько отодвинуть старуху в сторону. А потом войти во двор, сделать несколько шагов по его гравию и войти в дом. А потом отыскать там Лену в самом дальнем углу, взять ее за плечи, притянуть к себе и спросить: «Ты что, рехнулась? Что ты прячешься? Разве ты маленькая, кого ты испугалась? И почему?..» Да, можно было все это проделать. Но вдруг не захотелось ни отталкивать старуху, ни разыскивать Лену. Она спряталась, она сама спряталась. Старуха тут не более как вестник беды, говорящий на мертвом, но понятном языке. Очень понятном!

Леонид снова глянул на свою тень. Жалкая, сутулая, хлипконогая тень сама потянула его за собой. «Чего уж, пошли!» — сказала ему тень. И он пошел за ней, дивясь жалкому своему облику, сновавшему впереди него. Но это было не все, унижение его на том не кончилось. Он услышал, как старуха сказала ему в спину:

— Московский кинто.

Старуха сказала это совсем уж тихо, но он услышал ее. И понял, хотя не очень-то точно знал, как перевести это слово «кинто». Бродяга? Забулдыга? Вот именно! И еще и еще что-то такое, что в одно слово не вместить, если следовать точному его смыслу, и вместить, если вспомнить весь разговор и если вспомнить, что где-то в доме пряталась от него Лена, не девочка, совсем не девочка.

Тень, истончившись, рвалась вперед. Но бежать было необязательно. Наивные дураки, забулдыги, неудачники, ну эти, как их — московские кинто? — ходят и шагом.

11

Еще издали донесся до Леонида бойкий голос его дома, к гостиничной суете которого он так привык, что перестал замечать. Уезжая,— а он часто ездил по Турк-

мении,— он сдавал номер, возвращаясь, получал какой-нибудь другой. За полгода Леонид сменил с десяток номеров, но нравилась ему во всей гостинице только одна комната — большая, с балконом на улицу, с коричневой, морщинистой, как ладонь старика, горой вдали, на которую не худо глянуть поутру, когда хмуро на душе. Глянешь на эту горку и вспомнишь, что ты всего лишь миг один во вселенной. Вся твоя жизнь, все твои горести, радости, упования — миг один. И не хандри и не паникуй. Мудрая старческая рука словно предостерегает тебя, встав ребром перед глазами, от излишнего самолюбования. Ведь хандра — это тоже самолюбование, если разобраться.

Ему повезло, сейчас он жил именно в этой комнате. Вот ляжет спать, а утром, только рассветет, выйдет на балкон и упрется глазами в старческую коричневую ладонь. И ободрится. Нельзя, не смеет человек падать духом, когда так мал срок его бытия. Что бы ни случилось с тобой, человек, как бы худо тебе не было, ты живешь — и да здравствует жизнь!

Но зачем же спать, если так? Зачем дарить сну краткие мгновения своей жизни? Тем более что рядом друзья, с которыми можно скоротать ночь. Тем более что ты кинто, а это обязывает. Еще не было Ягве, Иисуса Христа, Будды, Магомета, а уже были бродяги и забулдыги.

Горбун привратник, осклабившись, распахнул перед ним дверь.

— Посватался, дорогой? Когда свадьба?

— Отказала.

— Такому джигиту? Нэ верю!

— Просто спряталась от меня.

— Нэ верю!

Говори о себе правду, только правду, одну только правду — и прослывешь лукавым, уклончивым, даже лживым!

Леонид взял горбуна за грязную, в гуталине руку, посмотрел в стертые его глазки, в темное, в каких-то крапинках лицо.

— А ты поверь, хоть раз в жизни поверь в то, что тебе говорят.

Горбун смутился, стертые его глазки покраснели, и щеки в крапинках покраснели. С ним никто так не разговаривал, никто не брал его за черную руку, так

близко не придвигался к нему. Горбун беспокойно вжал в плечи голову, будто вдвинулся в горб. Он растерялся, он заколебался, он поверил было Леониду и тут же усомнился. Никто не говорил ему правду. Никто и никогда. Он такого не помнил.

— И-эх, шутник! — сказал он и привычно осклабился, недоверчиво, хитро, многоопытно.

Леонид пошел от него, брезгливо неся на отлете руку, только что касавшуюся горбуна. Нашел кому исповедоваться! И прекрасно, прекрасно! Для этой исповеди лучшего духовника не сыскать!

Леонид взбежал на свой этаж, остановился, все еще держа на отлете руку. Пойти, что ли, вымыться? Сунуть себя под душ? Холодно! Он вдруг понял местных жителей, к которым уже пришла осень, которые уже начали зябнуть. И он тоже озяб вдруг. Выпить, что ли?

Он огляделся, прислушался. Всюду знакомые лица, и со всех сторон его окликают радостно, весело, благожелательно. У него много друзей! Ему рады! Все в порядке! Все, стало быть, просто замечательно! Да?..

Он подошел к роялю, за которым сидел Володька Птицин, что-то там такое наигрывая. Не столько пальцы шевелились у него, сколько весь он шевелился. Играл он скверно, утратив почти все, чему учили его в детстве, но играл, подпевая, подпрыгивая и подмигивая, все-таки что-то играл. И под это нечто тут танцевали. Кто как умел и кто что хотел.

Здесь была Марьям и был Денисов. Они как раз сейчас и танцевали чуть в сторонке от других. Танцевала Марьям, Денисов же только следовал за ней порывистым каким-то шагом. А она танцевала. Она сама себе что-то пела, не слушая Володину игру, и была сама по себе среди всех танцующих. Да ей и карты в руки, ведь она была балериной. Но нет, она как-то не по-выученному танцевала, совсем не как балерина. Так, должно быть, танцуют наедине с собой молоденькие девушки, закрыв глаза, запрокинув голову, напрягши руки. Танцуют и мечтают. О ком? О принце, конечно. Об извечном этом принце, у которого может быть какое угодно имя, и звание, и обличие. Для одной это закованный в портупею лейтенантик, для другой — самозабвенно влюбленный в себя актерик с изолгавшимся от игры красивым лицом, для третьей — кто-то еще и для чет-

вертой еще кто-то. Принцев множество, их несметное множество. У Марьям сейчас был принцем Денисов. Это несомненно была игра. Марьям озорничала сейчас, столь явно потянувшись к Денисову, так забывшись в танце с ним, точно никого тут вокруг не было и не было за роялем ее Володи Птицина, жалостно так скакавшего над клавишами. Но это была опасная игра, как всякое кокетство, когда оно такое вот, уже ступившее за черту. А Марьям только и делала, что заступала черту. О, она не думала об опасности! Ведь она сейчас была девочкой, у себя в комнате, перед зеркалом, в мечтах о своем принце. Угловатая, летящая, позабывшаяся. Денисову было невмоготу с ней. Не танцор, по-видимому, он сейчас совсем разучился танцевать. Он только шагал следом за ней толчками как-то, будто спотыкаясь на каждом шагу. И смотрел ей в лицо, в приузившиеся, почти сомкнувшиеся глаза.

Все, кто танцевал, вскоре остановились, разошлись по углам, чтобы поглядеть, как танцуют эти двое. И Денисов было приостановился. Но Марьям не отпустила его. Она просто взяла его за руку и удержала. Он смутился, оглянулся на Птицина. Тот не смотрел на них, единственный, кто не смотрел на них, старательно изображая из себя тапера.

Они опять начали танцевать, эта пара, ступая по невидимой черте, и Марьям то и дело порывалась переступить ее. Она то склоняла к плечу Денисова голову, маленькую, выплетенную косами, с уснувшими глазами. Или вдруг быстро опускала к его руке руку с сухими, даже на глаз горячими пальцами. Или вдруг изгибалась чуть приметно, но так, что жарко становилось глядеть на нее.

Впрочем, что, собственно, происходило? Ну, танцевали. Это ты от своей незадачи стал вдруг таким зорко въедливым. С кем актрисе и кокетничать, как не с директором студии. Кому тут и кокетничать, если не Марьям. А Птицину вольно ревновать при этом, таков уж их удел, этих Птициных.

Леонид пригасил в себе ненужную, неуместную зоркость, этакий мрачный взгляд на самое что ни на есть обыкновенное, и зашагал, вскидывая коленки и махая руками — беспечнее и быть нельзя! — к дивану, на котором восседали старейшины: режиссер Бурцев, оператор-скандинав Валентин Углов и Вася Дудин.

Бурцев по обыкновению несказанно обрадовался Леониду.

— Голубчик вы мой, как мне вас недоставало! — забасил он, норовя даже привстать и так тиская в своей лапище руку Леонида, что хочешь не хочешь, а вспомнишь о бурцевской богатырской стати. — А почему со съемки сбежали? Я приметливый, я все вижу. Не бойсь, склеим, склеим картинку! Не хуже других.— Бурцев поднялся.— Веселитесь, молодые люди, ликуйте, а мне пора ко сну. Старики тем и держатся, что рано спать себя укладывают.

Въедливая зоркость не желала оставлять Леонида. Он и хотел, да не мог не накручивать всяких сложностей. Удручен был чем-то Дудин, это сразу бросилось в глаза. Недоволен, даже сердит был красавец оператор. А Бурцев как-то мельтешил не в меру. Ну ясно, ясно, это все из-за Марьям, из-за ее танца с Денисовым. Мужчины никогда не научатся равнодушно взирать на эдакое.

Гора с плеч, этот танец наконец кончился.

Денисов подошел к ним, виновато улыбаясь и со злыми глазами. Будто уж изготовился дать отпор любой шуточке в свой адрес. Шуточек не последовало. Бурцев, попрощавшись с ним, быстро ушел. Дудин, словно ждал только этой минуты, заговорил с Денисовым о каких то своих предотъездных делах. А скандинав-оператор, когда Птицин радостно заиграл что-то новое, медленно проследовал в угол, где стояла Марьям, и пригласил ее на танец.

Леонид стал глядеть, как они танцуют, приметив, что и Денисов глядит. Слушает Дудина, кивает ему, а сам скосил глаза. Марьям едва можно было узнать. Танцуя с оператором, она была сама строгость. Вот теперь она танцевала по-выученному, приподнимаясь на носках, будто на пуантах. А какое безгрешное, нет, отрешенное было у нее лицо. Что-то она там отыскала на потолке и не сводила глаз с него. Углов, бедняга, танцуя с этой заскучавшей женщиной, излишне начал стараться, выделывая свои па, и хоть и красив он был, хоть и умелым был танцором, а явно растерялся и пал духом.

— Все сделаю, все сделаю,— услышал Леонид голос Денисова, в котором явственно прозвучала счастливая нота. Чем же это так осчастливил его Дудин? Леонид

оглянулся. Ну, конечно, Денисов даже не смотрел на Дудина, вряд ли слышал его.

— Все сделаю, все сделаю,— кивая, говорил он счастливым голосом, неотрывно глядя на Марьям.

А та, вперив взор в потолок, танцевала скуку. Нужны ли слова, когда вот так говорит тело? Актриса, актриса жила в Марьям во всякую минуту ее жизни. Только что была сыграна сценка «любовь», теперь игралась сценка «безразличие». И все это не шутя, самозабвенно. Марьям, милая татарочка, а ты не заиграешься?

12

Леонид на минутку сходил в свой номер, чтобы умыть лицо,— почему-то щеки у него горели и надо было обязательно умыться. А когда он снова вернулся в холл, там все переменилось. Птицин по-прежнему отбывал свою каторгу у рояля, но в холле не было ни Марьям, ни Денисова. А без них и вообще будто бы ничего тут не было. И не понять было, зачем дергался у рояля Птицин, зачем стояли у стен люди. Пусто тут стало. Звуки же, которые извлекал из рояля Птицин, никак не слагались в мелодию, в глупенькую эту танцевальную мелодию. Они криком каким-то были. Сплошным криком, хриплым и надсадным, и две струны в этом крике уже надорвались и вот-вот могли лопнуть. Бедный Птицин, ему надо было помочь.

Леонид подошел к роялю и взял Птицина за руки, оторвал его руки от клавиш. Тихо стало. Но в рояле еще гудели струны, еще помирал звук.

— Где Денисов-то?— спросил Леонид.— Он мне нужен.

— Он занят сейчас,— сказал Птицин, гримасничая губами, и вдруг вскочил.— Но если он тебе нужен, если нужен... Пошли!— И он сорвался с места и побежал.— За мной! За мной!

Леониду тоже пришлось пуститься бегом, чтобы поспеть за ним. Бедный Птицин, он спешил, спешил.

Безмерно опечаленный Рухович, и беспечный, ухмыляющийся Дудин, и торжественно невозмутимый оператор увязались за Птициным и Леонидом. Целая свита теперь была у Птицина. А тот, вертя головой, ходко

шел впереди, как верхнего чутья собака, потерявшая след. Вот забежал в тупик коридора, распахнул дверь на балкон. Темно и никого, только две звезды в небе. Посмотрел на эти звезды, задрав голову, пробормотал что-то, словно пожаловался в небо, и побежал назад, деловитый, оживленный, несчастный. Что-то поманило его издали, какой-то звук. Он ринулся на этот звук, не стыдясь, что выдает себя. Вот оно, настоящее, когда ничего не стыдно, когда только боль, боль, одна только боль живет в человеке. Но, может, и не боль? Может, ни с чем нельзя сравнить это чувство, и только пережив его, поймешь, что это такое? Леониду показалось, что он понимает Птицина. Он и сам напрягся весь, слушая, высматривая, заспешив куда-то, зная наперед, что поздно, поздно, мучаясь от этого знания, падая духом. И не в Птицине было дело, в нем самом, в том, что стряслось с ним самим. Она спряталась от него. Почему? Тетка приказала? Пустое! У нее есть кто-то, еще до него был кто-то? Да, есть, был и есть! Но и это еще не все, не до конца. А что же все?..

Надо было поспешать за Птициным, надо было отвечать на какие-то вопросы Дудина, надо было прислушиваться все время к чему-то — он не мог сосредоточиться.

Вдруг Птицин остановился. Все подошли к нему и тоже остановились. Птицин слушал, вздернув плечо. Совсем рядом где-то звучала патефонная музыка. Пластинка была с трещиной и все подщелкивала, подщелкивала, и Птицин вздрагивал при каждом щелчке. Дудин молча указал ему пальцем на дверь, за которой играл патефон. Дверь была не закрыта, вернее, она была приоткрыта. Дудин подошел к двери, тихонько толкнул ее от себя. Дверь стронулась и стала отворяться, бесшумно, своей волей, как от сквозняка.

— Ну вот,— сказал Дудин шепотом.— Даже и не заперлись. Эх ты, Отелло!

У Птицина расплылись губы в улыбке, он был счастлив, у него щеки обмякли от счастья, рот приоткрылся. И ему ничего не было стыдно, ни страха своего мигом раньше, ни глупого своего от счастья лица. Вот оно, настоящее!

А из-за двери, подщелкивая и становясь все громче, звучал какой-то фокстротик с английскими словечками

про любовь, которые выкрикивали время от времени оркестранты.

Дверь уже отворилась настежь, и Птицин стоял на пороге, а те, кто пришел с ним, стояли за его спиной. В комнате горел свет — все лампы, какие были. Столько света вовсе не требовалось, ведь Денисов и Марьям не книжку читать сюда пришли. А зачем они сюда пришли? Музыку послушать, эту вот надтреснутую пластинку? Да, они слушали ее, но казались оглохшими. Сидели в разных углах комнаты и казались оглохшими. И было ясно, почему они сидели в разных углах и почему нарочно приотворили дверь и зажгли весь свет. Они боялись друг друга, боялись того, что зачиналось в них друг против друга.

Леонид не стал смотреть на Птицина, он знал, что увидит жалкое лицо, что тот так же все понял, как и он. И снова стало невмоготу Леониду, будто он сам был сейчас Птициным. Да он и был им, был, но только на собственный лад. Радуясь, что никто его не останавливает, Леонид заспешил подальше отсюда. Куда? Да куда глаза глядят. Надо было побыть одному, подумать надо было. Исхитриться, изловчиться и додумать все до конца.

Тут под ноги ему легла лестница, и он спустился в холл первого этажа, где не было ни души. Ночь. Все спят. Это и хорошо. Он сможет идти и идти по безлюдным, неосвещенным улицам. Раздумывай, сколько душе угодно, добирайся до истины!

Горбун, спавший возле двери, приоткрыл глаза, пробормотал что-то и снова засопел, по-горбуньи коротко присвистывая.

Леонид тихо повернул ключ, и дверь выпустила его на волю.

В городе было хорошо. Дышалось хорошо. Снова вспомнилась далекая Москва, ночная, в пору ранней осени, когда пахнет жухлой травой, уже прильнувшей к земле для зимнего сна, и пахнет все еще теплой, угревшейся за лето землей. Нехитрые запахи, а без них нет родного города, как нет родного тебе человека, покуда не услышишь его запаха, его дыхания. Это что, звериное? Конечно. Человек — тот же зверь, только иногда несчастнее самого разнесчастного зверя. Потому как человеку приходится думать, думать.

Ушел, отодвинулся родной запах травы, словно брел

Леонид Покровским бульваром и вдруг свернул в Казарменный переулок. Ветер подул со стороны гор, со стороны Ирана. У этого ветра был свой запах, горьковатый, как привкус дикого миндаля. Горьковатый, просто горький, наигорчайший. Ну, чего ты ломаешь голову, друг? Пора бы давно все понять. У твоей Лены есть какой-то именитый покровитель, еще до тебя был, и Лена не решается с ним порвать, хотя и тяготится этой связью, хотя и потянулась к тебе. Не решается?.. Но почему?! Да потому, что ты слаб, друг, немощен защитить ее. Свяжи она с тобой судьбу, конец ее карьере, ее продвижению. Конец, понимаешь? Так что же, ты оправдываешь ее? Нет! Такое нельзя оправдать. Но понять можно. Вот ты и понял...

В горле пересохло от миндалевого ветра, горького и неотступного, как и то, чем полна была голова. Забыться бы! Сглотнуть бы этот ветер, как и эти мысли! Одиночество вдруг показалось невыносимым. Найти бы собеседника, сотоварища — ах, как бы было хорошо!

Леонид остановился, огляделся, ориентируясь. И зашагал, найдя нужную ему дорогу. Он знал, куда идет. Он шел к Ире. Она впустит его, обязательно впустит, если только никого у нее сегодня нет. А если она впустит, он скажет ей: «Ира, будь моей женой». И женится, святая правда, женится! Разведет ее с беглым мужем и женится. Кто бы что бы ему ни говорил о ней. Он женится!

Как быстро проходишь ночью по длинному, казалось, дневному пути. Словно ты легче стал, вот-вот будто полетишь. Шаги громадные, идешь серединой улицы, и летит где-то сбоку твоя рукокрылая тень. Совсем не от века сего тень.

Он пришел. У Иры окно было во двор и потому без решетки. Окно было открыто. Он подтянулся к подоконнику, отодвинул занавеску, ожидая, что сейчас грянет ему навстречу взвизгнувший, как выстрел, лай Макса. Нет, Макс только чуть пискнул и затих. Узнал? Или привык к таким ночным вот шорохам?

— Ира,— позвал Леонид. Он почему-то утвердился в мысли, что она одна в комнате. Тихо было, темно и тихо было в комнате, и шел оттуда чуть слышный запах сладеньких, дешевых духов. Запах одинокой, неприхотливой, чистоплотной женщины.

— Ира, это я, Леонид...

Он услышал, как зазвенели, заскрипели под Ирой пружины. Он услышал, как она встала на пол, нашаривая рукой выключатель. И он услышал, как остановилось у него сердце от всех этих звуков и шорохов.

Загорелась лампа под потолком тускловатым, ночным светом. Ира стояла совсем недалеко от него, наклонясь вперед, всматриваясь заспанными глазами в темноту окна.

— Это кто же? С киностудии?— спросила она. Глаза ее удивленно приоткрылись.

— Да, с киностудии,— сказал Леонид. Он не мог не смотреть на нее, хоть ему и было нестерпимо стыдно. Она была в короткой, выше круглых колен рубашке, прозрачной от бесчисленных стирок, замявшейся на животе.

— Пришел все-таки... Ну, влезай.

— Ира, будь моей женой,— сказал Леонид и перекинул ноги через подоконник.

— Ты это про что?

— Будь моей женой...

— Жених!..— Она оглядела его внимательно, серьезными, проснувшимися глазами. Потом улыбнулась осторожно, страшась морщин.— Не глупи. Спать я с тобой буду, а замуж за тебя не пойду. Ничего из этого не выйдет.— Она подошла к нему, придерживая руками тяжелые груди.— Ну... поцеловал бы хоть меня... женишок...

Часть вторая

ВОТ ОНО — ЧУДО!

1

РАДИО ПЕРЕДАВАЛО: в Москве до тридцати градусов мороза, северный ветер. А почему-то вспоминалось тепло московских квартир, горячий чай вспоминался, когда не удержать в руке стакан, и еще теплое вспоминалось подземелье метро, где всегда можно было обогреться, если уж очень застыл на улице.

В Ашхабаде, в южном городе, в знойном городе, было холодно, промозгло — и на улицах, и дома, и на работе. Жаркий этот город был не приспособлен для

зимы, даже для такой, всего в два-три градуса мороза и с оттепелями к полудню. Казалось, этот город просто знать не желал, что бывает зима. Для него существовала лишь весна, короткая, как юность, громадное лето, как целая жизнь, ну и чуть-чуть еще осень, прикидывающаяся летом. А зимы не было. И потому не было в домах вторых рам, настоящих печей, дуло и с пола и с потолка. И потому не было ни у кого и настоящей зимней одежды, и даже самые солидные горожане смахивали на цыган, которые, как известно, продают свои шубы сразу за крещенскими морозами.

Пожалуй, только в павильоне по-настоящему отогревался Леонид. Здесь вовсю светили маленькие солнца, все эти метровые, пятисотки и трехсотки, все эти прожектора с поплавившимися, будто от жары, линзами Здесь по-прежнему торжествовало лето, ибо снималось лето, то самое лето, которое не успели захватить на натуре. Прожектора грели воздух, синее небо на полотне задника и зеленые горы из картона грели душу. Правда, пронзительно дуло от дверей и удушливо воняло углями, но все-таки это было лето.

И какое-то летнее же, праздничное, чуть ли не курортное легкомыслие жило тут. Смеялись громче, чем надо бы, кричали, а не разговаривали, возбужденные у всех были лица. И курортная жила тут сутолока, бестолковщина. Но метры все-таки шли, полезные метры шли, и это было главным. Тут все были болельщиками, из тех, что уже не смотрят на игру своей команды, а только ждут результата, гола и этим и живут, позабыв о самой игре, зажмуриваясь даже, если гол угрожает своим воротам. Да, люди зажмуривались тут, гнали, гнали полезные метры. И... надеялись на чудо. Вот отснимут, подложат все по порядку, прикинут, подрежут, перемонтируют — и фильм родится. Не бог весть какой, а может, и хороший. А вдруг да и хороший! Ведь монтаж чудеса творит в кино, а Бурцев в этом деле смыслит. Старая школа, эйзенштейновская, кулешовская. И он смыслит, и его режиссер по монтажу Григорий Рухович смыслит, не зря же его выписали из Москвы. Хорошо снимают и операторы Углов и Клыч. Ничего, вот увидите, такой еще сладится фильм, что и премию получит...

Сегодня с утра съемок не было, сегодня утро было

отдано на просмотр отснятого месяца полтора-два назад материала, который посылался на проявку в Ташкент — своя лаборатория с этим не справлялась. Начерно подложенный, с цифрами и крестами на стыках и без звука, материал этот должен был зажить на экране, даря своим творцам либо надежду, либо уныние. Тут уж жмурься не жмурься, а что-то увидишь.

В маленьком просмотровом зале собрались только руководители студии и главные творцы фильма. Все сели за микшером у стены. Здесь, кажется, было чуть потеплей. А вообще-то холодно, промозгло было в просмотровом зале, словно то был громадный и сырой вокзальный зал ожидания. А поезда нет, он опаздывает, и не у кого спросить, когда он будет.

— Начинаем, с божьей помощью? — сказал Денисов и вопросительно глянул на Бурцева. Даже такую малость, как команду о начале просмотра, мог сейчас отдать только он.

— Что ж, начинайте, начинайте,— завозясь в тесном для него кресле, вялым голосом отозвался Бурцев.— Смотрите, если не лень.— Он почти сполз с сиденья, откинулся головой на спинку, похоже, он решил вздремнуть.

Углов, сидевший на микшере, нажал кнопку, и в зале медленно стал пригасать свет.

Эту минуту, меньше чем минуту, когда гаснет в просмотровом зале свет и в темноте, пошуршав, разгорается луч проектора и вспыхивает экран, каким-то чудом превращаясь из большой белой тряпки в громадное и глубокое пространство жизни,— этот миг перед началом чуда, имя которому кино, Леонид так и не научился встречать без волнения. Казалось бы, сколько уж тысяч раз наблюдал он, как гаснет свет и начинает мерцать экран, пора уж привыкнуть, но нет, он не мог привыкнуть и всегда подбирался, всегда ожидая: сейчас, сейчас! Экран был не щедр, он редко дарил счастливое чувство изумления перед талантом, то необыкновенное чувство, когда ты и сам становишься шире, талантливее, добрее. Экран был не щедр на такие подарки, но если уж он дарил, то не было большей радости для Леонида. Он любил кино, он с малых лет любил кино, еще когда оно немым было и с экрана робко и ласково улыбалась ему Мэри Пикфорд, ему одному только, и был его героем побеждавший всех на

свете Дуглас Фербенкс, и был его печальным и мудрым другом смешной, жалкий, со спадающими штанами большеглазый человечек.

На экране в праздничном убранстве возник городской стадион. Ага, это начинался эпизод колхозных скачек, где хрупкая Зульфия чуть что не обскакала прославленного джигита из России. Только ничтожные полкопыта уступила девушка на финише мужчине. Вот она какая, наша Зульфия!

Неважнецкий городской стадион с обшарпанными скамьями, с дырявой оградой и полем в рытвинах стал на экране неузнаваемым, выряженный транспарантами и флажками, ловко позакрывавшими все его дыры. Мчались лошади, кричали зрители, лошадиные громадные глаза таращились, вырастая во весь экран, и орали рты, молодые и старые, тоже распахнувшись во весь экран. А звука не было, шло немое кино, и домысливалось все, как в немом кино. Что это с людьми? Отчего так надрываются они в крике? Беда какая-нибудь? Или радость великая? И отчего так затравленно таращатся кони? Наводнение? Землетрясение? Да нет же, это всего лишь Зульфия почти нагнала русского джигита.

Откуда-то сбоку выскочили конь и всадник. Вдвоем они перепрыгнули монтажные кресты и зажили отдельно от этого эпизода, как бы вырвавшись на свободу.

— Не придумал еще, куда сунуть этот дубль,— сказал Бурцев и сел в кресле попрямее, вот только теперь заинтересовавшись происходящим на экране.— Помните, это когда конь взбунтовался.

Леонид вспомнил: этот кадр тогда на съемках был последним, кажется, седьмым по счету дублем. Восьмой дубль оказался роковым для всадника. Конь взбунтовался. Не помогла никакая выучка. Коня приучили к седлу, к человеку, ко всяческому аллюру, и это было разумно. Но на съемках от него потребовали бессмыслицы. Когда он втягивался в бег, его начинали придерживать, он шел ровно — его заставляли скакать. Ему издергали губы, вздыбливая. И затем лишь, чтобы другой конь, на котором сидела Зульфия, да не конь, а робкая тихоходная кобыленка шла с ним вровень и даже впереди него.

Конь взбунтовался. Он забыл выучку. Он осата-

нел от нелепых к нему требований и вышиб из седла своего жокея, мастера спорта, которого, может быть, и любил, но в котором изверился. Мастер спорта, дублировавший актера, игравшего казака, но не умевшего ездить верхом, неловко упал и дико закричал от нестерпимой боли, от обиды, от страха, что станет калекой. Конь тотчас встал возле него, опамятовавшись. А Углов снимал, он знал свое дело и снимал, не паникуя, толково, не забыв и про наезд крупным планом на вопящего жокея. Отличный получился дубль. Жаль только, что не пригодится. Дублер не должен был падать, а падая, не должен был показывать лица, ведь он только со спины был похож на актера, игравшего казака.

— Ничего, сунем куда-нибудь,— бодро сказал Бурцев.— Падение и крик, конечно, отрежем, а бунт коня вышел здорово. Взбодрит эпизод.

— Этот бунт обойдется нам в копеечку,— сказал Денисов.— Дублер все еще в больнице. Да и парня жаль.

— Взбодрит, взбодрит эпизод,— как бы не слыша директора, оживленно повторил Бурцев.— Нет, мы этот дублик приспособим, мы ему местечко найдем.— И вдруг повернулся к Денисову, да так резко, что заскрипел, качнувшись, весь ряд.— А меня вам не жаль, Сергей Петрович? А меня, старика, полагаете, не вышвыривают из седла, заставляя снимать этот фильмик? Хорошо еще звук не подложен, все эти песенки, все эти сопли-вопли. А я не конь, я поддать задом не могу. У меня зад для этого робкий, не раз, знаете ли, поротый!

Замолчал. Отвалился на спинку кресла и засопел с присвистом в нос, не то заснув сразу, не то задыхаясь от ярости.

На экране тем временем день сменился ночью, и луна поплыла по небу настоящая, но будто из фольги. Дувал, возле которого стояла Зульфия, тоже был настоящий — этот эпизод снимали на натуре. Леонид хорошо помнил, как его снимали, но и дувал теперь показался ему ненастоящим, а павильонным, не из остойчивой глины, а из тряской фанеры. Не верилось тут ни во что. Не было звука, но Зульфия раскрывала рот, она пела, и это вот, что девушка поет ночью, что пришла на свидание и поет, ничуть не страшась осужде-

ния односельчан,— это и было главной неправдой, делавшей ненастоящей даже настоящую луну.

Зульфия попела недолго и стала слушать, что говорит ей молодой казак, жених ее подруги, которого коварная Зульфия решила влюбить в себя. Просто так, забавы ради. Казак говорил, но не было звука, и было смешно смотреть, как дергается во все стороны его рот, и было ясно, что казак произносит какие-то совершенно невозможные для него слова, длинные и безжизненные, как холодные макароны.

Трудно было узнать в Зульфие Марьям. Куда девалась в ней актриса, ее страсть к игре, так владевшая ею во всякую минуту жизни? Она увяла, ей было нестерпимо скучно. Она знала столько про любовь, что эта сценка у дувала, это гримасничанье про любовь, всего только вгоняла ее в сон. «Проснись! — говорила она себе.— Проснись! Вспомни!» И тогда ее лицо оживлялось на миг, но, оживляясь, все равно оставалось чужим, далеким этому фильму, жило собой, в себе.

Леонид вспомнил, как бился с ней в этом эпизоде Бурцев. Он умолял, он бранился, он сам показывал и казака и Марьям, препотешные выкидывая коленца,— Марьям спала. Наконец старик подошел к ней и шепнул ей что-то на ухо, скорее всего что-то уж такое соленое, что даже режиссеру не дано оглашать громким голосом. В режиссерском методе Бурцева эти словечки на ушко занимали не последнее место. И часто помогали. Помогли и на сей раз. Марьям глянула на старика, бывало приузив глаза, усмехнулась, развеселилась.

И как только начался на экране этот дубль с повеселевшей, заигравшей Марьям, так стих в кресле, перестал высвистывать носом Бурцев. Пробудился или отдышался — пойми его.

— Это подойдет,— сказал он.

Марьям играла, перебарщивая, уж очень завлекая; никакой она сейчас не была сельской девушкой, а была городской потаскушкой, развязной и многоопытной. Марьям забавлялась.

— Не то, не то! — громко сказал Денисов, и Леониду показалось, что он увидел в темноте, как Денисов болезненно поморщился.— Грубо! Ведь грубо же!

— Ничего, подойдет,— повторил Бурцев, и Леониду показалось, что он увидел лукавую его усмешечку.— Зритель это любит, мужчины такое любят. Эпизод для

мужской части рода человеческого.— Старик, должно быть, перестал улыбаться, вновь засвистав носом.— Надо же мне было чем-то взбодрить этих лунатиков!

На экране замелькали кресты, цифры — пленка кончилась. В зале зажегся свет.

— А впрочем, это еще черновик, черновик,— сказал Бурцев, быстро поднимаясь, так что качнулся весь ряд кресел. Он зашагал к выходу, решительно отмахиваясь рукой от каких-либо разговоров.

— Конечно, черновик! — обрадованно подхватил кто-то.

Все столпились у дверей, торопясь выйти, чтобы отрешиться от увиденного, чтобы не затеялся разговор, чтобы можно было опять зажмуриться.

2

Выйдя из зала, Денисов, оглянувшись на Леонида, взял его под руку, когда тот подошел, наклонился к нему, готовясь что-то сказать, но только зло сжал губы, будто на лету яростно прихлопнув какие-то яростные же слова.

Молча срезали угол двора, все так и идя рука об руку, со склоненными друг к другу головами, словно мирно беседуя. Молча прошли коридором студии, пересекли приемную, где было людно, Денисова ждали, и наконец очутились с глазу на глаз за обитой клеенкой дверью директорского кабинета. И тут Денисов дал волю прихлопнутым словам. Он их выстанывал, эти слова. Он, как от адской зубной боли, все время был в движении, приваливаясь животом на стол, садясь и сразу вскакивая, чтобы косо прошагать из угла в угол, запинаясь о стулья.

Леонид помыслить не мог, что этот сдержанный, лощеный человек способен так браниться, что и он бессилен бывает уследить за собой. Леонид глядел на метавшегося Денисова и добрел к нему, увидев по-новому отомкнувшимся, павшим духом. Всегдашняя победоносность оставила Денисова. Этот человек страдал, едва не плакал. И он все твердил, какие бы ругательства ни заплетая, он все выкрикивал единственное и самое главное бранное и горькое сейчас для него слово:

— Дрянцо! Дрянцо!

Леонид понимал: Денисов взорвался из-за многого, дошел человек, но это вот «Дрянцо!» — это было о Марьям. Там, на экране, в сценке той при луне Марьям оскорбила его, он что-то гаденькое узнал про нее. Сам узнал, не с чужих слов.

Денисов чуть поуспокоился, вернее, чуть поутихла в нем боль. Он заговорил тише и не бранясь. Тише и глуше, но и памятливее к сказанному. Он снова становился самим собой. В гневе он был молод, растерян, обидчив, жалок даже. Поуспокоившись, он стал опаснее, злее, он вернулся во взрослость. И губы, глаза — все лицо его вернулось во взрослость, сжалось, отвердело. Он твердо уселся в свое древнее с резной спинкой кресло, твердо выставил на стол локти, почти не разжимая губ, жесткие, припечатывающие стал цедить слова:

— Старый хитрец! Взбодрить! Чем? Танцем живота? У-у, кудрявый умелец!

— А что, Сергей Петрович, что, если нам самим забить тревогу? —спеша и загораясь, предложил Леонид.— Не выходит, мол, фильм, и все тут. Художественно несостоятелен. Бились, бились и... — Леонид еще не договорил, а уже понял, что предлагал невозможное, что зелен его совет. И он скомкал, сжевал последнюю фразу.

— Мы на крючке, Леня, мы на крючке,— Денисов выметнул вперед руку, согнув крючком указательный палец. Усмехнулся, тонкие разняв губы.— Ведь пошли, поползли первые метры. Клюнула рыбка! Деньжонки пошли, план, сроки. Подсекли! И ждут теперь наш фильм, пишут о нем. Мы на крючке! Вот как это делается. Ну а вскоре и на бережок нас шмякнут. Что за улов? А, пескарь паршивый! Отдать его кошке! — Денисову вдруг судорогой свело плечи.— Дрянцо! Дрянцо! — Он вскочил, собираясь, кажется, опять забегать по кабинету.

Ему помешали. Приоткрылась дверь, и в кабинет просунулась голова — поповская шапка сивых волос и округлое, маленькое под этой шапкой, с деликатной улыбочкой лицо. Пошире открылась дверь, и встал на пороге щупловатый, в аккуратном, мальчикового размера и кроя костюме мужчина лет под пятьдесят. Он был сама деликатность, он в кабинет ступил осторожненько, он вкрадчиво, застенчиво улыбался. Только вот на Ксе-

нию Павловну не обращал никакого внимания, хотя она тянула его за рукав обратно в приемную, шепча возмущенно:

— Да ведь заняты же, заняты!

— Ничего, меня примут. Сергей Петрович, ведь примете?

— Прошу, — Денисов стал посреди кабинета, разбежливо наклонившись к посетителю. — Но почему, Илья Зотович, вы все еще на студии? Об этот час вам бы надлежало быть в Красноводске и готовиться к съемкам.

— В том-то и дело, в том-то и дело...

Илья Зотович, прежде чем продолжить разговор, глянул на Леонида, ожидая, а не уйдет ли тот, понял, что не уйдет, и, вздохнув, примирился с этим, оглянувшись на дверь, чтобы хоть Ксения Павловна ушла. А когда та ушла, он вернулся к двери и потянул ее на себя, проверяя, не осталась ли щель.

— Опять какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства? — спросил Денисов.

Леонид отвел глаза, таким злым стало лицо Денисова.

— В том-то и дело, в том-то и дело... — Илья Зотович не замечал директорского гнева, вернее, не пожелал заметить. Он верил, что с ним обойдутся наилучшим образом. — Нельзя мне туда ехать, Сергей Петрович. Никак нельзя.

— Это почему же?

— Лютые ветра сейчас в Красноводске. Каспий штормит.

— И никто не работает?

— Отчего же, работают.

— И нефть качают, и зверя морского бьют?

— Приходится.

— Вот и снимите, как людям приходится. Вы оператор хроники. А ветер и шторм на Каспии — это тоже хроника. Не так ли?

— Я с первых дней работаю на студии, Сергей Петрович. Два десятка лет...

— И что же?

— Мне видней, простите, что снимать и когда.

— Видней... Упустите событие, ради которого и стоило ехать, а потом начнете все это восстанавливать. Хороша хроника! Людей обрядите в новые спецовочки,

разучите с ними каждый жест, взамен ветра, чтобы взбодрить эпизод, пригоните ветродуй. Так, что ли?

Илья Зотович, склонив покорно голову, терпеливо слушал. Всем видом своим он показывал, что не собирается вступать в дискуссию, а пришел сюда лишь затем, чтобы отменить командировку, поскольку там, куда он должен был ехать, разгулялась непогодь. В непогодь же он работать не желал.

— Так, что ли? — переспросил Денисов.— Ветродуй, спрашиваю я, вам понадобится, чтобы взбодрить эпизод?

— Может, и понадобится, — миролюбиво откликнулся Илья Зотович. В своем мальчиковом спортивном костюмчике он и впрямь походил на засмущавшегося мальчугана, только отчего-то с седыми космами. И вот этому седому мальчугану сейчас предстояло выслушать такое, что не приведи господь. Леонид напрягся, ожидая взрыва, — ведь Денисов давно уже выдернул предохранительную чеку, ведь взрыв уже блеснул было в его утративших синеву глазах. Взрыва не последовало. Разве что он таился в самих словах, произнесенных тихо:

— Прошу вас, сейчас же на вокзал и любым поездом, хоть товарным, в Красноводск. И чтобы завтра же приступили к съемкам. Все! — Только это «Все!» прозвучало чуть погромче, вырвавшись из придушливого плена. И, пожалуй, это «Все!» и задало тон дальнейшему. Взорвался Илья Зотович. Тоненьким вдруг голоском он принялся выкрикивать:

— Не забывайте, что я заслуженный деятель искусств республики! Вы тут без году неделя директор, а я восемнадцать пересидел таких, как вы, и девятнадцатого провожу!

— На вокзал, на вокзал, уважаемый деятель искусств. Согласно командировочному предписанию. — Денисов подошел к двери и распахнул ее, с любезной улыбкой обернувшись к оператору: — Прошу вас на вокзал.

Илья Зотович замер, захлебнулся, такими обидными показались ему слова и действия директора.

Ничего более не сказав, Илья Зотович заспешил к двери. С порога обернулся и пальцем погрозил Денисову. И невелика фигура, и жест смешной, а Леониду сделалось не по себе. Уж очень серьезен был Илья

Зотович, когда тряс пальцем. Дверь тихонько затворилась за ним, ну и вся история. Вся ли? Это еще как знать...

Денисов вернулся к своему креслу, неловко осел в него, шумно вобрал и выпустил воздух, как бегун после финиша.

— Лентяй и бездарь! — устало сказал он. — А что, и проводит. И девятнадцатого и двадцатого. Есть в таких людишках какая-то непонятная мне сила, живучесть. Заявленьица еще начнет строчить, вот посмотрите.

Зазвонил телефон, один из двух — Денисов оставил после своего предшественника только два аппарата из четырех, но оба зато действовали. Как раз зазвонил и второй. Улыбнувшись, Денисов с удовольствием вслушивался в веселый перезвон телефонов. Эти звонки обрадовали его, суля что-то новое, отвлекая, зовя к деятельности. Выждав немного, он разом поднял обе трубки, поделив между ними свое внимание.

— Да, да! — И стал слушать, разно откликаясь улыбкой и глазами на то, что услышал, работая сразу на двух собеседников. С одним он соглашался, другому возражал, с одним был добр. с другим суховат, и это было нелегко, если помнить, что он слушал обоих сразу, а отвечал каждому порознь. Но Денисов весело, артистически справлялся с этой работой. Леониду было радостно смотреть на него.

Один из звонивших вскоре попрощался, но тут же, только Денисов опустил трубку, раздался новый звонок. Денисов с готовностью снова поднял трубку, его забавляла эта игра.

— Слушаю вас, — сказал он новому собеседнику.— Так и порешили, — сказал он старому собеседнику, добро улыбаясь обоим. И вдруг лицо его напряглось, ужалось, заново становясь злым.

— Да, Марьям, — сказал он новому своему собеседнику. — Ну, что тебе? — А про старого собеседника он просто забыл, отвел руку с трубкой и напрочь забыл.— Да, Марьям, я слушаю, слушаю. Да, смотрел. Как у тебя получилось? — Денисов сморщился, наваливаясь грудью на стол, будто снова схватила его боль. Он встретился глазами с Леонидом. Глазами же о чем то спросил его. Леонид не понял, о чем. Совета его спра-

шивали, мнения? На всякий случай Леонид подсказал, смалодушничав:

— Ничего получилось.

— Вот Галь говорит — ничего получилось. Да, у меня. Хорошо, позову. — Денисов опустил трубку на аппарат. Вспомнил про другого своего собеседника, хотел было продолжить с ним разговор, но передумал и тоже опустил трубку. — Леонид Викторович, Марьям приглашает вас на завтрак. — Денисов неуклюже выбрался из-за стола, неуклюже ступая, подошел к Леониду. — Пошли, Леня, расскажите ей, как она играла замечательно. Я не могу.

— Пойдемте.

3

Снова путь через студию, через студийный двор. И снова молчком. Денисов так ушел в свои мысли, что Леонид не решался с ним заговорить.

Следом за выезжавшим грузовиком они прошли в открытые ворота, и вахтер Фаддей Фалалеевич, как швейцар, придержал створку ворот для Денисова. Для Галя он тоже придержал ворота, но уже не рукой, а ногой. И в этом было то различие, какое и должно было быть: для директора одно уважение, для начальника сценарного отдела другое.

Идти было недалеко. С месяц назад Денисов уехал из гостиницы, заняв освободившуюся квартиру своего предшественника. Кстати, и Галь тоже жил теперь не в гостинице. Ему сняли маленький домик в одну комнату, притулившийся на обширном дворе рачительного осетина, который построил этот домик рядом со своим большим домом, чтобы отделить женившегося сына. Таков был обычай у них, у осетин, отделять молодоженов. Но сын вскоре уехал с женой из города, и домик молодоженов опустел. Он находился совсем рядом со студией и всего за квартал от дома Денисова. Впрочем, Леонид, почти месяц соседствуя с Денисовым, ни разу не побывал у него. Без приглашения заходить было неудобно, а Денисов не приглашал.

— Устроюсь окончательно, обживусь, — говорил он, — вот тогда уже и позову вас к себе.

Но дело, конечно, было не в устройстве дома. Леонид отлично понимал, почему Денисов не зовет его к

себе. У Денисова — и это знали все на студии — с недавних пор поселилась Марьям. Как? Да возможно ли? А Володя Птицин? Ведь они были... Да, возможно, оказалось, что возможно. Ну и что ж, что Володя Птицин существует на свете, ну и что из этого? И что из того, что они были еще недавно как бы мужем и женой? А вот теперь как бы мужем и женой стали друг для дружки Денисов и Марьям. Всякое случается. Все возможно.

Это началось у них с того вечера, с того самого вечера, когда Леонид увидел их танцующими. Тот вечер был из запоминающихся пожалуй что на всю жизнь. В тот вечер и у Леонида многое поменялось в жизни. В тот вечер и в ту ночь. Как? Да возможно ли? Восклицайте, восклицайте, изумляйтесь сколько угодно. Да, возможно. С того вечера Леонид стал жить с Ирой, с буфетчицей Ирой, женщиной лет на десять старше его и не его, как принято говорить, круга, с женщиной, которой были чужды его дела, а ему ее. И все же так получилось, та первая ночь стала для них не единственной. Они не появлялись нигде вдвоем — каждый посвоему стыдился этой связи, — но по ночам они частенько бывали вместе, не любя любя друг друга. Для обоих этот союз был полустанком, временным обиталищем. Каждый ждал чего-то иного для себя, чего-то своего, устойчивого. А пока что...

Да, ну а как же Птицин и Марьям и Денисов? Что-то непонятное свершилось в отношениях этой троицы. Непонятное для Галя. Что ни говори, а он был еще слишком молод, он не умел еще многому из жизненных явлений найти свое место. Но его страшно интересовало, что же у них там происходит. И больше всего интересовал его Птицин. Тот, казалось, примирился со своей участью. Казалось, он вовсе и не любил Марьям, и когда она ушла, ничего с ним особенного не стряслось. Он не запил, он не уехал, его даже не оставила обычная чуть ироничная веселость. Загадка! И еще большая загадка: Птицин не сторонился Денисова, Марьям. Их часто видели втроем. Похоже было, что Птицин подружился с Денисовым.

Леонид ничего не понимал. Ему что-то объясняли, на что-то намекали, но он все равно ничего не понимал. А хотелось понять, важно было понять. Для себя! Мир ширился, мир затуманивался перед глазами. Много

сложного, много скверного, много темного утаивалось в том жизненном тумане. Надо было понимать, понимать, понимать... И вот он идет в дом к Денисову, идет, приглашенный туда Марьям, ведомый самим Денисовым. Чудеса! И они проходят той самой улицей, на которой еще недавно жил у Марьям Птицин, где Птицин и сейчас живет, Марьям уступила ему эту комнату. Ну и ну! И они соседи почти, Марьям с Денисовым и Птицин. Вечерами они вместе — об этом говорит вся студия, это так. А потом Птицин уходит к себе. Он остается один в своей комнатенке. И он не спивается там, не пытается повеситься. Проходит ночь, и он появляется в студии, веселый, бодрый. Разве что никому в глаза не глядит. Только разве что это.

— Пришли, — сказал Денисов.

Он отпер калитку в ограде, которая, как и у большинства домов на этой улице, была продолжением стены дома, шла вровень с крышей. Поэтому и не понять было с улицы, велик ли сам дом. Он смотрел на улицу всего двумя зарешеченными окошками.

Вошли. Так оно и оказалось: со двора дом производил куда более внушительное впечатление. Он был как бы обращен лицом во двор, а сам двор, отгороженный от соседей высоченными стенами, был как бы продолжением дома. Леонид привык уже к подобной архитектуре, она здесь называлась персидской. По-видимому, такой дом понравился бы и англичанину, провозгласившему: «Мой дом — моя крепость». Да, это была крепость, маленькая крепость в тесном ряду подобных же крепостей. И она укрывала семью и прежде всего женщин от дерзких взглядов куда надежнее, чем паранджа. Во дворе такого дома можно было ходить хоть голым, ни соседи, ни с улицы тебя не увидят. И двор такого дома не был в обычном смысле двором, конечно же он был продолжением дома, в нем разрослись деревья, дававшие тень, тенистой аркой переплетались виноградные лозы, журчал крохотный фонтанчик, роняя ломкую, скупую струю в крохотный, размерами с таз бассейн.

— Восток, восток, — сказал Леонид, останавливаясь и оглядываясь. Ему нравились эти дома с потаенным своим миром, из «Тысячи и одной ночи» дома. Стоило только переступить порог такого дома, войти в его двор, как тотчас перед глазами возникали картины-тени,

будто наяву начинал жить какой-то из детства сон. Из сказки сон. И виделись в том сне закутанные с головой женские фигуры, наклоненные в стремительном легком шаге, пугливые, с вдруг мелькнувшими прекрасными глазами. А в шорохе фонтана слышалась музыка — незнакомая, диковатая, но словно и родная, некогда, давным-давно когда-то слышанная. Восток, восток... Ведь и он был с востока, если отбросить в сторону, скажем, тысячу лет. Да и что они значат, эти десять столетий, если вспомнить о вон тех горах вдали, которые и тогда были все теми же самыми.

— Хорошо у вас тут, — сказал Леонид.

— Верно? — Денисову тоже у себя нравилось. Он еще не привык к своему дому, и он тоже остановился, оглядываясь, находя, должно быть, все новые и новые милые глазу уголки.

Даже зимой двор-сад не обезлистел, все только выжелтилось, подсохло, утихло ненадолго. Здесь жила осень, а не зима, и даже виноградные гроздья кое-где сохранились на самом верху, куда не дотянуться рукой.

Из дома в накинутом на голову платке, который укрывал и всю фигуру, вышла женщина. Она не заспешила навстречу Денисову. Она остановилась за столбиком открытой широкой террасы, прячась за этим столбиком, ведь в дом пришел посторонний. Сон стал явью, Леонид загляделся на эту женщину, кутавшуюся в платок, боявшуюся выставить вперед и кончик туфли. Кто такая? Откуда она здесь?

А Денисов уже шел к ней, забыв обо всем на свете, как слепец, тыкаясь о деревья. Бог ты мой, да это Марьям! Она подняла руку, нещедро приоткрыв навстречу Денисову свое громадноглазое лицо. Но у Марьям никогда не было таких громадных глаз. Выходит, что были. Это была Марьям, но только не нынешняя, а женщина из минувшего, из какого-нибудь до нашей эры столетия. И глаза у нее под платком были или казались, а это одно и то же, громадными, как у женщины из восточной легенды.

Леонид несмело двинулся к террасе. Марьям не замечала его, не отозвалась на его поклон. Она была строга и с Денисовым. Она лишь подождала, когда он подойдет, и тут же, гибко уклонившись от его рук, ускользнула в дом.

— Марьям! — каким-то не своим голосом позвал ее

Денисов. Он обернулся к Леониду, огорченный, пристыженный. — Ушла. Сердится.

— На что? — спросил Леонид, испытывая замешательство.

— Да вот, что не похвалил ее игру. Беда мне с ней! — Денисов все не мог совладать с лицом и ладонью жестко растирал его, как после бритья, стараясь скрыть от Галя свое смущение. — Вы уж, Леня, подключитесь. Ну, соврите что-нибудь. Вам проще.

Они двигались по террасе, тянувшейся от конца до конца вдоль стены дома, как широкая ступень в сад. Летом здесь спали и была здесь кухня. Вот и сейчас в углу жужжал примус, злясь на то, что ветер сдувает его пламя. И стояла на примусе большущая сковорода, булькающая чем-то вкусным, горячим.

Женщина из легенды, оказывается, несколькими минутами раньше разожгла этот примус, поставила на него эту вполне современную сковороду. Но запах, запах жареной баранины был все тем же, что и тысячелетия назад.

— Ладно, совру что-нибудь, — пообещал Леонид, сглатывая слюну.

В комнате, куда Денисов ввел его, Марьям не было. Денисов заспешил в соседнюю комнату, рукой приглашая Леонида снять пальто и садиться на стоявшую в углу тахту.

Комната была почти пуста, недообставлена. Свежие стены источали запах масляной краски. И еще один запах жил здесь — запах острых духов и молодого женского тела, загнанного в трудную работу балерины. Почему-то подумалось, что такой же воздух жил и в гаремах. Вместе с запахами жирной баранины и дымком жаровен. Вместе с запахами каких-то неведомых плодов. И почему-то стало невыносимо дышать этим воздухом, как бывает трудно наблюдать чужое счастье.

— Жрать хочется! — вслух сказал Леонид, найдя самое простое объяснение вдруг сиротскому своему чувству.

Над тахтой висел портрет мальчика, мастерски выполненная большая фотография. Мальчику было лет семь, и это, конечно, был сын Денисова. Отцовские с прищуром глаза, отцовский нос уточкой. И еще отцовское что-то в губах, в очерке щек, во всем складе лица, уже обретшего характер. Тут было и упорство, и уп-

рямство, и хитреца, тут явственно проглянула доброта, этакая размашливая порода. Чудо — крохотный мальчуган, а сколько уже отдано ему, какая уже в нем видна изготовка к жизни. И как по этому щекастому личику легко читать все то, что затаилось, стало затушеванным в лице отца. Эта затушевка — это и есть опыт жизни, маска жизни, не так ли?

Вернулся Денисов.

— Сейчас Марьям выйдет, наряжается, — сказал он, хмурясь и морщась, досадуя на себя за что-то. Впрочем, ясно за что. Он бранил себя сейчас, что так замельтешил перед Марьям, что таким его увидел Леонид. И он, должно быть, собирался исправить впечатление, и хмурился, и морщился, вспомнив, что сердит, что просто зол на Марьям. Да, мальчугану на фотографии громадную предстоит прожить жизнь, трудную при этом, пеструю, чтобы подравнять свое лицо с отцовским. А изначала, а в юности ведь и Денисов был так раскрыт, так улыбчив, доверчив.

— Вы любите сына? — спросил Леонид.

— Очень.

Вошла Марьям. В строгом платье, косы короной уложены под затканной шапочкой. Какое там дрянцо! Королевна, «дочь царя из царей Индии», прекрасная, «подобно луне в полнолунии», как сказала бы о ней Шахразада. Девочка — женщина — повелительница. И ничего не вышло у Денисова с его решением повести себя с ней построже, как она того заслуживала, если вспомнить ее развязную игру в эпизоде у дувала. Денисов обмяк, струсил, восхитился, поглупел, расплывшись в улыбке. Леонид не знал, на кого смотреть: на царственную ли Марьям, на раболепствующего ли Денисова, столь непохожего на самого себя. И она и он были не сами собой. Это был спектакль. И тут, конечно, Марьям была на высоте, тут она снова была актрисой, и отличной. Ну а Денисов был жалким статистом. Да он и не играл. Это была его жизнь, его новая роль в жизни, не из легких, надо сказать, роль. Но он был счастлив. Этот статист прямо-таки излучал счастье. Его неволя была ему в радость.

Они ходили по комнате, вместе накрывали на стол, Марьям радушно улыбалась Леониду, Денисов какие-то все отпускал шуточки, а Леонид смотрел на них растерянно и изумленно и вспоминал Марьям и Воло-

дю Птицина там, в их голой комнатке с платьями Марьям, развешанными на гвоздях. Где сейчас Володя? Не в то ли комнате, не в сотне ли метров отсюда? Что поделывает?

Никакого смущения у Марьям. Она позабыла, что Леонид был у нее дома, когда она жила с Володей, видел их вместе. Она позабыла. А если и помнила, так что из этого? Жизнь это жизнь, дорогой мой. Женщина ушла от одного и пришла к другому. Любила, разлюбила, полюбила вновь. Пора отрешиться от школярской наивности. Все понятно, даже обычно. А все-таки было скверно, было смутно на душе. Было жаль Володю. Может быть, потому еще, что и самого себя было жаль.

— Леонид Викторович, пожалуйте к столу, — сказала Марьям. Ей захотелось сейчас сыграть светскую даму, и отсюда это «пожалуйте». Словечко совсем не ее, она почувствовала это и рассмеялась. — Леня, подсаживайтесь, а то я все сама съем!

Ну, уселись за стол. Дочь царя из царей Индии принесла сковороду с бараниной, и начала есть, и дочь царя из царей со святой непосредственностью руками хватала куски мяса и быстро вся вымазалась, но и это в ней нравилось Денисову.

За столом Марьям показалось тесно, она взяла тарелку и села на ковер у тахты. Денисов улыбнулся ее выходке. Ему все в ней нравилось. Как бы она ни повела себя, все было совершенством. Но она и Леониду нравилась, ему радостно стало смотреть на нее, на перемазанное жиром смазливое ее личико, на то, как она сидела в ногах своего властелина, и древний узор ковра был тем же, что и на ее шапочке.

Вровень с головой Марьям было окно. Оно выходило во двор и было без решетки. Великая радость в таких домах — окно без решетки. За окном виднелся морщинистый мягкий ствол тутового дерева, а позади белела стена дувала. И совсем рядом с дувалом, казалось, что рядом, висели в синем небе коричневые приснеженные горы. Удачнее фона для Марьям, какой она сидела на ковре, не сыскал бы и самый лучший художник. Недоставало лишь музыки, той самой диковатой, незнакомой и узнанной.

Кто-то негромко постучал в стекло окна, которое выходило на улицу и потому было с решеткой. Леонид глянул и не поверил глазам. В раме окна, в решетча-

тых полосах возникло смеющееся лицо Птицина. Он шевелил толстыми губами, прижатыми к стеклу, неслышные произноcя слова.

— Сейчас, сейчас! — Марьям вытерла жирные пальцы о ковер и вскочила, обрадовавшись Птицину всем рванувшимся к окну телом. — Володя, заходи! — Она распахнула окно. — Ну чего ты здесь стоишь? Заходи, я сейчас открою дверь.

— Нет, нет, я мимоходом, — Птицин заглядывал в комнату, улыбаясь и кивая Денисову, Леониду. — Тут на углу раков продают, вот я и прихватил вам дюжину. — Он начал совать за прутья раскоряченные рачьи тельца.

Марьям брала их, вскрикивая, пугаясь, роняя на пол. А Птицин смеялся и глядел на нее, на Денисова, на Леонида, старательно деля между ними свои бойкие, быстрые улыбочки.

— Честное слово, пароль донер, Сергей Петрович, не раки, а крокодилы. Три рака, труа шоз, Леня, и ты сыт.

— Хватит и двух таких, — сказал Леонид. — По горло! — Но Птицина уже в окне не было.

От жирной баранины, от этих раков Леонида замутило. Он поднялся, подошел к окну, рванул на себя решетку. Крепкая! Он успел увидеть еще широкую, сутулую Володину спину, семенящий, бегущий его шаг.

4

Так бывает, все вдруг собьется в одну кучу, множество сразу событий, и спешка, спешка начинается, и надо принимать скорые решения, хотя еще вчера совсем тихо влачилась твоя жизнь.

С утра Леонид засел в просмотровом: шла сдача сюжетов кинохроники. Иные из них были уже озвучены и подмонтированы в киножурнал, иные еще шли начерно, и должно было прикинуть — жить им или погибнуть. Если Леонид говорил: «На экран», — это была жизнь, если говорил: «Подумаем», — то была смерть. В хронике нет времени на долгие раздумья, сюжет о раннем севе по едва только угретой солнцем земле старился и становился не нужен за какую-нибудь неделю. А нужен становился сюжет о первых всходах. Но и он недолгий был жилец на этом свете. Уже требовался

сюжет о воде, о поливе. И так ото дня ко дню, вослед за трудом людей, если то была хроника, настоящая хроника, а не какая-нибудь липа.

Вместе с Леонидом в просмотровом были режиссеры и операторы хроники: Иван Меркулов, тот, что был красив, как Мозжухин, Андрей Фролов, человек на редкость молчаливый, ушедший в себя. Но только не на экране. На экране его сюжеты немедленно узнавались, они были лучшими, в них светился ум, уважение чувствовалось к людям, которых снимал оператор, к их жизни, труду.

Был в зале и Илья Зотович Бочков. Он так и не уехал в Красноводск. Приказ о выговоре ему за недисциплинированность, вывешенный на всеобщее обозрение, уже повыцвел, как и всякая бумажка, под туркменским, хоть и весенним, но пронзительным солнцем, о приказе уже все забыли, и Бочков сейчас в зале как бы негласным был председателем. Решал вроде бы Галь, но последнее слово всегда оставалось за Бочковым. Шутка ли, человек работал на студии со дня ее создания, а до того, а еще раньше... Словом, хоть он и не был туркменом, но породнился с туркменской землей, седым стал, живя тут.

Бочков всего этого, конечно, сейчас не говорил, об этом и так все знали. Бочков только изредка вставлял замечания, но в голосе его, в уверенном тоне и даже в том, как он похмыкивал и покряхтывал, звучала святая вера скромнейшего этого человека в непререкаемость своих слов.

Был еще в зале приятель Леонида газетчик Александр Тиунов. Он частенько подрабатывал на студии, писал для журнала тексты, маленькие хроникерские сценарии. Сегодня он пришел на студию просто так, от нечего делать, чтобы утащить Леонида в город.

И был еще в зале Чары Гельдыев, Чары Семнадцатый, как его звали за глаза. Дело в том, что Гельдыев около года пробыл в директорах студии. Не справился, его сменил восемнадцатый, который тоже не справился, и его сменил Денисов.

Чары трудно сносил свое падение, человек он был самолюбивый. Статный, видный, с ранней сединой, забравшейся даже в густые брови, он был преотличным вообще-то парнем, добрым, щедрым, компанейским, но, увы, не справился вот... Всего семилетка за плечами,

несколько лет работы киномехаником, а потом выдвижение, или, вернее, вознесение, — это когда человеку предлагают прыгнуть выше собственной головы. Не сумел Чары, не прыгнул и, пожалуй, серьезно осерчал и обиделся. Сейчас он работал кем-то вроде ассистента режиссера хроники, осваивал творческую профессию. Все, кто мог, помогали ему в этом. Журнал, который мелькал сейчас на экране, был как раз смонтирован Гельдыевым, а помогал ему в этой работе Леонид Галь. Он же и дикторский текст для этого журнала написал.

Журнал заканчивался, последний из всего, что было подготовлено сегодня для просмотра. Сейчас вспыхнет под потолком лампа, и можно будет встать, распрямиться, как после сна, и уйти из этого промозглого по весне зала, где даже запах пленки отсырел и стал противноватым.

Но вдруг пробудился Тиунов, подремывавший, покуда шел просмотр,— не его, мол, забота. Он вдруг проснулся.

— Слушай-ка, Леонид, — сказал он. — Вели-ка еще разок прокрутить журнал. Что-то мне там померещилось.

Тиунов умел ронять слова весомо, так, что к ним нельзя было не прислушаться. Это он в комсомольских вождях научился так ронять слова.

— Журнал уже принят и перезаписан на одну пленку, — сказал Леонид. — Поправлять в нем уже ничего нельзя. Или не налюбовался?

— Любоваться в нем нечем. Мне там померещилось кое-что. Прокрути.

— Желание гостя — закон. — Леонид нажал кнопку на микшере, привстав, крикнул в окошко механику:— Прошу еще разок журнал!

Погас экран, стало темно в зале, стало слышно, как механик сматывает пленку, вставляет ее в проектор, как говорит напарнику: «Оставь докурить», — хотя курить в будке строго-настрого запрещалось.

— Эй, не сметь курить! — крикнул Бочков.

Вдруг взволнованный женский голос спросил за дверью:

— Леонид Викторович, вы здесь?

— Здесь, Маша, здесь, — отозвался Леонид.

Дверь отворилась, и в зал, ослепив всех светом и

ослепнув от темноты, вошла тоненькая, прозрачная на свету Маша.

— Леонид Викторович, вам телеграмма. Вернее, о вас. Ксенечка дала мне ее, чтобы показать вам. Где вы тут? — Маша стояла в дверях, протянув руку с телеграммой, и щурилась, ничего не видя. К ней подскочил Бочков, проворно так, ловким выказав себя кавалером. Взял мягко за руку, повел в темноту. Дверь еще не закрылась, и Леонид увидел, как улыбнулась Бочкову Маша, как добро она улыбнулась ему, обрадованно, благодарно. За такую-то малость, что выскочил ей навстречу? Нет, тут что-то другое. Любовь? Да не может быть! Любовь у нее с Бочковым? Не может быть!

Дверь притворилась, стало темно, и сразу же нелепостью показалась Леониду его догадка. Такая девушка не могла полюбить Бочкова. Не могла, и все тут. Правдоподобие не потянется к лукавству, прямодушие к уклончивости. Сероглазая девочка Маша была вне опасности.

Бочков подвел ее к Леониду, она села, все еще слепая, нащупывая рукой свободный стул.

— Леонид Викторович, ох и обрадуетесь вы!

Шел журнал, давно шел, и было темно, и не следовало так уж спешить с выяснением, что это за радость тебе привалила. Леонид взял телеграмму, небрежно сунул в карман пиджака.

— Давайте досмотрим сперва журнал, — сказал он деловито, а внутри у него уже ширилась, ликовала радость, словно двигался там внутри первомайский оркестр и все чаще стучали в такт с ударами сердца громадные медные литавры. Радость! Так хотелось какой-нибудь удачи, перемены, телеграммы вот какой-нибудь, в казенных словах которой откроется счастье.

Шел журнал, сюжеты сменяли друг друга, повествуя, как оно и полагается, и о промышленности и о сельском хозяйстве, а Тиунов помалкивал, сопел, наклонясь вперед, и помалкивал. Забавный малый. Ну что ему там померещилось? Может, со сна? Ладно, сейчас этот журнал кончится, замелькали уже кадры последнего сюжета, того самого, что год назад снял Андрей Фролов в ауле Багир. Весна, цветут тюльпаны на близких холмах, и у колхозников праздник. Они приход весны решили отпраздновать. Весна — ведь это надежда. На обильные дожди надежда. А прольются дожди —

быть урожаю. И не беда, что скуден трапезой этот праздник. Он щедр улыбками, блеском глаз. Надежда живет в лицах людей. И все тут по правде. Хорошо, просто замечательно, что этот фроловский сюжет возвращен к жизни. В прошлом году Леонид смалодушничал, сам себя уговорил, что этот скромнейший праздник не монтируется со всеми прочими праздничными сюжетами. Нынче вот он решил исправить свою ошибку. Год миновал, но не было в прошлом году желанных дождей, не было урожая на богаре. Ничего, нынче будет. Надежда живет в лицах людей. Будет урожай! И диктор даже перестал скучать, возвысил голос, будто клянется: «Будет, будет урожай!» Поверил даже диктор.

— Ну так и есть! — сказал Тиунов. — Я, брат, недаром в газетчиках хожу. Это что же у вас за лозунг там виднеется на сельсоветской стене? Про Первое мая лозунг-то. А нынче у нас пока только апрель. Прошлогодний сюжетик сунули, друзья?

— Прошлогодний,— несколько растерявшись, сказал Леонид. — Но дело не в первомайском лозунге. Дело не в нем.

— Ай-яй-яй-яй-яй! — затянул Бочков.— Прошлогодний сюжет! Как же это я раньше не заметил?

— В прошлом году не было дождя, — сказал Леонид. — И все осталось, как было. Не было урожая, а люди надеются на урожай. Вот мы и вернулись опять к их празднику весны. Будет урожай.

— Будет там или нет, а сюжетик-то прошлогодний,— голос Бочкова источал участие. — Ай-яй-яй-яй! А ведь журнал уже озвучен, принят. Чей это монтаж, чей текст? Кем принят?

Какой отвратительный у человека голос! Вкрадчиво подкрадывающийся какой-то голос.

— Мой это монтаж,— сказал Гельдыев.— Сюжет хороший, почему было не ставить?

— Гельдыеву помогал монтировать я,— сказал Леонид. — И текст писал тоже я.

— И сами же утвердили журнал?— спросил Бочков, хотя можно было об этом и не спрашивать, это и так было ясно.

— Но сюжет-то мой, между прочим, — подал голос Андрей Фролов.— В этом журнале он на месте.

— А вот тут я и попробую возразить. — Бочков

поднялся. Невелик ростом человек, но если прямо держаться, как вот сейчас держится Бочков, и если строго прихмуриться, как это сделал Бочков, то малый рост уже не так приметен и мальчиковой пиджачок не кажется смешным. — Знаю, бывает и старое за новое порой выдаем, знаю, не первый день в кино. Но зачем же, товарищи, тащить на экран всякую серятину? Разве это праздник весны вы нам показали? Плакать хочется, глядя на этот праздник.

— Почему плакать? — сказал Гельдыев. — Люди улыбаются.

— Оставь, Чары. Тебе подсунули завалящий сюжетик, тебя же подвели, а ты еще и сам себя гробишь. Да, хорошо вы помогаете национальным кадрам, Леонид Викторович. Ну и ну, вот так помощь.

— А вырезать этот лозунг нельзя? — спросил Тиунов. Он был явно подавлен. Не прояви он такой дотошной зоркости, ведь и не было бы этого разговора. — Ну, заретушировать, никто и не заметит.

— Вырезать будет нелегко, — сказал Фролов. — На этот кадр лег дикторский текст. Музыка легла.

— Кстати, сколько стоило озвучение журнала? — спросил до сих пор молчавший Меркулов. — Скинемся, перезапишем, и делу конец. — Он радостно оглядел всех, приподнявшись, довольный, что высказал такую умиротворяющую идею.

— Скинуться легко и просто, когда речь идет о вечеринке, — Бочков строго глянул на Меркулова. — А молва? Ведь такое не легко будет утаить.

— Замолчи! — вдруг прикрикнула на него Маша.

Смотри-ка, она говорит с Бочковым на «ты». Стало быть, у них далеко зашло? Любовь, стало быть? Роман? Ничего-то ты не замечаешь вокруг, товарищ Галь. И небрежничаешь в работе. Ну, вернул к жизни старый сюжет хроники, ну, на правду тебя потянуло — молодец, похвально. Но зачем же делать все тяп-ляп, с одной прикидочки? Вот тебя на первомайском лозунге и словили. Грязная работа, небрежная. Стыдно! И, конечно, один ты, только ты во всем и виноват, товарищ главный редактор с вгиковским дипломом в кармане. Что и говорить, хорош учитель...

Померцав, начали разгораться под потолком лампочки.

— Уж вы меня не судите строго, Леонид Викторо-

вич, если я доложу об этом случае директору.— Бочков двинулся к двери.— Дружба дружбой, а...

— Замолчи же!—сказала Маша. Голос не послушался ее. Она хотела крикнуть, а вышло, что проговорила это «Замолчи же!» шепотом. Леонид, сидевший рядом, услышал ее, а Бочков не услышал.

Леонид выбрался из кресла позади микшера и пошел к выходу, мучительно стараясь вспомнить, что же еще ему надо сделать, вот прямо сейчас сделать. Машинально он сунул руку в карман и вспомнил: надо прочесть телеграмму. В зале светло, просмотр окончен, можно теперь ее прочесть. Он развернул бланк. Казенные слова, да, на редкость казенные слова, набегая друг на друга, объявляли ему, что его срочно вызывают в Москву, в главк, где вновь будут рассмотрены представленные студией сценарии... Вот она, радость! Его вызывают в Москву, он едет домой. Может быть, дней на двадцать, на месяц. И не все еще, значит, погибло с этими сценариями. Вот она—удача! Леонид прислушался, рад ли он. Никакой в нем радости не было. Напротив, муть какая-то заволокла душу. Не то чтобы страх, а вот именно муть. Отвечай теперь, оправдывайся. Муть!

5

Леонид решил повременить немного, не идти сразу к Денисову. Там сейчас действовал Бочков. Пряменький, строгий, поучающий и даже, надо думать, обличающий: «Серятина на экране! Прошлогодний сюжет! Вот так помощь национальным кадрам!» Дождался своего часа. Рад небось, что задал Денисову задачу, как быть ему с этим Леонидом Галем, с этим его приятелем, столь небрежно относящимся к работе. Посылать человека на Каспий, когда там штормит, это вы умеете, товарищ директор. И выговор одному из старейших на студии работников вкатить—и это вам ничего не стоит. Ну а как вот обойдетесь со своим разлюбезным Галем?

Нет, нельзя тянуть, надо идти к Денисову. Как это все получается в жизни! Только какая-нибудь случится радость, как тут же и какая-нибудь подоспеет гадость. И сгинула радость, нет ее, а гадость—она тут, она вцепилась и не отпускает.

Леонид побрел через студийный двор, держа путь к директорскому кабинету. Но как-то так получилось, что выбрал он далеко не самую короткую дорогу. В обход пошел, какими-то кругами. Очень, что ли, перетрусил? Нет. Просто скверно было на душе. Муторно. И надо было унять в себе разрушительную эту готовность к взрыву, имя которому — вспыльчивость. Взрослеть, взрослеть надо, дорогой товарищ. А ведь это противно — взрослеть. Вот сейчас как раз он этим и занимался, петляя по двору вместо того, чтобы прямо зашагать дорожкой. И петлять так как раз и противно. Взрослость, жизненный опыт, умение смолчать, сдержаться, покаяться. Противно, а ведь это противно. Леонид вдруг припустил бегом.

Запыхавшись, вбежал он к Денисову, готовый не столько к разговору, сколько к взрыву. Бикфордов шнур в нем уже разгорался, огонек тлел, поспешая к сердцу.

Бочкова у Денисова не было. Отвитийствовал уже? Что же, это хорошо, что Бочкова уже не было? Хорошо, что можно пригасить в себе тление шнура, не дать взорваться взрыву? Хорошо, по-видимому. Но это и есть взрослеть, умение избежать взрыва. Поплутав по студии, он этого как раз и добился все-таки, он сейчас на столько-то там ступенек в жизни стал взрослее. А велика ли вся лестница — этого никому не дано знать. Отсчитаешь ступеньки, и все тут.

Да, Бочков уже успел побывать у Денисова. Тот все знал, он сразу и сказал об этом:

— Все знаю. Сейчас придет монтажница Клава, ну, ленинградская наша кудесница, посоветуемся, нельзя ли будет убрать из сюжета этот плакат не по времени. Журнал-то еще не размножен?

— Нет.

— Вот и отлично. Леонид Викторович, итак, вы отправляетесь в Москву спасать те самые сценарии, на которые уж и крест положили. Удивлены?

Да, Леонид был удивлен. Но не тем, что снова возвращаются к жизни уж отклоненные главком сценарии. Об этом он сейчас не думал. Он был удивлен Денисовым, спокойствием его, уверенной его силой. Ведь тот сейчас как бы походя брал ответственность за историю с прошлогодним сюжетом на себя. Снимал ее с чужих плеч и наваливал на собственные.

— Признаюсь, я решил ничего не говорить вам до поры, сомневался, что получится, — продолжал Денисов. — Позвонил кое-кому, написал пару письмишек и стал ждать. Получилось! Дело в том, что в министерство пришел новый замминистра — умный, образованный, молодой. Того и гляди министром станет. Вот я ему и написал о наших сценарных бедах. А он взял да и вызвал вас. Рады?

Да, Леонид был рад. Да, это было здорово. Но не тому он был рад, что едет домой, не это было здорово. Радовал его сейчас Денисов, здорово было, что есть на свете Денисов — человек, с которым не пропадешь.

А тот продолжал:

— Оба сценария совсем не так плохи, в них правда есть, люди живые. — Он улыбнулся, лукаво сощурившись. — Ну, как в этом вашем сюжете прошлогоднем, — промелькнула улыбка, не задержалась. — Отбейте, Леня, хотя бы один сценарий. Это не работа, то, что мы снимаем. Это не занятие для взрослого человека, будь то режиссер, актер, начальник сценарного отдела или директор студии. А годы идут, годы идут. Подумайте, Леня, ведь мы тут с вами жизнь кладем. Мозг, сердце. На что?

Ведомая Чары Гельдыевым, в кабинет вошла сухонькая женщина в белом халате, сутулая и в очках.

— А, скорая помощь прибыла! — приветствовал ее Денисов. — Ну, Клавдия Ивановна, каков ваш диагноз?

Сухонькая женщина, и верно очень похожая на врача, насмешливо из-под очков глянула на Леонида, укоризненно затем покачав головой.

— Что ж это вы, дружочек, так небрежничаете?— Помолчала для порядка, подумала, смежив веки: врач да и только. — Я посмотрела журнал... Да, и музыка и дикторский текст ложатся как раз на эту стену с лозунгом... — Снова помолчала. — Попытаюсь что-нибудь сделать...

— Попытайся, Клавдия, очень прошу,— сказал Чары Гельдыев.— Как режиссер, тебя прошу,— он гордо выпрямился.— Редактор-медактор — это все, конечно, имеет значение, но я сам монтировал журнал и там, между прочим, моя фамилия на титрах.

— Твоя, твоя, Чары, — сказал Леонид, невольно залюбовавшись Чары Гельдыевым. Голова откинута, гла-

за смелые. — Но я, между прочим, кончал киноинститут, а ты в режиссерах совсем недавно. Прав Бочков, плохо я тебе помогал.

— Слушать вас стыдно! — Это сказал Денисов.— Какие благородные, учтивые, бесстрашные рыцари. Урок на будущее. А сейчас вы тут друг перед дружкой могли бы и не расшаркиваться. Клавдия Ивановна, прошу вас, отправляйтесь в лабораторию, явите нам свое мастерство. А вы, сэр, не теряйте времени и оформляйте командировку. Что ж, кому что на роду написано: одному — в Москву лететь, другому — с Бочковым препираться. Оформляйте, оформляйте командировку.

Хороший ты человек, Сергей Денисов, надежный ты друг...

Дальше все пошло, как в нотной записи, когда композитор решает прогнать свои звуки вскачь и принимается кричать на них: «Аллегро! Престо! Престиссимо!»

Срочно была отстукана Ксенией Павловной командировка, тут же подписанная Денисовым, бегом, бегом были получены деньги в кассе, хотя бухгалтер упирался, денег, как всегда, было на донышке, и бегом, бегом услали администратора за билетом. Этим администратором был Птицин.

— Билет в Москву? На самолет? На завтра? А сто граммов поставишь?

— Двести.

— Билет будет. Встретимся в «Фирюзе»! — Взял деньги и умчался — толстый мальчик на побегушках, облысевший уже мальчик.

Пока вершилась вся эта суета, Александр Тиунов преданно не покидал Леонида, был все время рядом, молчаливо сочувствующий и важный, каким и надлежало быть человеку, оказавшему приятелю неоценимую услугу. Ведь проскочи журнал на экран с такой накладочкой — по головке бы не погладили.

А Леонид, с азартом включившись в беготню по студии, то и дело сам себя спрашивал: «Рад? — и всякий раз отвечал: — Да, рад», — но никакой радости не испытывал, все время помня, что где-то в недрах студии маленькая женщина в белом халате и в очках склонилась сейчас над монтажным столом-мувиолой и, как хирург какой-нибудь, вершит свою операцию, от исхода которой и будет зависеть, радоваться Леониду или нет.

И он все время ждал, что его окликнут, что выйдет в коридор женщина в белом халате и, как в больнице, оповестит: «Операция прошла успешно!» Он очень надеялся на это. Слишком уж все было нелепо, и эта нелепость должна была истаять, сгинуть. Он летит в Москву, у него радость, а эта нелепость гнетет его, не дает обрадоваться.

Леонид еще издали увидел вышедшую из дверей лаборатории Клавдию Ивановну и бросился к ней, еще издали пытаясь понять по ее лицу, какое известие его ждет. Лицо у Клавдии Ивановны, как у заправского медика, было непроницаемо.

— Пойдемте,— только и сказала она, взяла Леонида за руку и ввела в лабораторию.

Тиунов, естественно, последовал за ними.

А Чары Гельдыев уже был там. И так сиял, что Леонид сразу уверовал: операция прошла успешно.

Новинка на студии, трофейная мувиола, соединенная с монтажным столом, весьма напоминала стол операционной. Или это только так показалось Леониду? И на этом операционном столе сейчас была распластана лента злополучного журнала.

Не произнося ни слова, Клавдия Ивановна пустила мувиолу.

Дернулись, ожили люди в кадриках, началась там — в маленьких пространствах, стесненных перфорацией, жизнь. И музыка зазвучала. И голос диктора, набирая силу, волнуясь и радуясь, начал говорить о надежде, которую несет с собой весна этим людям, скромно празднующим ее приход. И вот она — стена сельсовета. Белая, но с дождевыми потеками, с отбитой по углам штукатуркой. И вот сейчас и промелькнет на этой стене первомайский лозунг, который не ко времени и который выдает с головой Леонида Галя: мол, сюжетик-то этот из прошлого года...

Стена сельсоветская продолжала подрагивать в кадре, голос диктора все взволнованней становился, музыка все громче, а лозунг так и не появлялся. И вдруг что-то лишь на миг запнулось в музыке и что-то лишь едва приметное случилось с голосом диктора, ну, вроде бы у него воздуха не хватило в груди от волнения. И все. И все. И стена сельсоветская исчезла, и уже холмы замелькали, утыканные точечками-головками тюльпанов. И все!

— Не может быть! — вырвалось у Леонида. — Как же так?

— А как слышите,— сказала Клавдия Ивановна без всякого торжества, не похваляясь своим умением, своим мастерством монтажницы, которая вот и музыку свела и слова диктора свела, никак их не покалечив, а лозунга на стене будто и не было. — Повторить?

— Повторите.

И снова замелькала в крошечном экране бело-серая стена сельсовета, снова, набирая силу, зазвучала музыка, взволнованно заговорил диктор. «Будет урожай! Будет!» Ну разве что последнее это «Будет!» вырвалось у диктора как-то уж очень сомнительно, будто он от волнения заикнулся на этом слове.

— Ну, заика-диктор — это уже не ЧП, за это с работы не выгоняют, — сказал Тиунов и сановито хохотнул, безмерно довольный своей шуткой и вообще собой во всей этой истории.

— Почему заика?— не согласился Чары Гельдыев.— Радуется человек...

Прибежала запыхавшаяся Ксения Павловна, пришел следом Денисов, невозмутимый, улыбающийся. Им тоже продемонстрировали заику-диктора. И раз, и другой.

— Здорово! — похвалил Денисов. — Цены вам нет, Клавдия Ивановна. И такое сокровище отпускает, увольняет «Ленфильм». Нет работы! Нечего делать. Стоит, буксует наш кинематограф. — Он жаловался, но слова у него выговаривались так весело, что трудно было расслышать их горький смысл. — Итак, Галь, в добрый путь. Летите, летите в свою Москву, раздобывайте нам сценарий. Желаю счастья, старина.

Они обнялись.

6

Весна! Господи, как хорошо, весна! В Ашхабаде Леонид не заметил ее прихода, она там всю зиму тлела. И в январе, и в феврале случались такие солнечные дни, что можно было посчитать их весенними.

А в Москве Леонид увидел весну. Он ее услышал, учуял. Она жила в капели, в талом, вязком воздухе, в мокрых, оледенелых стенах, в том скудном драгоценном тепле, которое не греет почти, и за ним надо охо-

титься, переходя то на правую сторону улицы, то на левую, а то брести мостовой.

Леонид шел улицей Горького, по левой стороне, где сейчас было солнце, и дьявольски мерз, как мог бы мерзнуть только южанин. Он шел и внушал себе: «Это улица Горького... Я на улице Горького... Я в Москве...»

Да, несомненно, он был в Москве. Но он был еще и в Ашхабаде, прощался с друзьями, выслушивал их напутствия, просьбы. Прощался с Ирой у стойки. «Напишешь?» — спрашивала она. «Обязательно». Но разве пишут буфетчицам Ирам? И шел он еще куда-то по вечерним улицам вместе с Тиуновым, Птициным и Руховичем и все ждал чуда: вдруг его окликнет Лена. А чудес-то ведь не бывает...

Да, он был в Москве, на улице Горького, а часом раньше был на Разгуляе, где работал его дядя, взял у него ключ от комнаты и поехал в Замоскворечье, в переулок у Пятницкой — там в ветхом двухэтажном доме была у дяди комната. Она пустовала, дядя жил круглый год на даче, лишь изредка ночуя в Москве.

Леонид и раньше живал в этой комнате. После демобилизации прожил почти год. Хмурая комната, сырая, холодная, с причудливой мебелью, скрипевшей и качавшейся по ночам, будто в ней поселились духи в белых, как мебель, париках. Но податься было некуда. Москвич Леонид Галь был бездомен в родном городе. Комнату, в которой он жил с родителями до войны, когда родители эвакуировались на Урал — в тот же город, где жили несколько лет в довоенные годы, — заняли соседи. Старики так и остались на Урале, им там покойно было, они там хорошо устроились, ну, а Леонид своими силами вернуть назад комнату не сумел. Можно было конечно, остановиться в Туркменском постпредстве, где было приличное общежитие. Можно-то можно, но неловко как-то: называет себя москвичом, а жить в Москве негде.

Охотный ряд... Улица Горького... Здание телеграфа... Далее пустырь, на котором готовятся возвести высокий дом. А недавно здесь на углу в подвале маленького дома была столовая, а еще раньше, говорят, в этом подвале поэты читали стихи. Меняется Москва. Вот здание Моссовета стало совсем иным. Его надстроили. Жаль красный дом Казакова, он был из лучших в Москве. Не всякий дом становится лучше, сде-

лавшись приметнее. Так и человек порой. Стал приметнее — и потерял, а не приобрел.

Дальше, дальше вверх по улице Горького, и вот он — нужный тебе переулок: Малый Гнездниковский, где находится Министерство кинематографии. Леонид знал, что много времени теперь будет проводить на этом отрезке от Охотного ряда до Малого Гнездниковского. Он знал, что Центральный телеграф станет для него чем-то вроде клуба, как, впрочем, и для многих командировочных, часами выстаивающих в его залах и на его ступенях в ожидании телефонного разговора, телеграммы, письма и денег, прежде всего денег, которых командировочному никогда не хватает и которые не спешат ему переводить.

В проходной, отчего-то страшно разволновавшись, Леонид позвонил редактору, ведавшему их студией. Телефонистка не сразу даже разобрала номер, так невнятно-нервно Леонид произнес его. Наконец она сказала: «Ну, ну, соединяю». Леониду показалось, что она посочувствовала ему, угадала его волнение, угадала, что он приезжий, что у него зуб на зуб не попадает от холода, а значит, приехал он с юга. Ему захотелось сказать ей: «Нет, вы ошибаетесь, я не приезжий, я москвич, я родился в Москве. Но, правда, сейчас я прилетел из Туркмении». Зачем-то ему понадобилось все это сказать неведомой телефонистке. Но где ее добудешь? Она уже с пятым или десятым вела разговор. «Да, да, соединяю... Занято... Номер не отвечает...» Да и что ей за дело, откуда он, кто он? Леонид одернул себя, он подумал про себя брезгливо: «Ты становишься провинциалом!»

— Да?.. Слушаю вас?..— Кто-то чуть слышно окликал его в трубку с этакой усталостью и расслабленностью очень занятого человека.

— Валерий Михайлович? Это вы? — радостно закричал Леонид и обругал себя: «У-у, провинция! Чего разорался?!» И продолжал кричать: — Галь, это Галь с вами разговаривает! Я прилетел по вызову министерства! Здравствуйте!

— А... прилетели... — Усталый Валерий Михайлович проговорил это слово так длинно, что Леониду вдруг вспомнилось, как он летел. Полет был тоже длинный. Вспомнились красно-желтые пятна пустыни, зацветшей тюльпанами и уже местами отцветшей. Вспомнилось

Каспийское море под крылом. Синее море с белыми в нем облаками. Вспомнилось, как ночевал в Баку, но до города было далеко, и он провел всю ночь на скамье в аэропорту. Вспомнилось, как шел на посадку самолет во Внукове, как загудело, заломило в ушах. В ушах и сейчас ломило.

— Ну что ж, приветствую вас в столице нашей родины Москве. — Это Валерий Михайлович изволил пошутить. Он и шутил все тем же утомленным, расслабленным голосом очень заработавшегося человека. — Так где же вы обретаетесь?

— Я в проходной.

— Вы ко мне?

— К вам.

— Хорошо, сейчас закажу пропуск. Но только я не смогу сегодня уделить вам много времени. У меня день сегодня расписан по минутам. — Валерий Михайлович повесил трубку.

Леонид тоже повесил трубку. В ушах гудело, сердце колотилось, но он успокоился. И наконец уверовал, что он в Москве.

7

Леонид любил свое министерство, самый дом любил, надстроенный барский особняк, очень какой-то симпатичный и внешне и внутри. Входишь, еще только дверь тяжелую приоткрыл, а уже что-то глянуло навстречу, располагая к себе. Входишь и погружаешься в коричневую тишину деревянных панелей, а дальше мрамор стен и зачин широкой лестницы, покойными, торжественными маршами идущей в святая святых дома, в его центр, где не удивился бы, повстречав римского патриция в тоге, и запросто можешь встретить самого министра.

Далее — быстрая лестница на третий и четвертый этажи, надстроенные для нужд учреждения, но все же не заказененные, все же помнящие, что они в родстве с дворцом патриция, и ты попадаешь в маленький холл, обставленный дешевыми диванами, попадаешь в курилку и гомон людской, сразу множество узнавая знакомых лиц, людей знаменитых, полузнаменитых, мнящих, что знамениты, или еще не мнящих. Весь коридор — это Главк художественных фильмов, а холл

в конце коридора — это ожидалка, место встреч, деловых и не очень деловых, дружеских и не очень дружеских.

Мимо, мимо знакомых лиц — сейчас ему не до бесед досужих. У него дело! Он прибыл по делу!

Валерий Михайлович диктовал стенографистке, когда Леонид вошел в его крошечный кабинетик. Валерий Михайлович кивком указал Леониду на стул и продолжал диктовать. Медленно тянул он свои слова скрипучим голосом, устало полуприкрыв глаза. Но слово за словом — и рождалась фраза, полная бодрости и оптимизма. И еще одна фраза, еще того бодрее и оптимистичнее. И еще одна... Почти уснувший, со сморщенным от скуки лицом человек надиктовывал заключение о каком-то сценарии, хваля его с юношеской восторженностью. И только в конце, мекая и экая, Валерий Михайлович заплел фразочку о недостатках, такую ловкую, что будто бы и невелики недостатки, а вдуматься, так и нет еще никакого сценария. Мастер! Вот она редакторская выучка!

— А? — Валерий Михайлович лукаво глянул на Леонида.

— Высший класс, — сказал Леонид. — А зачем тогда столько церемоний?

— Тут дело не в сценарии, а в авторе, в его незаурядных пробивных способностях. Все, Кирочка. На подпись к шефу. Как он сегодня?

— Подпишет. — Кира чуть улыбнулась мастерски выведенными губами. Она была хороша — эта Кира. Устойчивых тридцати трех лет, статная, с горделивой осанкой и такая нарядная, будто не на работу пришла, а на новогодний бал. Давно уже не встречал Леонид таких сделанных женщин, так продумавших себя от перламутровых ногтей до завиточка на стройной шее. Леонид знал: Кира эта здесь не просто секретарша, хотя и была просто секретаршей. Эта женщина пользовалась значительным влиянием, перед ней заискивали. В министерстве вообще все было не простым и не очевидным, — Леонид знал это.

Кира собрала свои бумажки и поплыла к двери. Леонид, как только умел любезнее, придержал для нее дверь. Она улыбнулась ему благосклонно.

— Где вы так загорели?

— В Ашхабаде.

— Ах, да, да, — она его вспомнила, ведь это она оформляла его назначение в Ашхабад. — Ну, как вам там?

— Замечательно.

— Заходите, расскажете.— И удалилась, кажется, решив, что этот Галь неплохой малый.

— Значит, прилетели? А зачем?

Вот так так!

— Но меня вызвали. Была телеграмма...

— А к чему такая спешка? Ну, вызвали... Директор ваш развел пары, надоел нам своими письмами и звонками. Вот вас и вызвали. Кстати, что за человек этот ваш Денисов? Тут всякие слухи о нем ходят... Какая-то экзотическая любовь... Мало ему урока с Канадой?..

Если только один шаг сделать в крошечном этом кабинете, то упрешься в большое окно. А за ним, совсем близко, плечо казаковского дома и даль недалекая, заставленная кремлевскими куполами. Как же красиво в этом окне! Какой великий прогляд в нем! Извечное что-то. Такое, что было до тебя и останется после. На века. И где-то там — Сталин...

— Отмалчиваетесь, уважаемый? Покрываете своего директора? Что ж, это похвально. Но, кажется, на вашей студии обитают не одни только молчальники. А как там ваш знаменитый фильм? Говорят, материал идет из рук вон скверный.

О чем он за спиной бормочет? Что ему надо, этому министерскому всезнайке?

— Каков сценарий, таков и материал, — сказал Леонид. — Во ВГИКе нам еще на первом курсе внушали, что по плохому сценарию не может выйти хорошего фильма. А спешил я к вам потому, что студии позарез нужен настоящий сценарий. Работа настоящая нужна! Понимаете, работа!

— Обиделись? Ох и горячка же вы, Галь. Ничего, с годами подостынете. Что вы там увидели в окне?

Леонид обернулся.

— Многое. Так, значит, мне можно было и не спешить в Москву?

— Слушайте, Галь, вы откуда, из Ашхабада или с неба свалились?

— Считайте, что с неба.

— Это только вас и извиняет. Там у себя на небе

вы, должно быть, не слышали, что «Мосфильм» снимает сейчас каких-то три с половиной картины, а «Ленфильм» полторы. Иные же студии вообще простаивают.

— Выходит, мы счастливчики?

— Я не верю в Бурцева, не верю, что он сделает нечто значительное. И все же вы снимаете фильм. Вы одна десятая всего плана. А то и больше. Крохотная студия. Мало вам?

— Выходит, нам надо гордиться, ликовать надо?

— Галь, поменьше сарказма. Мой вам добрый совет: поменьше запальчивости и сарказма. — Валерий Михайлович поднялся, шагнул к двери. — Ваше время истекло, спешу на художественный совет.

— А как же мой сценарий?

— Еще потолкуем. Отметьте свою командировку, оглядитесь, подышите нашим воздухом, поживите у нас. Мы теперь, знаете ли, стали учеными. Поспешишь — людей насмешишь. Или еще: на нет и суда нет. — Валерий Михайлович усмехнулся глазами и погас. Возможно, даже пожалел, что так расшутился, разоткровенничался. Построжав, замкнувшись, он встал в дверном проеме, ожидая, когда Леонид покинет его кабинетик. Сутуловатый, с лицом усталым, озабоченным, министерским, он уже изготавливался для встречи с начальством, и что-то разравнивалось и приглаживалось в его министерском лице, делая его не начальственным, а подначальным.

Леонид вышел в коридор, растерянно поглядев в его даль, где шумела ожидалка. И пошел туда — к людям. Сел в продавленное гостиничное кресло, стал прислушиваться к разговорам. Кино! Кино! О чем бы ни говорили вокруг, всякое слово было о кино. Здесь поклонялись только этому богу, здесь собрались единоверцы. И Леонид был одним из них. Он знал многих, знали и его. Никто не удивился его появлению. Здесь привыкли к приездам и отъездам. Привыкли к самым неожиданным встречам, когда друзья по институту, работавшие ныне в разных концах страны, сталкивались вдруг на этом пятачке, как могли бы столкнуться в пору студенчества в институтском коридоре. «Коля, ты?», «Саша, ты?» И начинался разговор о кино. О сценарии, о натуре, о пленке — смотря по тому, какая у кого была профессия. И вообще о кино, какая бы у

у кого ни была профессия. О нуждах, о бедах, о радостях их любимого кино. Да, и о радостях.

Итак, все в порядке? Но работы-то у вас нет, друзья. Множество людей умеют что-то делать в кино, а делать им нечего. Никто не хочет признаться себе в этом. И никто не хочет уйти из кино. Как уйти, когда любишь? Значит, надо цепляться за место, делать вид, что работаешь, обманывая других, обманывая себя. Делать вид... Кажется, тут этим и занимались, бодро делая вид, что все у них — о'кэй! Веселый треп, бахвальство, поздравления звучали со всех сторон. Позвольте, а где же фильмы, о которых идет речь? Ах, вы надеетесь, что их скоро запустят? Вы ждете утверждения, назначения, направления, перемещения? Худо вам!

К Леониду подсел бедно, хотя и с претензией одетый старик, смолоду когда-то знаменитый. Сценарист еще немых фильмов. Леонид не был с ним знаком, но знал по фотографиям — той, удачливой поры. Крепкое лицо, скуластенький, круглые самонадеянные глаза. Он фотографировался со Шкловским, с Зархи, с Пудовкиным. Казалось, его удаче не будет конца. А теперь, возможно, и не очень старый, это был дряхлый старик с трясущимися щеками.

Каким-то образом он был уже осведомлен, что Леонид — начальник сценарного отдела.

— Я знаю вашего Бурцева, — сказал он, протягивая Леониду дряблую руку. — Как же, давние друзья... Эх, а ведь у вас там сейчас теплынь! Овощи...

Старик замолчал, насупился, нервно закуривая. Он все сказал. Он сказал, что готов хоть немедленно ехать в Ашхабад, где тепло, где сытно, где у него старый друг, где могла бы найтись работа. Он все сказал и ждал чуда: сейчас ему закажут сценарий для Ашхабадской киностудии.

А мог бы он еще написать что-либо путное? Нет. В кино лишь немногие бывают долгожителями. Стремительная это штука — кино.

Как бы извиняясь перед стариком, Леонид заговорил о сценариях, которые есть уже на студии и которые, увы, терпят бедствие.

Старик слушал вполуха. Он понял: чуда не будет, овощей не будет. Он утратил интерес к этому нелепому молодому человеку из нынешних, из молодых, да ранних. Что там у него за беды? Какие к чертям беды?

Он на службе, он располагает средствами, вот даже в начальниках ходит. Старик обозлился и быстро пошел от Леонида. Недалеко: к окну, где нового сыскал собеседника — по виду, по осанке, из режиссеров. У режиссеров приметная манера держаться, словно они знают что-то такое, чего не знают все прочие. И дано им больше, чем прочим. Так оно и есть: они кормильцы, работодатели. Если, конечно, сами при деле.

Леонид тоже выбрался из своего угла. Надо было куда-то идти, с кем-то говорить — надо было включаться в ритм министерской жизни, в хитрую эту беготню с озабоченным лицом, в быстрые, на ходу разговоры, где намек важнее сути, надо было начинать дышать здешним воздухом, а воздух здесь был на каждом этаже свой и в каждом кабинете на особицу.

8

Неделя прошла, еще неделя — Леонид учился дышать министерским воздухом. И снова становиться москвичом — это тоже наука. Полгода не поживешь в Москве, и ты уже выбился из ее ритма, она чересчур шумной тебе кажется, сутолочной, ты робеешь на ее улицах и в общении со столичным людом, хотя и сам из этого люда произошел.

Весь нынешний день Леонид провел в министерстве. И только к вечеру, с избытком наглотавшись министерского воздуха, как и обычно, подавленный и обозленный, он выбрался на улицу Горького.

Оказывается, день-то был совсем летним, вот и вечер выдался совсем летним — с молодо зазеленевшими деревьями, ласково угретый. Леонид пожалел, что так и не узнал, каков был день, что прозевал его, ходя по кабинетам.

Такое случается в мае: вдруг наступает лето. А потом в июне возвращается май или даже апрель. Это когда у дубов распускаются листья. Верная примета. Дня три дует ветер, дождь льет, пасмурно.

Но пока робко установилось лето, самая лучшая пора в Москве, считанные дни, первый из которых Леонид прозевал. На что он убил его? Да все на то же: на говорильню о сценариях. Поправки, поправки... Стремление к совершенству обуяло кинoредакторов. Когда дело стоит, должно казаться, что оно кипит.

Не жалко ни времени, ни расходов — важно только не принимать решений. А посему — поправки, поправки...

Павел Лин, автор сценария о Каракумском канале, уже впрягся в эти поправки. Лин жил в Москве, кстати, все на той же улице Горького, в угловом доме Пушкинской площади, в комнате над аптекой. Из единственного окна узкой, как коридор, комнаты можно было смотреть и смотреть на Пушкина, он был совсем рядом, будто остановился у этого окна и спросил о чем-то владельца комнаты. Спросил и ждет ответа, наклонив голову, внимательный, добрый. Павел Лин часто заговаривал с ним. Пушкин слушал, помалкивал. Лин клялся, что у Пушкина менялось лицо. Иногда он улыбался словам Лина, иногда досадливо хмурился, иногда, по-видимому, недоумевал, и это недоумение залегало в его бровях.

— Вот, Александр Сергеевич, принимаюсь за новый вариант, — сказал Лин, когда окончательно порешил с Леонидом, что надо, надо делать поправки. Сказал и высунулся в окно, чтобы поглядеть, а не смеется ли над ним Александр Сергеевич. Пушкин не смеялся. Шел дождь в тот день, и Пушкину было холодно, он скучал.

— Скучает, — сказал Лин. — Хандрит. Ладно, я с ним после посоветуюсь.

Приуныл Лин, этот новый вариант, кажется, добьет его. Он болен, бывший матрос, богатырского здоровья человек, ныне закашливается, то и дело хватается за грудь. И денег у него никогда нет. Скудно, редко печатается. Этот десятый вариант — надежда получить немного денег вперед и слабая, совсем слабая надежда, что сценарий все-таки примут.

Итак, Павел Лин работает. А Хаджи Измаилов, автор сценария «Подземный источник», со дня на день приедет в Москву из Ашхабада. В министерстве легко пошли на то, чтобы его вызвать. Ему оплатят проезд, ему оплатят гостиницу, еще какие-то дадут деньги, лишь бы только засел за очередной явно во вред сценарию вариант. Новый вариант — это опять месяц, а то и два кипучей деятельности, той самой, которая так необходима в кино, когда дело стоит.

В киоске у Центрального телеграфа Леонид купил «Вечерку» и купил еще майский номер «Знамени», приметив, что он открывается новой повестью Казакевича.

Леонид был знаком с Казакевичем, встретил однажды на квартире у их общего приятеля. Давно это было, вскоре после войны. Казакевич ходил еще в военной форме. И носил ордена. Не для того чтобы побахвалиться. Если бы он снял эти ордена, на старом кителе зазияли бы дыры от них и не выгоревшие на ткани кружки и звезды. Орденов было много, ордена были боевые. А человек в очках, пусть и в военной форме, казался сугубо штатским. Он сутулился, у него была застенчивая, робкая улыбка, и, когда он заговаривал, эта застенчивость проникала в его слова. Он произносил их мягко, вопросительно как-то. Трудно было поверить, что этот очкарик совсем недавно был командиром разведчиков, ходил с отчаянными парнями в тыл к немцам и даже среди разведчиков был на высоком счету.

Казакевич тогда еще только написал свою «Звезду», повесть еще не была напечатана. Сутуловатый капитан в потертом кителе не был еще знаменит. И очень нуждался, жил с семьей в дырявом бараке. Ему предлагали остаться в армии, это разрешило бы его материальные затруднения. Нет, он хотел писать. Кончилась война, и он начал писать. А в редакциях сомневались: прозаик ли Казакевич? До войны он был поэтом, писал стихи на еврейском языке. Он их продолжал писать. Но он еще писал и свою военную прозу. Он знал, что должен ее писать, как бы трудно ему ни было. Очень сильный это был человек, очень веривший в свою задачу. И это чувствовалось, его сила чувствовалась. Поговорив с ним, Леонид перестал удивляться штатскому обличию этого командира разведчиков. Дело было не во внешнем виде, а в той силе, в том превосходном мужестве, которыми полнился этот человек.

Потом Леонид прочел в журнале его «Звезду». Читал, и все время слышался ему мягкий голос Казакевича, и он верил каждому его слову.

И вот новая повесть... И подумалось, уважительно и завистливо: работает человек, работает. Ну, а ты делом ли занят? Вдумайся-ка... Вдуматься не удалось. Мысли уперлись в какую-то внутри стену, высоченную, без единой выбоины. Есть мысли и нет их, уперлись в стену...

Знакомая девушка в окошке «До востребования» протянула ему письмо и две телеграммы.

— А перевода пока нет, — сказала она. — Что письма? Что телеграммы? Были бы деньги. Не так ли? Вы что такой расстроенный?

Девушка была приметно красива: медноволосая, большеглазая, с медленно разгорающейся, сулящей улыбкой. И Леонид, кажется, нравился ей. Эх, взять бы да и назначить ей свидание! Ну, начать с какой-нибудь испытанной фразочки: вам, мол, не на почте сидеть, а в кино сниматься. Ну и так далее и тому подобное. А потом условиться о встрече и пойти с ней, когда сменится, по ночному городу, узнавая о ее жизни, рассказывая о своей. Чужой человек и уже не чужой. И эта медленная улыбка обращена к тебе. А дневной, казенный голосок стал совсем иным, ожил, осмыслился, обрел глубину. Не чудо ли? То самое, которого не бывает? Но что-то остерегало Леонида начать свой легкомысленный разговор. Не поймешь, что, но остерегало.

Не отходя от окошка, он развернул телеграмму. Она была от Денисова: «Днями заканчиваем тонировку фильма, вылетаем Москву для сдачи министерству. Ускорьте утверждение своего сценария. Люди изголодались настоящей работе. Простой недопустим. Надеюсь на вас».

Итак, этот шедевр закончен... Они приезжают... Изголодавшиеся люди приезжают... А сценарий, где он, новый сценарий?.. Его нет, а есть только поправки, поправки...

— Как вас зовут? — спросил Леонид, пригибаясь к окошку. Ему очень нужно было, чтобы она улыбнулась своей медленной улыбкой. И еще ему нужно было собраться с мыслями.

— Полиной, — сказала девушка и улыбнулась.

Почему-то он ожидал, что ее зовут как-то именно так: Полина. Белошвейка Полина... Итак, они приезжают с этим распрекрасным фильмом... А сценария нет, нового сценария нет...

Леонид распечатал вторую телеграмму. Она была от Хаджи Измаилова. «Выезжаю Москву остановлюсь постпредстве. Твой Хаджи». И весь текст. Чудо-юдо, каким поездом, каким вагоном? Не хочешь, чтобы встречали? Скромность заела? Славный ты парень, Хаджи, достанется тебе здесь...

Кто-то из сотрудниц позвал Полю. Девушка подня-

лась, глянула затравленно на Леонида, покраснела вдруг всем лицом и шеей и пошла, горестно прихрамывая на тоненьких параличных ножках. Ах, вот оно что! Нет, не идти им вместе по ночной Москве. Все так, чудес не бывает...

Леонид не стал ждать, когда Поля вернется, и побрел по залу, вертя в руках письмо. Незнакомый почерк, круглый, как у семиклассницы, но, может быть, писала и женщина. У множества женщин одинаковый почерк и застывший, такой, каким выучились они писать в школе. Обратного адреса нет. От кого бы это? Ничего доброго от письма Леонид не ждал — день выдался недобрый. Прочесть прямо сейчас? Или отложить на денек? Он вскрыл конверт.

Синий листок почтовой бумаги был исписан круглым почерком лишь с одной стороны, да и то не до конца. Коротенькое письмецо. И отрывистая, злая строка в конце: «Не пиши мне. Ира».

Так это Ира! Буфетчица Ира... Верно, верно, она вправе обижаться. Надо было хоть телеграмму ей послать, с Первым маем хоть поздравить.

Леонид успокоился, отыскал свободный стул, сел и только потом заскользил по круглым, девчачьим буквам: «Здравствуй, Леня! Прости, что пишу тебе, больше я тебе писать не буду. Ты-то и открыточки не прислал. Пообещал, да позабыл. А у меня радость, муж вернулся, Костя. Он меня ни о чем не спрашивает, и я его ни о чем. Начали жить. Сладится. Он теперь будет в Ашхабаде устраиваться. Между прочим, твоя Лена, говорят, выходит замуж. За какого-то начальника. А прошлой ночью было у нас землетрясение. Маленькое. Мы бы и не проснулись, Макс разбудил. Визжит и визжит. А тут вдруг стены качнуло, посуда зазвенела. Только и делов, а страшно. Я в одной рубашке во двор выскочила. Ну, будь счастлив, Леонид. Макс тебе кланяется, он тебя помнит. Он собачонка привязчивая. Вдруг заскулит. Это о тебе. Не пиши мне. Ира».

«За какого-то начальника...» Леонид вскочил, огляделся, готовясь куда-то припустить бегом. Но куда?

А вокруг писали, все тут кому-то что-то писали. Вот и ему написали. Макс вот его не забыл. Собачонка. И ему стало жаль себя как-то со стороны, когда видишь свое отражение в случайном зеркале и незнакомо жалким сам перед собой предстаешь. «Не может быть! —

хочется крикнуть. — Я не такой!» Но в зеркале кто-то жалкий, растерянный кивает тебе: «Такой... Такой...»

9

Они прилетели. Вот они идут от самолета — горстка людей, сдуваемая ветром. Все те, кто создавал комедию.

Впереди Бурцев. Издали маленький, он все же самый высокий среди маленьких. Рядом с ним Денисов. Он узнается по отрывистости движений. Решительный. Деловитый. С ним не пропадешь. И рядом с ним какое-то тоненькое, шаткое существо. Марьям, конечно. Это их последние шаги вместе. Здесь в Москве, где у Денисова семья, они станут демонстрировать чуть ли не враждебность друг к другу. Комедия. Вот в том-то и дело, что комедия. Даже в министерстве все уже знают об этом романе. Как узнают люди про такое? Почему так быстро все узнается, когда речь идет о потаенном в жизни человека? Любопытство? Недоброе любопытство?

Леонид стоял у ограды аэродрома, у калитки, дальше которой встречающим хода не было. Можно было, конечно, пробраться и дальше, но Леонид вовсе не спешил лицом к лицу встретиться с Денисовым. Леонид наперед знал, о чем тот его спросит, позабыв даже поздороваться. «Как с новым сценарием?» — спросит он. «Вносим поправки», — ответит Леонид. «Поправки!..» И тотчас же глаза у Денисова зло приузятся и он отвернется, никаких не желая слушать объяснений. Слабак ты, парень! Зря на тебя понадеялись!..

Леонид приехал на аэродром не сам-один: он прихватил с собой Хаджи Измаилова, который уже с неделю как жил в Москве. Живой все-таки автор. Приехал, работает. «Верно, Хаджи, ведь работаешь?» — «Есть немножко», — скажет Хаджи. Он не из разговорчивых. Если ему не задавать вопросов, он может целый вечер с тобой просидеть и не вымолвить ни слова. И все же не кажется, что он молчит. Вспомнишь этот вечер, и словно бы разговор был. У Хаджи говорящие глаза. Он ими улыбается, он ими сердится, соглашается, возражает. Он ими так может поглядеть, что никакие вопросы не нужны, все ясно. Этими глазами Хаджи порядочного уже нагнал страха на министер-

ских редакторов. Они как-то увядали под его взглядом. Кто знает, на что способен человек, когда у него такие презирающие глаза.

У Хаджи не было правой руки, он потерял ее на войне. Но совсем не бросалось это в глаза, что он однорукий. Все делал сам. Писал сам, закуривал сам, с едой управлялся сам. Он не выставлял, он прятал свое боевое увечье. Невысокий, с впалыми щеками, жилистый и жесткий, Хаджи совсем не походил на писателя. А вот на джигита походил. На того самого, чьим именем его нарекли при рождении, на Хаджи Мурата.

Горстка людей незаметно надвинулась, стали слышны голоса. Все, все тут были, включая и Володю Птицина. Он первый ответно замахал Леониду рукой, возбужденно крикнув:

— Святая правда, Галь собственной персоной!

Оттуда, от них, Леонид тоже был крошечным. И все, кто встречал самолет, толпясь у калитки, были не более чем горсткой людей. И надо было разглядеть, кто в этой горстке кто: где жена, где муж, где приятель. И надо было изготовиться к встрече. Не всегда это просто.

А верно, кто кого тут ждет? Леонид глянул вокруг. Эта высокая, со строгим вдовьим лицом женщина, к кому она? У нее красивые ноги, она развернуто держит плечи. Балерина? Из бывших балерин? У Птицина, кажется, жена из бывших балерин. Так это она? Леонид подошел к женщине.

— Вы встречаете Володю Птицина? — поклонившись, спросил он.

Она не услышала его и не заметила. Она смотрела туда, за калитку.

Там, за калиткой уже не было горстки людской, а шли люди, всяк сам по себе, смешновато ведущие себя люди. Они жестикулировали, кричали или улыбались, как актеры, выступающие в громадном зале, где надо во всем преувеличивать свою игру, чтобы ее разглядели и расслышали в задних рядах. Понятно, что при такой игре не очень-то выручает мастерство. И все было сейчас видно — и радость видна, и притворство. Видны были все жалкие уловки, на которые пускается человек, полагая, что вокруг слепцы.

Марьям и Денисов шли уже не рядом. Марьям те-

перь цеплялась за руку старика Бурцева. И он — о великодушный! — склонился к ней, откровенно играя влюбленного старика, которому недосуг страшиться людской молвы.

А Денисов, раскинув руки, бежал к калитке, где первым стоял мальчуган, его сын, и рядом стояла молодая женщина, хорошенькая, нарядная, но тоже со строгим вдовьим лицом. Жена, которая знает все.

Да ну их, этих актеров, играющих в громадном зале! Леонид отыскал глазами симпатичное, всего лишь уставшее в полете лицо Клыча, всего лишь растерянное немножко лицо человека, прилетевшего вот в столицу.

— Клыч! — крикнул он ему, очень обрадовавшись.— Здорово, старина! Хош гельды!

Отомкнули калитку, и все сразу сгрудились, прилетевшие, встречающие, и сразу разобщились, отгородились друг от друга почти зримыми перегородками, разбившись на пары, на группы.

Леонид расцеловался с Клычом. В Ашхабаде они не целовались, ни встречаясь, ни прощаясь. Но в Москве иные обычаи. Хаджи тоже радостно поздоровался с Клычом, просиял, подойдя к нему. И Клыч просиял. Друзья ведь. Но они не целовались и не обнимались. Коснулись друг друга плечами, и все.

Поучиться бы этой сдержанности Володе Птицину. Куда там! Он всех обцеловывал и был радостно громок. Счастье так и перло из него. Облобызал он и Леонида.

— Встретила! Видал, встретила!— шепнул он ему.— Пижамка на тахте... Графинчик из буфета... Эх, старый, еще поживем!

Со всеми целовался Володя, со всеми переговаривался, а возле жены ему не стоялось. Вдруг подхватился и побежал, крича:

— Машины, машины надо ловить!

Леонид, кляня себя за любопытство, отыскал в толпе Марьям и Денисова. Они были разделены толпой, но были и объединены толпой, всеобщим объединены любопытством. Эти двое и еще жена Денисова и жена Птицина. А Володька сбежал. Не так он прост, оказывается.

Толпа втекла в зал аэропорта, в новые из мрамора стены, в гулкую торжественность чуть что не храма.

А ведь еще этим утром прилетевшие покидали крошечный домик ашхабадского аэродрома, который был и не аэродромом вовсе, а отторгнутым у пустыни кусочком земли, клубящейся жаркой пылью.

Столица. В этом зале все было от столицы — мрамор, высота потолков, гул под сводами. Но главное, столичными были женщины. Ничего особенного в них не было, они были почти так же одеты, как и прилетевшие женщины, даже иные и скромнее одеты. Но они были по-столичному одеты. Они иначе двигались, свободнее. Они иначе разговаривали, смелее. И смеялись, когда им вздумается.

Леонид заметил все это, потому что все это заметила Марьям. Он не сводил с нее глаз, изумленный переменой в ней, опять переменой. О, это шла не дочь царя из царей Индии! Это шла по залу провинциалочка. С подурневшим, как бы замерзшим лицом, в немодном летнем пальто, а думала ведь, что модное, с нетуго держащимися на тонких ногах чулками. Шла и смотрела на все испуганно и завистливо. Да, и еще шляпка была на ней ужасная, курьезная шляпка с искусственными цветочками.

И эту-то женщину любил Денисов, сменял на нее ту, что шла сейчас с ним рядом? Ведь Марьям по всем пунктам проигрывала в сравнении с женой Денисова, столичной, красивой женщиной, одетой и державшейся так, как бедняжке Марьям и не снилось. Наваждение?.. Колдовство?.. Но не развеется ли оно на трезвой земле московской?..

Вышли на площадь к такси. Они вереницей подъезжали к тротуару следом за головной машиной, из которой, сияя, выскочил Птицин.

— Машины для киностудии! — крикнул он. — Ашхабадская студия прибыла в Москву!

Когда шли к машинам, Леонид случайно оказался возле Денисова. Как хорошо, что Клыч и Хаджи преподали Леониду урок мужской сдержанности. Он не кинулся жать Денисову руку, обниматься с ним. Да тот, кажется, и забыл, что они еще не поздоровались.

— Что со сценариями? — спросил он, скосив на Леонида невидящие глаза.

— Кипит работа!

Удачный ответ. По крайней мере, он удовлетворил Денисова хоть на время. Денисов отвернулся, он смот-

рел, как подсаживает Бурцев Марьям в машину, сморщившись смотрел, потому что и в машину Марьям села очень неловко, зацепившись полой пальто о дверцу.

Вереница такси тронулась в путь. Леонид ехал с Хаджи Измаиловым, Клычом и Угловым.

— Ну, ребятки, как фильм? — спросил Леонид.

Углов — он сидел нахохлившись рядом с шофером, — не поворачиваясь, процедил в ответ одно всего слово:

— Дерьмо.

10

Всему, на что надеялись на студии, когда снимался фильм, — то состояние зажмуренности, когда каждый пытался уверить себя, что еще не все пропало, что выручит монтаж, музыка и вдруг фильм сладится, — всему этому пришел конец, и настала печальная ясность.

Не помогли ни операторские изощрения, всякие там ракурсы и летящие камеры, не помог и монтаж, хотя Бурцев выложил всю свою умелость, не помогла и музыка, которую написал талантливый человек, и написал удачно. Ничто не помогло выручить этот фильм, ни даже ахалтекинские скакуны, цветущая по весне пустыня и снежные горы — весь этот сказочный край, снятый в самую выгодную для себя пору, с самых выгодных для обозрения точек. Уж больно пустяковая и не по правде творилась в фильме жизнь.

Члены художественного совета министерства смотрели картину, храня зловещее молчание, будто это не они утверждали сценарий, по которому сейчас скакали и целовались на экране. Сейчас они были судьями. И, кажется, подсудимому грозил суровый приговор. Одно дело сценарий и совсем другое — фильм. Сценарий правили, чтобы фильм получился без сучка, без задоринки, а когда он таким и получился, фильм не мог не вызвать раздражения. Он проваливался.

Он еще раньше провалился, когда его смотрели в главке. И еще раньше, когда его посмотрели до сдачи московские друзья студии, автор сценария Дудин и кое-кто из Туркменского постпредства.

Леонид в третий раз смотрел сейчас фильм. И изнывал, затонув в кресле, от почти физического ощущения катастрофы. Но ему было далеко не так худо, как

Клычу. Тот сидел, прикрыв рукой глаза, замерев от стыда. Жаль было Клыча. Все эти дни он держался мужественно, даже пробовал шутить, но глаза у него были совсем больные. Ведь он, пока снимался фильм, что там ни говори, а надеялся на чудо. Никак не может человек без чуда. Надобно ему оно. Непременно! Его помолиться иной раз тянет, хоть он и неверующий, помолиться и поверить в некую всевышнюю силу, лишь бы только выпала на его долю удача. Вопреки всему. Это и есть чудо.

Фильм кончился, зажегся свет. Судьи поспешно поднялись и удалились, не проронив ни слова. И боже, какие у них были не сулящие милосердия лица!

Перерыв, перекур, а затем предстояло обсуждение, но точнее — судилище.

Подсудимые тоже вышли из зала. В конце коридора было распахнуто окно. К нему и потянулись, нервно закуривая, роняя пустопорожние фразы, только чтобы не молчать.

— Копия не к черту, — сказал Углов.

— Звук заедало, — сказал Денисов.

— Верно, звук уходил, — согласился Леонид.

Ну, а если бы и со звуком все было хорошо и копия была бы самая лучшая, что тогда?

Бурцев молчал. И Клыч молчал. Но по-разному. Бурцев, хоть и молчал, все время про себя готовился к речи, шевелил губами, брови сводил, загодя распаляясь. Накипело, видно, у старика, готовился не к обороне, а к атаке. А Клыч молчал окаменело, как очень уставший и очень обозлившийся человек.

Денисов глянул на него и сказал:

— Знаешь что, иди-ка ты в гостиницу.

— Пожалуй, — сказал Клыч, но никуда не ушел.

У окна ветерок жил, пахло молодым тополиным листом. За тысячу верст отсюда и на десяток лет назад унесла вдруг Леонида память. Урал, городок небольшой уральский, где довелось ему кончать десятилетку, когда отца послали в этот город на работу, и вот такой же с тополиным запахом день. Последний в десятом классе. Экзамены кончены, аттестаты розданы. Свернутый в трубочку аттестат, как вафля с кремом, зажат в руке. Завтра он угнездится в конверте и отправится в почтовом вагоне в Москву, в родной город его владельца, где Леонид Галь вознамерился продолжать свое

образование. Институт известен — ИФЛИ, Институт философии, литературы, истории. Факультет известен — литературный.

...И все тот же тополиный запах в ноздрях. В Сокольниках, где находится этот институт, все лето живет тополиный запах. И результат экзамена известен: тройка по математике, а тройка — это провал, ибо велик конкурс. Провал, затем экзамены в другой институт, первый попавшийся, где еще принимали заявления, затем уход из этого института в середине учебного года, когда во ВГИКе объявили набор на сценарный факультет, новые экзамены — и вот он студент интереснейшего института и на факультете именно литературном, чего и добивался. А зачем?

...Снова тополиный запах в ноздрях, снова ты, как школьник, — после экзаменов и перед экзаменом. И ясно, тебя ждет провал.

У окна, где подувал ветер, все смолкли. Принюхивались к тополиному этому запаху и наверняка вспомнили, как и Леонид, что-то свое и далекое. И, может быть, тоже спрашивали себя: «А зачем?..»

Появился, чиновно горбясь, Валерий Михайлович, еще издали махая рукой, мол, пора, мол, зовут.

— Пора так пора, — сказал Денисов, сразу побледнев, зрачки даже у него побелели. Нет, то была бледность не испугавшегося, а на что-то решившегося человека. Подышал вот тополиным воздухом и решился.

11

Совет собрался в небольшом зале второго этажа. Что тут было раньше? Танцы устраивались? Банкеты? Потолок свысока загадочные строил рожи своими лепнинами. Эти лепнины-маски понагляделись и понаслушались. У них были скверные лица очень осведомленных чиновников времен какого-нибудь Суллы. Они были все на одно лицо, как люди незнакомого племени, и все разные, если приглядеться.

Из своего угла, снова затонув в кресле, Леонид только и делал, что приглядывался. Немаловажным событием в жизни был для него этот художественный совет. Он знал, что запомнит его до конца своих дней. Провалы запоминаются. И помнится, когда бывало те-

бе очень стыдно, очень тошно. А когда радостно бывало — это в памяти удерживается не всегда. Радость, удача воспринимаются как должное. Так уж устроен человек.

Совет открыл министр. Он куда-то торопился. Он заговорил, а глаза его уже искали наикратчайшую дорогу к выходу, прокладывали своему владельцу путь между креслами и вспоминали всю дорогу по мраморной лестнице, по коридору и через двор к машине. Там, в конце пути этой машины, ожидалось нечто важное. Здесь же все было неважным. Собственно говоря, никакой особой возни с этой картиной не предвиделось: просто слабая картина.

Проговорив несколько слов вступления, министр, продолжая стоять, повел рукой, предлагая членам совета высказаться. Движение руки было торопливым и было небрежным. В этом движении куда определеннее, чем в словах, была дана оценка картине.

Наголо бритый человек, бровастый, с круглым симпатичным лицом умного весельчака, первым пожелал обратить жест в слово.

— Дело ясное, фильм удручающе плох, — сказал он напористо и весело. — Как-то дерзновенно плох. — Он чуть поубавил напор, ему стало жаль людей, забившихся в угол, он решил их утешить: — Это бывает, бывает... В искусстве нет торных дорожек.

Улыбкой, изломом бровей он просил у своих коллег снисхождения за столь тривиальную фразу.

Дама со строгим лицом, строго одетая, строго причесанная, этакая наставница классической гимназии, глянула на него с осуждением.

— Ну уж хватил — искусство! — Она гневно поднялась. Какая там чопорная классная дама — в ней столько было от трибуна, от женщины митингов и собраний, что в зале просто повеяло если не самой Революцией, то фильмами о той поре.— Никакой пощады подобному ремесленничеству! Никаких скидок и объяснений! Этому фильму место на полке! История рассказана глупейшая, жизнь заласкана! Позор! — Она села, но снова привстала, она еще не выговорилась, ее негодование искало новых слов.— Если эта картина выйдет на экраны, я положу партийный билет!

Теперь она села. Вот так дама!

— Картина может идти в своей республике, — ска-

зал министр, снова поведя рукой, хоть и небрежно, но миролюбиво.

— Нет! — отрезала дама. Этот миролюбивый министр был ей не указ. Где-то у себя в министерстве она сама себе была указ.

Бритоголовый веселый человек был писателем и уже в силу своей человековедческой профессии склонен был к снисхождению.

— Может быть, все-таки послушаем товарищей,— сказал он.— В каких условиях создавался фильм... Неопытные актеры... Сжатые сроки, может быть...

Он кидал под ноги подсудимым спасательные круги. Леониду даже показалось, что он добро подмигивал, когда говорил. Но, возможно, это был просто тик, заработанный на войне.

— Что ж, пусть товарищи выскажутся,— сказал министр. Он продолжал стоять, прокладывая глазами кратчайший путь к выходу.

Кряхтя, тяжелый-претяжелый, поднялся из кресла Бурцев. Сейчас он им скажет! Обо всем. О запрещенных сценариях, о бесчисленных поправках, о простаивающей студии. Он скажет, что отказывался от этого легковесного сценария. Сейчас он их ткнет носом в их собственную работу.

— Я не кудесник, — сказал Бурцев, широко развел руки и сел, широко расставив колени и уперев в них кулаки. Вот и вся речь и вся атака!

Министр усмехнулся, кивнул благожелательно Бурцеву и пошел от стола к дверям, действительно кратчайшую находя дорогу между креслами.

— На республиканский экран, — сказал он на ходу и как бы походя, но это было решение, во имя которого и собрался совет, это был приговор.

— Я буду протестовать! — вскочила строгая дама. — Этот фильм посмешище над туркменами, над их жизнью!

— Правильно, — глухо проговорил Клыч и еще что-то сказал, но, от волнения забывшись, по-туркменски.

— Вы со мной согласны?

Клыч поднялся.

— Да.

— Нет! — сказал Денисов. Он тоже поднялся, снова побледнев, как там, у окна.— Нет, все не так просто. Фильм можно и вообще запретить, но все не так прос-

то. Надо понять, и следующий будет таким же. К этому идет. Когда так мало запускается картин, люди готовы ставить любую дрянь. И почему-то именно дрянь им и разрешают ставить...

Он был прав!

Да, он был прав, но министра уже в зале не было, члены совета поднялись и тоже потянулись к дверям. Быть не может, но Денисова, кажется, не услышали, его просто не слушали. Чего болтать? Решение состоялось.

12

Беду постигаешь не когда все свершается, а следом и и на пустяке. Человеку отхватило ногу, но он все еще в неведении, пока не приметит кровь на рельсе.

Валерий Михайлович покинул своих подопечных, не попрощавшись. А он был вежливым, умел быть вежливым. И все поняли, увидев сутулую спину редактора, что с ними стряслась беда. Со всеми вместе и с каждым в отдельности и по-разному.

— Пролетели мои постановочные, — сказал Бурцев. — И вообще — фу!

— Зря сох на жаре, выкладывался, — сказал Углов.

— Лучше бы его совсем запретили,— сказал Клыч.— Стыдно будет по улицам ходить.

Галь и Денисов промолчали. Они были чиновниками, провал фильма для них мог закончиться просто снятием с работы. Их карьера, какой бы там она ни была, могла на этом и оборваться. Галю было полегче, чем Денисову. Галь мог засесть за писание сценариев, никому, впрочем, сейчас не нужных. Денисов, некогда учившийся на режиссера, но не поставивший ни одного фильма, о творческой работе по нынешним временам не смел и мечтать.

Спустились по мраморным ступеням на первый этаж, примечая множество мелких мелочей, кричавших им: «Провалились! Провалились! Провалились!» Казалось, сам воздух министерский кричал им это. Пустота на лестнице, пустота в коридоре, хоть и шли навстречу люди. Шли-то шли, но не заговаривали, но отводили глаза, но сворачивали в сторону. Этим людям казалось, что они деликатны, чертовски деликатны, а они стегали, они ранили своим напускным

безразличием, они были капельками крови на рельсе.

Навстречу кинулся Птицин, он их ждал возле раздевалки, все время был тут, пока шла приемка картины. Он все знал, конечно. Но он был не сторонним в этой истории, хотя сам-то почти ничего не терял от провала фильма. Он еще раньше все потерял. Но он так не думал сейчас. Он горевал вместе со всеми. И, смешно, еще на что-то надеялся, когда бежал им навстречу. А вдруг да ему наврали, не так и не то сказав.

— Ну, шер ами, водку будем пить или шампанское?

— Водку, — сказал Денисов.

— Ясно... — Птицин поник, отлетела надежда.

Вышли во двор, миновали проходную, где и вахтеры уже все знали, сидели потупившись, вышли в Гнездниковский, двинулись по нему на улицу Горького.

Улица Горького, улица Горького — дорога славы и бесславия киношников всей страны. Нет такой съемочной группы, которая бы не продефилировала этой улицей от угла Гнездниковского и до гостиницы «Москва» в день сдачи своей картины министерству. Путь недолог, идут пешком. Идут либо счастливые, либо поверженные во прах. Прохожие узнают иных из актеров, иных из режиссеров. Избранники судьбы, любимцы публики. И верно, иной раз избранники, но иной раз парии.

Сейчас по улице шли парии. Шли изверившиеся в себе люди, павшие духом, разобщенные, с единственной всего и сверлящей мыслью у каждого, злой, коротенькой, безнадежной. Но, собственно, на что они могли рассчитывать? А на что рассчитывает бедняк, покупающий облигацию трехпроцентного займа? На выигрыш, на удачу. Светящийся плакат над площадью Пушкина обещает ему сто тысяч!

— Надо послать телеграмму на студию, — сказал Денисов. — Хватит тянуть с этим.

— А не повременить ли? — сказал Птицин.— Может, утрясется как-нибудь, рассосется... — Убеждая, он так склонил голову и поднял плечи, словно был громадной птицей, собравшейся спрятать голову под крыло. — Обойдется... Уляжется... А?

— Не утрясется! — резко сказал Денисов. — Разве что расползется!

— Не с него спрос, вот и болтает, — недобро глянул на Птицина Углов.

— Стоп, стоп, господа! Сейчас мы все перессоримся! — Бурцев раскинул широко руки, как Спаситель на кресте или милиционер на перекрестке. — А нам что надо? Нам надобно нервы беречь. Поделюсь секретцем. Случилась неприятность, так? Не вдумывайся, не паникуй. Запри в себе все мысли — и бегом в ближайшую забегаловку. И залпом двести граммов. И все! Нет никакой неприятности! Она ушла в туман. Она где-то там, далеко, далеко, она не страшная. В итоге нервы разжались, их ничто не терзает.— Старик усмехался, взмахивая ручищами, не поймешь, шутил или всерьез говорил, усмехался, лукавый, многоопытный. — Вы знаете, я не пьяница, но в трудные минуты и для убережения нервных клеток... Словом, вон через улицу дверь в прелестнейшее кафе «Отдых». Милости прошу, лекарство за мой счет.

Лукавый, бывалый старик. Эх, если бы ему еще таланта побольше, злости, что ли! Если бы он был все-таки кудесником!..

Возглавляемые Бурцевым, пересекли улицу, ввалились в кафе. Уже с порога Бурцев принялся распоряжаться властным голосом режиссера, которому не перечат. И ему не перечили. В этом с иголочки и чопорном кафе девицы в наколках, прибранные, как невесты, радостно забегали, исполняя его режиссерскую волю. Здесь не подавали водку, а только коньяк. Подали водку.

— Поехали! — гаркнул Бурцев и стоя проглотил свою чашу забвения.

И все последовали его примеру. Выпили и стали смотреть, что делает старик. Он не закусывал, он напряженно вслушивался в себя. И все стали вслушиваться. Вдруг старик расплылся в улыбке.

— Тума-а-ан! — протянул он радостно.

Верно, пришел туман. Леонид и Денисов переглянулись повлажневшими, подобревшими глазами.

— А все-таки кудесник! — сказал Денисов.

Только теперь все сели к столу.

13

Давно уже было покинуто кафе «Отдых», перекочевали в кафе «Националь», ушли и оттуда. Все так, все по той же тропе, которой следовали все съемочные

группы, сдавшие свои фильмы. И те, кто схватил удачу, и те, кто провалился. Но разница была в том, что удачливые были счастливы, а неудачливые загоняли себя в туман. Лишь в этом и разница.

Из «Националя» выбрались большой компанией. Шло время, сгущался туман, и Птицин все чаще бегал к телефону, обзванивая разбежавшихся от позора по своим углам членов группы, и с каждым звонком оптимистичнее становились его толкования случившегося. И люди стали выползать из своих углов и съезжаться на пир, понимая, что Птицин подвирает спьяну, но с готовностью поддаваясь обману.

Приехал директор картины со смешной фамилией Шкалик, тем более смешной, что он не пил, трясясь над своим здоровьем. Это вообще был занятный человек. У него были аристократические повадки и заячья душа. А он и не скрывал, что всего боится. Он полагал, что это не заяц в нем обосновался, а некий мудрец по имени финансист. Шкалик считал себя крупным финансистом.

Приехал Гриша Рухович, где-то уже хвативший. Для равновесия, как он пояснил. Не было с ними только Марьям. Птицин не раз порывался позвонить ей, но Денисов хмурился и запрещал.

И вот они снова на улице Горького, но вечерней, в огнях. День прошел. Что за день? Не вспомнить, он в тумане. Да и незачем вспоминать. Собственно, вся мудрость жизни в том и состоит, чтобы жить минутой. Не правда ли? Вот дом весь в огнях, громадная гостиница, вобравшая в себя тысячи людей. И среди этих тысяч — Марьям. Одно из светящихся окон — ее окно. Она там, она ждет. А почему бы и не зайти к ней? Жена где-то отсюда через пять кваралов? Молва страшна? Чепуха все это! Глупость! Живи минутой. И вот теперь Денисов стал поводырем и повел всех через улицу. Он помалкивал, но все знали, куда он их ведет, к кому.

Ждала ли Денисова Марьям?.. Весь день просидела безвыходно в своем номере, вздрагивая на каждый шорох за дверью, молилась аллаху, чтобы зазвонил телефон, зло плакала без слез, металась по комнате, кусая ногти и губы. Но вот распахнулась дверь в ее номер,

на пороге встал Денисов, а за ним сгрудилась вся его компания, и они увидели Марьям в кресле, спокойную, безмятежную, только что дремавшую.

— Ах, это вы?..

Ждала ли она? Нет, конечно. Но раз уж пришли, она рада гостям. Вскочила, свела ладони.

— О, да вы пьяные! А мне захватили?

На Денисова она не смотрела. С Денисовым у нее еще будет разговор. Он измучил ее, она помучает его. И на Птицина не смотрела. Раб не смел так долго не появляться.

Все внимание Марьям отдала Бурцеву. Подбежала к нему, трепетно взяла за руку, повела за собой, отыскивая в комнате самое удобное для него место. А комната эта была сейчас не обычным гостиничным номером, заставленным громоздкой, угластой мебелью, а чем-то вроде шатра. Множество платьев, которые Марьям привезла, слишком ярких, цветистых, не для Москвы, она набросила на спинки стульев, обернула в них подушки. Посреди стола, прямо на скатерти, расползлась гора из миндаля, урюка, фисташек. Казенный графин с водой перекочевал на пол, стоял у дивана, как сосуд с шербетом, а на столе водворились пиалы и чайник. Казенное покрывало с кровати было отброшено, кровать была покрыта шелковым узбекским халатом. И пахло в этом номере не пылью и туалетом, а сушеной дыней — запахом сладким, чуть дымным, из восточной сказки.

А Марьям, сама она в своем простеньком домашнем платьице, в тапочках и с косами, какие заплетают, когда не сделана прическа, сама она снова стала дочерью царя из царей Индии.

— Красавица, красавица,— растроганно сказал Бурцев, усаживаясь в кресло. Он нагнул седую косматую голову, целуя ей руку. — Прости старика... Подвел...

— Не нужно об этом... Эй, кто-нибудь, налейте мне! — Не оборачиваясь, она завела руку с пиалой за спину.

Кто-нибудь, это был Птицин, с официантской сноровистостью подбежал с бутылкой.

Не глядя, что он ей налил, Марьям поднесла к губам пиалу и стала пить, вздрагивая тонкой напрягшейся шеей. А выпив, отошла к окну, уперлась лбом в стекло и долго смотрела в огни чужого города, громад-

ного города, который не пожелал подарить ей удачу.

К ней подошел Денисов, обнял ее и тоже уперся лбом в стекло.

Они не разговаривали, но они позабыли, что не одни в комнате. Всем стало ясно, что о них позабыли.

Первым и на цыпочках пошел из номера Птицин. Он и по коридору сперва шел на цыпочках.

В вестибюле, когда все туда спустились, кто с каким лицом — кто с ухмылочкой, кто помрачнев завистливо, кто захмелев еще больше,— когда попрощались и стали расходиться, Бурцев придержал за локоть Леонида.

— Пошли, дадим моей Кларе телеграмму.

Почта была тут же, в вестибюле. Бурцев взял бланк, долго надписывал адрес, сопел, задумывался, потом что-то быстро написал и пододвинул бланк Леониду.

— «Стар я стал картины снимать, спина не держит», — прочел на бланке Леонид. Он глянул на старика. Заспорить с ним? Но Бурцев и не собирался слушать его, он уже передал бланк телеграфистке. Леонид нужен был ему не для совета, а просто чтобы находился рядом человек, от которого можно ждать понимания, участия.

14

Ну, провалился фильм — работать-то надо. Студия стоит, пробавляясь хроникой. Нужны утвержденные сценарии. Хотя бы один.

Леонид решился на крайнюю меру. Он решил попасть на прием к новому заместителю министра. О нем ходили легенды — молод, красив, умен, верен слову. Он был героем дня, баловнем судьбы, без пяти минут, говорят, министром. Актрисы просто так, бескорыстно влюблялись в этого человека. Они часами бродили по министерским коридорам просто так, как ходят девицы у театрального подъезда, чтобы взглянуть на своего кумира.

Леонид несколько раз мельком видел нового зама. То пройдет тот в глубине коридора, то промелькнет за стеклом машины. Вглядеться в него, услышать его голос Леониду не удавалось. Человек этот был нужен сразу стольким людям, что оно и неудивительно, если

не поспеешь за ним и он лишь сверкнет вдали, как комета в небе.

Теперь Леонид ждал, когда заместитель примет его, и страшно волновался, готовясь к предстоящему разговору. Он, пожалуй, не волновался бы так, если бы шел на прием к министру. Тот был человеком не загадочным. Ну, министр. Дослужился, и все. А молодой его заместитель был человеком иной совершенно судьбы: его вознесли талантливость, удачливость. И вся жизнь у него была впереди. Куда еще дойдет?.. И при мысли об этом, о чужой и завидной этой судьбе, о загадочно успешливой судьбе охватывало волнение. Разговаривать с таким человеком будет трудно. Он умен, зорок, насмешлив. Встреча эта, как предчувствовал Леонид, станет для него решающей. И не только потому, что все может сразу уладиться со сценарием, но и потому, что все может сразу и разладиться — и со сценарием и с самой работой Леонида на студии и вообще в кино. Зоркий человек поглядит на него, послушает и натвердо решит, какой он пробы — этот Леонид Галь. Решит раз и навсегда. Такие люди верны своему первому впечатлению.

Леонид волновался, страшно волновался, хотя пока что все шло как нельзя лучше, все удавалось. Секретарша Кира поговорила с секретаршей Мирой, женщины посмеялись над чем-то своим, посудачили, и Леонид был вписан в заветную тетрадочку, и ему был назначен день и час приема. Больше того, секретарша Мира, которую об этом попросила секретарша Кира, а та почему-то решила покровительствовать Леониду, пообещала ему замолвить словечко, когда будет докладывать о нем. Много ли весит такое словечко? Леонид знал, что все-таки весит.

Леонид явился в приемную минут за пятнадцать до назначенного времени.

— Подождите в соседней комнате, — сказала ему Мира, узнавая, улыбнувшись ему благосклонно. Добрая примета!

В соседней комнате уже кто-то ждал, какой-то толстяк, прилегший расслабленно на спинку дивана.

В комнате было много окон, солнце светило вовсю, и Леонид сослепу не разглядел, что за человек полулежал на диване. Он сел рядом с ним, уткнул лицо в ладони, чтобы отошли глаза, и стал ждать, окончатель-

но уверовав теперь, что его примут, и недоумевая, как это он решился ввергнуть себя в подобное предприятие. Он трусил и начинал злиться на Бурцева, на Денисова. Не ему, а им надо было добиваться приема — худруку, директору. Но тут же и понял, что его вот решили принять, а их бы не приняли. Они были в опале, они провалились с фильмом. Леонид трусил, злился, но понимал: вся надежда теперь на него, судьба всей студии зависит теперь от предстоящего разговора. Ему бы возгордиться. Нет, не до гордости ему было сейчас, он оробел.

— Тоже к нему? — спросил толстяк из своего угла. «К нему» было сказано особым тоном, как бы большими буквами.

— Да.

Леонид отнял руки от лица и поглядел на своего соседа, голос которого показался ему знакомым. И не поверил глазам: в углу дивана полулежал режиссер Жуков. Он страшно похудел, неправдоподобно похудел, на нем пиджак собрался складками, как одеяло, но все же это был Жуков, знаменитый режиссер Жуков, один из первого десятка. Удачливый, веселый, жизнерадостный. Где бы он ни появлялся, он был приметнее всех — так крупен был телом, громче всех — такой у него был раскат в голосе, веселее всех — веселье было с ним слито. Его любили, его всегда окружали приятели, он не только слыл, но и был щедрым, был добрым. В Доме кино, когда он туда приходил, сдвигались столики, и Жуков расплачивался потом за все эти столики, не всегда зная, кого угощает. Собственно, кого бы он ни угощал, это все был свой народ, родная братия, киношники. Жукову не завидовали, его удачливость была людям по сердцу. И вдруг этот режиссер-удача споткнулся. Он поставил фильм, который не вышел на экран. Давняя уже история, года два назад все это было. Шумная, но уже отшумевшая история. Ну, а режиссер, что сталось с ним? Верно, верно, куда подевался режиссер Жуков? А Жуков — вот он. Толстяк с опавшим телом, весельчак с потухшими глазами. И он и не он, как человек в больнице, которого ты пришел навестить и усомнился — он ли? Да, все-таки он, но болен, болен...

— А ведь мы где-то встречались с вами, — сказал Жуков, подбадриваясь, садясь рядом, голос даже под-

стегнув свой, чтобы стал он прежним. Он внимательно глядел на Леонида, узнавая, ей-богу, узнавая, хотя как он мог узнать Леонида, когда его представили Жукову на ходу, и года три назад, и в сутолоке какой-то премьеры в Доме кино. Леонид-то помнил, как знакомился с Жуковым, но Жуков не мог этого помнить, не должен был помнить. Но вот помнил, вспомнил, не соврал, а действительно узнал Леонида.

— Вас познакомил со мной Моня Большинцов, не правда ли? Говорил что-то о вас лестное, а уж что, запамятовал. Вы учились в его мастерской, я не ошибаюсь?

Все верно, и то, что знакомил Большинцов, и то, что Леонид учился в его мастерской. Какая память! Какая обострившаяся, очеловечившаяся в беде память! Ведь, пожалуй, будь Жуков все еще в удаче, в разлете дел своих, ведь наверное бы он не узнал при встрече Леонида Галя, какого-то паренька из сотен вгиковцев, не сумел бы просто узнать.

«Что с вами, вы нездоровы?» — хотел спросить Леонид участливо, глядя на Жукова и чувствуя, что глядеть так не надо, что Жукову больно от его жалостливого недоуменного взгляда.

— Что нынче снимаете? — вслух спросил Леонид, а спросив, понял, что и этого спрашивать не надо было, потому что в том-то и все горе, что Жуков ничего не снимал.

У Жукова дрогнули губы, складываясь для ответа, и для ответа невеселого, собранного из удрученных слов. Но и Жуков не то сказал, что подумалось сказать. Он отозвался бодро, измяв свои губы улыбкой.

— А ничего не снимаю! Решительно ничего! Все никак хороший сценарий не найду. — Он шарил глазами по комнате, отыскивая иную какую-нибудь тему для разговора. — Видели «Жизнь в цвету»?

— Нет.

— Говорят, удача, удача. Только об этом фильме и говорят. Что ж, я рад за Довженко. Очень! Это вообще хорошо, когда что-то удается. Пусть не тебе, пусть другому. Дышать легче...

Губы у него снова улеглись для скорбного разговора, но он не дался им и снова измял их в улыбке. И глядя на него, в это измученное, исхудалое лицо, Леонид вдруг что-то новое для себя понял, подальше увн-

дел, будто вмиг приподнялся, подрос и с этой новой уже высоты и начал глядеть на жизнь. Но разве так бывает? Разве можно ухватить такую минуту, когда сам про себя догадываешься: ты, друг, только что стал чуть-чуть поумнее? Так бывает. Такие минуты есть у каждого. И они запоминаются, и, кстати, на всю жизнь. И так еще бывает, что год проживешь, пять лет, и ни единой такой не выпадет на твою долю минуты. А иной случается день, когда весь он из таких минут.

Приоткрылась дверь, и секретарша, не входя, не заглянув даже, позвала Леонида:

— Галь, скорей, скорей, вас приглашают!

Леонид вскочил, не чувствуя никакого страха, а испытывая иное: мучительную неловкость перед Жуковым. «Почему меня, а не его?!. Ведь он пришел раньше...»

— Идите же! — приказывал голос из-за двери. Секретарша потому и не вошла, потому и не заглянула сюда, что и ей тоже было неловко перед Жуковым.

Леонид судорожно шагнул к двери и остановился, не зная, как быть.

— Идите, идите, — отпуская, извиняя и его и еще кого-то — всех, всех, кто был несправедлив к нему, сказал Жуков и снова прилег на спинку дивана, чтобы ждать.

Так и не успев испугаться, Леонид переступил порог кабинета, подталкиваемый секретаршей, которая, видно, замолвила за него словечко и теперь покровительствовала ему, как маленького проводив до дверей.

Заместитель поднялся ему навстречу, смеющимися, блестящими глазами оглядел его, протянул руку, крепко сжал пальцы, не выпуская его руки, подвел Леонида к креслу и усадил. А сам пристроился на краешке стола, скрестив руки, наклонив голову, готовясь слушать.

У него были длинные ресницы и румяные круглые щеки, но лицо было вовсе не женственным, оно крепким было, в нем все было выведено твердым резцом, грубоватой даже рукой, но рукой такого ваятеля, который знал толк в красоте.

Есть люди, сразу располагающие к себе. Это дар божий. Таким был и человек, на которого смотрел сейчас Леонид. Еще не сказав ему ни слова, не услышав ни слова в ответ, Леонид проникся к нему такой при-

язнью, таким доверием, что фразы, которые он собирался ему сказать, затверженные и вывереные задолго до встречи, сразу поблекли, опостылели и заговорить захотелось совсем по-другому, без осторожничания и паршивой этой дипломатии.

Но тут зазвонил телефон, ненавистный телефон, который всегда вторгается в человеческую беседу.

Заместитель отмахнулся было от звонка, но, вслушавшись, вдруг быстро потянулся к столику, уставленному аппаратами. С ненавистью смотрел Леонид на этих уродцев-гномов, один из которых верещал сейчас, требуя к себе внимания. И не поймешь, какой из гномов раскричался. Их тут до черта. Смахнуть бы всех на пол, чтобы разбились и не мешали больше. Не было, не могло быть сейчас более важного разговора, чем у Леонида.

Заместитель поднял трубку, сверкнул прекрасными зубами, улыбнувшись кому-то в трубку, и даже поклонился почему-то в трубку. И вдруг смутился, быстро проведя ладонью по щекам.

— Вызывает? Но я не брит.

Леонид обрадовался: это была его последняя надежда. Действительно, как может такой человек к кому-то там спешить по вызову, когда он недостаточно хорошо выбрит? Необходимо отложить, перенести эту встречу. Ну, пожалуйста, перенесите ее! Ну, прошу вас! Вам это зачтется... Будьте великодушны...

— Еду! — Заместитель повесил трубку и снова растер ладонью свои твердые и вовсе не такие уж небритые щеки. Просто привык бриться по два раза на дню.— Я очень зарос? — спросил он Леонида.

— Нет, — сказал Леонид.

Он не мог солгать этому человеку.

— Меня вызывают к начальству, — заместитель, как перед равным, доверительно развел руки и чуть приподнял, сокрушаясь, плечи: мол, и я подначален, и меня теребят. Он двинулся к двери. — Да, так насчет сценария Хаджи Измаилова... К сожалению, автору не удалось преодолеть камерности... Беда в том... — Он подождал, когда Леонид выйдет следом за ним в приемную, и двинулся дальше, теперь к двери в коридор.— Я к начальству, — сказал он секретарше, продолжая растирать твердые свои щеки.— Я очень не брит?

— Не нахожу.

Заместитель, прощаясь, протянул Леониду руку.

— Поработайте, поработайте еще с автором...

Он ушел. Он даже не перенес разговор. Все! Разговор состоялся. «Беда в том...» А в чем беда? Он так и не сказал про это.

15

В соседней комнате Жукова не было. Да ему там и делать теперь было нечего. Побрел куда-нибудь, широко отбрасывая руку, как ходят грузные люди.

Коридорами-переулками Леонид вышел к крутой лестнице — еще одной в этом доме — и, поднявшись по ней, сразу очутился на пятачке в коридоре своего главка. Как обычно, тут было шумно, тут изо всех сил все старались казаться деятельными и благополучными. Павшие духом тут не могли ждать удачи.

Но Леониду не требовалось играть в жизнерадостность, он был не безработным. Напротив, он сам мог подрядить на работу, заказать сценарий. Правда, здесь уже знали, что Леонид с той самой студии, фильм которой с треском провалился на худсовете, а следовательно, акции этой студии не велики, и все же он был при деле. И с ним здоровались, с ним заговаривали приветливо и бодро, он тут был из числа счастливчиков. А ему было так плохо, что хуже некуда. Рухнула последняя его надежда. Бывает, покачается стена, осядет, но дом еще стоит. А тут стена рухнула. И потолок обрушился и страшной тяжестью притиснул к земле. Как встать, как распрямиться, Леонид не знал. Ну, еще вариант, еще пройдет месяц или два будто бы в работе, ну а потом что? На студии ждали, что он, Леонид Галь, раздобудет, выбьет, вымолит для них сценарий, а он ничего не смог сделать. Ответственность перед людьми — это была тяжесть потяжелей всех собственных невзгод.

Среди прочих на пятачке пребывал краснолицый, громко-оживленный, молодой, но уже совершенно лысый всеобщий здесь знакомец. Этот веселился тут от всей души, без притворства. Кем он тут работал, этот весельчак, никто толком не знал. То ли референтом был каким-то, то ли плановиком в главке, то ли и вовсе не значился в числе работников министерства. Известно было лишь, что ему все про все тут ведомо, что

он тут свой человек, если не в кабинетах, то хотя бы в министерских коридорах. И был он еще прославленным выпивохой. Ты ему сто граммов, кружечку пива, троечку раков, а он тебе — все новости: кого куда передвигают, кто погорел, а кто пошел в гору. И даже брался похлопотать за приятеля, то бишь собутыльника. Хвастал, что вхож к начальству, что может и пособить. Конечно, на помощь его никто не рассчитывал, а все-таки сто граммов ему выставляли весьма многие. Кто знает этого болтуна, какие у него там связи.

Громогласные «ха-ха-ха» и «хо-хо-хо» краснолицего весельчака еще издали резанули слух Леонида. Авось да не заметит. Заметил!

— Галь, ты-то мне и нужен! — Он подошел, положил обе руки Леониду на плечи и так и эдак оглядел его, склоняя голову то влево, то вправо. Сейчас анекдотец какой-нибудь расскажет, или взаймы попросит, или предложит пробежаться до бара номер один, что на Пушкинской. «Раки там объявились. Понимаешь, друг, раки-забияки. Рванем?» Нет, завершив свое пристальное рассматривание, краснолицый, так и не сняв рук с плеч Леонида, повлек его к окну. Они тут, у окна, как бы с глазу на глаз оказались. У этого окна и вообще было принято конфиденциальные вести беседы. Широкий подоконник, глубокая оконная ниша — усаживайся и говори, никто тебя в ожидалке не расслышит. И никто не подойдет, ибо всем ведомо, что это место для разговора с глазу на глаз.

— Садись, Галь.

Леонид сел на подоконник, обернувшись лицом к стеклу. Крыши, крыши громоздились за окном. А вдали, а над крышами, прогнувшимися, задохшимися под талым, грязным снегом, в рубиновом сиянии виднелась кремлевская звезда.

Краснолицый присаживаться не стал. Изогнувшись, он навис над Леонидом своим бойким, смеющимся лицом. Зубы у него были на редкость хороши, и от него вкусно пахло водкой.

— А твой Денисов-то... не ожидал от него, — заговорил он бойким шепотком, будто радуясь чему-то. Да, вырисовывается...

— Вы о чем? — спросил Леонид. Радостный шепоток этот встревожил его: шепотом добрые вести не сообщаются. А недобрые — они ведь в одиночку не ходят.

Леонид верил в добрые и недобрые полосы. Сейчас для его студии, для его друзей, для него самого шла недобрая полоса.

— Пишут, пишут люди о Денисове, вот я о чем,— пояснил краснолицый, улыбаясь до ушей. Поглядеть со стороны, рассказывает человек какую-нибудь забавную историю. Но нет, он не для забавных историй отозвал к окну Леонида.

— Что пишут? — Леонид поднялся. — И кто эти люди?

— Грамотный, грамотный народ. — Краснолицему было весело. Если он и завел этот разговор, то так, чтобы повеселить душу, поглядеть, как к его вестям отнесется тот, кому они вовсе не безразличны. Иным такое зрелище кажется развлечением. — Актриса эта, что же, в открытую с Денисовым живет? У него, говорят, и поселилась? Верно это?

— Не знаю.

— Ну вот, с тобой как с человеком, а ты как в отделении милиции. Не знаю! Знаешь, друг!

— Не знаю. — Вот сейчас как раз был момент, когда можно было повернуться и уйти прочь от этого весельчака, сующего нос не в свои дела, от этого коридорного разносчика новостей. Но, может, что-то всерьез угрожает Денисову? Леонид промедлил и не ушел.

— Ну, не знай,— сказал краснолицый и малость поубавил улыбку, обиделся вроде бы.— Я ведь тебе по дружбе, а ты... Между прочим, ревизор министерский к вам вылетел. Да не кто-нибудь, Воробьев. Слыхал о нем? Встречал? Профессиональную ревизорскую болезнь имеет: язву желудка. Этого не споишь, не умолишь.— Краснолицый снова развеселился, начал, как при утренней зарядке, привставать на цыпочки, того и гляди, займется прыжками.— Эх, Денисов, Денисов, умный с виду, а дурак. Ну кто его дернул речи держать, спорить? Провалился с фильмом и помалкивай. Обличитель! Вот теперь ему пропишут... В Канаде поскользнулся, в Туркмении упадет...

— Ах вот что, значит, его все-таки услышали?— вслух подумал Леонид.

— Услышали, услышали.— Краснолицый перестал тренировать ноги, но иным теперь делом занялся: достал из кармана пятак и стал подбрасывать его и ловить, подбрасывать и ловить. Так ловко он это делал,

так высоко взлетал у него пятак, что ясно было: без тренировки, и весьма долгой, такую технику освоить было бы невозможно. Кто его знает, может, когда-нибудь в цирке работал?

— Вы не из циркачей?— спросил Леонид.

— Сам ты из циркачей,— отчего-то уж очень серьезно обиделся краснолицый.— Жонглер в два шарика.— Он быстро сжал в кулаке пятак и обиженно надул щеки. И строго этак нахмурился. Он думал, наверное, что стал очень внушителен, а стал он вдруг до смешного похож на обжору мальчишку, маменькиного сынка и ябеду. Подрос вот только, вымахал, пить научился, по бабам бегать, а как был ябедой и сплетником, так и остался. Леонид невольно улыбнулся. Он даже вспомнил, как звали того ябеду в его классе. Яшей его звали. Он всегда тянул красную, озябшую руку. Но не затем, чтобы ответить урок (учился он скверно), а затем, чтобы нажаловаться. Этот его ударил, этот спер линейку.

— Ты чего смеешься, нет, ты чего смеешься?— удивился краснолицый.

— Вспомнилось кое-что.

— А-а...— Вдруг краснолицый тоже начал смеяться, повеселев пуще прежнего, звонко шлепая ладонями по мрамору подоконника.— Про этот прошлогодний сюжетик хроники вспомнил? Про это? Ну, парень, ну, отмочил! Выгнать могли бы...

— Что?

— С работы могли бы прогнать, говорю. Из кино вон совсем. Молчу, молчу, не бледней.

— Я не бледнею.

— И не заикайся, ну что ты, ей-богу! Ведь выскоблили там что-то, так? Ловкие! Ты курящий?

— Нет.

— Правильно. Береги здоровье. Сто лет проживешь. А как с бабами? Что там у тебя? Какой-то романчик с официанткой?— Все он знал, про все где-то вынюхал.— Вообще-то неглупо, этот народ каждую неделю освидетельствуют. Полная гарантия. Но, знаешь, полная-то полная, а один мой дружок как раз на официантке и схватил трипака. Да ты не хмурься, я понимаю — эпизод. Главная не она, верно? А та, главная, от ворот поворот? Не потянул?

— Да нет,— сказал Леонид, и понял, что сейчас уда-

рит этого человека.— Совсем не в этом дело... Просто нет полной гарантии...— Леонид выпрямился, и у него затрясся подбородок. Сейчас это произойдет: он сойдет с ума и станет убийцей. Скорей бы уж!

Но кого убивать? Перед ним стоял вовсе не тот человек, что миг назад. Не наглец, даже не тайный растленец и явный пьяница. Не толстый Яша-ябеда из детства, а ныне снова ябеда, но только по-взрослому и с иным даже именем: Геннадий Николаевич. Перед ним стоял подобравшийся, подсохший, с умным, мерзким, плоскоглазым, не сей планеты, а марсианским лицом незнакомец. Кого убивать — этого марсианина? Леонид замешкался.

— Идите, идите, Галь,— сказал незнакомец, вполне по-марсиански тонко-злым голосом.— Я вас предупредить хотел, а вы...

В горле пересохло, так невероятно пересохло, что слова в ответ не протискивались. И дышать стало нечем. Спасаясь от удушья, Леонид сорвался с места и побежал. Коридор добро принял его в свою тишину и влажную прохладу.

16

Денисов отыскался у Птицина. Леонид позвонил Птицину и сразу попал в цель. Последние дни Денисов и Птицин были неразлучны. Непонятная дружба. Хотя нет, понятная. С Птициным было легко. Он беспечным казался. Он не впадал в уныние, а все шутил, шутил. Не жаловался, но с готовностью выслушивал чужие жалобы. Не ждал утешения, но утешал, легко обговаривая все легкими, подпрыгивающими словами. И нет уже беды, а есть неприятность. Да и неприятность-то не из больших. Обойдется, утрясется, рассосется... Он жил минуткой, уютно обставляя эту минутку. И жил надеждой, не для себя, а для друга. Ну, а чем он жил для себя, этого было не разглядеть. Может быть, потому, что никто и не вглядывался хорошенько?

В небольшой комнате, полутемной, душной, с плотно закрытым окном, чтобы не оглушал шум улицы, за столом, уставленным пивными бутылками, сидели Денисов, Птицин, Рухович. Был тут и директор картины Шкалик. Он сидел у окна в кресле, подперев рукой голову, и дремал, не принимая участия ни в застольной беседе, ни в выпивке. Он сидел, терпеливо ожидая

чего-то, как транзитный пассажир, ожидающий свой запоздавший поезд. Когда вошел Леонид, он встрепенулся.

— Какие новости? Что хорошего?

Он еще на что-то надеялся, этот Шкалик, на какую-то добрую весть.

— Все как у Гоголя,— сказал Леонид.— К нам едет ревизор.— Он подсел к Денисову.— Сергей Петрович, надо бы поговорить.

— Говори, Леня, говори.— Денисов плеснул в стакан пива, пододвинул его Леониду.

— Может, пойдем прогуляемся?

— Секреты? Какие секреты от друзей?

К столу подходил Шкалик. Он двигался смешно, он подкрадывался, вытянув шею, в страхе округлив рот. Так пододвигаются к краю пропасти.

— Ревизор? Какой ревизор? Какой Гоголь?

— Не Гоголь, а Воробьев,— сказал Леонид.

— Кошмар!— сказал Шкалик, замерев на краю пропасти и зажмурившись.— Воробьев — это кошмар.

— Вы разве крали, Борис Аркадьевич? — спросил Денисов.— Чего вы так испугались?

— Я крал? Я испугался?!— Борис Аркадьевич легкомысленно взмахнул руками.— Если я испугался, то не за себя!

— За меня?

— Вообще! Воробьев — это всегда плохо. Вообще плохо. Он не умеет чего-нибудь не найти. Он мастер, вы понимаете, он мастер своего дела. У него есть престиж. Он не возвращается без ничего.

— Выпейте, успокойтесь.— Денисов протянул Шкалику стакан с пивом. А тот схватил стакан и залпом осушил. И только потом вытаращился, спохватываясь:

— Что это? Что это я выпил?

— Пиво!— сотрясаясь от смеха, сказал Птицин.— Сподобились, Борис Аркадьевич! Приобщились!

— Но я же не пью пива!— трагически прошептал Шкалик и затих, прислушиваясь к себе, к ядовитому потоку, ворвавшемуся в его организм.

— От страха чего не сделаешь,— сказал Гриша Рухович, презрительно кривясь.— Советую вам сбегать в аптеку за английской солью.

— А сверху касторочки, касторочки!— Птицин радостно потер руки.— И грянет гром!— Он опрокинулся на

диван, задрав ноги, повизгивая от хохота. Он и Руховича за собой потянул.

— Сергей Петрович,— Леонид наклонился к Денисову.— У меня только что состоялся весьма странный разговор, ну, с этим краснорожим Геннадием Николаевичем. Он расспрашивал о вас, о Марьям...

— Ну, а ты что?

— Я сказал, что ничего не знаю.

— И лады. Слушай, Леня, давай-ка выпьем. Завтра мне лететь в это пекло, в Ашхабад.

— Сергей Петрович, этот краснорожий завел со мной разговор не из праздного любопытства. Кто-то написал на вас. И на меня тоже. Он про вас разнюхал. Сергей Петрович, кто мог это сделать? Кто мог так низко пасть? Зачем?

— Ага! Ага! Ага!— Борис Аркадьевич, слушавший Леонида затаив дыхание, начал вроде приплясывать.— Я же говорил, что нам стали рыть яму! Воробьев не мальчик, поверьте мне!

— Помолчите.— Денисов отмахнулся от Шкалика.— Леня, друг, давай лучше выпьем. Завтра мне лететь в это пекло. Вот где я наговорюсь-то, вот где напарюсь... Тебя мучает, кто написал донос? Не гадай, не ломай голову. Иначе слишком многих придется заподозрить. Этого обидел, этот позавидовал, этому посоветовали написать. Не ломай голову. Вон наши ребятишки борьбой занялись, впали в детство. Давай и мы впадем в детство, Леня.

— Да он и так дитя,— сказал Птицин, присоединяясь к ним.— Все мы дети.— Он задыхался от борьбы, взмок весь. Он был в пижаме. В той самой, о которой мечтал в Ашхабаде. И про буфет он не соврал, и про графинчик на столе.

— Не хочется мне сегодня пить,— сказал Леонид и поднялся.— Что-то совсем не хочется. Когда вы завтра летите? Я провожу вас.

— Созвонимся,— сказал Птицин.— Еще и билетов нет. Вечерком завтра рванем во Внуково, пересидим ночку в ресторане и — айда. Может, останешься, Леня?

— Пусть идет,— сказал Денисов. Он почему-то вдруг обозлился, злым стал у него голос.— На человека в первый раз в жизни донесли. Это как первая любовь, это надо прочувствовать. Пусть идет.

17

В дядиной комнате в Замоскворечье, где весной было так промозгло, летом неизбывная стояла волглая духота. Но зато было тихо, не верилось, что ты в Москве. Дом прятался в глубине двора, двор выходил в тихий переулок, где булыжник тонул в траве, дома гордились мезонинами, и казалось, вся провинциальная Россия отстроилась когда-то по образцу этого замоскворецкого переулка.

Едва вступишь в него, охватывала тишина. Едва взойдешь на стертые ступени дома, завладевали тобой запахи. Тишина — напоминающая, запахи — напоминающие. И дело тут было не в уюте, не в ласковости воспоминаний. Напротив, вспомниться могло и что-то злое, тягостное. Дело было в том, что прошлое здесь не отошло, ты погружался в него, и память пронзительные воскрешала тебе картины то из детства, то из иной поры, то в Москве оставляя, то занося куда-нибудь, где довелось живать, проездом быть, воевать. Вся старая городская Россия была тут — в этом тихом переулке, в этих от века запахах людского жилья. И вспоминалось и думалось в этой знакомой тишине порой очень зорко.

Леонид распахнул два небольших окна, отворил дверь в темный коридор — подуло чуть ветром. Опять тополиный горьковатый запах...

Леонид сел к столу. Круглый белый стол на резных ножках. У Леонида на этом столе громоздилась посуда, чайник закоптелый стоял и лежала стопа чистой бумаги. Леонид взял ручку, обмакнул ее в чернильницу-невыливайку, придвинул к себе лист бумаги, задумавшись, склонился над ним. Подумал-подумал и начал писать. «Маша! Не удивляйтесь моему письму. Ведь мы друзья, верно? Ведь это я сговорил вас с Зоей ехать после ВГИКа в Ашхабад. Ну, так вот, мне показалось, что вы дружите с Бочковым. Маша, боюсь, что он не стоит вас!..» «Нет, не то... Боюсь, что вы обманываетесь в нём... Снова не то!» Леонид перечеркнул написанное. А откуда он взял, что донос написал Бочков? Почему именно Бочков, а не кто-нибудь еще? Надо разобраться, разобраться... Да, скорее всего, это сделал Бочков. Это похоже на него. Скверный, скользкий человек, такой способен на все. И он, конечно, не простил Денисову вы-

говора, и он, конечно, и друзей Денисова не жаловал расположением. Да, это он! Кто, как не он, мог и проникнуть в тайну Леонида, разнюхать все про Лену. Он такой, он из разнюхивающих. Боже мой, как могло случиться, что Маша доверилась ему, потянулась к нему? Бедная девочка, строгая, прямодушная, правдолюбивая, и вот... Бедная девочка, сирота, которой и посоветоваться не с кем. Мать у нее недавно умерла, отец сгинул в тридцать седьмом. Но почему, почему обязательно у нее с Бочковым что-то уже серьезное? А потому, что она бы не стала так с ним разговаривать тогда в просмотровом, так, как с близким человеком говорят. Не стала бы, если бы ничего не было. Все ясно, приласкал девчонку, пригрел, нарассказал ей кучу своих былей-небылиц, показал ей свои знаменитые аквариумы, которыми у него заставлена вся комната. До сотни всяких там у него пород рыб. Он с этими рыбами возится, это его страсть. Все ясно, девочка пришла к нему, увидела этих рыбок, увидела еще громадную, пушистую овчарку Альму, согрелась в этом благополучии, понаслушалась этих рассказов, столь напомнивших ей, быть может, рассказы отца, и вот и придумала себе своего Бочкова, своего героя. Совсем не плюгавенького, совсем не неказистенького, совсем не подленького. Куда там! Ее герой оказался и честен, и прям, и смел. Да и не так уж плюгав и стар. Чего не придумаешь о человеке, когда так тебе одиноко, а он тебе это одиночество взял да и развеял волшебной палочкой. И рыбки вокруг, и тепло, и сытно, и овчарка Альма кладет тебе добрую морду на колени. Эти девчонки, Маша и Зоя, приехавшие на студию прямо из института, всегда нуждались, всегда им не хватало зарплаты. Не умели они вести хозяйство, рассчитывать деньги. Им помогали все, кто мог. Но как помогали? От случая к случаю. А Бочков взял над ними шефство. Все ясно, это не новость какая-нибудь, такое вот завоевание молодой души человеком старым и недостойным. Да Бочков, кажется, уже и не раз так женился. И всякий раз недолог был его брак — очередная жена сбегала от него. Да, сбегала, может быть, сбежит и Маша. Но та ли это будет Маша, какой он взял ее? Нет, не та, не с тем светом в глазах.

Леонид придвинул новый лист бумаги, быстро начал писать. «Маша! Не удивляйтесь моему письму...» И сно-

ва перечеркнул крест-накрест написанное. О чем он станет говорить? Смеет ли он вторгаться в чужую судьбу, да еще, к тому же, ничего наверняка не зная? Не смеет! И уж по крайней мере не в письме начинать такой разговор. Вот вернется он в Ашхабад, вот тогда и состоится у них разговор. А не поздно будет?..

Леонид взял новый лист бумаги, задумался над ним. Как все просто: лист бумаги, чернильница, ручка, и ты один в комнате, и тихо кругом. Пиши! А о чем? Ты отвык писать, ты отбился от этого дела, во имя которого и в институт поступал, во имя которого, думалось тебе, и живешь на свете. Ты пишешь уже два года все чепуху какую-то. Ты заключения по сценариям пишешь, ты докладные о работе отдела пишешь, ты, наконец, какие-то халтурки тачаешь — рецензию, очерк, дикторский текст. А настоящего, своего, пережитого, писательского — этого ты и не пытаешься писать. Два года выброшены в никуда. И нет и сценариев, на которые ты строчил заключения, их и не будет. Они будут, они даже есть, но их нет, они всего лишь бумажные стопы, переплетенные и занумерованные. Вариант пятый, вариант десятый. Сценария нет, если нет по нему фильма, а фильмов не будет. Так что же, уйти? Подать заявление об уходе? Куда уйти? Из кино уйти? Совсем? Уйти, бросить то, что любишь, чему учился? Из кино добровольно не уходят. Нет, не уходят!

Леонид встал, схватил чайник, чтобы занять себя чем-то, и пошел на кухню. Долго там разжигал примус, так накачав его, что примус вот-вот должен был взорваться. Ну и пусть, ну и взрывайся!

Потом Леонид пошел в ванную. Хороша ванная! Пол под умывальником провалился, дыра кое-как прикрыта досками. И нигде, ни на кухне, ни в ванной, нет электрических лампочек. Хороша квартира!

Леонид вернулся в кухню, погасил осатаневший примус, взял чайник, прихватив обгоревшую ручку носовым платком, и пошел по темному захламленному коридору, ориентируясь на тусклое пятно света, выбивавшееся сквозь дверную щель из его комнаты.

Зазвонил телефон. Чудо-телефон! С отсыревшим, похоронным, придышливым звоном. Леонид перенес чайник из правой руки в левую и снял трубку.

— Леня, ты?! Ленечка, ты?! — Это звонил Птицин.

Ну что ему понадобилось? И пьяный голос. Пить будет звать? Не пойду!

— Да, я.

— Леня, слушай, друг ты мой золотой, слушай!.. Леня, только что примчался Бурцев!.. Леня, Ленечка, Сталин смотрел наш фильм!.. Слушай, Леня, он ему понравился! Сталину-у! Он сказал, Леня, про наш фильм, что это «солнечный фильм». Это его слова! «Солнечный фильм»— его слова! Приезжай!— Птицин повесил трубку, спеша обзвонить всех прочих. А Леонид поставил чайник на пол и сел рядом с ним, не чувствуя, что обжигается об его бок. «Вот оно — чудо!»

Часть третья

ОДИННАДЦАТЬ СЕКУНД

1

ДЕНИСОВ ПРОБЫЛ месяца полтора в Ашхабаде и вновь прилетел в Москву, прихватив с собой Володю Птицина. В Ашхабаде Денисов сдавал фильм местному руководству. Фильм понравился. А интересно, как бы он мог не понравиться? Уже появились в газетах первые отзывы о нем. Писали разное, отметки фильму выставляли от тройки до пятерки, но не было статьи, где бы не утверждалось, что это «солнечный фильм», что он пронизан солнцем.

Нового сценария для художественного фильма у студии еще не было, сценарии еще доводились до нужной кондиции, но студия не простаивала. Там начали снимать фильм-концерт. С этим сладилось легко. Сценарий концерта утверждался чуть ли не заглазно, под честное слово Бурцева. Старик нынче ходил в именинниках, и ему этот концерт просто-напросто подарили.

Денисов прилетел для забот радостных. Он прилетел утверждать смету фильма-концерта. Он прилетел, чтобы утрясти все вопросы и о представлении «солнечного фильма» к Сталинской премии. Прилетел, дабы собрать для студии жатву успеха.

Даже Володе Птицину перепало от этого урожая. Его вновь делали директором съемочной группы, той самой, что начинала снимать концерт. И он приоделся,

подобрался, чуть-чуть стал важничать. Но был ли он счастлив? Блеклые его глаза все время куда-то убегали, во что-то всматривались, слепо глядя на собеседника. Он суетился, важничал, шутил, но глаза у него были в неустанной тревоге. И они у него в иной цвет перекрасились, они выжелтились.

Причудливы узоры успеха. Тот самый Геннадий Николаевич, которого Леонид едва не ударил, тот самый марсианин-сплетник из министерских коридоров, сидел сейчас в компании Денисова, Птицина, Галя за ресторанным столиком, закадычным их прикидываясь дружком.

Заскочили в ресторан «Асторию», что совсем рядом с министерством, на полчасика, обмывая утверждение Птицина в ранге директора картины. Ну кто бы мог подумать, что Птицин, которого с треском сняли с прошлой картины, теперь опять станет директором? А он стал. Что ни говори, хорошая это штука — удача. И не нужно, не хочется, да и не нужно ломать голову, заслужена ли она. Удача так редка, что безбожно раздумывать, как она человеку досталась.

Птицин был пьян. Он сразу и с величайшей готовностью захмелел, хватая рюмку за рюмкой. Он был пьян, растроган, неожиданно молчалив. И все смотрел выжелтившимися глазами в широкое окно.

— Что ты там увидел? — поинтересовался Леонид.

— Ничего не увидел.— Птицин разочарованно отвернулся от окна.— В Ашхабаде посмотришь — и сразу горы. А тут одни ноги. Хоть день смотри, одни ноги.

— Азиат! — усмехнулся Денисов.— Не может он без гор, без пустыни, без палящего солнца.

— Не могу,— опечаленно согласился Птицин.— Там и подохну, пароль донер.

— Экзотика,— сказал Геннадий Николаевич и вздохнул.— Эх, уехать бы!..

— Куда? — спросил Денисов.

— Я бы лично к Астрахани подался, поближе к рыбке.

— Тоже устали?

— Еще как! Выпьем?

— Давайте.

А Денисов не пьянел. Пил много и не пьянел. Он сильно изменился за эти полтора месяца. Оно и понят-

но, в Ашхабаде его выжарило солнце. Он впервые оказался в такой жаре и постарел, морщин резких прибавилось. Загар вообще старит, а он загорел до черноты. А волосы выцвели. И синие глаза совсем уж упрятались в прищуре.

— Ну, Леня, чего задумались? Не горюйте! Скоро утвердим все ваши сценарии, сядем в поезд и семь суток будем ехать и разговаривать о смысле жизни. А когда доедем, то выяснится, что так до смысла и не добрались. Пейте, Леонид, веселитесь. Плохо разве? Который уж месяц у себя дома.

— Надоело,— сказал Леонид.— Оказывается, домой в командировку приезжать трудно. И не дома и не в командировке.

— Тонкое наблюдение,— подхватил Геннадий Николаевич.— Опять же что считать домом. Там, где родился, где постоянная у тебя прописка? А может, Галь, как и Птицин, к Ашхабаду уже сердцем прикипел?

— Опять сведения из мутных источников?— спросил Леонид и обрадовался, поймав себя на том, что улыбается, глядя в смеющееся лицо выпивохи-марсианина. Улыбается, хотя этот человек был ему ненавистен. Это здорово, когда ты выучиваешься улыбаться, говоря с ненавистным человеком. Это признак возмужания. Марсианин тебе улыбается, и ты ему улыбайся. А вот слова говори жесткие, бей словами. Ну-ка, что он теперь ответит?

Марсианин отвечать не торопился. Он наполнил свою рюмку, подцепил какой-то закуски, выпил, пожевал не спеша, пошевелил растопыренными пальцами, наслаждаясь. И все это с тошнотной последовательностью, заученно, как оно и подобает такому вот выпивохе. Но в том-то и дело, что он не был им, не был веселым забулдыгой, каким хотел казаться. А был он марсианином, существом вполне загадочным. И пусть не прикидывается. Леонид запомнил его лицо. Не теперешнее, а подсохшее, плоскоглазое, умное и мерзкое, опасное лицо, опаснейшее.

— Я про тот мутный источник забыл, Галь,— дожевав, досмаковав, сказал марсианин.— Забыл. Ясно тебе? Делай выводы.

— А почему забыли?— спросил Леонид.

— Делай выводы.— Марсианин подлил Леониду в рюмку, улыбаясь широко и приязненно.

Леонид взял рюмку и тоже улыбнулся.

— До поры до времени забыли?

— Ага,— еще шире улыбнулся марсианин.

— Пока мы на коне?

— Абсолютно точно.

— А если споткнемся, так и снова сплетни потекут?

— Весьма даже возможно.

— Азбука,— сказал Денисов, насмешливо прислушивавшийся к их диалогу.— Это, Леня, все азбука.

— Ага, букварь!— искренне обрадовался Геннадий Николаевич. И стал им, Геннадием Николаевичем, а не марсианином. Даже улыбку чрезмерную с лица свел, дал отдых рту.— Вот... человек понимает... Так сказать, пусть неудачник плачет...

— Кстати, Геннадий Николаевич, по дружбе, кто же это все-таки написал на нас? Не разведали?— теперь и Денисов заулыбался. Простецкий малый, совсем свой, хоть и обряжен в заграничный костюм. Ну как такому не сказать по дружбе, кто же это написал на него донос?

— Кто?..— Геннадий Николаевич задумался, прикидывая, как же далеко он может зайти в демонстрации своей приязни. А подумавши, явно огорчился, так малы были его возможности.— Не могу, эх, не могу я вам ничего сказать, дорогой Сергей Петрович. Ведь я на чем держусь? На взаимном доверии. Вот на чем.

— Знаю. А вы намеками. Все-таки любопытно. Вот ему любопытно.— Денисов кивнул на Леонида.— Молодость любознательна.

— Намеками!..— Геннадий Николаевич снова задумался. Видно было, что мается человек, что рад бы он все рассказать, да нельзя ему, никак нельзя. Разве что самую малость...— А намеками, так одно письмо, говорят, за подписью — это про вас, Сергей Петрович Ну а другое письмо, по слухам, анонимное,— это про тебя, молодой человек. И все! Больше не спрашивайте! Все!

— А на студии-то у нас новость!— встрепенулся вдруг Птицин.— Из головы вон, забыл тебе, Леня, рассказать. Бочков женился. И знаешь, на ком?.. Невероятно! На Машеньке из твоего отдела. Невероятно!— Выложив свою новость, Птицин опять ушел в себя, уставившись в окно.

— Невероятно...— Леонид рукой прихлопнул рот,

лишь замычал из-под ладони, как от боли, когда уж нет терпежу.

— Ага! — Денисов устало сощурился, обезглазел на миг.— Ага, Леня, ага...

2

Компания распалась. Птицину зачем-то еще надо было пить, Геннадию Николаевичу еще малость добавить, а у Денисова вспомнились дела и у Леонида тоже.

На улице, едва швейцар притворил за ними тяжелую дверь, кланяясь им, как купцам первой гильдии, Леонид схватил Денисова за руку, будто спасения искал.

— Вы думаете, Маша могла знать о письмах Бочкова? Если это Бочков, конечно...

— Бочков!— коротко кивнул Денисов.— Знала ли? Муж и жена... Хотя...

Он высвободил руку и пошел вперед, все-таки опьяневший, его покачивало.

Леонид зашагал следом. Шел и приглядывался к Денисову в толпе. Вот движется человек в общем потоке, один из многих. Для Леонида Денисов был целым миром, а для других — просто фигуркой среди фигурок, слагавших собой уличную толпу. Но каждая фигурка была сама по себе целым миром. Целые эти миры, обходя друг друга, суматошно двигались по улице Горького.

Леонид нагнал фигурку по имени Денисов. Две фигурки — Денисов и Галь — пошли рядом.

— Странно мы живем, суетимся, легкомысленно как-то живем,— сказал Леонид, жалуясь. Теперь Денисов был рядом и не казался лишь частицей толпы. Он был рядом, сильный человек, чуть покачивающийся, мрачно о чем-то размышляющий.

— А куда денешься?— спросил Денисов, наклоном головы соглашаясь с тем, что сказал ему Леонид.— Впряглись и тянем. Кино.

— Плывем, как щепки в потоке,— сказал Леонид.— Иных на берег выбрасывает, иным везет — плывут дальше.

— Нам повезло,— сказал Денисов.— Разве нет?

— Повезло.

— Ну и поплывем дальше.

Они стали переходить улицу, привычно свернув к Центральному телеграфу.

— Да, повезло,— сказал Денисов.— Но как-то обидно, не по-настоящему. Именно повезло. Как на скачках. Не находите?

— Нахожу.

— Фильм-то и года не проживет. Согласны со мной?

— Согласен.

— Обидно... Смешно... И хочется погордиться, и стыдно. Все тебя хвалят, а в глаза не смотрят.

Они поднимались по ступеням телеграфа. Денисов остановился, огляделся, улыбнувшись.

— Лестница свиданий,— сказал он.— Вы тут, Леня, свиданий не назначали?

— Приходилось.

— И мне приходилось. Я даже Марьям тут как-то назначил встречу... Просто так, из уважения к традиции. Ох, Марьям! Вот кто рад нашей удаче. Плевать ей, что стыдно. Рада, и все. Она, как зверек, рада, и все...

В окошке «До востребования» Леонид увидел рыжеволосую Полину. Она показалась ему сегодня особенно красивой. Какую-то ленточку голубенькую вплела в волосы, где-то клипсы под цвет глаз раздобыла, чуть-чуть тронула помадой крепкие, припухшие губы. И она знала, что красива. Она знала, что на нее засматриваются. Но она еще и другое знала, все время помнила о своей хромоте, и, потому что она все время о ней помнила, не было в ее прекрасном лице того озарения счастьем, какое ожидалось, не могло не быть. Грустная это была красота. А вот у Лены в лице всегда жило счастье, на нее всегда было радостно смотреть...

Полина одарила Леонида доброй улыбкой и вскинула руку, приветствуя еще издали.

— Есть! Вам есть!

Леонид бросился к окошку, забыл про очередь. Он не сомневался: сейчас ему протянут письмо и это будет письмо от Лены. В такое невозможно было поверить, но он поверил. Вдруг поверил.

Улыбаясь, радуясь за него, Полина протягивала ему какой-то листок.

— Распишитесь,— сказала она.

— Что это?

— Смешной, ну, перевод же.

— А где письмо?

— А письмо вам еще пишут.— Эти слова девушка проговорила уже без улыбки, заученной скороговоркой. Погасла ее улыбка, исчезла его надежда. Он машинально расписался в какой-то книге, взял перевод, поспешно отошел в сторону, стараясь не встретиться глазами с Денисовым. Ну откуда, ну почему он мог ждать, что Лена ему напишет? Все кончено с ней, давным-давно. Наверное, она уж и замуж вышла. Он ни у кого об этом не спрашивал. Сколько людей ни приезжало из Ашхабада, он ни с кем не заговаривал о Лене. И с ним никто не заговаривал, хотя многие и знали, что они дружат. Клыч знал. Возможно, и Денисов знал. В Ашхабаде все всё знали. Но — помалкивали. И он молчал и рад был, что молчит, горд был, что молчит. И вдруг бросился к окошку, поверив в несбыточное. Эх ты!.. Эх ты, ты!..

А Денисов отошел от окошка, держа в руке целых два письма и еще телеграмму.

— От Марьям,— сказал он, глянув на письма и вскрывая телеграмму, и нахмурился, еще не начав читать. Но вот начал читать.

Леонид завистливо смотрел на него. Он ждал: сейчас Денисов расплывется в улыбке. Он ждал: сейчас у Денисова поглупеет лицо, ибо умные люди всегда немножко глупыми кажутся, когда они счастливы. И эта надежда, что Денисов поглупеет лицом, смешным станет хоть на минутку, эта надежда только и тешила Леонида, глуша в нем его зависть, лютую эту зависть к чужому счастью.

— Сумасшедшая!— сказал Денисов и так тряхнул телеграммой, что листок надорвался. Вот так счастливчик!— Ну что мне с ней делать?!

Денисов вроде обращался к нему за советом, и Леонид скосил глаза на телеграмму.

— Что-нибудь стряслось?— спросил он.

— Читайте.— Денисов протянул ему листок, снова надорвав его резким взмахом руки.

«Немедленно возвращайся. Он вызывал меня. Он погубит нас. Мне очень страшно. Жду». Вот что было выклеено из коротких кусков телеграфной ленты, вот что прочитал Леонид. Прочитал и ничего не понял.

— Кто это — он?

— Да Воробьев, ревизор из министерства. Прав ока-

зался Шкалик, этот Воробьев не из тех, чтобы вернуться с пустыми руками. Самолюбивый мастер. Вот и роется уже второй месяц.— Денисов ронял слова, досадливо морщась. Видно было, что ему все это до крайности осточертело, что он с трудом заставляет себя говорить об этом.— Какие-то нарушения раскопал, какие-то счета не принимает. Осел у нас был на съемках, так за осла не хочет принимать счета. Золотой, мол, получается осел. И еще что-то, и еще. Да глупости все это! Ох, Марьям, ну что за женщина, боже ты мой! Возвращайся! Он погубит нас! Мне страшно!.. Ну что прикажете делать?

— А почему он ее вызвал?— спросил Леонид.— Разве он имеет право?

— Этим ревизорам кажется, что они на все имеют право. Это такая профессия. У каждой профессии есть свои заскоки. И Воробьев с заскоками. Он всех и вся подозревает. Конечно, он не смел этого делать. А сделал. И нагрубил ей, наверное. Фу, как мерзко.— Денисов присел на скамью, понурился и тотчас снова вскинул голову.— И ведь ничего я не могу. Ничего!— Он с тоской смотрел на Леонида.— Ревизора нельзя одернуть. Ревизор ведь! Марьям нельзя защитить. Она чужая мне. А тут еще дома меня атакуют... И все правы, все правы...— Вдруг он рассмеялся, подмигнул беспечно Леониду.— А, обойдется! Это кому нос вешать, мне — директору студии, на которой поставлен «солнечный фильм»? Нет уж, извините! Нет уж, позвольте мне на все это наплевать! — Он надорвал один из конвертов, достал письмо.— Ну а в письме какие мне будут приказания? Вот, Леня, три дня как я из Ашхабада, а уже два письма и телеграмма. Завидуете?

— Не без этого.

— А я вам завидую. Сейчас получите по переводу денежки и закатитесь к каким-нибудь дружкам. Свободный! Никому ни в чем не подотчетный! Эх, хорошо! Ну, идите, идите, огребайте свои капиталы. Зарплата?

— Да, за два месяца.

— Богач! Идите, Леня. А мне тут еще эти письма читать, а потом попробую дозвониться до Ашхабада. Марьям, когда я с ней разговариваю, куда как спокойнее делается. Она верит голосу, больше всего верит голосу.

Получая деньги, Леонид нет-нет да и оглядывался

на Денисова. Тот читал, все читал свои письма. Он сгорбился, он старым издали казался. И он хмурился, читая. Счастливая любовь — это тоже великая забота.

На улице начинался дождь. Скверный этот, промозглый осенний дождичек. Будто бы его и нет, капель не видно, какой-то всего лишь туман в воздухе. Под этим дождем не вымокнешь, но отсыреешь. И уж наверняка затоскуешь. Куда девать себя? К какому теплу, на какой огонек податься? Леонид остановился на ступенях, спускавшихся от дверей телеграфа, решая, к кому пойти. Можно было пойти к Юре Токмакову, самому близкому другу. Он жил недалеко отсюда, на улице Фурманова. Нет, не хотелось сейчас идти к нему. Наверняка начнется разговор об Ашхабаде, где Юра побывал года полтора назад, прожил там месяц. А потом пойдет разговор о кино, и Юра, по обыкновению, станет подсмеиваться над ним, над его пустопорожней киношной жизнью. Что ж, он прав, жизнь и верно пустопорожняя. Но никто не смеет неуважительно говорить о кино, даже самый близкий друг. Нет, он не пойдет к Юре. Он слишком благополучен, этот Юра. Он верной дорогой идет. Нельзя сказать, чтобы легкой, но верной. Ведь они вместе учились во ВГИКе, но Юра пишет рассказы, наплевал на кино и пишет рассказы, вырабатывается, выписывается в серьезного писателя, а ты...

Можно было пойти и к другому своему институтскому приятелю к Коле Пономареву. Нет, и к нему не захотелось идти. Этот станет говорить, говорить, говорить о мировых, о государственных все проблемах, словно его вот прямо завтра призовут управлять страной или целым миром. А он, бедняга, не может управиться с собственной семьей. Что-то у него в семье то разлаживается, то налаживается — вечно она в полуразобранном состоянии. Не тянуло к нему.

А может, к Васе Дудину заглянуть? Он жил совсем рядом отсюда, на улице Кирова. Что ж, пойти к нему, к этому счастливчику, который совсем было отказался от своего фильма, а теперь стал привыкать к мысли, что фильм все же получился, что в нем что-то есть, что-то есть? Бог с ним, понять его можно, но идти сейчас к нему и радоваться вместе с ним не хотелось.

Да, но не хочешь идти к приятелям, пойди к приятельницам. А ждут ли они? Город был полон друзей и подруг, ибо это был родной его город, но у этих московских друзей была своя жизнь, а у этих московских женщин свои любови. А ты кто? А ты ашхабадец, застрявший в Москве в бесконечной командировке. Да, ты прикипел к Ашхабаду сердцем, хотя...

Леонид пошел домой, в душно-промозглую дядину комнату, где белый шкаф по ночам распахивал дверцы, как полы кафтана, и щелкало в нем что-то, будто щелкала крышка табакерки, и шкаф становился в темноте вовсе не шкафом, а вице-канцлером Остерманом в белом напудренном парике.

3

Скомкав все свои московские дела, Денисов решил лететь в Ашхабад. Телеграммы от Марьям следовали одна за другой. По телефону, когда удавалось дозвониться до Ашхабада, Марьям, бессвязные выкрикивая слова, начинала плакать. «Мне страшно!— кричала она и в телеграммах, и по телефону, и в письмах.— Приезжай!»

Множество удерживало Денисова дел в Москве, нестерпимой казалась разлука с сыном, который только было опять попривык к нему. Но нет, надо было ехать, лететь даже, ибо там, в Ашхабаде, одинокая и беззащитная женщина, которую он любил, ни минуты дольше не могла жить без него, охваченная каким-то непонятным, беспричинным, звериным каким-то ужасом.

Птицин тоже летел с Денисовым. Птицину как раз и надо было лететь: его утвердили в новой должности, пора было приступать к работе.

Поздно вечером Денисов, Птицин и Галь, вызвавшийся проводить их, приехали во Внуково. Уже установился у них ритуал, по которому следовало именно с вечера приезжать в аэропорт, отсиживать там ночь с друзьями в ресторане, а наутро одним улетать в Ашхабад, а другим возвращаться в Москву. Леонид, как на службу, ездил последнее время во Внуково. Сначала проводил Бурцева, Углова и Клыча, потом провожал Гришу Руховича, а два дня назад прощался здесь с Хаджи Измаиловым. Хаджи, сдав еще один вариант сценария, похудевший, издерганный, истосковавшийся

по дому, сказал вдруг: «С меня хватит!» — собрался в один час и отбыл домой. Предстоял худсовет по его сценарию, почти наверняка сценарий теперь должны были утвердить, но Хаджи отказался присутствовать на этом радостном представлении. «С меня хватит!» Похоже было, он возненавидел свой сценарий. И людей, пытавших его поправками, тоже возненавидел. Во Внукове, заслышав гул самолетов, он возликовал, говорливым стал. Он вырывался на свободу!..

Ночь тянулась бесконечно. Никому не хотелось пить, иное всеми владело возбуждение. Все были в пути уже: и Денисов, и Птицин, и Леонид, который никуда не собирался лететь. Но и он, попав на аэродром, вслушиваясь в зычный голос дикторши, время от времени скликавшей каких-то граждан, чтобы они зарегистрировали билеты, он тоже чувствовал себя изготовившимся к полету. И мысленно прослеживал путь самолета, видел синий Каспий под крылом, желто-бурые пески Каракумов и белые домики Ашхабада, где можно очутиться уже сегодня, если самолет не заночует в Сталинграде или Баку.

Денисов был мрачен. Он страшно злился на Марьям. Он недоумевал, как это она сумела настоять на своем и вот сидит он в аэропорту и ждет посадки, чтобы лететь в Ашхабад. Он молчал, но втихомолочку-то зло бранил себя за безволие, за мягкотелость. Иногда какое-нибудь досадливое слово вырывалось у него вслух. И вот, складывая эти вырвавшиеся за ночь слова, Леонид и услышал яростную речь, какую Денисов обрушивал сам на себя. А Птицин излучал счастье, ничуть не меньшее, чем Хаджи, едва заслышал тот гул самолетов.

Перед рассветом, когда ресторан закрыли, когда Денисов и Птицин взяли из камеры хранения чемоданы и, кажется, пришла пора Леониду с ними проститься, вдруг снова зазвучал зычный голос дикторши. «Граждане!— сказала она.— На четвертое октября на рейс Москва — Ашхабад имеются билеты. Желающие могут пройти к дежурному по аэропорту».

— Слыхал?!— Птицин уставился на Леонида, мальчишеской вдруг захваченный идеей.— Леня, летим с нами! Ну на недельку, на пяточек дней! Сергей Петрович, скажите веское слово!

«Граждане!— снова заговорила дикторша.— На четвертое октября...»

— А верно, Леня, летим с нами,— сказал Денисов, тоже поддаваясь мальчишескому этому порыву взять да и сотворить своими руками хоть крошечное чудо.— Деньги на билет у меня найдутся, а в Ашхабаде все оформим. Поживете там с недельку — и назад.

— И очень просто!— сказал Птицин и повернулся стремительно, отыскивая глазами, куда бежать за билетом.— Сергей Петрович, давайте деньги. Леня, паспорт с собой?

— А худсовет?— спросил Леонид и увидел синее море под крылом самолета.

— Вернетесь как раз к худсовету.— Денисов быстро достал деньги, начал отсчитывать сотню за сотней на подставленные Птициным ладони.— Верно, Леня, с вами повеселей будет. Верно...

Смотри-ка, Денисов чуть ли не упрашивал его лететь в Ашхабад. Что так?

— А там сейчас тепло-тепло!— заманивая, жмурился Птицин.— И дыни, дыни! Буде, Сергей Петрович.— Он прихлопнул деньги в ладонях.— Леня, за мной!

И они побежали — впереди Птицин, за ним Леонид,— отыскивая дежурного по аэропорту. И покуда бежали, покуда Птицин вызнавал дорогу, Леонид никак не мог собраться с мыслями, хотя и знал, что должен собраться с мыслями, что нельзя ему бездумно соглашаться на свой полет в Ашхабад.

Птицин нашел окошко дежурного и нетерпеливо махал отставшему Леониду.

— Давай, давай быстрей паспорт!

— Постой.— Леонид подошел к нему, взял за руку, отвел от окна.

— Ну!— поторопил его Птицин.— Что еще там?!

А мыслей не было.

— Да говори же, расхватают билеты.

— Слушай, Володя, я вот о чем хотел тебя спросить... Слушай, та армяночка, ну, ты знаешь, Лена... Скажи, она вышла замуж? Мне писали, что она выходит замуж...

— Ах вот ты о чем!— Птицин призадумался.— И от этого зависит, полетишь ты или нет?

— Пожалуй.

— Что ж, старик...— Птицин снова призадумался.— Что ж, очень мне хотелось, чтобы ты полетел с нами, но черт с тобою — не лети.

— Значит, вышла?

— Ага.

Не спеша вернулись они к Денисову — впереди Птицин, за ним Леонид.

— Раздумал, не полетит,— сказал Птицин Денисову.— Худсовет все-таки... Риск... Нельзя... Я его понимаю. Столько времени убил, столько сил. Понимаю.

— Худсовет?— Денисов быстро глянул на Леонида и отвернулся, помрачнев, замыкаясь.— Ну, как знаете...

Объявили посадку. Леонид проводил своих друзей до самого самолета. Они обнялись, расцеловались. Все это совершалось торопливо, в толчее. Одни улетали, другие оставались. И улетавшим было уже не до земных дел. Они улетали...

Леонид дождался, когда закончилась посадка, закрыли дверь самолета, откатили трап. Он дождался, когда самолет стронулся, неуклюже побрел по земле, выбредая на прямую тропу, чтобы устремиться в небо. И он дождался, когда самолет вдруг кинулся вперед, подвывая моторами, а потом вдруг оторвался от земли и стал птицей.

И в этот миг, когда самолет стал птицей, Леонид до слез пожалел, что отказался лететь в Ашхабад,— обо всем забыл и только жалел, что отказался лететь туда, за синее море, где тепло, тепло и дыни, дыни...

4

«Центральная сейсмическая станция «Москва» Геофизического института Академии наук, сейсмические станции в Свердловске, Иркутске, Ташкенте, Владивостоке, Тбилиси, Ереване, Андижане, Алма-Ате, Фрунзе, Сталинабаде, Самарканде, Чимкенте и другие станции зарегистрировали в ночь с 5 на 6 октября сего года землетрясение большой силы. Первый толчок от землетрясения был зарегистрирован сейсмической станцией «Москва» 5 октября 1948 года в 23 ч. 17 м. 7 с. по московскому времени (6 октября в 01 ч. 17 м. 7 с. для Ашхабада). Смещение почвы было мгновенным, без предварительных толчков. По данным указанных сейсмических станций, эпицентр землетрясения был определен в Северном Иране вблизи границ Туркменской ССР — к югу от Ашхабада (в расстоянии от него около 80 километров). Координаты эпицентра определены следующие: широта 37,4 градуса и долгота 58,2 градуса.

Сила землетрясения в эпицентре была столь значительной, что в Москве на расстоянии от эпицентра в 2500 километров смещение почвы достигло 0,4 мм. На этом основании было сделано заключение, что в самом эпицентре сила землетрясения достигла 10 баллов, а в Ашхабаде — 8—9 баллов».

«Туркменская Искра», 13 октября 1948 года.

Самолет, вылетевший из Москвы в Ашхабад рано утром 4 октября, вынужден был заночевать в Баку. Шторм был на Каспии. А в шторм над Каспием не полетишь. Но к полудню 5 октября погода установилась, грозовые тучи, зачернившие небо, расползлись, и самолет взял курс на Ашхабад.

Море было неспокойно. Не синим, а, как в кино, черно-белым оно было, закручивались, сшибались, исходя пеной, волны. И в небе шла война: тучи грозно сталкивались, кромсая друг друга. В Каракумах, когда самолет достиг их, тоже шла война. Куда ни глянь, пошатываясь, ходили песчаные смерчи, рушились, падали на колени.

Самолету было трудно лететь, его моторы едва управлялись с встречным ветром, самолет швыряло, он то до жути куда-то проваливался, то с ощутимой натугой снова взбирался на какую-то крутую гору. Командир корабля повернул было назад, но из Баку радировали, что на Каспии снова шторм и приморские аэродромы не принимают.

Кое-как самолет достиг цели. Над Ашхабадом он долго нырял, заходя и раз, и другой, и третий на посадку, прорывался сквозь пылевую завесу, укрывшую аэродром. Наконец сел, чуть не задев крылом землю.

Измученные пятичасовой болтанкой, оглохшие, выбрались из самолета пассажиры. Измученные и счастливые: все-таки долетели. Натерпелись страху, но долетели. И теперь под ногами была у них твердая почва, земля, и все опасности остались позади.

Денисова и Птицина встречали лишь трое: Марьям, Клыч и Гриша Рухович. Как выяснилось, студийцы поделили между собой дежурство на аэродроме. Ведь встречать начали со вчерашнего вечера. Встречали нынешним утром. Потом приехали на аэродром в полдень. И вот только к вечеру дождались все-таки.

Марьям участвовала во всех этих выездах на аэродром. Ее спутники подменивались, а она упрямо ездила и ездила. А когда наконец встретила Денисова, у нее не было сил даже на улыбку. Она припала к его плечу головой и, смешная, твердым кулачком стала колотить его по спине, будто это он был повинен в задержке самолета. Птицина она не заметила — этот уж наверняка был во всем виноват. Птицин вертелся рядом, но она его упорно не замечала.

Мелкий, колкий песок клубился над аэродромом, сек лицо, забивался в рот. Говорить было невозможно. Даже в здании аэропорта хозяйничал этот песок, и хлопали повсюду двери, терзаемые ветром.

Бегом, загораживаясь от ветра и песка руками, добрались до старенького ЗИСа, забились в него и покатили в город, который виднелся вдали в песчаных облаках, сумрачный, до срока погрузившийся в вечер.

— Вот тебе и тепло, вот тебе и дыни,— пробормотал Птицин, устало закрывая натруженные, покрасневшие глаза.

На студию не поехали, рабочий день уже кончился. Поехали прямо к Денисову домой. И сразу — к столу. Денисов распахнул чемодан, достал из него московские гостинцы: хороший коньяк, копченую колбасу, консервы, конфеты. Он передавал все это Марьям, а она складывала все на стол, радостные издавая восклицания, хлопая в ладоши, но было видно, что она только играет в радость, что ею владеет, не отпуская, тревога, знобит ее от тревоги.

В комнате стояла духота, а окна раскрыть было нельзя — налетел бы песок. Денисов распахнул дверь на террасу. Из сада сухой пришел шорох, жаркое ворвалось дыхание земли. Денисов скинул пиджак.

— Душно! Ну, давайте выпьем, друзья. Как вы тут?..

За разговорами, за выпивкой незаметно скрадывался вечер. Будто уговорились все ни о чем серьезном не поминать. О Воробьеве не было произнесено ни слова, о Бочкове — ни слова, о новой картине — ни слова. Смешные все раздобывались для застолья истории. Про Бурцева, которого министерство премировало автомобилем «Москвич», подчеркнув тем самым свое к нему расположение. И вот этот «Москвич» прибыл недавно

в Ашхабад. Машину доставили на студийный двор, и старик на глазах у всей студии решил было сесть за руль. Но с первого раза это у него не получилось. Машина маленькая, а Бурцев разве что на вершок поменьше Петра Великого. Но ничего, приспособился, ездит на своем «Москвиче», складываясь в нем, как перочинный ножик. И горд непомерно. Ведь во всем городе насчитывается пока три «Москвича».

И еще одну смешную историю припомнили. Про Шкалика. Пропал вдруг в один прекрасный день Шкалик. Пришел на студию и сгинул. Ищут-ищут и не могут найти. Наконец кто-то забрел в душевую. Смотрит, сидит там Шкалик в чем мать родила на скамеечке, посинел весь от холода, зубами пощелкивает, но и пальцем пошевелить боится. Что такое?! Оказывается, когда Шкалик после душа начал вытираться, вдруг свалился к нему на плечо какой-то жук. Скорпион, конечно! Вот Шкалик и замер. И жук тоже замер. Большой испугался маленького, маленький — большого. Тот, кто обнаружил Шкалика, знал толк в скорпионах. На плече у Шкалика не скорпион сидел, а обыкновенный навозный жук. И жук этот был немедленно выброшен за дверь.

И еще, и еще рассказывались всякие смешные истории. И все смеялись, как сумасшедшие, любой глупости, всякому смешному словечку. И громче всех смеялась Марьям. И всякий раз дольше всех. Но вдруг обрывала смех, замирая, к чему-то прислушиваясь. Ей было невесело, не радостно, хоть она и громче всех смеялась, и ее знобило, она все время скрещивала руки, грея плечи ладонями.

Первым спохватился Клыч:

— Поздно. Мне пора. Жена ждет.

Птицин проводил его до двери, будто это Птицин был здесь хозяином. У порога он вдруг обнял Клыча и поцеловал в щеку.

— Клычик, дорогой,— сказал он.— Я ведь с тобой на аэродроме и не поздоровался как следует. Эх, друг, друг...

Что это с Володей Птициным? Клыч смотрел на него, ничего не понимая, потом улыбнулся ему сочувственно и шагнул в ночь.

— Целуй уж и меня,— сказал Гриша Рухович и тоже пошел к двери.— Пора, пора спать. Спасибо за угощение, Сергей Петрович.

Птицин обнял Руховича.

— Эх, друг, друг!— сказал за него Гриша и подмигнул Денисову и Марьям.

— Не шути с этим,— строго сказал Птицин.— Ну, ступай.

Только ушел Рухович, только затихли его шаги за калиткой, как Марьям выскочила из-за стола и вдруг принялась кричать:

— Смеетесь! Веселитесь! А у этого Воробьева целый портфель набит всякими бумажками против нас! Он с этим портфелем и не расстается! Он его под голову кладет, когда спит! Он нас погубит! Погубит! Он и Бочков!

Денисов тоже вскочил.

— Да перестань ты! Слышишь?! Надоело!

Марьям опешила. Это было новостью для нее — такой его окрик.

— Ах, ты кричишь на меня?— она заговорила шепотом.— Вот! Вот уж ты и кричишь на меня! Я так и знала...

Денисов опомнился, быстро подошел к ней, обнял.

— Прости меня, я очень устал. Страшно устал. Ну что, ну что тебе дался этот человек с портфелем? Завтра же я решительно поговорю с ним. Акт ревизии на стол, и пусть отправляется восвояси!

— О, ты смелый, а я трусиха.— Марьям медленно отвела руки Денисова.— Я боюсь, боюсь... Вот ты уже кричишь на меня... Это он, это из-за него, да? Ты встревожен?

— Глупости! Марьям, умоляю тебя, довольно об этом. Все письма об этом, все телеграммы об этом. Довольно!

— Хорошо, я больше не буду.— Она покорно склонила голову и вдруг застыла, снова к чему-то прислушавшись. Слушала, слушала, и удивлением, страхом ширились ее глаза.— Слышите? Вы слышите?

Денисов и Птицин прислушались.

— Просто ветер в саду разбушевался,— сказал Денисов.— Ты об этом?

— Нет.

— Это песок в воздухе скрипит,— сказал Птицин.— Все-таки местечко, я вам доложу.

— Нет, это не песок. Нет, мне почудилось. Спать, спать давайте! Поздно!

— Я заночую у вас на террасе,— сказал Птицин.— Можно? Не хочется брести по городу. Ноги устали, весь устал.

— Ночуй!— разрешила Марьям.— Возьми вот коврик, вот тебе подушка, одеяло. На террасе сегодня только и спать. Душно!

Птицин принял из рук Марьям коврик, подушку, одеяло и стоял нескладный, понурый, глядя поверх вещей на Марьям. И вдруг Марьям тоже глянула на него и чего-то устыдилась. Лицо у нее пристыженным стало и жалким. О миг последний, запечатлись! Птицин покивал ей, прощая, все прощая, и, мешковато повернувшись, шагнул за порог.

А Марьям, захлопнув рывком дверь, кинулась к тахте, запрокидывая руки, всхлипывая и улыбаясь.

— А ты, ты любишь меня?..

Денисов не ответил. Он курил, отойдя к окну, выходившему во двор, единственному в доме окну без решетки. Курил и смотрел на затянутое пылью ночное небо с большими тусклыми звездами. Скверно у него было на душе и стыдно. Он прислушался, как кряхтел, укладываясь на террасе, Птицин. Прислушался, как бушевал ветер в саду, оголяя виноградник. Потом Денисов пригасил папиросу и пошел к Марьям.

— Обними меня...— сохлыми губами шепнула она.

...И он вдруг сжал ее и рванул, и она задохнулась в его могучих руках. Но то был не он, не любимый, то было землетрясение...

Да, то было землетрясение, начались те самые одиннадцать секунд, когда земля шесть секунд металась из стороны в сторону, как взбесившаяся львица в клетке, а пять секунд уминала все ногами, будто взбесившаяся слониха. А потом земля улеглась и снова стала матерью-землей.

Птицин еще не спал, когда терраса рванулась из-под него, а небо опрокинулось и деревья в саду легли к земле, поднялись и снова легли.

Птицин вскочил. «Война?! Бомбят?!» Гудела земля. Сотрясалась земля, но то была не война... А что же, что?!.

Шаг один — и Птицин был бы в саду, где ничто не могло обрушиться ему на голову. Но он повернулся

и шагнул в дверной проем дома, за распахнувшуюся криво дверь, шагнул в обрушивающийся дом.

Он увидел нагую Марьям, изогнувшуюся, сжатую, придавленную стеной. Он увидел, что еще какая-то балка падает на нее, скользя и нацеливаясь ей в грудь. И он бросился к Марьям, вытянув руки. И не увидел, что такая же балка падала на него самого. Он только услышал странный хруст и изумился этому хрусту, не поняв, что это его переламывается шея, что он убит.

А Денисов ускользнул от смерти. Какая-то сила отбросила его от Марьям. Он вскочил. Еще один толчок швырнул его к стене. Повезло ему! Эта стена выходила во двор, в ней было окно без решетки. И это окно зияло дырой в спокойное звездное небо. Еще один толчок — извне или изнутри, как понять? — и Денисов вывалился в оконную дыру и упал, расшиб лицо о землю.

Когда его швыряло из стороны в сторону, он увидел или ему померещилось, что он увидел, как вбежал в комнату Птицин. И балки, поползшие с потолка, увидел. Или ему померещилось? А когда он упал, он услышал, как падает дом. Он приподнялся на руках и увидел, как рушатся стены, как оседает, лопаясь, сотрясаясь, стена, за которой лежала Марьям. Он закричал, вскакивая, и снова упал, не устояв на подпрыгивающих ногах. И снова ткнулся лицом в землю, расшибая губы и слыша ими, как содрогается и гудит земля. От этого можно было сойти с ума, и он сошел с ума и пополз куда-то в темноту, а потом поднялся и побежал, задыхаясь от пыли, ослепнув, не видя ни единого огонька вокруг. А огней и не было. Во всем городе погас свет. Да и города уже не было. Были груды развалин таких же, как дом Денисова.

Земля больше не сотрясалась под ногами. Но Денисов все равно бежал, подпрыгивая, заваливаясь, подламываясь в коленях. Его ноги разучились делать свое дело, изверились в незыблемости земной опоры.

Земля отбуйствовала, но то, что сотворила она за одиннадцать секунд, весь этот ужас, который родился в ее судорогах, он не сгинул. Гибли, задыхаясь, в развалинах люди. Начались пожары. Многие души не выдержали, смешались перед неведомым и пошатнулись. И так же, как Денисов, бежали, бежали в клубах пыли куда-то люди, крича, простирая руки, в смятенном со-

знании своем отыскивая нужные слова, чтобы понять, опомниться. И множество слов понадобилось выкрикнуть иным, прежде чем вспомнили они то главное, то единственное слово, которое все объясняло. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ!

Сам ли Денисов набрел на это слово или услышал его в чьем-либо выкрике, но когда и он его выкрикнул, он опомнился. Он остановился, недоумевая, почему куда-то бежал. Куда он бежал? Зачем? Он огляделся, стараясь понять, где он. Далеко же он забежал. Он обнаружил себя у рухнувших стен гостиницы «Дом Советов». Он узнал этот дом по уцелевшим колоннам. Он оглядел себя, он был в одних трусах, босой. И вдруг он все вспомнил! Марьям на тахте, балку, которая заскользила с потолка, Птицина в дверях, себя вспомнил, метнувшегося в окно. И закричал, как кричит человек, когда на него наезжает поезд. И бросился бежать. Назад!

Клыч пришел домой от Денисова в приподнятом настроении. Клыч не пил, вообще не пил, разве что пиво. А у Денисова он выпил несколько рюмок коньяку и потому полагал, что пьян, и был возбужден, думая, что это от вина. А он от иного был возбужден. Его взбудоражил ветер, пришедший в город из пустыни, нагнавший в город каракумскую песчаную пыль. У этой пыли был свой запах, свой привкус. Клыч мальчуганом вдруг себя вспомнил. Летний денек вдруг встал в глазах и далекий аул. И женщина в красном платье, его мать, появилась в дверях их бедного дома и позвала его. И Клыч даже отчетливо услышал ее голос, хотя ее уже не было в живых. Услышал! Конечно же, это из-за вина.

По крутой лесенке он поднялся на крыльцо своего дома, нет, не померещившегося ему, а дома, где он теперь жил в городе. Тихонько, чтобы не разбудить жену и сына, Клыч подвигал рычажком умывальника, вымыл руки, умыл лицо. Потом разулся, в носках переступил порог.

Жена тотчас поднялась ему навстречу. Она не спала, ждала его. В длинной рубахе, чуть согнув привычно руку в локте, чтобы закрыть лицо, но тут же и опустив руку, она заспешила к столу, на котором ждал Клыча укрытый полотенцем чайник. Она налила немного чаю

в пиалу, ополоснула ее и налила мужу чай. Клыч зажег лампу, он глядел на жену, на то, как она движется, и улыбался. Он был рад, что пришел домой. Ему хорошо было здесь. Он огляделся. Все стены комнаты были увешаны большими фотографиями людей, которым Клыч, кинооператор Клыч, поклонялся. И эти люди дружили с Клычом. Они смотрели со стен на него добрыми, смеющимися глазами. Тут были Чаплин, Эйзенштейн, а рядом с ними маленький глазастый человечек, сын Клыча. Клыч ему тоже поклонялся. И сейчас, оглядевшись, он заспешил туда, где спал в своей кроватке его сын. Он наклонился над сыном и услышал, что рядом встала жена и тоже наклонилась над сыном... Так их и откопали утром — Клыча и его жену, наклонившихся, спасающих своими телами сына. Они были мертвы, но сын их еще был жив...

Гриша Рухович, уйдя от Денисова, до дома не дошел. Он далеко жил, студия сняла ему комнату где-то за текинским базаром. Он шел, шел по ночному городу, утомился и присел на какую-то скамеечку у высокого дувала. Только сел, и скамейка под ним обрушилась. Гнилой оказалась. Гриша начал вставать и изумился, что его не держат ноги, и увидел, что дувал валится на него вместе со звездами с неба. Он подумал, должно быть: «Ну и пьян же я...» Распрямиться он не успел.

Илья Зотович Бочков только-только заснул, он поздно лег, как вдруг почувствовал, что кто-то тянет его за рукав рубахи, больно прихватив чем-то острым и самую руку. Илья Зотович проснулся от боли и сразу вознегодовал на жену, которая так неловко дергала его за руку. Он вскинулся и увидел, что это не жена его тянет, а их овчарка Альма. Она упиралась лапами в край постели и тянула его за рукав, прихватив зубами и кожу на руке, тянула, виновато повизгивая. «Взбесилась?!» — обмирая, подумал Илья Зотович. Он хотел крикнуть жену, но побоялся подать голос, ибо знал, что уж если овчарка зачудит, то криком ее только озлобишь. Он сбросил ноги с постели и встал. Он надеялся, что Альма отпустит его. Она не отпускала. Пятясь, повизгивая, она поволокла его за собой к двери. Он подчинился. Он еще не решил, как поступить, у него ничего не было под руками, чтобы унять, отогнать собаку,

Альма уперлась задом в дверь, заскребла лапами. Илья Зотович отомкнул дверь, решив, что, как только Альма переступит порог, он сразу же дверь захлопнет. Но Альма не дала ему это сделать. Она перехватила покрепче рубаху, прихватив заодно зубами и руку. Илья Зотович слабо вскрикнул от боли и тоже шагнул за порог. Пятясь, все время скуля виновато, Альма продолжала тянуть его за калитку, а потом и на середину улицы. Кровь проступила на рукаве, Бочкова обуял страх. Он наклонился, нашаривая на дороге камень. Камень нашелся. Увесистый, такой как раз, какой нужен. Бочков схватил этот камень и стал молотить им Альму по голове. Бил и вскрикивал, страшась, что взбесившаяся Альма вцепится ему в горло. Но Альма только взвизгивала, она позволяла себя бить, она не защищалась и все тащила его куда-то, хотя силы начали оставлять ее, слишком тяжелые наносил ей Бочков удары. И собака сдалась, разжала зубы, рыча, сникая, поползла от хозяина. Растерзанный Бочков кинулся было к дому, но упал. Падая, он увидел, что и дом его падает. Бочков закричал пронзительно, перекрывая грянувший из земли гул, и пополз туда, куда уползла собака. Он был спасен. А этот крик его спас и Машу. Она проснулась, на миг опередив смерть.

Денисов вернулся к своему дому, к тому, что осталось от его дома. Путь назад изнурил его. Он видел, как копошатся у своих стен люди, как извлекают они кого-то из-под развалин. Он этого не сделал. Он оказался малодушнее этих людей. Он бежал. Зачем? Куда?

Путь назад был долог, как ни гнал себя Денисов. И путь этот был страшен, потому что все время перед глазами плыла Марьям. Она выплывала на своей тахте из темноты, то удаляясь, то приближаясь, будто маня его за собой. Она недвижимой была, белели ее руки, и скрыто было лицо.

Каким-то чудом нашел Денисов в руинах улиц руины своего дома. Теперь уже и звезд не было в небе и померкла луна — все заволокла пыль. Только костры пожаров, а они множились, одолевали пыльную мглу.

Найдя, узнав свой дом, эту груду глины, камней, балок, Денисов кинулся к нему, крича: «Марьям! Марьям!» Он лихорадочно стал растаскивать обломки, но сразу изранил руки, ободрал колени, и он все вслушивался,

припадая грудью к обломкам, он ждал, он надеялся на чудо, на отклик. Но не было отклика. И не было сил своротить эти стены, приподнять их, заглянуть под них. Его дом, такой маленький, когда он стоял, рухнув, превратился в громадину. Сил не было управиться с его крепостной кладки стенами, даже с обломками этих стен. А время шло. Времени было потеряно слишком много...

Денисов кинулся за помощью на студию. Она была рядом. Там он найдет людей, лопаты, медикаменты. То, что упущено, можно будет наверстать. Голова заработала с поразительной ясностью.

Ориентируясь по деревьям, а они не дались землетрясению, и улица в темноте казалась обычной улицей, Денисов выбежал к перекрестку, на который выходили студийные ворота. Он их увидел, он их сразу увидел, словно днем, когда они так отчетливо выделялись на белом фоне высокой стены съемочного павильона. Но павильона не было, этой белой стены не было, а свет на воротах был заревом пожара. Студия горела.

5

Леонид прилетел в Ашхабад, все уже зная и ничего толком не зная. Он питался слухами, пока был в Москве. Рано утром 6 октября ему позвонил приятель, который жил за городом, неподалеку от Быковского аэродрома. У этого приятеля были друзья в аэропорту, и от них-то он и узнал о сокрушительном ашхабадском землетрясении.

Леонид не поверил своему быковскому приятелю, не поверил в размеры бедствия. Ну, землетрясение — мало их, что ли, бывало в Ашхабаде. Леонид и сам в трех, а то и в четырех, так сказать, принимал участие. Один раз — это было днем — он вдруг заспотыкался, когда переходил улицу. Ровный асфальт, а он заспотыкался, словно шел по булыжнику. Он не успел даже испугаться, он не был обучен уважать землетрясения, догадываться о них. Но вдруг он увидел, как из домов стали выскакивать люди, иные выпрыгивали даже в окна. Что это? Кто-то крикнул: землетрясение! Но больше толчков не было, и вскоре все успокоились. А Леонид посмеивался: «Ну и паникеры!» Он не был обучен уважать землетрясения. Да и день был, никто не спал, толчки были крохотные, все сразу всё сообразили.

А это, о котором кричал ему в телефон приятель, это землетрясение случилось ночью, застигло людей в пору самого крепкого сна и было очень сильным. Что значит — очень сильным? Приятель кричал, что в Ашхабаде есть жертвы, много жертв, что с Быковского аэродрома уже вылетели в Ашхабад самолеты с врачами, медикаментами, продовольствием. «Ладно, иди досыпай»,— сказал ему Леонид и повесил трубку. Он не поверил в эту страшную новость. Но все же включил репродуктор, стал дожидаться последних известий. Известия отзвучали, о землетрясении в Ашхабаде не было сказано ни слова. Как же так? Ведь все-таки что-то же там случилось. Молчание радио встревожило Леонида. Он не был обучен землетрясениям, но он был обучен грустной науке умолчаний, в которые обволакивались многие и многие события, будто их и не было вовсе. И люди научились догадываться, не узнавать, а догадываться, жить не известием, а слухом.

Радио промолчало — и Леонид встревожился. Он не поверил своему приятелю — теперь он начинал ему верить. Он быстро оделся и выбежал на улицу. Еще рано было, еще не открылись киоски, не продавали «Правду», а на «Правду» Леонид все же надеялся, на эту газету он надеялся. «Правда» не промолчит, хоть несколько строк, да напечатает о случившемся.

Леонид поймал такси, долго втолковывал сонному шоферу, как проехать к Туркменскому постпредству. Поехали. Миновали Кремль, университет, библиотеку Ленина, проехали Волхонкой, свернули к Арбатской площади. Дома, дома... И там, в Ашхабаде, дома, дома... Не такие громкие у них названия, совсем не громкие, но ведь и они тоже служат людям. И вот их сотрясла какая-то сила, могучая, неумолимая, и они обрушились. Быть не может! Дома на улицах Москвы были так прочны, земля под колесами машины была так надежна. Не верилось, невозможно было представить, что где-то там, все на той же планете Земля, рухнул минувшей ночью город.

Леонид остановил машину на углу Филипповского, рядом с желтым зданием постпредства, и вышел на тихую, еще спящую улочку. Машина отъехала, и Леонид увидел на противоположной стороне приземистого седого старика в туркменских мягких сапогах. Старик шел от дверей постпредства, его шатало, как пьяного,

он был без пальто, без пиджака. Но не это поразило Леонида. Старик медленно поднимал к голове руки, впивался пальцами в седые космы, медленно выдирал из них клочья волос, медленно опускал руки, развеивал эти волосы, и снова поднимал руки. И Леонид поверил в страшное ашхабадское землетрясение.

...Леонид прилетел в Ашхабад и не нашел города. Глазам его открылись развалины, напомнившие войну, Варшаву, которую разрушили и взорвали, отступая, фашисты. В Варшаве Леонид не увидел ни одного уцелевшего дома, если не считать домов предместий. В Ашхабаде он тоже сперва не увидел ни одного уцелевшего дома. Потом уж ему показали один уцелевший дом, тот, что построили некогда с сейсмическими излишествами. И еще один дом, вернее, домик во дворе филармонии, который был построен как беседка, и, возможно, цилиндрическая эта форма его и спасла. Осела на несколько метров, но все же сохранила свой облик старинная мечеть. Потрескались, но все же устояли метровые стены банка. Постепенно, когда пообвыкся, Леонид стал различать в развалинах ну если не целиком дома, то наполовину дома, на четверть дома. И всюду: в этих половинках и четвертушках, в наскоро сколоченных сараях, отрытых землянках — всюду возрождалась, входила в обычную колею человеческая жизнь. Люди не побежали из поверженного своего города, они остались, чтобы обжить его заново. И еще затем, чтобы не отъехать далеко от дорогих могил. Их было много, очень много, вокруг города выросли новые кладбища

С аэродрома Леонид пешком добрался до студии. Он долго шел окраинными улочками, плутал, не зная, куда свернуть. Самые улицы были на месте, деревья, столбы — все это осталось. И если смотреть только прямо и не поднимать глаз, то под ногами текла улица как улица. Но стоило поднять глаза и хоть мельком глянуть по сторонам, как улица, которой ты шел, исчезала — и ты оказывался в лабиринте, где ни одной не найти приметы, подсказавшей бы тебе дорогу. Оказывается, улица — это не дорога, проложенная между домами, а это дома, проложившие между собой дорогу. И если нет домов, то нет и улицы. Улица узнается по домам, как река узнается по берегам.

Леонид шел и боялся первой встречи своей с людьми, которые попали в землетрясение, тогда как он в него не попал. Он чувствовал себя как солдат, отставший от полка накануне боя. И хотя нелепым было это чувство — ведь не мог же он знать, как солдат, что грядет бой, ведь землетрясение не объявлялось, оно не упреждало о себе,— он все же боялся встречи с товарищами, будто был дезертиром.

И студии не было. Стояли ворота, из фанеры была сбита наскоро проходная, но за воротами не видно было ни павильона, ни студийных корпусов.

В фанерной будке, когда Леонид переступил порог, он увидел сутулого старика, заросшего, запущенного, в нелепой на нем офицерской фуражке. Старик хлебал чай из кружки, понуро сидя на табуретке, и, когда Леонид отворил фанерную дверцу, даже глазом не повел. Да у него вроде и закрыт был глаз-то, сощурен. Леонид узнал Фаддея Фалалеевича. По этому прищуренному на мир глазу узнал.

— Фаддей Фалалеевич, вы?— Леонид усомнился все-таки: не мог их вахтер, крепкий этот мужик с армейской выправкой, так стремительно сдать, согнуться, одряхлеть.

— Я, я, Леонид Викторович. Прибыли? Ну, ну...— И все, и глаз не разжмурил, и не оживился, готовясь к вопросам. И все, снова потянулся губами к кружке.

— Фаддей Фалалеевич, как вы тут?

— Обыкновенно.

— Фаддей Фалалеевич...— Вопрос застрял в горле, Леонид виновато поклонился и шагнул за порог.

Он узнал, что студии нет, он готовился к тому, что не увидит белых стен, бьющего посреди двора фонтана, но все же он жаждал все это увидеть и все же не верил, что ничего этого нет. А ничего этого не было. Двор был загроможден какими-то из фанеры хибарками, был оплетен веревками, на которых сохло белье, и дымил, дымил костериками, печурками, сложенными из дюжины кирпичей, самоварными трубами буржуек.

Человек, один из тех, кто готовил себе пищу во дворе, вдруг распрямился и кинулся к Леониду. Человек этот

был худ, изможден, темен лицом, но он улыбался из всех своих человеческих сил и руки распахнул для объятия. Кто это? На нем были новенькие заграничные ботинки, в манжеты рубахи вдеты запонки. Леонид узнал Денисова.

Леонид и других людей узнал во дворе. Он сообразил, как это надо делать. Надо сказать себе: они постарели на десять лет, прошло десять лет, как ты их не видел. И тогда все станет понятным и можно будет узнать в этом темноликом человеке Денисова, вот в той вон улыбающейся старушке монтажницу Клавдию Ивановну, а в той вон старушке, прикрывшей вдруг лицо рукой, Ксению Павловну. А это кто? Медлительный, будто лунатик, он и по двору брел незнамо куда, и щеки у него запали, как у старца. А это был Иван Меркулов, красавец Меркулов, десять лет назад так разительно походивший на Мозжухина. А это кто?..

Денисов привел Леонида к себе — в две смежные комнатенки из фанерных листов. В одной комнатенке стояло кресло, то самое, из директорского кабинета, а комнатенка теперь и была кабинетом. В другой комнатенке, куда они прошли, стояла кушетка с отбитыми ручками, здесь Денисов жил.

Денисов вел Леонида через двор, ввел в кабинет, затем в свою комнату, так и не сняв с его плеча руки. Как он обнял Леонида, когда подбежал к нему, так все и длил это объятие. Он завладел Леонидом, единолично им завладел и никому не желал уступать в эти первые минуты встречи. И все говорил, говорил ему что-то. Негромко говорил, только ему, на ухо, чтобы вокруг не услышали. Но и Леонид плохо слышал. Он не мог вникнуть в смысл того, что проборматывал быстро Денисов. Он был поражен Денисовым. И не видом его, не постарелостью этой, а вот тем, как Денисов проборматывал слова, и тем, какие у него глаза были странные, не было им покоя, вздрагивали все время, и тем, как укладывались у него губы, наново, нетвердо как-то, как у человека, которому вставили протез и губы еще не привыкли к этой новизне, еще приноравливались, и человек на время остался без своего лица.

Денисов усадил Леонида на кушетку, сел рядом и близко, все так и не снимая руки с его плеча. Теперь они остались вдвоем, Денисов затворил и дверь со

двора, и дверь из кабинета в свою комнату — теперь он мог заговорить погромче.

— Ты знаешь? — спросил он и замолчал, прищурившись по-денисовски, так, что совсем не видно стало синих его глаз. Но все равно их беспокойная жизнь угадывалась под веками и веки вздрагивали.

— Да, — сказал Леонид. — Мне рассказали в постпредстве. — Он умолк, никаких он больше не знал слов, какие бы мог произнести вслух.

— Тебе рассказали, надеюсь, что Марьям была убита в первый же миг? Ты понимаешь, все было кончено в первый же миг? Она не мучалась, ты понимаешь?

— Да.

— А Володя...

— Я знаю.

— А я вот убежал... Какой-то провал в памяти, ничего не помню... Потом вернулся... Пожар на студии... Заметался... К рассвету мы откопали Марьям... Мне помогали Ксения Павловна, Фаддей Фалалеевич... Ты расспроси их... Марьям лежала как живая... Я даже крикнул: живая!.. Ей было не больно, поверь мне...

— Я верю, верю.

— Нет, обязательно расспроси их, непременно. А Птицин... Он отомстил мне!.. Знаешь, он отомстил мне... Здорово отомстил!..

Леонид прислушался: ему почудились завистливые нотки в голосе Денисова. Что же, или Денисов позавидовал сейчас участи Володи Птицина?

— Здорово отомстил! — повторил Денисов. — Ты знаешь, Леня, они у меня все время перед глазами... Я их вижу... И себя там вижу... Жаль... — Денисов вдруг нагнулся, плечи у него затряслись. Он плакал. — Ты прости меня... Я сейчас...

Он плакал. Денисов плакал.

6

Леонид едва дождался утра. Он не спал, всматриваясь в квадрат ничем не занавешенного окна, подстерегал тот миг, когда начнет сереть мгла в небе. Он почти всю ночь не сомкнул глаз. Кушетка, которую уступил ему Денисов, тоже была жертвой землетрясения: в ней вдруг начинали громко и протяжно переговариваться пружины. И звуки эти, когда Леонид задремы-

вал, казались голосами людей, и в звуках этих длился их рассказ все о том же самом, о том же самом.

Весь вечер минувший и часть ночи продолжался этот рассказ. Пришла Ксения Павловна, кутаясь в платок, укрывая, будто туркменка, платком часть лица. Она стыдилась нагрянувшей на нее старости. Пришла Зоя в чужом, слишком просторном для нее платье, в мужских башмаках. Она принесла с собой папку с бумагами, папку со сценариями — все, что осталось от архива сценарного отдела.

У этих женщин никто не погиб, у них не было мужей, не было детей, вообще не было родных в городе. Они и спаслись счастливо, отделались разве что ушибами. Но они были уже не теми, что раньше. Они переменились, да, им прибавилось по десятку лет, но дело было не в этом, не в морщинках вокруг глаз и губ. Они переменились изнутри. Опять вспомнилась война. И женщины на улицах городов, где побывали немцы и куда вернулись наконец свои. У этих женщин были удивительные глаза. Мудрые, настрадавшиеся, как на иконах.

Вот такими глазами и смотрели на Леонида Ксения Павловна и Зоя, когда рассказывали ему все о том же, все о том, кто погиб и кто уцелел, как погиб и как уцелел. И эти глаза тоже рассказывали, иной раз больше говоря, чем слова.

Бурцеву и его жене посчастливилось — ни царапины. Их не было сейчас в городе, они приходили в себя в Кисловодске. Цел и Углов. И его не было в городе, улетел в Ташкент. Фильм-концерт пока не снимается. Не до концертов. И Бочковы тоже отбыли в Ташкент. Там сейчас полно ашхабадцев. И в Баку тоже, и в Алма-Ате тоже. Кто залечивает раны, кто сил набирается, переводит дух. Марьям... Птицин... О них заговорили, когда Денисов вышел из комнаты. Кто-то позвал его, и он на минутку, сказав, что на минутку, вышел.

— Вы видели их? — шепотом спросил Леонид у Ксении Павловны.

— Да. — Она тоже свела свой голос к шепоту. — Бедненькая... Такая красивая, молодая...

— Она сразу погибла?

— Не знаю... Кто это может сказать? Не знаю... А Володя, ведь он на помощь к ней кинулся. Подумать только, в его положении... Я считаю это геройством...

— Это не геройство,— сказала Зоя.— Это любовь. Самая великая любовь, про какую я только знаю. И не из книжки, из жизни. Их рядом и похоронили. А он...— Она кивнула на дверь.— Он теперь изведется. Вот помяните меня, он себя не простит...

Вернулся Денисов.

— О чем разговор?— спросил он, настороженно глянув на женщин.

— Да все о том же,— сказала Ксения Павловна.— Да, Леня, а знаете, какая беда постигла Ваню Меркулова? У него вся семья погибла... Трое детей... Жена...

— Боже мой, боже мой,— сказал Леонид и вспомнил, увидел, как шел через студийный двор Иван Меркулов, медленно, как лунатик.

— А пьяницы, а все городские гуляки уцелели!— гневно сказала Зоя.— Их ресторан «Горка» только осел, только и всего. А их «Фирюза» распалась на две половины, и никого там даже не ушибло. Ну разве есть бог?!

— Есть, Зоечка, есть, по-моему,— задумчиво сказала Ксения Павловна.— Спаслись же мы... А нас бы и откопать было некому... Да, Леня, а вы знаете, ведь и этот инспектор Воробьев тоже погиб...

Денисов вдруг вскочил, вдруг забегал по комнатенке своей, плечами стукаясь о податливые стены.

— Они обвиняют меня!— Он махнул рукой куда-то на кого-то там.— Они заподозрили, что я тогда ночью побежал к гостинице, чтобы украсть у Воробьева его проклятый портфель. Подумай, Леня, в чем они меня заподозрили! Да, портфель пропал, да, меня видели в ту ночь у гостиницы, но разве...— Денисов осекся, и снова дрогнули, затряслись его плечи.

— Боже мой, боже мой,— сказал Леонид.

Едва только рассвело, он вышел за студийные ворота. Он многое знал теперь. Предстояло узнавать — еще и еще.

Он направился сперва к своему дому, отыскав то место, где стоял его дом, по воротам. Они были из дерева, столбы были глубоко врыты в землю, и ворота устояли. А маленького домика слева от ворот не было. И большого хозяйского дома справа от ворот не было. Разве что хибара об одно окно этот бывший дом?

Леонид недолго стоял у обломков, у груды камней на том месте, где жил когда-то. Он приподнял и отбросил исковерканную потолочными балками кровать, на которой спал когда-то. Не жить бы ему, если бы он спал в ту ночь на этой кровати.

Под обломками ничего не уцелело — Леонид это сразу понял, не стал даже и разгребать кирпичи. А ему ничего и не жалко было. Какие-то вещи пропали? Пустое. Ему не жалко было и пропавших рукописей. Даже их не жалко ему было. Начатый сценарий, несколько рассказов, наброски сюжетов. Бог с ними! Кто-то разжег ими костер. Пускай! Не то, не так надо писать. Нельзя писать, чуть прикасаясь к жизни, выдумывая всякие историйки. Вот она — жизнь! Ну-ка попробуй напиши об этом! Когда-нибудь...

Не оборачиваясь, Леонид зашагал в город к центру. Он еще в Москве, в постпредстве, узнал, что Лена спаслась, что спасся ее муж. Это и все, что следовало ему узнать. Лена не нуждалась в его помощи — вот и все, что должен был он знать. Но были другие, оставались друзья. Саша Тиунов. Что с ним? Хаджи Измаилов. Что с ним? Нина, Соня... Живы ли они? Ира... Жива ли?

Леонид шел по широкому асфальтовому полотну улицы Свободы. Снова этот обман, когда кажется, если не смотреть по сторонам, что город есть — ведь улица-то, асфальт, деревья, ведь все это уцелело. Ну, потрескался асфальт, ну, не подметена улица — и весь непорядок. Но стоило поднять голову...

Солнце все разгоралось, теплый обещая день. Теплый ветер подул, живой травой запахло. Но рядом стоял и иной запах. Он был рядом со всеми запахами. Он был знаком Леониду. Это был запах войны, мерзко сладковатый запах гари и тления.

Солнце все разгоралось, город проснулся. Много ли в нем осталось людей? И чем они займут свой новый день? Леонид присматривался, прислушивался. Картина обычной жизни открылась ему. Да, обычной жизни. В этих развалинах обычная шла жизнь. Люди умывались, готовили себе еду, люди начинали работать. Они строили. Везде, куда бы ни поглядел Леонид, возводились стены. Новые стены новых жилищ. Вдоль улиц были сложены штабеля досок, бревен, щиты сборных домов. Иные из этих домов уже встали на фундамент,

в иных уже занавески появились на окнах. Смелый город. Смелые люди.

Кто-то окликнул Леонида. Он обернулся. К нему шел через улицу оператор Андрей Фролов. В руках у него была съемочная камера, он был в комбинезоне, он был на работе.

— Твои целы? — спросил Леонид.

— Да. Шесть часов откапывал. Да, целы.

— Что ты снимаешь сейчас?

— Ашхабад. Я начал снимать с того самого дня. Как только рассвело, так и начал. Надо, чтобы люди знали. Это очень важно.

Они пошли рядом.

— Город мы поднимем быстро, — сказал Фролов.— Строить теперь будем по-умному. Вон, смотри, как кладут стены. Рама, крестовина из досок — и кирпич не посыплется. Хоть десять баллов — стена накренится, но не упадет.

— Так просто?

— Все просто. Надо только головой работать. Ты прости, я тебя оставлю. Мне надо снимать.

Леонид проводил глазами Андрея. Не очень высок, совсем не широк в плечах, а шесть часов откапывал он своих, а потом пошел снимать и снимает, снимает...

Смелый город. Смелые люди.

Леонид свернул к площади Карла Маркса. Он знал, в первые часы после землетрясения эта площадь стала городским госпиталем. И сейчас еще на ней стояли бараки, палатки. Здесь теперь жили. Раненых же увезли кого куда. Множество городов приняло их, прислав за ними своих врачей, свои самолеты, свои санитарные поезда. Вся страна встрепенулась, чтобы помочь Ашхабаду. Леонид слышал в Москве, что обсуждался вопрос, быть ли городу на старом месте. Теперь он понял: город останется на старом месте. Люди не уйдут отсюда. Да они уже и отстраиваются здесь. Смелый народ. Смелые люди.

Еще одна встреча. Нина! Женщина в белом халате, врач, спешащий к страждущим. Строгое лицо, не постаревшее, слишком молодое лицо, чтобы постареть, но ставшее изнутри строгим, взрослым.

Леонид кинулся к ней.

— Нина!

Она протянула ему руку.

— Вернулся? Все знаешь?

— Узнаю. Соня жива?

— Она уехала незадолго до землетрясения в Баку.

— А Саша Тиунов?

— Жив Саша. В госпитале в Ташкенте. Перелом ребер, ключицы. Выходится. А его мама, старшая сестра... Ты их знал?

— Знал.

— Ну, я побегу. Увидимся еще. — Она пошла, широко, по-мужски шагая.

Леонид окликнул ее:

— Нина, скажи, Хаджи Измаилов, писатель Хаджи Измаилов, — он жив?

Она остановилась.

— У него одной руки не было. Ты о нем?

— Да.

— Он погиб, Леня. — Она двинулась дальше.

И еще одна встреча, уже к полудню, когда Леонид зашел в какой-то барак у базара, в котором разместилась столовая. За буфетной стойкой он увидел Иру. Он не осмелился подойти к ней. Жива — и все. Зачем он ей? Жива — и все. Она сама подошла к нему. Он подумал, что она его не заметит, он сел за самый дальний столик. Заметила.

Раскачиваясь, она не спеша подошла к нему, наклонилась, всмотрелась.

— А ты все такой же.

А каким ему еще быть? Ведь это не он попал в землетрясение, а она.

— И ты не изменилась,— сказал он. Это была ложь, она изменилась. Она погасла. Не постарела, а погасла. И у нее странные были глаза, все время бегали глаза, подведенные, с наплывающей на них краской, мутные, утратившие свой цвет.

— Правда? Пополнела вот только. — Она села на пододвинутый им стул. — На мое письмо не обижаешься? Все бабы дуры. Вот захотелось написать тебе, похвастаться захотелось, что счастливая. Не обижаешься?

— Да что ты, Ира! Я был рад за тебя.

— Рад... Рано мы обрадовались с тобой, дружок.

А знаешь, как я спаслась? Работала, вот и спаслась. В нашем кабаке никто не погиб. Пьяницам — счастье.

— А муж?

— Сожитель-то мой? Погиб он. Когда дом раскопали, его в хозяйкиной постели нашли. Вот тебе и муж, вот тебе и хозяйка-святоша.

— А Макс, собачка твоя?

— Потерялся Макс. Зайдешь? У меня хибара сколочена. Все на том же месте.

— Зайду, — сказал Леонид, хотя знал, что не зайдет.

Да и Ира поняла по его голосу, что ждать его нечего. Она поднялась, кивнула ему отчужденно и пошла к стойке не своей, не раскачивающейся походкой.

7

Леонид скоро пообвык в этом городе из руин, научился ходить по его улицам, не поднимая глаз, полагаясь на память. В памяти хранился былой город, недавний, и надо было только не поднимать глаз на рухнувшие стены. Но вот притерпеться к сладкому зловонию, жившему в воздухе, было невозможно. Все время хотелось ополоснуть лицо и хотелось куда-то нырнуть, туда, где чистый воздух. А его нигде не было, и даже вода, чудилось Леониду, продушилась зловонием и пожирнела.

Пыль стояла над городом, она слилась в сплошную тучу, которая то припадала к земле, то взлетала невысоко, но от города отлетать не собиралась. Рваные крылья этой тучи, колыхаясь над улицами, казались крыльями громадного стервятника. Выпростаться из-под него было некуда.

И все же люди жили во всем этом: и в пыли, и в зловонии, и в нагрянувшем небывалом холоде, в этих вот землянках, времянках, палатках. Жили, заново вживаясь в жизнь. И было это геройством, но только никто не знал, что это геройство, не думал так о своей жизни. Напротив, хотелось поскорее привыкнуть, забыть или хотя бы забыться. Мешали сны. Весь город видел сны. Весь город пробуждался от малейшего толчка, а толчки, хоть и совсем слабые теперь, случались чуть ли не всякую ночь. Пробуждаясь, еще не отрешившиеся от страшного сна, одного и того же, одного и то-

го же из ночи в ночь, люди выбегали на улицы. Стены их времянок были не опасны, да и толчки были ничтожны, но все равно все выбегали на улицы и, путая сон и явь, вслушивались мучительно, не загудит ли снова земля тем страшным, неслыханным, необъяснимым гулом. Земля молчала. Люди снова укладывались спать. И снова до первого толчка, которому обязательно предшествовал страшный сон, один и тот же, всегда один и тот же. Для каждого свой собственный сон, но для всех вместе про одно и то же — про землетрясение.

Леонид исходил весь город, каждый день у него начинался с путешествия на какую-нибудь далекую улицу, вернее, к руинам этой улицы. Похоже было, он что-то искал там. Но он ничего там не искал. Улица была незнакома ему, он раньше не бывал на ней, никто из его друзей не жил там ни раньше, ни теперь. А шел он на эту улицу, пересекая весь город, лишь затем, чтобы пересечь весь город, будто спеша куда-то, будто по делу, шел, чтобы миновать как раз те улицы, которые он знал, где некогда жили его друзья и где теперь их не было. Он не мог понять этого, не мог смириться с этим, он не доверял глазам, он доверял памяти. В памяти жил былой город и были все живы. И в памяти еще была Лена, но не чужая, не вышедшая за кого-то там замуж.

Лену он ни разу не встретил. Ничего не стоило ее встретить, но он не хотел этого. Он всегда стороной обходил ее улицу. Должно быть, она там строила свой новый дом. И на улице, где пока во времянке ютилось ее министерство, он тоже ни разу не был.

Да, и еще на кладбище Леонид не был. Не на кладбище, а на кладбищах. Вместо одного их стало четыре. Туда всякий день с утра и до позднего вечера шли люди. И подолгу оставались там.

Где-то там в одной могиле были похоронены Марьям и Птицин. Так распорядился Денисов. Вот он как распорядился. Туда надо было сходить. Обязательно. Но Леонид все оттягивал с этим. Он знал, когда он придет на кладбище, на одно, на другое, он уже не сможет играть с собой в жмурки. Память больше не выручит его, не уведет назад, в тот еще город, где был он счастлив, может, и не ведая, что счастлив. Пусть то будут могилы незнакомых людей, но все равно они жили вместе с ним, рядом с ним в том городе. Нет стен — это не

самое страшное. Не стало людей — вот что страшно, вот что непоправимо.

И все же он пришел на кладбище. Настал такой день, когда Леонид пришел к могиле Марьям и Птицина. Какой-то особенный это был день. С утра сильный ветер продул, промыл город и небо. Дышать стало легче. Ветер промчался через город и больше не вернулся. Пыль улеглась. Потеплело вдруг. Леонид собрался с духом и свернул в сторону кладбища.

Он знал по рассказам Денисова, на каком кладбище и примерно где похоронены Марьям и Птицин. Бедняга Денисов часто загсваривал об этой могиле и, кажется, часто навещал ее.

Леонид миновал железнодорожный переезд, стараясь не глядеть на руины вокзала. Ничем не примечателен был здешний вокзал. И все же он жил в памяти, возвращая те минуты волнения, которые всегда связаны с вокзалом, как бы уныл, казенен он ни был. Ведь от этого здания начиналась дорога. И здесь пахло дорогой. И хотя по этой линии не ходили паровозы, а бегали приземистые, похожие на жуков тепловозики, голос у которых был тонок и непривычен, все равно, едва заслышав их клич, Леонид завистливо вспоминал дорогу, завидуя тем, кто в пути, угнетаясь, что сам он никуда не едет.

Теперь вокзала не было, а высилась громадная куча битого кирпича, с торчащими каркасами колонн. Как жалки они сейчас были — эти гиганты, какой оказались они хлипкой бутафорией, едва лишь качнула их настоящая сила.

После переезда, как помнил Леонид, надо было пройти еще немалый путь по барханам, через вклинившуюся в черту города полосу пустыни. Но то было раньше. А теперь пустыни этой Леонид не обнаружил. Она оказалась обжитой, она отдала себя кладбищу.

Леонид остановился. Вот оно — кладбище. Новое кладбище, непомерно громадное для небольшого города. Громадное, новое и уже заселенное, все уже в мелкой решетке скупых наделов. Вот она — правда о том, что случилось в этом городе в ночь с пятого на шестое октября. Та правда, которая вслух не произносится, потому что ее больно произносить. Та правда, которую так боялся постичь до конца Леонид.

Он стоял и смотрел, здесь жмуриться было бес-

смысленно и недостойно. Он смотрел, ведя глаза до той черты, где вновь начиналась барханная пустыня. Извечная пустыня, отступавшая перед городами и наступавшая на них, и поглощавшая их. Чего только не знает эта пустыня, о чем еще узнает...

Но где было тут сыскать могилу Марьям и Володи? Леонид испугался вдруг, что не найдет могилы. Он заставил себя вспомнить сбивчивые объяснения Денисова. Какое-то чахлое дерево надо было пройти, потом свернуть по тропинке направо, потом поравняться с надгробием — согбенная старуха с укрытым покрывалом лицом высыпает из рога изобилия на могилу розы.

Дерева Леонид не нашел, их было несколько, равно чахлых, равно одиноких. Но надгробие увидел сразу. Гипсовая старуха со швом отливки вдоль спины, скорбно сутулясь, щедро посыпала могилу гипсовыми розами. Рог изобилия, из которого изливались эти розы, был похож на садовую урну.

У Леонида шею заломило, такая это была никчемная здесь старуха. И эта урна в ее руках, и эти розы цвета пыли — все это было невозможным здесь. Вот кто-то уже и стал наживаться на мертвых.

И все же Леонид обрадовался старухе, поскольку она была ориентиром. Теперь надо было пройти еще шагов с десять и отыскать просто щит из фанеры, на котором помещены две фотографии — Марьям и Володи. Этот щит из фанеры — это временно. Его сменит мраморная доска. Она уже заказана. Денисов из своих денег оплатил ее. Он продал фотоаппарат, чтобы раздобыть эти деньги. И еще что-то продал, лишь бы хватило денег. Он не мог допустить, чтобы эту плиту установили на казенный счет.

Десять шагов неожиданно привели Леонида снова к гипсовой старухе, точно такой же, как первая. Он шарахнулся от нее, зашагал в противоположную сторону. И что же, опять гипсовая старуха преградила ему путь. Леонид тоскливо огляделся. Их было много — этих одинаковых старух. Кто-то отливал и отливал их, штука за штукой. И должно быть, дорого брал за свою работу. А люди, чтя память близких, платили, продавали последнее, что у них уцелело, и платили. Еще не было построено целиком ни одного дома, а уже возникли вот эти памятники. Леонид пригляделся к одной из старух. Она была в национальной одежде старой ар-

мянки. Ах вот что, эта часть кладбища была армянская. Ах вот что, видно, такой у них обычай, чтобы могилу стерегла старая мудрая женщина и чтобы не грустила она без нужды, а делала радостное дело, прекрасное дело, усыпая дорогую могилу розами. Что ж, пусть сидят здесь эти старые женщины, одинаковые старые женщины — время сделает то, что не смог сделать бездарный скульптор, время по-разному обойдется с каждой из старух, и, может быть, через много лет этот уголок кладбища будет изумлять людей иссеченными ветром старческими лицами и люди найдут в этих лицах и мудрость, и доброту, и скорбь.

Да вот и сейчас уже, как ни одинаковы эти стражи могил, по-разному выглядит всякая могила. Живые руки близких по-разному прикоснулись к земле. И есть тут уже старухи, которым не сиро вековать на кладбище, а есть уже одинокие и забытые.

Какая-то женщина, стоя спиной к Леониду, поливала у могилы цветы. Ей было трудно держать лейку, и она оперлась рукой о плечо своей гипсовой старухи. Потом поставила лейку на землю и устало распрямилась. И пока она распрямлялась устало, чуть повернувшись в сторону Леонида, и медленно поднимала руку к голове, оправляя растрепавшиеся волосы, Леонид вдруг услышал свое сердце, которое застучало, как сильно пущенный им метроном на пианино — когда-то, очень давно, в детстве. Эта женщина у могилы — это была Лена.

Она не удивилась встрече с ним. Не стала изображать какую-то особенную дружественность, какую напускают на себя, жалея нас, женщины, выбравшие другого. Она протянула ему руку и поздоровалась с ним буднично и просто, словно вчера только они виделись и был он для нее всего лишь одним из знакомых, всего только одним из ее городских знакомых.

Леонид не ответил на ее «здравствуй, Леня». Он забыл ответить. Он смотрел. Он знал, что смотрит на нее так в последний раз. Так глядеть на нее он если и мог, если и смел, то только один-единственный раз, вот в эту их первую после всего, что случилось, встречу. А потом, сколько бы раз они ни встречались, одни ли, на людях ли, ему уже было заказано так смотреть на нее. Так не смотрят на чужую, на всего лишь знакомую женщину.

А сейчас он смотрел, он прощался с ней сейчас, и она не отворачивала лица, позволяя ему так смотреть на себя, тоже зная, что это в последний раз.

Она подурнела. Она страшно подурнела. Он не видел этой ее дурноты, только понимал, что это так. Он понимал, что желтые пятна на лице не красят ее, что громадные ее глаза потускнели, постарели. Он понимал, что у нее морщины появились у рта и глаз. Он это все понимал, но это все не мешало ему видеть ее прекрасное лицо, видеть это лицо за всем новым, что проступило в нем в новой ее жизни.

Но вот она вдруг смутилась чего-то, вдруг отвернулась как-то неуклюже, с несвойственной ей тяжеловатостью ступив в сторону. И тогда Леонид понял все до конца. Он понял, что Лена беременна. Вот почему она была в каком-то мешковатом пальто, вот почему проступили эти желтые пятна на лице. Наконец он увидел ее теперешней. И все кончилось, с былым все было покончено, и он более не имел права так смотреть на нее, они простились и расстались, оставаясь стоять друг подле друга.

— Вот, похоронила тетю Кнарик, — сказала Лена и повела рукой, коснулась пальцами гипсовой головы старухи. А ведь верно, эта гипсовая старуха была в чем-то схожа, в чем-то главном, в резком этом очерке согбенной фигуры с той старой женщиной, которая лежала сейчас в могиле. Может быть, бездарный скульптор был не так уж бездарен?

— А ты, а тебя? — спросил Леонид. Он не договорил. Он не знал, вправе ли он расспрашивать ее теперь о чем бы то ни было.

— Ни царапины.

Лена ответила, но лицо ее еще больше замкнулось, преграждая путь дальнейшим расспросам. Она сама задала вопрос:

— Ты зачем здесь?

— Хотел найти могилу Марьям и Володи. Да вот заблудился.

— Пойдем, я покажу тебе их могилу.

Она протянула ему лейку, в которой еще было много воды, и они пошли рядом по вытоптанной широкой тропе между могилами. Лена не хотела идти впереди Леонида, она не хотела, чтобы он смотрел ей в спину, они шли рядом, дотрагиваясь друг до друга плечами,

и Леонид иногда поддерживал Лену под руку, забываясь на короткий миг и тотчас вспоминая обо всем. Так идти с ней рядом ему было мучительно трудно. И недолгий путь до могилы Марьям и Володи показался ему бесконечным. Но когда Лена остановилась и, указывая, протянула руку, Леонид горько пожалел, что этот путь кончился. Все кончилось. Все сейчас было в последний раз, и он знал об этом.

Он шагнул вперед и увидел фанерный щит, выкрашенный довольно умело под мрамор, увидел две фотографии под стеклом на этом щите. Он узнал фотографию Марьям. Это была фотография одной из ее удачных проб на роль Зульфии. Косицы были туго заплетены, так туго, что натянулась кожа на лбу и еще раскосее стали смеющиеся глаза. Совсем молоденькой выглядела Марьям на этой фотографии. И какой-то очень крепкой, уверенной в себе, в свою удачу, в бесконечность молодой своей жизни. А Володя на фотографии был несчастлив, понур, нахмурен. Эту фотографию Леонид тоже узнал. Володя снимался тогда с ним и с Гришей Руховичем. Помнится, они сидели тогда на скамейке во дворе студии и Клыч незаметно снял их. Клыч любил незаметно снимать своих друзей и потом дарить их фотографии с какой-нибудь многозначительной надписью. Мол, вот какой я зоркий оператор. Да, он был зорок. Он снял Володю Птицина таким как раз, каким Володя почти никогда не был на людях, он снял его самим собой — с его горестной заботой. Эта фотография, вырезанная из общего снимка и увеличенная, была тут к месту. Обе фотографии были тут к месту. А рядом, оказавшись рядом, они так много и сразу сказали Леониду, такую сразу открыли ему свою великую тайну, что он, знавший все про Марьям и Володю, только вот сейчас по-настоящему понял все про них. Про них, и про себя, и про Лену. И, не дико ли это, позавидовал участи Володи Птицина. Тотчас опомнился, конечно, но на миг позавидовал.

— Мне рассказывали, он погиб, спасая ее, — сказала Лена.

— Да. Как думаешь, что было бы, если бы он ее спас, если бы они уцелели? Как думаешь, она бы вернулась к нему?

— Нет, Леня, она бы не вернулась. Он потерял ее, он ее раньше потерял. И навсегда.

— Да, ты права.

— Надо полить цветы,— сказала Лена. Она протянула руку к лейке, но Леонид не отдал лейку, он сам стал поливать цветы, высаженные вокруг холмика, под которым лежали Марьям и Володя.

Лена встала рядом с ним, нагнулась, поправляя поникшие стебли.

— Что ты собираешься делать? — спросила она, не поворачивая головы.

— Не знаю.

— Уедешь отсюда?

Леонид не успел ответить. Жук-тепловозик вынырнул невдалеке из-за переезда и заглушил все прочие звуки своим пронзительным, непривычным гудком. Он отправлялся в дальний путь и оповещал об этом всех и вся.

— Вот, вырвался на волю, радуется, — сказал Леонид. — Будь счастлива, Лена.

Он поставил на землю лейку и пошел в сторону переезда, только теперь увидев то чахлое деревце, про которое толковал ему Денисов. Леонид уходил не оглядываясь. Услышала ли его Лена? Может, и не услышала. Уж очень громко кричал жук-тепловозик, гордясь дальней своей дорогой. Он и Леонида звал в дорогу и все сулил, надрываясь: «Бууудет... Бууу-дет... Бууудет...»

8

Денисова и Леонида вызвали в Москву. Наконец-то! Денисов извелся в Ашхабаде. Ему казалось, что за его спиной все только и делают, что говорят о нем. Он подозрительным стал, обидчивым. Но хуже всего, что он говорливым стал. Он готов был часами говорить — и все о том же, о том же. Он каждый шаг свой обговорил, каждый миг из той ночи. Не оправдывался ли он? Не выискивал ли оправдания своим поступкам? Нет, не перед собеседником, а перед самим собой? Пожалуй, что так, пожалуй, он только затем и начинал разговор, чтобы еще раз все припомнить и еще раз во всем найти самому себе оправдание. Слушавшие его соглашались с ним, а он сердился, ему казалось, что они ему не верят. Он и сам себе не верил. Вот беда, он сам в себе изверился. И слухи, слухи ползли по студии.

Говорили бог весть что. Денисов в себе изверился, и в нем изверились. И уж тут держись, человек! Всяк, кому не лень, всяк, кто обиду какую-нибудь таил, — все они в тебя кинут камнем. Говорили и о пропавшем портфеле ревизора Воробьева. Ведь верно, ведь видели же Денисова в ту ночь у гостиницы. Как, зачем он там оказался? А в портфеле, конечно, были документы, которые Денисову кололи глаза. Говорили и о пожаре на студии, совсем уж чудовищное возводя на Денисова подозрение. Мол, он и поджег. Ведь прибежал же он зачем-то на студию. Зачем? Ему Марьям надо было выручать, а он на студию побежал. Странно, темно, подозрительно. Пожар начался. с бухгалтерии. Ну ясно, это был поджог, кто-то заметал следы. Как кто? Денисов!

Но вот они в Москве. Леонид громадные возглагал надежды на этот их приезд в министерство. Все затяжки с запуском сценариев в производство, хоть одного сценария, должны отпасть. Студии нет? Павильон упал? Аппаратура побита? Не беда! У людей нет работы — вот беда! Люди, пережившие такое, должны работать. Не хроникой пробавляться и не концерт, не дай бог, снимать, а делать настоящую, серьезную работу. Тогда все и образуется, и страсти улягутся, и сгинут слухи, наветы.

Прямо с аэродрома они приехали в министерство, и Денисов сразу же был принят начальником главка. Леониду сказали, что с ним разговор будет потом. Странно... Впрочем, что ж тут странного, просто начальник главка поговорить с Денисовым хотел с глазу на глаз, расспросить его обо всем, что случилось. Это даже хорошо, что поговорят без помех, без свидетеля. Начальник главка был из хороших в министерстве людей, он был сердечным человеком, умным.

Леонид уселся на клеенчатый диван в коридоре и стал ждать Денисова. Долго ждал. И чем дольше ждал, тем большей проникался надеждой, что Денисов выйдет к нему победителем. Денисовым выйдет, тем, прежним, с летящей походкой, закинутой головой, смелыми глазами.

Дверь отворялась, затворялась, входили и выходили люди в комнатку, где сидела секретарша Кира, а Денисов все не появлялся.

Наконец появился. Понурый, и слезы стояли у не-

го в глазах. Леонид подскочил к нему, схватил за руки.

— Что?!

— Против меня начинается следствие, — сказал Денисов, шагнул к дивану, ткнулся в него, закрыл руками лицо.

Дверь в приемную была открыта, Леонид бросился к секретарше.

— Кира, прошу вас!

— Идите, идите, он там один.

Рывком Леонид распахнул дверь к начальнику. Он хорошо знал его, и начальник его хорошо знал, когда-то преподавал им во ВГИКе курс русской литературы.

— Ну, заступаться прибежал?

— Заступаться!

— Темная, темная история. Мы так решили, пусть это все будет расследовано должным образом. Да и болтал он мне тут не поймешь что. Надо разобраться.

— Студия нуждается не в следствиях, а в работе. Разбирайтесь, но нам нужна работа! Вся эта муть, все эти слухи, сплетни, доносы — все это потому, что у людей нет работы.

— Какая работа? Студии-то нет. Года два-три уйдет на ее восстановление. Да и сценарии ваши, дорогой товарищ начальник сценарного отдела, не те, не те что-то. Устарели они еще до запуска. Нам нужны сейчас историко-патриотические ленты, масштабные. Ну, биография какого-нибудь выдающегося туркменского поэта подошла бы. Есть у них такой?

— Есть. Махтумкули.

— Вот и делайте о нем сценарий, заказывайте. Или роман какой-нибудь экранизируйте историко-революционный. Есть у вас там такой роман?

— Есть, есть... Товарищ начальник главка, прошу вас освободить меня от работы на студии.

— Что, что? Увольняетесь? Но ведь у меня, голубчик, для вас другой работы нет. Сами знаете, какое у нас теперь положение.

— Знаю. Не нужна мне другая работа.

— Решили уволиться из кино? Совсем?

— Да.

— А не пожалеете?

— Не думаю... — Леонид поклонился и вышел, тихо притворив за собой мягко податливую дверь.

— Кира, — сказал он. — Заготовьте, пожалуйста, приказ о моем увольнении из кино...

Нет, не мог он и в такую минуту обойтись без хлесткой фразы. Ничего, жизнь дообучит его простоте.

ЭПИЛОГ
(О ДЕНИСОВЕ)

Денисов еще с год проработал на студии. Какие-то финансовые нарушения были найдены у него, не столь уж большие, но в малости усматривалось нечто громадное, нечто преступное, ибо изверились в самом человеке.

А Денисов не защищался. Он не только не защищался, он усугублял свои грехи в глазах ревизоров, ведя жизнь безалаберную, жизнь опускающегося человека.

Наконец его уволили. Перебиваясь всякой случайной работой, но живя все там же, в Ашхабаде, Денисов стремительно как-то стал сдавать, физически сдавать. Вскоре он слег в больницу, и у него обнаружили рак. Он мучился, к счастью, недолго. Казалось, этот сильный человек, рухнув, сам себя приговорил к смерти. Те, кто близко знали Денисова, не могли отрешиться от этой догадки.



ЧТО ЗА СТЕНАМИ?

ПОВЕСТЬ

1

Много лет не бывал он на этой улице... Москвич-то ты москвич, но живешь ведь не на одном всю жизнь месте. И тот мир, дома и улицы те, что некогда были твоими, ныне вот так же далеки, как иной далекий город. А всего-то до этого покинутого места три-четыре остановки на троллейбусе. Но чужим оно стало, отдаленным, забывшимся.

И вдруг забрел в былое. И сразу столько всего вспомнилось, что оторопь взяла. Ты жил здесь, ведь ты жил здесь!

День выдался осенний, грозящий дождем, и такой еще он был, будто что-то напоминал, что-то сокрытое в сереньком туманце. Что-то далекое, давнишнее?

Хорошо, что он забрел сюда не думая, не гадая. Он немалое значение придавал случайным встречам, веря в их назначенность. В старину бы, пожалуй, он мог сказать о себе, что верит в судьбу. Ныне, в усмешливый наш век, в судьбу кто же верит? Все учтено ныне, запрограммировано, всему найдено объяснение. Самая малость тайн лишь осталась людям. Тайна смерти, скажем, или тайна подвига, тайна любви и тайна туманного этого слова — счастье. Впрочем, довольно шу-

тить — события начались, они уже начались, едва он случайно ступил на улицу былых своих дней.

Тогда, в давнюю ту пору, он жил в домике, который не выходил окнами на улицу, а прятался в глубине двора, за широкой спиной барского особняка. Домик тот когда-то был выстроен для служебных нужд. Возможно, в нем прислуга жила, а может быть, и вовсе была конюшня. Но потом дом много раз менял свой облик: окна в нем одни замуровывались, а другие пробивались, высокая крыша просела, и ее заменили другой, почти плоской, — и стал он тем самым дворовым флигелем в четыре оконца, робко притулившимся к брандмауэру, с палисадничком, со скамеечкой у крыльца, с навесом и нежданно нарядной дверью от барской поры, в которую и постучал он однажды, узнав от знакомых, что здесь, кажется, сдается комната.

Ему отворила женщина лет тридцати пяти, в бедном домашнем платье, в котором тесно жилось ее располневшему телу. На ногах у женщины были разбитые мужские полуботинки. А чулки были грубые, как у школьницы. Но синие неотцветшие глаза были хороши, не угнетены этими ботинками и чулками, они добро светились, не были насторожены без нужды. Они откровенно и просто поглядели на него: «Пришел человек... Здравствуй, человек. Что скажешь?..»

— У вас, кажется, сдается комната? — спросил он, всерьез испугавшись, что она ответит отказом. — Я тихий, — сказал он, твердо решив, что этой женщине важнее всего, чтобы жилец был тихим. — Не курю. И вообще...

Синие глаза смотрели на него просто, с доверием, но в них уже засветился огонечек то ли насмешки над ним, то ли сочувствия. Он окончательно сбился под этим взглядом.

— Впрочем, если я не подхожу...

— Заходите, — сказала она и потеснилась, давая ему пройти. — Комнату я действительно надумала сдавать. Деньги нужны. Гляньте, подойдет ли. Это хорошо, когда человек тихий. Только вы не тихий. Это хорошо, что вы не курите. Но ведь пьете, правда же? Комнату я сдаю маленькую. У меня вся квартира маленькая. Муж городил, городил. Три комнаты — и все ненастоящие. Вот, глядите.

Узким, темным коридором она подвела его к двери

и распахнула перед ним эту дверь, за которой отныне предстояло ему жить. Хороша ли комната, нет ли — все равно жить, потому что он твердо решил снять эту комнату, как бы мала она ни была, сколько бы ни запросили с него денег, хотя денег у него и у самого было в обрез. Он это решил, когда шел за хозяйкой по коридору. И еще раньше, когда только она поглядела на него своими бесхитростными глазами. А может, еще раньше, когда лишь увидел этот флигелек с палисадничком в самом центре громадного города. Нет, конечно, он не был сам по себе тихим, он еще слишком молод был, чтобы стать тихим. Но он очень устал, он жаждал тишины, а домик этот, а женщина эта были как раз сродни тишине. Так ему показалось, по крайней мере. А что покажется, то и наше, тем и живем, пока наново что-то не покажется, чтобы этим пожить. И так всю жизнь.

Комната действительно оказалось маленькой, да еще с двустворчатой дверью в соседнюю комнату. И мебелью была заставлена сверх всякой меры и надобности. Даже пианино тут было.

— Я не играю, — сказал он.

— И я не играю, — улыбнулась она. — Муж для дочки купил. Но это пианино надо целую вечность ремонтировать, чтобы оно ожило. Где уж теперь...

Все же в комнате помещалась тахта и крошечный круглый стол — это то, что было необходимо. А кресло-качалка, конечно, было не нужно, как и пианино, как и двустворчатая дверь, как и круглый вращающийся стул и какая-то на могучей чугунной ноге подставка, неведомо для каких нужд выдуманная лет с сотню назад. Может, для корзин с цветами?

— Эту мебель мне некуда убрать и некому продать, не купят, — сказала она. — А выбросить мужества не хватает. Уживетесь со всем этим?

— Уживусь, — сказал он.

Комнату надо было снять во что бы то ни стало. Да и неверно это, что кресло-качалка не нужно для жизни. Сиди в нем да раскачивайся — разве плохо? И подставка сгодится: навалит на нее книги, журналы. А пианино, случись лишние деньги, можно будет отремонтировать. Мало ли у него приятелей, которые с детства обучены бренчать на рояле.

— Теперь о цене, — сказала она. — Я дешево сда-

вать не могу. Сдают, когда деньги нужны. Только для этого и сдают. Но и обдирать вас мне не хочется. Как же мы поступим? Какую положим цену?

— А я уже эту цену знаю, — сказал он. — Я в третий раз из комнаты в комнату перебираюсь, хоть и москвич, коренной, урожденный. Так случилось. Война... Землетрясение... Но об этом я вам потом расскажу. Четырехсот рублей вам довольно будет? Столько я плачу одному профессору. Его за что-то там уволили, и он стал сдавать комнату. А теперь его опять приняли на работу, ну и нужда во мне отпала. Забавно, сейчас я живу на седьмом этаже, теперь буду жить на первом. Жил у Зубовской, теперь буду у Никитских. А все же когда нет собственного жилья, в этом есть что-то и хорошее. Хоть город свой родной узнаешь по-настоящему.

— Четыреста? Это очень много для такой комнатки, — сказала она и задумалась. — Нет, это очень много. Мне неловко будет с вас эти деньги брать. Знаете, давайте уговоримся на трехстах. Согласны?

— Ну что ж... — сказал он.

Так он и поселился в этом домике за спиной бывшего барского особняка, вот на этой нарядной и тихоторжественной улице, по которой сейчас шел.

...Здесь много было перемен, но перемен к лучшему. Улица и раньше была из добротных, да только очень запущена. А теперь все тут старенькие дома исчезли с лица земли и на их место встали дома-великаны из белого кирпича, с широкими лоджиями, за стеклами которых диковинные зеленели деревца. Красивые были дома, нарядные, величественные Да и все особняки здесь стали как новенькие, их отремонтировали, и явно не скупясь, поскольку каждый из них представлял ныне какую-нибудь страну, стал посольством или торгпредством, а во имя государственного престижа денег жалеть не приходится.

Вот и особняк показался, за которым прячется заветный тот домик былых его дней. Особняк тоже стал будто новеньким. И медная доска на дверях. Посольство, стало быть, теперь здесь. Раньше в этом особняке коммунальные были квартиры, был он хмур и запущен. Теперь —сверкает. Но раньше в нем жизнь бурлила, а теперь вроде спит все внутри. Спит да позевывает.

Через ворота соседнего дома он вошел во двор, обширный и заставленный всяческими домишками об один, полтора, ну два этажа. А вот эти домишки так, кажется, и не ремонтировались с той давней поры, когда он здесь жил. Дряхлые старички, чего их ремонтировать. На иных окнах и занавесок не видно, никто там уже не живет, за иными из окон. Кто помер из тамошних жильцов, кто съехал, получив новую квартиру, — нынче вся страна переезжает, обзаводится новыми стенами.

Он вдруг испугался за свой домик — там, в углу, у кирпичного брандмауэра. Стоит ли? Не опустел ли? Он еще не виден ему был. Вот обогнет сейчас этот о двух этажах, тогда и увидит свой дом. Он заспешил, даже споткнулся на ровном асфальте — так заторопился. С чего бы это? Годы и годы не заглядывал сюда и вот чуть не бегом припустил... Пойми тебя, человек!

Кончилась стена двухэтажного, он шагнул торопливо за угол. Да, спешить было надо. Дом, его дом, сносили. Как-то буднично при этом, медленно, но деловито. Стены оказались метровые, кирпич сплавился, не нынешний то был кирпич, его просто так, с наскока порушить не удалось. Да тут никто и не спешил. И технику сюда никакую не пригнали. Дом-то был крошечный. И его убивали вручную, по старинке, долбя ломами, бия кувалдами. Двое пожилых рабочих и две девицы были отряжены для этого дела. Наверное, разнарядили им всю эту операцию на целую смену, а то и на две, учитывая старорежимность кирпича.

Да, не зря свернул ты нынче на эту улицу без всякой надобности, свернул — и все тут. Предчувствие? Голос неведомый поманил? Некие волны, еще не открытые физиками, которые посылают людям сигнал, отчетливый порой настолько, что замирает сердце? Какой смысл разбираться, что да почему привело его сюда. Важно, что пришел, что поспел, что глядит на этот дом с рухнувшей уже одной стеной, глядит, заглядывает в обитель ту, где некогда жил — молодо, голодно, непросто, где крепко ему досталось, где задумывался, задумывался о многом, где многое решилось.

И все же опоздал ты, опоздал. Твоих друзей, что жили тут, их нет, как нет и людей, которые могли бы тебе рассказать о Клавдии Павловне, ее дочке и их друге Сергее Сергеевиче,— рассказать о чем-то таком,

чего ты не знал, что было после тебя, — людей этих ищи нынче где-нибудь в Медведкове или Текстильщиках. Опоздал.

Он подошел к своему дому, прислонился к оплывшим кирпичам брандмауэра, которому тоже оставалось жить не долее дня или двух, так как расчищалась площадка для явно большого строительства, и стал смотреть.

Странное, совсем необычное это было зрелище, хотя много раз ему доводилось смотреть, как сносят дома. Но то чьи-то там были дома, а не тот, где некогда жил. И душа рванулась изо всех сил в былое. Спотыкаясь, путаясь, рванулась душа в этот домик, за эти стены. Ожило забытое, голоса зазвучали.

А дом стоял, как на сцене, со снятой передней стенкой. Смотри!

В нем ничего не переделывали с той поры. Он забыл, какие прежде были обои. В таких домах обои не бывают приметными: клеят первые, какие попадаются, не очень броские и уж наверняка не дорогие. Кажется, серенькие были, с блеклыми розовыми цветочками? Он помнил иное: он помнил, вспомнил, как писал под отошедшим куском обоев у изголовья тахты, записывая пришедшую ночью мысль. Он тогда пытался повесть писать, мучился над сюжетом. Никаким он не был писателем, он вообще был никем тогда. Он был молодым человеком, потерпевшим кораблекрушение, нет, землетрясение. Но он вот пытался писать. Что ж, никому это не заказано. Бейся головой об стенку или пиши повесть — все едино, никому это не заказано.

Ночью приходили удивительно удачные решения. Они почти во сне нарождались. Он вскакивал и записывал. Утром, прочитав записанное, он отвергал эти решения, они не годились. Утро вечера, если не всегда мудренее, то всегда трезвее. Ночью он бывал слишком дерзок, он забывался, он терял нить повествования, стремительно уносясь куда-то. Так несется мысль во сне, но не наяву. Утром же наступала явь.

И все-таки он дорожил этими ночными каракулями, хотя они были, как камушки морские: высохнут — и исчез рисунок. Но был, был рисунок. И волнение было. И все удачно так выходило, талантливо, необычно. Но утро — оно подсушивало ночные узоры, исчезал рисунок.

Самое время было войти в дом и поискать, а не целы ли те старые обои, на которых он записывал свои полусны.

Он подошел к дому, ступил на его порожек, еще не вывернутый ломом.

— Я тут жил когда-то, — сказал он оглянувшимся на него пожилым рабочим.

А две девушки уже давно смотрели на него. Едва он только появился, они бросили работу и стали смотреть на него, тихонько переговариваясь, и уже давно прыскали со смеху, найдя в нем что-то смешное.

— Я тут жил когда-то, — сказал он и девушкам. Они стояли у него на пути. — Можно, я только гляну под эти обои?

— У вас клад тут спрятан? — спросила одна. — Чур я в доле!

Он вошел в свою комнату. Он вошел не через дверь, а прямо шагнул через закрай уже разобранной стены. К счастью, та стена, у которой стояла тахта, еще была цела. Он наклонился, сразу вспомнил нужное место, но обои не отошли от стены, как отходили прежде.

— Дайте мне скребок или просто железину,— попросил он.

Девушка, пожелавшая войти к нему в долю, с готовностью протянула какой-то скребок. И замерла, ожидая, что будет. Она и впрямь поверила, что этот человек явился сюда за кладом. А что, разве редки случаи, когда строители находят в сносимых домах клады? Особенно в таких совсем будто никудышных домишках. Может, тут раньше поп жил или купец.

Теперь уже все рабочие, вся четверка, заинтересовались тем, что он делал. А он отдирал слой за слоем обои — много их тут накопилось, этих слоев,— искал, искал свои ночные каракули. И не находил. Выцвели, должно быть, или размыл их клейстер. Вдруг проглянуло какое-то слово. Буквы растекались и стали непомерно велики, зыбки. Он все же разобрал это слово. «Если...» — вот что это было за слово. Только и всего: «если...» Только это «если...» и отыскалось. Что он тогда записывал, какие были слова до и после — разве вспомнишь? Он осторожно вырезал скребком лоскут обоев с этим словом единственным, зачем-то оно ему понадобилось. Как зачем? На память. Об этом доме на память. Завтра этого дома уже не станет.

Огорченный, с клочком обоев, зажатым в пальцах, он уселся на колченогий табурет. Этот табурет, кажется, стоял прежде в кухне. И вся мебель от той поры. Но глаза видели ее всю и на своих местах. Пианино у двери, качалку всегда на проходе, столик об одну ногу. Он понуро сидел на табурете, не замечая, что его разглядывают, и смотрел, приглядывался, видя вовсе не то, что должны были бы увидеть глаза, а лишь то, что они могли вспомнить, и слыша, все отчетливее слыша в самом себе голоса из былого.

— Что, не нашелся ваш клад? — спросила девушка голосом, который еще не решил, сочувствием ли зазвучать или насмешкой. Победила насмешка: — Вы что же, так и будете сидеть? Нам работать надо.

Он подхватился и встал. И заспешил из этого дома. Но теперь он пошел привычной дорогой, как раньше ходил. Он вошел в коридор, потоптался в нем, заглянул в соседнюю комнату, благо дверь была распахнута, заглянул и на кухню, куда тоже дверь была распахнута, висела на одной петле, и вышел, ступив на порог, чтобы коснуться живого дерева, как делал это всегда и прежде.

Он молчал, но про себя все время повторял: «Прощайте... прощайте... прощайте...» Но это могло быть и «здравствуйте... здравствуйте... здравствуйте...»

Он уходил от дома, не позволяя себе оглянуться. И не позволял себе смотреть по сторонам. Так было легче вспоминать, явственнее делались далекие голоса, оживали в памяти лица людей, некогда таких близких, а ныне забывшихся. Как все же длинна жизнь. Но нет, не все можно забыть и должно забыть...

2

Он тогда переехал к Клавдии Павловне в тот же день. Он спешил, ему осточертел его профессор, который, оказавшись без работы, переключился на чтение сорокапятиминутных лекций, не выходя из дома, хотя слушатель у него был теперь один-единственный: его жилец. Профессор этот попал в космополиты, но по недоразумению. И это-то он и вколачивал в сознание своего жильца, по привычке всякий разговор растягивая на сорок пять минут, на разлюбезный его сердцу академический час. Ну, а когда профессора вернули к

полезной деятельности, он и тогда не прекратил своих домашних лекций. Но если, уволенный, он осуждал, то, принятый вновь, стал восхвалять. От профессора просто тошнило.

Лишь переехав, уже после того, как разложил свои нехитрые пожитки, он пошел представляться хозяйке. Надо было назвать себя, рассказать о себе, уведомить, что он хоть и снимает комнату то тут, то там, но имеет постоянную московскую прописку, как и подобает настоящему москвичу. Прописан он был у своего дяди, но жить у дяди, как когда-то жил, хоть и наездами, временно, теперь не мог. Но об этом потом.

Итак, он постучал в белую, из двух створок дверь— слишком высокую, слишком парадную для этой квартирки — и вошел на половину хозяйки, дабы представиться ей по всем правилам. Они были знакомы какие-то всего часы, а ему, когда он вошел, показалось, что они знакомы давным-давно. Комната Клавдии Павловны, вся эта бедная сборная обстановка, и сама она, занятая каким-то шитьем, вот эта швейная машина на столе — ну все, до мелочей самых, было знакомо ему, он и сам возрос в доме с такой же, какая придется, мебелью, с неизменной машиной на обеденном столе, с неизменным шитьем в руках матери, с вечными проблемами, будто навсегда вставшими по углам,— где взять, как прожить, как дотянуть до новых денег?

С Клавдией Павловной невозможно было хитрить, корчить из себя кого-то там, кем ты на самом-то деле не был. С ней уж если затевать разговор, то говорить надо было просто и откровенно. Вот такая она была женщина, сразу показалась такой, и это первое впечатление не обмануло. Всего лет на шесть, на семь старше его, она показалась ему намного старше, нет, не обликом своим — лицо у нее было молодое,— а тем старшинством, какое ощущается порой в женщине, старшинством не прожитого ею, а пережитого.

Но и он тоже не порхал по жизни. Ему почему-то очень важно было, чтобы она узнала, как солоно ему досталось. Сразу же, с первых же слов, он начал выкладывать ей о себе. Про то, как воевал, что нет, героем не был, но и ему досталось. И про то, как после войны был направлен в Ашхабад на киностудию, в сценарный отдел, так как по профессии он сценарист, кончил ВГИК. И про то, как рухнул недавно этот Ашха-

бад, да, да, рухнул весь, без остатка, это уж точно, это уж святая правда — он сам там был, сам все видел. И про то, как он ушел из кино после этого сокрушительного ашхабадского землетрясения, которое на многое, на очень, очень многое открыло ему глаза. Но об этом потом. Он так и сказал:

— Об этом потом.

И верно, разве за один разговор все расскажешь?

Она слушала, продолжая шить, кивала его словам, участливая, внимательная, и все понимала, ничему особенно не изумлялась. Даже ашхабадскому землетрясению она не очень изумилась, хотя почти ничего о нем не слышала, тогда о нем не писали. У нее муж недавно умер. От инфаркта. И ее мать умерла, и вскоре затем очень тяжело заболела девочка. Да и сейчас все еще никак не оправится. И деньги добывать страшно трудно. Она многие годы прожила за мужниной спиной, ничего как следует не научилась делать, разве что хорошей была хозяйкой, хорошей матерью. Но этого мало, чтобы жить теперь одной, чтобы воспитывать дочь, чтобы дать ей, как мечтал муж, настоящее образование. Она не жаловалась, эта женщина не жаловалась, она рассказывала о своих бедах спокойно. Но и чужим бедам не особенно изумлялась, потому и не охала и не ахала, когда слушала о землетрясении. У нее оно собственное было, это землетрясение.

И только уж под самый конец их первого разговора вспомнил он, что пришел к своей квартирной хозяйке представиться, пришел паспорт ей отдать, и, спохватившись, назвал себя:

— Леонид Викторович, ну, просто Леонид, Леня.

А она назвала себя:

— Клавдия Павловна.

Они уже многое знали друг о друге, о многом догадались друг про друга, а только теперь назвали свои имена.

Спустя какое-то время вернулась дочь из школы. Это была худенькая, болезненная девочка с глазами, как у мамы, синими и громадными. Но мамины глаза многое уже знали, часто темнела в них синева, а то и тускнела, а у Машеньки глаза лучились и лучились, побеждая болезненную бледность ее личика, делая его красивым.

Спустя еще какое-то время, уже вечером, постучал

в дверь их друг Сергей Сергеевич. Этот человек был примечательной внешности уже хотя бы потому, что он совершенно о своей внешности не заботился. Неведомо во что он был одет, старорежимное какое-то пальтецо, будто раздобытое из реквизита. Крылатка не крылатка, бекеша не бекеша. Словом, верхняя одежда. Он скинул эту верхнюю одежду и оказался в кургузом пиджачишке довоенных времен и той же поры широченных брюках. А на ногах бутсы. Смешно? На первый взгляд, конечно, он был смешон. Но первый взгляд короток. Он заговорил, протянул Леониду широкую, крепчайшую ладонь, приветливо улыбнулся ему, пожимая руку, прямо, не отводя глаз, посмотрел на Леонида, и как-то вдруг весь его забавный облик поистаял, а вместо смешно одетого чудака увиделся прочный, и умный, и бывалый человек, просто-напросто нынче оказавшийся без средств, чтобы обзавестись более привлекательной одеждой. А может, этому человеку и безразлично было, во что он одет? Ходок. Была бы прочная обувь на ногах. А наверное, и действительно немало поколесил он по миру. Лицо у него было обветрено, как у путешественника или альпиниста. И все морщины на лице его, а их было множество, хотя был он не так уж и стар, под пятьдесят ему было, все морщины уложились как раз так именно, как у путника, часто шедшего против ветра, часто щурившегося от бьющего в лицо солнца.

Про себя он ничего рассказывать не стал. И выспрашивать Леонида ни о чем не стал. Он помалкивал. Он был занят тем, что то на мать поглядит, улыбнувшись морщинками, то на дочь поглядит, морщинками же улыбнувшись. Клавдии Павловне одна улыбка, Машеньке — другая. Женщине он улыбался робко и верноподданно, девочке — дружески, ласково.

Из карманов своего пиджачка и широчайших брюк, очень неловко орудуя большими руками, красноватыми, будто навсегда замерзшими, Сергей Сергеевич начал извлекать и выкладывать на стол какие-то сверточки, кулечки. Он был смущен, движения его были скованны, кулечки свои он складывал на самом краешке стола. В них оказывались, когда он разворачивал бумагу, то бутерброд с семгой, то бутерброд с сыром, то еще с чем-то. Этих бутербродов набралось порядочно.

Клавдия Павловна морщась и даже как-то осуждающе следила за суетливыми движениями своего друга, а Машенька чистосердечно радовалась бутербродам. Зная, что найдет в ней союзницу, Сергей Сергеевич ей и пододвинул свое угощение.

— Эх, чайку бы сейчас,— сказал он.— Намерзся. Ветер сегодня на ипподроме ну просто шквальный.

— Выиграли? — сухо спросила Клавдия Павловна.

— Самую малость.— Сергей Сергеевич от смущения уронил один из своих сверточков на пол, наклонился и покачнул стол.— На фавóритов ставил — какой уж там выигрыш.

— Уж лучше бы вы проигрались,— сказала Клавдия Павловна, и глаза у нее потемнели, а губы жестко распрямились.— Совсем бы проигрались. До последней до копеечки.

— Я так не могу,— кротко улыбнулся Сергей Сергеевич.— Я лошадок слишком хорошо знаю. Какая-нибудь да выручит.

— Но там же у вас все обман, обман, обман! — Клавдия Павловна не возвысила голос, а показалось, что она кричит.

— Верно, много махинаций, это верно. Но я на махинации не иду, Клавдия Павловна, я от лошадок имею. Это — спорт. Сперва спорт и уж потом тотализатор.

— Боже мой, и это называется спортом!

— Кому что, Клавдия Павловна. Шахматисты тоже получают свои призы. Вот и я решаю шахматные задачи. Тут и лошадь, ее родословная, и сама она, какая она нынче, и даже сию минуту какая. Тут и наездник с его психологией, а уж в этой психологии чего только нет. Вот и решаешь, прикидываешь.

Сергей Сергеевич отвечал Клавдии Павловне, не споря с ней, а просто так, для застольной беседы, уж коль она коснулась его лошадок. Какой уж тут спор! Он, этот спор, давно перестал быть спором для них. Она при своем оставалась мнении, а он —при своем. Возможно, что он отвечал ей нынче так обстоятельно еще и потому, что за столом присутствовал посторонний человек. Для него и весь разговор, возможно, затеялся. Его вводили, так сказать, в курс жизни этой осиротевшей семьи, которую вот подкармливал бутербродиками с выигрыша на бегах странного обличья

Сергей Сергеевич. Так вот почему у него такое обветренное лицо. Нет, он не путешественник, не альпинист и не любитель загородных прогулок. Он — тотошник, игрок на бегах, из тех, что ставят на фаворитов, чтобы хоть малость какую-нибудь да выиграть, из тех, что живут с этого. Выиграл десяточку — и в буфет. Пятерку проел, а пятерку опять в игру. И так день за днем. Дождь ли, ветер ли, а они там — у барьера, у круга, по которому мчатся, выкладываясь, надрываясь, честные лошади, управляемые часто нечестными людьми. Леонид бывал на бегах, видел тамошних завсегдатаев, дивился их сосредоточенным лицам, затаенной страстности в их глазах, причудливым прыжкам их удач и поражений. Выходит, этот Сергей Сергеевич из племени прикованных к лошадям? Занятное знакомство.

А на столе уже появился чайник, за которым сбегал на кухню Сергей Сергеевич, и Клавдия Павловна принялась разливать чай. И Леониду вместе с чашкой чая был пододвинут один из принесенных тотошником бутербродов.

— Отведайте, не побрезгуйте,— сказал ему Сергей Сергеевич, и все морщинки на его обветренном лице путешественника улыбнулись Леониду.

3

Покинув двор, где погибал домик Клавдии Павловны, на память о котором уносил он всего лишь клочок обоев, Леонид Викторович по своим нынешним делам никуда спешить не стал. Он преданно оставался в той поре, в тех делах, которые добывала ему сейчас память. И вспоминалось многое так отчетливо, что и тех дней настроение вспомнилось, и какие-то очень молодые решения, молодые поступки тоже вспоминались, заставив нынешнего Леонида Викторовича изумляться себе самому, себе тогдашнему.

Улица, завернув, вытекала на бульвар, а там увиделось летнее кафе, еще открытое, хотя уже и настала осень. Леонид Викторович зашел в это кафе. Он не собирался сегодня пить, он вообще пил теперь редко, а уж один и подавно не пил. Но он попросил себе сто граммов коньяку, чашку кофе. Ему и есть не хотелось, но он взял несколько сохлых бутербродов. Со всем этим он уселся в углу кафе, пребывая вовсе не в

нынешнем дне — какое там! — а в днях минувших, на два с лишним десятилетия поманивших назад. Там эти бутерброды были не часты, и как же часто хотелось есть. Он сидел в углу, не притрагиваясь к коньяку, не притрагиваясь к еде, сидел, прислушивался. Не к нынешним звукам, а к тем, тогдашним. И за стекла он так пристально смотрел, следя за падающими листьями, потому что и листья эти казались тогдашними.

Он тогда писал повесть, да, он ушел из кино и решил стать писателем. Прекрасное решение. Тем более, что в кино и делать было нечего в те времена. Даже прославленные мастера годами пребывали в простое. Он решил стать писателем. Впрочем, выбора не было. Если не жалкое ничегонеделание на какой-либо студии, право пребывать на которой давал ему диплом, а он от этого права отказался, то выбор иных возможностей был очень невелик. Работать в газете? В штат его не брали. Там были свои парни с дипломами, ждавшие очереди на штатное место. Уехать? Но он только вернулся. Перед глазами все еще лежал в руинах знойный город, где рухнули не только дома, а рухнула и вся его прожитая жизнь. А надо было писать, прозу писать, давно надо было заняться делом, к которому он себя уготавливал. Может, и зря выбрал он этот путь? Может, ничего и не выйдет? Но надо было попробовать.

Денег не было. Он перебивался статейками к праздничным датам, писал, о чем закажут, печатаясь в ведомственных газетах, где отделы литературы были в пренебрежении, серьезные авторы туда не шли. Изредка приходили переводы от родителей. Они все еще жили на Урале, куда занесла их эвакуация. Стыдно было получать эти переводы, но денег своих, заработанных, всегда не хватало, а повесть писалась очень медленно. Вот так он и жил.

И тогда была осень, как и сейчас. Впрочем, тогда-то она и была, эта осень,— с дождями, со слякотью, с промокшими ботинками. Он эту осень ощущал как живое и люто враждебное ему существо. А сейчас, только вспомнив былое, он вспомнил об осени. Сейчас будь то осень или самая суровая зима, они не несли ему страдания. Он не промокал, не холодал, он почти не соприкасался с суровыми этими временами года, защищенный от них добротной одеждой, добротным жиль-

ем. Порой, если много приходилось работать, он даже не замечал, что за время года на дворе. Непременно проскакивала мимо глаз осень, зима, не раня, не пугая, проходила и уходила и казалась короткой, а не бесконечно длинной. Но если надо было ему описывать осень, он писал ее не теперешнюю, а тогдашнюю, по воспоминаниям писал. В том и дело, что трудное запоминается, а легкое ускользает из памяти. Пожалуй, трудное и лепит человека.

Помнится, он скоро заскучал за столом у Клавдии Павловны. Он тогда мигом во всем там разобрался, все расставил по своим местам. Ну, любит этот чудак Клавдию Павловну, ну, а она его только терпит, не может забыть мужа. Вот и вся история. Знавал он истории позанятнее, похитрее. Еще недавно сотрясали его такие события, столько всяких клубков пришлось распутывать, что эти двое, бедная их, тихая жизнь уж никак не могли удивить его чем-либо.

Попили они чаю, и он пошел к себе, в свою комнату, достал из чемодана рукопись и положил ее на круглый столик, рядом положил стопку чистой бумаги, несколько хорошо отточенных карандашей, лезвие от безопасной бритвы, чтобы эти карандаши точить. И все, можно было садиться и начинать работу. Но не в первый же вечер усаживать себя за стол. Он присел на тахту, огляделся. В маленькой комнате было два окна и две большие двери, одна из которых была двустворчатой. Да, многовато тут было выходов в мир. И всякий звук из соседней комнаты доносился к нему. И двор был слышен. Там сейчас шел дождь, и было слышно, как в палисаднике ударялись капли о лужу под окном и всплескивали, отскакивая и дробясь. И вдруг так тоскливо стало, неприютно, одиноко...

Леонид Викторович зябко ужал голову, как тогда, как в той комнате. Все вспомнилось, даже тогдашняя неприютность.

А за стеной, за двустворчатой дверью звучали голоса. Говорившие всячески старались сделать их неслышными, но и шепот был слышен Леониду. Слушай не слушай, а что-то да услышишь. И даже не в словах было дело, а в самом звуке этих слов, в натянутой в них ноте. Сергей Сергеевич любил, голос у него был такой, ответы Клавдии Павловны старались только не обидеть. И это тянулось, тянулось. Под эти голоса

Леонид и уснул. И сразу же настиг его неотступный сон — Ашхабад снился.

События те были такими недавними, что еще были жизнью его и, как все, что есть жизнь, повседневность, худо осознавались. Ну, землетрясение, ну, тысячи людей погибли, ну, собственная твоя жизнь потекла по другому руслу, ну и что тут такого, в конце концов? Бывали времена и похуже, с еще большим запасом рока, война была. Так думалось, так рассуждалось наяву, в реальной суете жизни. Но ночью, но во сне, а еще верней в полудреме, когда и спишь и не спишь, когда будто сам на себя поглядываешь со стороны — бодрствующий на сонного, сонный на бодрствующего,— вот тогда Ашхабад, его многоликое лицо вставало перед глазами. И устрашающе падало сердце, и вдруг понималось все: вся утрата, вся невозвратность. Полудрему сменяли сны. Их было немного. В счастливые ночи снились всякие там кошмары, погони — словом, чепуха, от которой легко можно было отделаться, проснувшись на один всего миг. Проснулся, отмахнулся и валяй спи дальше, в новый забредая сон. Но от ашхабадских снов пробуждение не избавляло. И лучше было не просыпаться, не проваливаться в безысходность осмысления только что увиденного. Виделось же немногое и почти одно и то же. Руины, руины, кладбищенские новенькие надгробья, бесконечные ряды этих надгробий — все чаще гипсовые старухи с рогом изобилия в руках. И виделась тишина, оглохшая тишина, над которой клубилась пыль. Закричать бы, спугнуть бы эти крылья, нависшие над тобой. Не вскрикивалось. И невмоготу становилось удушье. Вот и весь сон, что один, что другой. Ашхабад не отпускал. И хоть бы разочек приснился старый город, тот, что был до землетрясения. Счастье не снится, по-видимому. А если и снится, то только в такую пору, когда ты не понимаешь, что снится тебе счастье...

Надо было все же выпить заказанный коньяк. И пожевать какой-нибудь из этих бутербродов. Хотя бы из уважения к прошлому выпить и пожевать. Леонид Викторович выпил и пожевал. Коньяк был препротивный, но от него стало теплей. Нет, осень за стеклом была не тогдашняя, а нынешняя. Она не пугала бесконечностью дождливых дней, предвестием зимнего холода. Другие теперь у него были проблемы, другие заботы, не такие простые и насущные, как раньше, когда, кажется, боль-

ше всего заботили худые ботинки, которые начинали хлюпать, едва он ступал на мокрый асфальт. Новые купить было не на что. Последние три сотни он отдал Клавдии Павловне, заложив их в странички паспорта. Нельзя же было поселяться, ничего не заплатив. Похоже, ей эти три сотни были не менее нужны, чем ему.

Он проснулся тогда с мыслями о дожде, не прошел ли. Дождь все всплескивал. Он оделся и пошел умываться, раздумывая, где бы перехватить денег. Легче всего было бы попросить их взаймы у дяди. Но как раз это и труднее всего было. Дядя деньги бы дал. Только он бы дал их с разговорами. Он осуждал племянника, что тот бросил работу и — смотрите, какой герой! — вообще распрощался с кино. А диплом? Зачем же тогда было учиться во ВГИКе? Ах, он собирается стать писателем? Но, друг мой, это же несерьезно. Повесть... Писательство... Это, кажется, не так просто, а?.. Нет, за деньгами к дяде идти было немыслимо.

В узкой, как коридор, ванной он столкнулся с Сергеем Сергеевичем. Без пиджачка тот был куда представительней. У него были широкие, угловатые плечи, прочные, не обмякшие.

— Как на новом месте спалось? Надеюсь, недурно? — Сергей Сергеевич по-вчерашнему был приветлив, щедро улыбался морщинками.— Чайник у меня уже кипит. Милое дело — крепкий чай утречком. Согласны?

— Да у меня ни заварки, ни сахару. Надо еще обзаводиться.

— У вас нет, у меня есть. А там, глядишь, наши роли поменяются. Свои люди, сочтемся.

Чай они пили вместе. Девочка ушла в школу, а Клавдия Павловна отлучилась по каким-то делам. Чай пили на кухне, тоже узкой, как коридор. Здесь все было узким, выгороженным. А потолки высокие.

«Мне там жилось узко и высоко»,— подумал Леонид Викторович, профессионально тут же отметив, что подумалось как написалось. Он давно привык к своим размышлениям фразами, которые он тут же и редактировал, если эти фразы-мысли не удавались. Тренаж, тренаж, у каждой профессии свой тренаж. Он замечал, к примеру, что учителя и дома у себя разговаривают учительскими голосами даже со своими собаками и кошками, а актеры и в жизни ссорятся, не забывая о дикции, о задних рядах галерки. Тренаж, тренаж. Наверное, демагог и в постели

с женой демагог. «Как ты можешь говорить, что я тебя не люблю?! Как смеешь так говорить, когда я столько для тебя сделал!»

Все же хорошее это зелье — коньяк, усмешливое. Но только в меру, знай меру! Будет жаль, если память вдруг подернется туманом. Нынче день для ясной памяти. Такие дни редки. И все реже они будут случаться в жизни. А в старости и не нужны будут. Впрочем, как знать. Старость — это еще предстоящее.

Да, так попили они чаю... А потом очутился он вместе с Сергеем Сергеевичем на бегах. Сам напросился. День был скверный, к работе не тянуло, а с Сергеем Сергеевичем было просто и не одиноко.

Он потому бывал раньше на бегах, что его институт в довоенную еще пору находился на Ленинградском шоссе, совсем рядом с ипподромом, и студенты нет-нет да и сворачивали в ворота, над которыми вздыбливались гипсовые грудастые кони. А однажды чуть ли не весь институт организованно явился на бега. Режиссер Барнет снимал там свой фильм «Старый наездник», ну а вгиковцы в полном составе участвовали в массовке, изображая азартных завсегдатаев бегов. За участие в массовке платили двадцать пять рублей, за участие в эпизоде — семьдесят пять.

Ему очень хотелось попасть в эпизод, слово какое-нибудь вымолвить, но в эпизоды брали только ребят с актерского факультета.

Зато теперь он попал в эпизод...

Сергей Сергеевич ввел Леонида на территорию ипподрома не через главный вход, а через узенькую в заборе дверцу, возле которой ошивались странноватые людишки, поистертые, поизмятые, повыцветшие. Но народ это все был веселый, говорливый, бойкоглазый. За калиткой целая толпа стеклась из подобного люда. То были знатоки, тотошники со стажем. Высшим шиком у них считалось обсуждать заезд, не заглядывая в программку, которая нужна им была вовсе не для того, чтобы узнать что-либо о лошадях, про которых они все знали, а лишь затем, чтобы какие-то в программке тайные значки сделать, на кого и как нынче ставить. Они и переговаривались между собою тоже чуть ли не значками, гримасничая, подмигивая, поводя плечом, выбрасывая пальцы, будто сделались глухонемыми.

Сергей Сергеевич в этой толпе пользовался заметным уважением. К нему подбегали поздороваться, возле него задерживались в надежде, а не обронит ли он нужного словечка, не скажет ли, на кого нынче собирается ставить. Но он помалкивал. Как раз начался показ лошадей перед заездом, и Сергей Сергеевич, опершись на барьер и коротко взглядывая на лошадей, что-то стал быстро отмечать в своей программке. У Леонида программки не было: купили одну на двоих. Да и зачем она ему была нужна, когда он ровным счетом ничегошеньки не смыслил во всех этих лошадях и их наездниках в ярких разноцветных камзолах.

И все же он неотрывно смотрел на лошадей, на нервные и прекрасные их тела, на чуть горбоносые, аристократические маленькие их головы, стараясь понять, догадаться, какая же тут самая лучшая, какой суждено быть в заезде первой. Гневно светились громадные глаза, яростью пенились измятые мундштуком губы — лошади рвались вперед. Но наездники их сдерживали, изо всех сил натягивая вожжи. Леонид так и не решил, какой из лошадей отдать предпочтение. Все были хороши. Вот начнется заезд, тогда и выяснится, какая чего стоит. А выяснять-то надо было до заезда, в том-то и дело, чтобы успеть сделать ставку. Весь интерес тут был сосредоточен на том, чтобы угадать выигрыш, а вовсе не на том, чтобы следить, как какая лошадь пойдет, как придет. Здесь не борьба царствовала, здесь царствовала угадка. Хитрая такая, многосложная, где всяких и во множестве было заплетено узлов. Лошадь — что лошадь? А как еще себя поведет наездник? А нет ли нынче сговора? А если есть, то не струсит ли в последний миг кто-либо из сговорившихся или, может, совесть в нем проснется?

Сергей Сергеевич взял Леонида под руку, повел к кассам.

— Деньги какие-нибудь у вас есть? Ставить будете?

— Есть.— Он извлек из кармана последнюю свою десятку.

Отчетливо припомнилась Леониду Викторовичу эта сложенная вчетверо сизоватая бумажка, которую он тогда выложил на ладонь. И отчетливо вспомнилось, как Сергей Сергеевич, таясь стороннего глаза, показал ему

пальцем в своей программке, каких лошадей следует назвать.

— Запомнили? — спросил он, не называя вслух имен лошадей, поскольку вокруг в избытке толклось охотников узнать, на кого же будет ставить Сергей Сергеевич.— Эти много не привезут, но почти наверняка привезут. Важен почин.

И отчетливо вспомнилось Леониду Викторовичу, как он тотчас решил не следовать совету Сергея Сергеевича, самонадеянно положившись на свою удачливость, зная —наслышан был,— что новички, действуя по наитию, часто огребают здесь большие деньги. Когда подошла его очередь, он поближе наклонился к кассирше и, будто тайной владея, шепнул ей, как, впрочем, почти все здесь поступали, первые же две цифры, пришедшие в голову. Он запомнил по сей день эти две цифры. А вот имена лошадей не запомнил, да он их и не разглядел хорошенько, тех лошадей, на которых сделал ставку. Он тогда и заезды по-настоящему не увидел. Мчались, мчались тела, обтекая друг друга, орали трибуны одним будто разинутым ртом, близко над ухом матерился молитвенно какой-то оборванец, тряслись на барьере чьи-то руки, сцепив намертво музыкальные, тонкие пальцы. Крутилась, мелькала лошадиная и камзольная круговерть — в одном заезде, в другом,— выкликались имена лошадей, имена наездников, а потом вдруг на миг все стихло. И в этой тишине он услышал тихий же голос Сергея Сергеевича:

— Выходит, обманул я вас, Леня, темные пришли.

— А какие? — спросил он, потому что сам ничего не мог понять. Ему только показалось, почудилось, что какая-то из его лошадей пришла первой. Одна? Надо было, чтобы и во втором заезде его лошадь пришла первой. А он упустил концовку второго заезда. От волнения глаза стали слезиться — не разглядел. И ничего не расслышал в начавшемся крике. Пришла темная лошадь, и трибуны взревели от негодования. Хитрили, темнили, а теперь вознегодовали. Неудачникам свойственно громко взывать к справедливости.

— Тройка и четверка пришли,— сказал Сергей Сергеевич.— Самые плевые в заездах лошади. А у фаворитов сплошные сбои и проскачки.

— Обман! Явный обман! — подбавляя к этим сло-

вам замысловатую матерщину, орал рядом проигравшийся оборванец.— Убивать их всех надо!

Леонид медленно разжал кулак, в котором у него был жетон тотализатора, маленькая картонка, подобная железнодорожному билету. Он разжал кулак и медленно поднес ладонь с жетоном к глазам. Они слезились —от ветра, что ли? —он никак не мог рассмотреть карандашом нанесенные кассиршей номера лошадей.

— Поглядите, что у меня? — попросил он Сергея Сергеевича.

Тот глянул, вдруг дернулся и быстро накрыл своей тяжелой ладонью ладонь Леонида.

— Пойдем! — отрывисто сказал он.

Они выбрались из толпы, но пошли не к кассам, а как раз в противоположную сторону. И Леонид пал духом, хотя на миг ему показалось, что он разглядел сквозь туман на жетоне небрежно выведенную, будто запрокинувшуюся тройку и еще более небрежную, распадающуюся четверку — эту карандашную скоропись кассирши. Ошибся, значит? А еще раз поглядеть он не мог: Сергей Сергеевич так и не выпустил из своей руки его руку.

Шли они, долго шли, но вот остановились в каком-то темном закуте под трибунами. Тут ни единой не было души. И только тут Сергей Сергеевич выпустил руку Леонида, и тот жадно глянул на свою ладонь. Не ошибся, он не ошибся, когда ему померещились на жетоне тройка и четверка! Вот она — тройка и четверка, кое-как — худо училась в школе! —выведенные небрежным карандашом кассирши!

— Выиграл?!

— Выходит... — Сергей Сергеевич был мрачен и подавлен. И эта его мрачность мешала Леониду возликовать.

— Может, что-нибудь не так? — спросил он упавшим голосом.

— Все так —знаток ошибся, новичок угадал... Бывает... О выигрыше своем помалкивайте, к кассе пойдем во время заезда. Да, история...

— Но почему же вы не рады? — недоумевал Леонид.— Мы для того и ставили, чтобы выиграть.

— Хуже нет, когда сразу так повезет. Хуже нет.

— Не пойму что-то вас...

Впрочем, его уже перестала тревожить мрачность Сергея Сергеевича. Может, позавидовал человек? Или, что точнее, огорчился, что он, знаток, не угадал, а новичок как раз и угадал. Угадал! И такая в нем взорвалась радость, что и по сей день помнил свою радость Леонид Викторович. Его будто подбросило тогда. Громче все звуки сделались, ярче, подробнее все увиделось. Это было ощущение чисто физическое, как удачный взлет с трамплина или прыжок в глубокую воду. Надо же, вымолвил всего два словечка, две всего только цифры — и вот вам, выиграл.

— А сколько? —спросил он.— Сколько я выиграл?

— Сейчас узнаем. Много, надо полагать. На таких лошадок могли поставить либо по сговору, либо по глупости.

Ничего, плевать, что угадал по глупости. Повезло — это главное. Ему давно уже не везло, он даже позабыл, что это за штука — везение. Ничего, пусть по глупости. Он согласен пребывать в таких глупцах всю свою жизнь.

Они вернулись на трибуны, подошли к барьеру.

— Вы только вслух-то не радуйтесь,— сказал ему Сергей Сергеевич.— Тут у нас к большой удаче относятся с подозрением. Да и прилипал хватает. Ну, что там на щите?

Леонид посмотрел туда же, куда и Сергей Сергеевич. Но только опять ничего не понял. Щит демонстрационный увидел, а во множестве цифр, какие на нем были навешены, не сумел разобраться. И спросить было неловко. Уже совсем новичком-то он теперь и сам себе не казался. Он победителем себя ощущал, а вовсе не новичком. Да и почему —новичок? Разве не бывал он здесь раньше? Играть он тогда, правда, не играл, но смотрел же, присматривался. «Везенье, везенье, а где же уменье?» — так, кажется, говаривал Суворов, когда всякую его победу завистники объявляли всего лишь счастливым случаем. Зазнайство, подобно насморку, поселяется в человеке мгновенно. Лишь миг назад человек не хлюпал носом, а вот уже и захлюпал. Зазнался Леонид, возгордился, захлюпал носом.

— Да, порядочный кусок,— сказал Сергей Сергеевич.— Но я-то думал, что еще больше будет. Нет, кто-то и другой поставил. И не наивный, нет, тут сговором

попахивает. Эх, грязнят людишки лошадей. Ладно, пошли.

Как раз начался новый заезд.

— Что же мы на этот-то ничего не поставили? — спросил Леонид.

Сергей Сергеевич как-то странно глянул на него.

— Пошли, пошли.

У касс, у окошка, где надлежало им получить выигрыш, никого не было. Но неподалеку кое-кто да прохаживался. Нет чтобы смотреть, как лошадки бегут, понадобилось им торчать возле касс.

— Так я и думал,— вполголоса сказал Сергей Сергеевич.— Высматривают, кто станет получать. Ну, господи благослови! Давайте ваш билет, Леня.

Леонид отдал билет, и Сергей Сергеевич, небрежничая, перебросил его в руки кассирши. Он ничего ни от кого не скрывал, он боком встал к кассе, безразличный к тому, что делает кассирша. Он и Леонида к окошку не подпустил.

— Спокойнее, спокойнее,— шепнул он ему.

Любопытствующие, что толкались неподалеку, придвинулись было к кассе, но особого интереса к происходящему не проявили. Должно быть, обманул их Сергей Сергеевич своей небрежностью. Да и кассирша ему подыграла наилучшим образом. Опытная, видно, была женщина. Никакого удивления на лице, никакой суеты в руках. Глянула на билетик и скучные отвела глаза.

— А я-то думала! — сказала громко.— Вот уж не думала, что вы на этих темнячек будете ставить,— сказала тихо.

— Да не я, не я, молодой человек,— небрежно покрутил рукой Сергей Сергеевич.— Спасибо вам,— добавил он тихо.— Темный заезд, унести бы ноги.

Кассирша внимательно глянула на Леонида, припоминая, не знаком ли он ей, и удивилась, изломив дужки бровей, что не знаком.

— Надо же... — Едва шевеля пальцами где-то у себя на коленях, она отсчитывала деньги.— Пересчитывать будете?

— Нет.— Сергей Сергеевич на миг загородил широкими плечами окошко кассы, но тотчас же и отшагнул от окошка.— Пошли, Леня, на пивко с бутербродиками наскребем!

И двинулся в сторону буфета, подхватив Леонида под руку.

— А деньги? — шепнул Леонид.

Сергей Сергеевич вместо ответа лишь прижмурил глаза.

В буфете он задерживаться не стал.

— Не здесь, в другое место пойдем.— Он шел все быстрее, будто опаздывал куда.

Миновали еще один буфет, миновали трибуну, нырнули в один проход, в другой и — вот тебе на! — оказались на площади перед ипподромом. И тут Сергей Сергеевич побежал, увлекая Леонида за собой.

— Такси! Такси! — Сергей Сергеевич чуть что не кинулся под колеса машины. Распахнул дверцу, толкнул в машину Леонида, вскочил сам.— На Ленинградский вокзал! — крикнул он шоферу.— Опаздываем! Платим втройне!

Машина рванулась.

— Гляньте-ка, Леня,— тихонько сказал Сергей Сергеевич и подтолкнул Леонида к боковому стеклу.— Вон туда, туда...

Леонид глянул, куда указывал Сергей Сергеевич, и ничего особенного не увидел. Разве что гнались за кем-то, забавно взмахивая руками, какие-то два очень неумелых бегуна, какие-то расхристанные субъекты.

— Спохватились! — усмехнулся Сергей Сергеевич.— В погоню кинулись!

— Разве они за нами? — не поверил Леонид.

— А за кем же? Прилипалы проклятые!

Верно, субъекты бежали следом за их машиной, они гнались за ними.

— Но почему? Зачем? — не умел понять Леонид.

— А не встревай не в свою игру. Или делись, если повезло по-глупому. Эх, Леня, зря я вас свел с бегами...

4

Они сидели в длинном и гулком вокзальном ресторане, а на столе перед ними чего только не было — и икра, и коньяк, и шампанское в ведерке со льдом,— но радости, ее не было, оставила Леонида радость, хотя теперь он знал, что действительно выиграл много, почти три тысячи, и деньги эти, неловко засунутые в

нагрудный карман пиджака, ощутимо улеглись там, слышны были, стоило только шевельнуть плечом.

Три тысячи, по нынешнему счету триста рублей, не такие уж большие деньги для Леонида Викторовича, но то нынче, а в те поры, когда последняя была извлечена из кармана десятка, он ощутил себя богачом. И главное, повезло, удача пришла. С нее, с этой удачи, могла ведь и полоса начаться счастливая, и она даже сверкнула перед глазами, солнечной просияв дорожкой. Сверкнула и померкла. Гасил, убивал радость Сергей Сергеевич. Мрачнее тучи был.

— Плохо, когда сразу так повезет, хуже нет.— Сергей Сергеевич все повторял и повторял эту фразу, под нее и пил, как иные пьют, приговаривая: «Пусть нам будет хорошо!» Далась ему эта фразочка!

И вдруг заговорил Сергей Сергеевич. Нет, он не речь стал держать. То был разговор с самим собой, разве что вслух. Молодой человек, что сидел напротив, не был ему в этом разговоре ни помехой, ни помощью.

За давностью лет забылись слова, какие были сказаны Сергеем Сергеевичем. Но запомнилась му́ка, которая жила в них, в голосе жила, в этих простецких будто глазах. Мука, боль, раскаяние, что не так, зазря идет жизнь, глупо, бессмысленно, на распроклятых этих бегах.

Леонид Викторович припомнил, как пытался тогда возражать загоревшему человеку, утешать его пытался. Как же он был самонадеян! И уж не мальчиком ведь был, уже и повидал и пережил достаточно, а все же вот легко, запросто брался утешать человека, ничего еще толком не зная о его жизни, молол какие-то слова, затертые, как и должно утешениям, настолько, что их и расслышать, наверное, было нелегким делом. Да Сергей Сергеевич, кажется, и не слушал его. Он утешения не искал.

Сергей Сергеевич пил как-то неумело, будто чай попивал. И не пьянел. Не чувствовалось, что пьянел. Глаза у него были совсем не пьяные. Они простодушные были, простецкие, с рыжими ресницами, но в них трудно было смотреть — такая в них жила безутешность.

— Кому я нужен? —тоскуя, спрашивал Сергей Сергеевич себя.— Жизнь прожил, а кому я нужен?

— А назад разве дороги нет? — спросил Леонид,

готовый, помнится, одарить Сергея Сергеевича множеством добрых советов. Сам бы себе лучше посоветовал, как жить дальше. Но себе просто так не посоветуешь. Как жить —себе посоветовать не просто.

— Назад? — удивился Сергей Сергеевич.— Как это — назад? То пройдено, что было, то пройдено. Пока живешь, вперед надо толкаться. А кому я нужен?

— Себе хотя бы. Себе самому,— сказал Леонид.

Сергей Сергеевич безнадежно махнул рукой.

— Нет, себе самому человек не нужен, Леня. Не нужен. В том-то и горе, что человек должен быть кому-нибудь нужен, а не себе только самому.

Наиважнейшую мысль подарил своему молодому собеседнику Сергей Сергеевич. Тот разговор в вокзальном ресторане был из важных, из тех, что надобно помнить, из тех, что учат. Ведь верно, ведь это так: себе самому, только себе самому, человек не нужен. Надо, чтобы он и другим был нужен. Без этого нельзя, немыслимо, бессмысленно жить.

Если вспоминать, если уж начал вспоминать, день такой вышел, то постепенно на изумление много вернет тебе память. Но что-то и станет утаивать, вызнавая, должно быть, каков ты ныне, хватит ли у тебя ума и, главное, мужества, чтобы вспомнить и такое, что вспоминать будет трудно, что вспомнить и надо, обязательно надо, да в должный час. Так вот подошел ли этот час? —будто вызнает твоя память, прежде чем открыться тебе...

Они вскоре ушли из гулкого вокзального ресторана, где все располагало к унынию, если это не ты торопишься в путь и паровозные гудки за стеной — не для тебя, а для другого. Они решили перекочевать домой, к Клавдии Павловне. Теперь это был и его дом, и Леонид накупил всяческих деликатесов, чтобы там, в этом доме, где укоренилась нужда, грянул праздник. Сергей Сергеевич не мешал ему швырять деньгами. С выигрыша это и полагается. Он сам бы так поступил. Но он решительно воспротивился, когда Леонид, заскочив в универмаг, чтобы купить себе столь необходимые и вожделенные ботинки — он тут же сунул свои, прохудившиеся, в урну,— надумал и Сергея Сергеевича одарить какой-нибудь обновой.

— Ваша, ваша удача,— сказал Сергей Сергеевич

и как-то по-странному пошутил, будто посочувствовал: — Вам ее и хлебать самому.

Заявились пьяные да веселые. Сергей Сергеевич повеселел, лишь к дому подойдя. Распрямился, встряхнулся, заулыбался морщинками, словно скомандовал сам себе: «Будь веселым, тебе говорят!» А Леонид в новых-то ботинках и в самом деле повеселел. Великое это дело, когда шлепаешь по лужам, а ноги сухие.

— Господи! — воскликнула Клавдия Павловна, когда узнала обо всем.— Да мой муж сколько лет на бегах играл, а никогда и близко так не выигрывал, хотя считалось, что ему везет. Вот кто везучий-то! А вдруг и мне теперь посчастливится —рядом-то с удачей? — И она даже дотронулась рукой до плеча Леонида суеверным, скользящим движением, как слепая бы это сделала. И, как у слепой, стало серьезным ее лицо. Приспущенные ресницы, губы разнялись, будто прислушивается. К чему? К чужой удаче, к своей надежде? Человеку надо верить, должно надеяться, ему необходима удача. Женщине еще более, чем мужчине. Оттого женщина так и тянется на огонек удачи. Ей детей рожать, растить их. Хочется ли рожать неудачников, растить бедолаг?

Клавдия Павловна скрылась в своей комнате и вскоре вышла оттуда в нарядном платье, причесанная, но как-то так ловко, что, пожалуй, ни один мастер бы так ее не причесал. Глаза ярко-синие, счастливые — не много же ей надо! Волосы высоко подняты, и от этого молодо построжало лицо. Гребенка голубенькая в волосах — и та на месте, светится, будто дорогое украшение.

Леонид глянул на свою хозяйку и не сумел узнать в ней сдающуюся уже женщину, только что отворявшую им дверь. Великое это колдовство — умение женщин вмиг перемениться, помолодеть, похорошеть, поверить, обрадоваться, лишь бы только было чему. Самой малости хоть.

Леонид глянул на Сергея Сергеевича и тоже не узнал сперва. Вдруг морщин в его лице почти не стало, потвердело, напряглось лицо. А морщины — они все сбежались ко лбу и к ушам от восхищения, от молитвенного этого восхищения, каким жил сейчас Сергей Сергеевич.

— Ну что вы замолкли? — спросила Клавдия Пав-

ловна, прекрасно понимая, отчего они замолкли. У нее даже голос про это понимал, он пел, он переливистым стал.

— Какая ты красивая, мама! — сказала Машенька, радостно сведя ладони.— Как я тебя люблю такой. Будь всегда такой!

Вот что наделали эти кульки на столе, этот праздник негаданный, заглянувший в бедный этот дом. Да здравствуют тройка и четверка, и к чертям благоразумие!

Удача — как она подманивает. Особенно женщин. Она веруют в удачу, как в бога. Это мужчина покупает трехпроцентные облигации, выискивая какую-то систему, планируя свой выигрыш. Женщина не планирует, она верит случаю, она купит всего одну-единственную облигацию, веря свято, что как раз эта и принесет выигрыш. Женщина верит в случай, верит в приметы куда серьезнее, чем мужчина. Она живет больше сердцем, чем разумом. Впрочем, это только одно из предположений в бесчисленном ряду догадок о том, что есть женщина.

Клавдия Павловна в тот вечер только на Леонида и смотрела, только его и слушала. Он был для нее живым олицетворением победоносности, а стало быть, был красив, находчив, остроумен, добр, великодушен, загадочен. Пожалуй, прежде всего загадочен, как всякая удача, и притягателен, как всякая загадка. А он, кажется, давно так не был болтлив бесконтрольно, как в тот вечер. Машенька следом за матерью тоже очень заинтересовалась им. Как мама, смотрела на него, подперев ладонью подбородок, синие распахнув глаза. Как мама, тихонечко начинала смеяться, а потом звонче, звонче, самозабвенно. Смех женщины и девочки, сливаясь, превращался в музыку, в ту самую, без которой не живет удача.

Сергей Сергеевич как должное принимал, что за столом царил Леонид. Сергей Сергеевич помалкивал больше и все не забывал так держать на лице свои морщики, чтобы казалось, что он улыбается. А было ему очень невесело, и иногда он кивать принимался сам себе, своим мыслям. Чему он кивал тогда? Может, подтверждал: все, мол, все по начертанному. Удача игрока — она и не таким молодым кружит голову. Тем и страшны бега. Вот он, ведь он во все свои игроцкие

годы не выигрывал сразу столько, сколько этот паренек при первой же ставке. Так что же, глупость это все — эти бега? Обман один? Ну, он и всегда знал, что там много обмана, он знал про это, конечно, но уж очень глупо все нынче вышло. И потом, Клава-то, Клава — как ее взбудоражило...

Она тоже была не чужда бегам. Ее муж, покойный Митенька, бойко прожил свою жизнь. И на бегах поигрывал и в картишки. Оборотист был, предприимчив. Эту вот квартиру из ничего, из бывшей дворницкой, соорудил. И вполне даже приличная вышла квартирка. Здесь он и познакомил своего «по бегам приятеля» с женой. А приятель этот, на беду ли, на счастье ли свое, как увидел Клавдию Павловну, так и обмер, заледенел аж, поняв, что — вот она та единственная! — что он полюбит ее, полюбил уже, вмиг и до конца своих дней. Когда оно обрушилось на него — знакомство это? Да года три назад. Иной она была. Иной? Какой же? Он перемен в ней не умел подмечать, она всегда была прекрасна в его глазах. Только тогда она была такой, как сейчас, как за этим застольем, всегда, а не изредка. Смеялась вот так вот, чуть малейший дай повод, вот так вот, как сейчас, закидывая голову. Но умер муж, отшумел, отвеселился и помер, вышутив у господа смерть короткую и легкую — от инфаркта, и она увядать начала, растерялась, поникла. Муж на работу ее не пускал, ничего толком делать она не научилась, а тут вдруг одна, с маленькой девочкой на руках, а никаких сбережений, ценностей, колечек там или брошек в этом развеселом доме и искать было нечего. Жили днем. Вот и стал он помогать вдове и дочке своего «по бегам приятеля», играя еще осторожнее, чем обычно, ставя расчетливо, на фаворитов, в заезды, от которых не ждал подвоха. Проигрывать теперь он не имел права. Хоть что-нибудь, а надо было приносить в дом. Его работа киоскера давала скудный заработок. Кое-кто и на этой работе умел обернуться с пользой для себя, чем-то там еще приторговывая помимо газет и журналов. То были пути коммерческие, словом, ловчить надо было. Он этого не умел. Уж такой уродился, не умел. А бега? А там разве честность? Что — бега? Честный человек и там может быть честен. Он любил лошадей, знал их, и это-то знание его и подкармливало. Не очень-то щедро, а все ж таки... Но Клава-то,

Клава!.. Неужто этот парень вскружил ей голову? Парень или его удача? А разве поймешь, что поманило женщину? Она и сама, спроси ее, не ответит, если б и захотела. Кроток, тих был Сергей Сергеевич. Сидел, помалкивая, улыбался морщинками, смаргивая свои мысли короткими ресницами. О чем мысли-то?

В тот вечер не до Сергея Сергеевича было Леониду. Удача несла его на крыльях, он был в ударе, он говорил без умолку, и его слушали затаив дыхание. Он рассказывал про ашхабадское землетрясение. У него множество сложилось новелл про это сокрушительное событие в жизни далекого знойного города, и он уже начал специализироваться по части рассказывания таких новелл, заметив, что они всегда вызывают интерес у слушателей. Ведь про Ашхабад ничего не писали. Считалось, что упоминания об ашхабадском землетрясении отобьют охоту у людей селиться в городах Средней Азии, обживать наново Ашхабад.

И недавнее трагическое событие, как бы сгинув из истории жизни народной, уже стало превращаться в легенду, в бесчисленные эти рассказы-легенды об одиннадцати секундах, сотрясших землю. Иные из этих рассказов казались фантастичными.

Подумайте, сколько жителей погибло под развалинами. Самое страшное было то, что в этом преимущественно одноэтажном городе все окна, выходившие на улицу, были зарешечены. Жара. Створки окон почти всегда распахнуты. Ну и решетки действительно были необходимы. Но... но в ту ночь тысячи людей погибли из-за этих решеток.

А вот вам история, как женщина спасла своего ребенка. Она наклонилась над ним, и, когда рухнула кровля, она, хрупкая женщина, на себя приняла всю эту громадную тяжесть. Она умерла, но и мертвая держала на себе всю эту тяжесть. Утром, только утром разобрали рухнувшие стены ее дома. Ребенок был жив.

Клавдия Павловна даже вскрикнула, дослушав этот рассказ про женщину и ребенка. Он поразил ее. Она себя представила вместо той женщины, и к дочери метнулись ее глаза. Должно быть, в миг тот Клавдия Павловна спросила себя: «А ты бы смогла?» Спросила, и глаза ее погасли. Не поверила, что смогла бы? А человек и не может знать, на что он способен, пока не

случится нечто такое, когда надо действовать изо всех сил и сверх своих сил. Вот тогда и узнается, на что он способен. Иной принимает на себя убийственную тяжесть и мертвый держит ее, чтобы спасти другого.

Что осталось в памяти у Леонида Викторовича от бесконечно далекого того вечера, что вспыхнуло раньше всего, чтобы осветить потом всю картину? Вот этот вскрик Клавдии Павловны вспыхнул, вспомнился. И еще вспомнилось, как глядел на нее Сергей Сергеевич. Он не все время глядел на нее, он отводил глаза, даже отворачивался, но казалось, что он не отрываясь смотрит на нее. Это запомнилось. Доброта, терпеливость, преданность, зоркость и... слепота его глаз. Кто же был счастлив — он со своей удачей? Нет, не он, а Сергей Сергеевич. Любить — всегда счастье. Даже если любовь твоя безответна.

5

Вспомнилось главное, и стала раскручиваться вся картина, будто в памяти был упрятан моток киноленты и надо было лишь потянуть за краешек, чтобы моток этот начал раскручивать витки. И уж тут поспевай только всматриваться в эту киноповесть про себя самого. Порой и действительно чувствуешь себя как в кино, но только на каком-то удивительном фильме, где, кажется, режиссером работал сам господь бог. Вот бы где поучиться монтажу, этим стремительным перепадам событий, этой свободе в обращении с человеком, с его душой, мыслями, с его правдой и неправдой в себе. Порой же то был не фильм, пусть самый удивительный, а было это все болью, одной лишь болью, когда вспоминаешь про себя что-то такое, что тягостно, больно вспомнить. А надо. Зачем? Да, надо, надо. Вспоминать себя, выверять себя время от времени необходимо. Дабы не погрязнуть в самодовольстве. Дабы не погрязнуть в унынии. Дабы не погрязнуть вообще...

В тот вечер удача несла Леонида на крыльях и занесла в дом к одной девушке. Что сказать о ней? Она была очаровательна. Она была в той поре расцвета своей юности, когда все было солнечно в ней. Нет, она не была красива, стройна, совершенна. Напротив, лицо у нее было кустодиевской круглоты и полноты, излишне полными были ее ноги и быстрыми, даже порывис-

тыми движения. Но она была хороша. Своей молодостью, юностью. Своей жадностью к жизни. Тем цветом, что жил в ней. Кустодиев, прости, ты бы не сумел отыскать этот цвет. Умна ли она была? А зачем ей был нужен ум? И какой ум? Она жила, просто жила, изготавливаясь к какому-то празднику, который обязательно должен был выпасть на ее долю. Это было бесспорно, праздник был уготован ей, а она — ему. И все, что она делала, было сродни инстинкту, а не рассудку. Вот какая то была девушка, жившая неподалеку, совсем рядом с той улицей, на которой нынче поселился Леонид. Это было добрым предзнаменованием, что они теперь жили почти рядом. В громадном городе громадные пространства разделяют людей. Надо ехать, ехать, ехать к человеку, будто он в другом городе или в другой даже стране. И порой не решаешься ехать. Особенно когда холодно, когда худо одет, когда дырявые башмаки.

В этот день все было сплошной удачей. Зарядивший на неделю дождь ослаб еще утром, а к вечеру и вовсе иссяк. И потеплело. И жила она рядом. И ботинки были новенькие, весело поскрипывали, как старшинский ремень. И деньги были. А без денег в ее дом нечего было и стучаться. Это был богатый дом, поставленный на широкую ногу, в нем жили обычаи из прошлого. Молодые люди являлись к Ирине с букетами, с коробками конфет, с билетами в Большой или консерваторию, и непременно чтобы билеты эти были не далее восьмого ряда партера. Это все же был странный дом. Главы семьи в нем не было. Главой была мать. Она и главной была виновницей всего здесь благополучия. А была лишь всего-навсего портнихой. Ну, не просто портнихой, а закройщицей. Какие-то все время приезжали к ней нарядные дамы, странно заискивающие перед ней. Их льстивые, покорные голоса слышались из соседней комнаты, где совершалось таинство примерок. А голос хозяйки дома звучал непререкаемо и победоносно, как, скажем, голос командира полка, когда уже ясно, что победа одержана. Не в этой ли победоносности голоса и таилась коммерческая удачливость матери Ирины? Женщины любят, когда их избавляют от необходимости решать, что им к лицу, а что нет. Они любят, когда их неуверенности кладет конец чужая непреклонная воля. За это и переплачивают.

Итак, Леонид подхватился и, покинув Клавдию Павловну и Сергея Сергеевича, гонимый своей удачей, заспешил в дом к Ирине.

В благословенные те времена гастроном у Никитских ворот работал до полуночи. Нет его нынче, снесли этот приземистый, разляпистый дом, что стоял на перекрестке трех улиц и бульвара, имел чуть ли не пять входов и выходов и частенько выручал Леонида и его приятелей в поздний час их веселых бдений. Выручал, когда были деньги.. Денег чаще всего не было. Зато сколько было сил душевных, какая легкость была и готовность к веселью и к этим разговорам, разговорам обо всем на свете, хотя на свете-то было пасмурно. Нынешние молодые, что же, и они такие же? И они бегут сломя голову на первый зов, складываются на бутылочку и говорят, говорят, полагая, что им-то и дано решать судьбы людские? Должно быть, и нынче все тоже так же. А если кажется тебе, что нынешнее племя молодое чуть притомилось, поскучнело, постарело, что ли, так это не они, друг, а ты притомился, поскучнел и — да, да! — постарел.

Меняются гастрономы, вселяясь в дома-башни, все теперь видно, что там делается, в этих гастрономах, как и в ресторанах, аптеках, библиотеках. Все ныне на просвет видней, из стекла стали стены. Но человек все так же не просвечивается, человек меняется трудно, он все та же загадка. Как ты, друг, попивающий свой грустный коньяк в стеклышке летнего кафе. Как вон тот прохожий с собачкой, подражающей ей в походке. Как та вон девушка, сменившая мини на макси, будто других забот у нее нет, как только длина ее юбки. А забот у нее полным-полно. Это издали видно. Препечальное у нее личико. Денег нет? Парень покинул? Начальник распек? Эй, девушка, какие у тебя нынче заботы — мини или макси?..

Выручил гастроном у Никитских — ведь к Ирине нельзя было с пустыми руками. Но и с вульгарной бутылкой тоже было нельзя. И коробка конфет — убогая выдумка. А хотелось что-то забавное подарить, находчивое. Под стать сегодняшней удаче.

Конечно, гастроном — это не антикварный магазин, и все же в нем нашлась одна забавная вещица, которую и купил Леонид. Это была фарфоровая, а может фаянсовая, фигурка пингвина. Пингвин был очень хо-

рош, ну просто произведение искусства. И чертовски дорого стоил. Это тоже было плюсом. И бессмыслен, не нужен был этот антарктический житель в концертном фраке, как и не нужно было его содержимое, а наполнен он был ликером. Кто же из уважающих себя людей пьет ликер? Вот и отлично. Подарки Ирина любила самые непрактичные. Возможно, это был ее протест против чересчур уж практичной матери.

Ирина жила в большом, добротном доме, из тех, что некогда назывались доходными. В подъезде дома с мраморной неторопливой лестницей был автомат. Надо было позвонить Ирине, прежде чем заявиться в столь поздний час, хотя Леонид и знал, что в ее доме жизнь затихает за полночь.

Ему обрадовались. Вообще-то он был далеко не первым в списке Иришиных поклонников, но сегодня она ему обрадовалась, будто его лишь и ждала. А так оно и должно было быть — сегодня был его день.

И пингвину обрадовалась. Угадал, угодил. И как же выигрывал его неуклюжий миляга рядом с ординарнейшей коробкой конфет, которые принес Ире ее заглавный поклонник, — а он был тут, конечно же, — этот архитектор из подающих надежды, с торжественным именем Ростислав.

Вспомнилось, все вспомнилось. Тесная от вещей квартира с больно бьющей по ногам мебелью, чуть только зазевался. Углы, всюду злобно клюющие тебя углы каких-то шкафов, поставцов, несдвигаемых кресел. И картины по стенам, с немецкими сентиментальными пейзажами, с бюргерской откормленностью и людей и животных. В очень дорогих рамах, очень дорогие или очень дешевые, как всякая подделка. Но о подделках не могло быть и речи. В этом доме все было из первых рук, как оно и должно в доме наимоднейшей в Москве портнихи.

Между прочим, и молодые люди, все эти бесчисленные Иришины ухажеры, и они тоже должны были быть из наилучших, из перспективнейших. Ростислав как раз и был таким. Но сегодня не ему, а Леониду было оказано предпочтение. Явное, даже демонстративное. Едва он вошел, как Ирина только им и занялась. А уж про Иришину младшую сестренку и говорить было нечего. Она всегда была добра с Леонидом. Кажется, она

его жалела. Она-то знала, как невелики были его шансы.

Но только не сегодня, нет, только не сегодня. Это был его день, пошла, пошла полоса!

— Три-четыре! — вслух произнес Леонид, будто помолился.

— Ты о чем? — спросила Ирина, долгим взглядом поглядев на него.

О, она знала, как надо глядеть, если ей хотелось понравиться, увлечь, закружить. Сегодня ей этого хотелось. И не Ростислав занимал ее, а он, Леонид. И он, Леонид, уверовал — удачливые люди доверчивы, — что так оно должно быть.

Он не стал рассказывать о своем удивительном выигрыше на бегах, поостерегся. Сомнительно, чтобы матери Ирины понравился молодой человек, играющий на бегах. Но он был весел, как давно не был, говорлив, красноречив, как и там, у Клавдии Павловны, и Иришина мама сразу почувствовала — уж она-то разбиралась в людях,— что в жизни Леонида случилась какая-то удача. И она стала с интересом приглядываться к нему, чего никогда не делала прежде, давно уже порешив, что этот киношник не у дел, этот ашхабадский землетрясенец совсем не партия для ее дочери.

В доме этом было заведено, чтобы дочь принимала своих кавалеров только в присутствии матери. Сидели в гостиной, пили чай, чинно беседовали. А мать то входила, то выходила, занятая своими клиентками, молчаливая, наблюдательная. Она не мешала молодым людям, как ей казалось, но и не способствовала нынешним этим нравам, когда девушкам дозволяется уединяться с их кавалерами. Ничего хорошего такие уединения не сулили. Даром что дочь была в нее не столько обликом, сколько характером, но она еще была юна, неопытна, доверчива. Она нуждалась в досмотре, в руке направляющей.

Странно, но в тот вечер будто все разладилось в доме Ольги Петровны. Дочь принимала неожиданные решения, вела себя самостоятельно. На Ростислава вот никакого внимания, а все внимание на него, на Леонида. И мать не вмешивалась, не выправляла Иришиных ошибок, хотя Ростислав и поскучнел и надулся, а он был любимцем Ольги Петровны. Нет, не вмешивалась

она. И даже сама с интересом посматривала на Леонида. Его день, его полоса!

Все допытывались, отчего нынче Леонид какой-то особенный. Перемена в жизни? Нашлась интересная работа? Не уезжает ли куда-нибудь, где молочные реки и кисельные берега? Врать не хотелось, правду сказать было нельзя. Да и что собственно он мог рассказать? Про выигрыш на бегах? Но ведь выигрыш был только частью радости, что жила в нем. Он замечательную снял вчера комнату — и это было радостью. Он познакомился с милыми добрыми людьми — и это тоже было радостью. Но самой большой его радостью было предчувствие чего-то доброго, что подступало к нему. Расскажи попробуй о предчувствии. И он помалкивал, таинственно улыбаясь. Он говорил, шутил, был находчив, но о себе ни слова. Оказывается, такая таинственность действует на окружающих куда сильнее, чем обнародованная истина.

Младшая сестра все посматривала на него, чему-то удивляясь. Не узнавала, должно быть? Она была умна и зорка не по возрасту. Она была некрасивой девочкой. Все, что удалось в старшей, все это, слепо повторенное в младшей, не удалось или не совсем удалось, и красота, яркость, солнечность Ирины не повторились в младшей ее сестренке. Они были похожи и разительно несхожи. И несхожесть эта уже сказывалась в характерах. Младшая уже начала осваивать свою трудную судьбу дурнушки, углубляться в себя начала, умнеть, обретать зоркость. Потому и присматривалась так внимательно к Леониду, что поверила и не поверила в него сегодняшнего. Надолго ли он такой и отчего такой? Она знала про него больше, чем старшая сестра, чем мать. Она знала, что он совсем недавно перенес большое горе, что он болен этим горем, еще не оправился. А было ей всего лишь лет двенадцать — тринадцать, этой все понимающей девочке. Этой девочке, изготавливающейся к трудной жизни.

А старшая, о, она не утруждала себя углублением в суть, она была предназначена празднику, и все, что не сулило ей праздник, ею инстинктивно отвергалось.

Любил ли он ее? Он любил другую, ту, что осталась в Ашхабаде. Не погибшую там, уцелевшую, но погибшую для него. Ныне она была замужем, была уже и матерью. Но если он не любил Ирину, не любил ее

так и с той болью, как ту, оставшуюся в Ашхабаде, то уж наверняка был влюблен в Ирину. В солнечность ее, в ее легкость и даже в самовлюбленность. С ней было, в общем-то, просто. Он не то чтобы счастлив был в тот вечер, он оттаивать начал.

На следующий день он снова был у Ирины. И на следующий день — снова. Они ходили по ресторанам, из одного в другой, из одного в другой. Вот и весь праздник, какой он мог устроить Ирине. Бедноватый, конечно, праздник, но другого от него не требовали. И в каком-то из ресторанов во время танца под грохот этот и завывания джазового оркестра Ира пообещала стать его женой.

А наутро, когда, истратив последние свои деньги, все, что осталось от выигрыша, на громадную корзину цветов, он заявился к Ирине домой, то его встретила младшая сестренка и сказала, что Ириши дома нет, что она уехала с мамой в загс, где сегодня, наверное, вот прямо в эту минуту Ирина должна расписаться с Ростиславом. И она еще сказала, маленькая, умная девочка, догадавшаяся, что правда сейчас лучший лекарь:

— Это она нарочно с вами закрутила, чтобы Ростислава подтолкнуть. Не жалейте, вы только ни о чем не жалейте...

Да, рано он начал оттаивать. Все оказалось сродни холоду, как холоден, льдист всякий обман.

Он побрел прочь. Ветер дул, бил в лицо косой, колкий, будто из градин дождь. Запомнился этот колкий дождь на всю жизнь. И мокрые стены по одну сторону улиц и сухие по другую — и это запомнилось. Все шли по той стороне улиц, куда ветер не задувал. Он один шел под дождем и под ветром.

Шел, шел, потом вскочил в троллейбус, потом опять куда-то шел, не ведая куда, но все же имея какую-то цель, и вот вышел к круглой тихой площадке с цветником повявших осенних цветов посредине и с квадригой могучих коней на фасаде здания, похожего мирным ликом на помещичий деревенский особняк. То были бега, в полукруге этого дома начинался ипподром.

А потом все было, как в том фильме, который мог сотворить лишь господь бог. До него очень редко доходят наши молитвы, и ему неведомы сострадание и жалость по законам наших сюжетов, а ведом, должно

быть, свой собственный сюжет для каждой души человеческой, тот самый, имя которому — вся жизнь.

У Леонида была припрятана заветная сотня, теперь уж совсем последняя изо всех его трех почти тысяч. Эту сотню он и пустил в дело. «Три-четыре» — вот и вся была его стратегия. В первой паре заездов, во второй, в третьей. Он уповал на чудо, на еще недавнюю свою удачу. Он уповал на справедливость, ибо нельзя же так обходиться с человеком, чтобы жизнь била, била его и тогда даже, когда подманила удачей. Не затем же, чтобы еще сильней ударить? Он уповал на чудо, не веруя стал верующим. Бог не внял молитвам, у него были свои планы касательно раба заблудшего Леонида. И сотня сгинула. И еще три сотни сгинули, которые тут же, на бегах, выручил Леонид за свои часы. Эти деньги он ставил в иных уже сочетаниях. Он пытался быть мудрым, осторожным, хитрым. Он прислушивался к шепоту знатоков, он вжимался в их ряды, он дежурил у касс, стараясь углядеть, кто как ставит. Он шел следом за самыми обтрепанными, самыми что ни на есть крохоборствующими игроками, ибо нищета обучила их счету. Он не выиграл ни разу.

И еще долго звенел в его ушах стартовый колокол, когда он брел от ипподрома домой, долго брел, без единой монетки в кармане, не смея зайцем сесть в трамвай. И для этого — чтобы зайцем проехать на трамвае — надобно мужество. А оно покинуло его окончательно. И холодно было, как никогда за всю жизнь. И привязалась эта фраза девочки, он все проборматывал ее: «Не жалейте, вы только ни о чем не жалейте...» А о чем ему было жалеть? Собственной жизни ему было не жалко. Только вот как?.. Эх, зачем он сдал при демобилизации свой трофейный «вальтер», ну, зачем ему взбрело в голову это сделать?!

6

Клавдия Павловна сразу догадалась, что с ним что-то стряслось. Она не стала расспрашивать его ни о чем, ахать и охать вокруг него, а он весь вымок и помертвелый какой-то был. Она принесла ему большую кружку крепчайшего чая, кусок хлеба, щедро намазанный маслом, приказала:

— Ешьте! Согревайтесь!

Он присел на краешек тахты и стал, обжигаясь, прихлебывать из кружки. Синяя фаянсовая кружка напомнила ему такую же или почти такую же синюю кружку из его детства, и он вдруг заплакал, стыдясь своих слез, комкая в себе всхлипы, вздрагивая, расплескивая чай.

За двустворчатой дверью слышались приглушенные голоса. Там почти шепотом разговаривали, а все же и этот шепот был слышен. Стало быть, и его всхлипы могли быть услышаны. И он душил их в себе, захлебываясь чаем, обжигаясь. Где-то далеко-далеко снова прозвенел стартовый колокол, и снова замелькали перед глазами расплывшиеся тела лошадей, как плоские капли, разноцветные капли, перетекающие друг в друга. Потом он заснул не раздеваясь, привалившись к стене. Потом проснулся. Еще ничего не вспомнив, он лишь вспомнил, что только что пил чай, держал в руке синюю кружку, а сейчас почему-то очутился под одеялом, был раздет и кружка стояла вдалеке, на одноногом столике. А в кресле-качалке, обернувшись к нему лицом, подремывал Сергей Сергеевич. Он в кресле устроился основательно, укрыв ноги пледом.

— Проснулись? — спросил он, мигом открыв глаза. — Уж вы простите меня, что помог вам раздеться. Мне показалось сперва, что вы выпили. А потом нет, смотрю, жар у вас. Сейчас-то как вы себя чувствуете?

— Сейчас?..

Все вспомнилось, все разом вспомнилось, памятно ударило по глазам.

— Глаза болят.

— Простуда. Сильнейшая простуда. Можно я спрошу вас, Леня?

— Спрашивайте.

— Вы были на бегах?

— Да.

— Проигрались?

— Да.

— Моя вина! Моя вина! — Сергей Сергеевич так сильно ударил кулаками по подлокотникам, что качалка даже подпрыгнула и закачалась, будто желая его успокоить, будто был он дитя малое и безутешное.

А он и был безутешен.

— Моя вина! Моя вина! — И качался, качался.

Смешно было глядеть на этого укутанного в плед

младенца лет пятидесяти. И чего он так убивается? Ему-то что?

— Не привезли, не привезли ноне лошадки, — сказал Леонид, чужие чьи-то повторив слова. — Ну, не всякий раз!

— Замолчите! — прикрикнул на него мирнейший Сергей Сергеевич, устыдившись тут же, ладонью прихлопнул рот. — Моя вина... Моя вина... — горестно промычал он из-под ладони. — Все спустили?

— Все.

— И слава богу!

— Даже на трамвай не оставил. Как водится...

— Как водится... Да знаете ли вы, как оно водится?..

— Сергей Сергеевич, не донимайте его! — явственно прозвучал голос Клавдии Павловны. — Дались вам эти бега. Других у людей и забот будто нет. Леня, а вы не разговаривайте, вы спите, спите. От вас и через стенку жаром пышет. Утречком позовем врача, а сейчас спите, спите.

— Хорошо, Клавдия Павловна, — отозвался Леонид. — Спасибо вам.

Ему показалось, что она протянула через стенку руку, положила ему на лоб, и рука ее была прохладна, избавляюще прохладна и добра.

Что же с ним? Неужели он действительно заболел? Он стал прислушиваться к себе. Сперва он услышал свое дыхание, оно было прерывистым каким-то, со свистом. И он никак не мог хорошенько вдохнуть в себя воздух. Не получалось. И там, внутри, где были легкие, там что-то будто разрослось, разбухло, не своим стало. Туда-то и не удавалось вобрать воздуха. Глаза болели, нестерпимо болели глаза.

— Да, я заболел, — признался он сам себе вслух.

— Простудились, — кивнул-качнулся Сергей Сергеевич. — На бегах, если проигрался, обязательно простудишься. А с выигрыша — никогда. Ну, одно хорошо: может, закаетесь туда ходить. Моя вина, моя вина...

— Что же теперь будет? Куда же я теперь?

Страшно сделалось. Пугала больница. И одиночество, навалилось с потолка одиночество белым и узким прямоугольником, как крышка гроба. Во всем громадном городе, в родном городе он никому не был нужен.

— А ничего особенного не случилось, — сказала из-

за стены Клавдия Павловна. — Ну, заболели, с кем не бывает. Отлежитесь, выходим. У нас тут и врач свой по соседству есть. Преотличнейший старичок. Выходим. Нет, нет, в больницу вам незачем. Там теснота, казенщина. Болейте спокойно, Леня, не тревожьтесь.

Как отчетливо услышал Леонид Викторович ее голос, каждое ее слово. Все вспомнил. И каждое слово и звук голоса. И как благодарностью сжалось горло, и ничего не сумел он ответить. И как качался, кивая, Сергей Сергеевич, добро изморщинив лицо. Возможно ли, сколько лет прошло, да те ли были слова, так ли звучали? Те слова, так звучал голос. Все вспомнилось.

Так бывает, должно быть, когда уж очень устремится душа к прошлому, когда всю память всколыхнет, переворошит, добывая для себя что-то понадобившееся ей, как воздух для жизни.

Рано утром пришел доктор, звали его Осипом Ивановичем. Сейчас такой старичок был бы на пенсии, но тогда работали до последнего дня, о пенсиях и не поминали, столь они были мизерны, и Осип Иванович, старенький, пришаркивающий, и смолоду-то малого роста, а к старости и вовсе став крохотным, пришел спозаранку, чтобы поспеть потом на работу.

Мал-то он был мал, а держался осанисто, как и должно врачу. И голос у него, тонковатый от природы, был все же оснащен и низкими нотами. Этих нот хватало, чтобы внушить больному необходимую покорность, чтобы больной, чего доброго, не вздумал бы ослушаться врача.

— Ну-с, молодой человек, — потирая ручки, промолвил доктор. — Что у нас случилось-приключилось?

Все врачи, которых помнил из своего детства Леонид, так же вот приговаривали «ну-с» и так же вот потирали ладони. А затем прописывали сладковатые микстуры и, пощупав железы, зловеще поминали про рыбий жир. Благословенное время, где самым страшным был рыбий жир. Леонид мигом поверил в этого доктора, в этого из детства доброго гнома, и улыбнулся ему запекшимися губами.

— Простудился, доктор. Не воспаление ли легких?

— Случалось уже?

— Нет.

— А что случалось?

— Скарлатина.

— В отрочестве? В младости?

— Мне было семь лет. Но меня не повезли в больницу, я очень боюсь больниц, доктор. На фронте я не так раны боялся, как боялся, что попаду в госпиталь.

— Так-так-так. Представление дикаря. Ну-с, дышите... Еще... Еще... Да, голубчик мой, где же вы ухитрились так простудиться?

— Брел по улицам. Был ветер, дождь...

— А на душе, а на душе как было? — Седой бобрик доктора мягко колол спину.

— Скверно.

— Вот это хуже ветра.— Доктор распрямился, отложил свои трубки.— Помню, в гражданскую я две недели провел в вагоне среди сыпнотифозных и не заболел. Настроение было преотличное. Деникина гнали. И был я влюблен в Любочку, в распрелестную сестру милосердия. И, знаете ли, не без взаимности. Болезнь, молодой человек, бессильна перед сильным духом.

— Да, пожалуй.

— Ложитесь, одеяло под подбородок. Что ж, диагноз поставили верный: у вас пневмония. Крупозная. Уж болеть, так болеть.

— Значит, больница?

— Будет зависеть от вас. Раскваситесь, падете духом — не миновать больницы. А пока что попытайтесь уснуть. И чтобы снились веселые, бодрые сны. Есть у вас такие в запасе?

— Поищу.

— Ну-ну, не робейте.— И доктор ласково ему улыбнулся.— Пенициллинчик бы вот где-нибудь раздобыть. Надо же, плесень, а дороже золота.

Доктор ушел, пришаркивая, но держась прямо, осанисто. Был на нем кителек, брюки заправлены в сапожки. Из тех, из тех он был людей, что гнали Деникина и ничего на свете не боялись, потому что было у них преотличное настроение.

7

Подошло обеденное время, и в кафе стало людно. Даром что холодно было в этом летнем сооружении. Но уже привыкли к нему за лето, все, кто поблизости работал, привыкли к скорому обеду на утлых столиках,

на которых и свой можно было разложить припас,— не строгое кафе, не настоящее, а всего-навсего летний павильон.

Пришли сюда и двое пожилых рабочих с двумя молодыми помощницами, что рушили домик Клавдии Павловны. Пришли и еще от дверей сразу приметили как знакомца Леонида Викторовича. А он просто обрадовался им, поднялся, замахал рукой, зовя за свой столик. Трудно порой одному за столиком.

Девушкам было интересно, что за человек, и они сразу подошли и уселись на пододвинутые им стулья. Степенно подошли и мужчины.

— Выпьем немного, не повредит?— предложил Леонид Викторович.

— Не строим, ломаем, можно и выпить,— соглашаясь, наклонил голову один из пожилых и протянул руку, знакомясь:— Федоров Захар Иванович.

Следом и другие представились:

— Пушкарев Николай.

— Зина.

— Нина.

Обменялись рукопожатиями, раскланялись, и Леонид Викторович пошел к стойке за вином, радуясь этому внезапному знакомству, передышке этой.

В буфете имелся коньяк, и посему, желая как можно лучше угостить сокрушителей стен, Леонид Викторович принес бутылку коньяка. А девушки взяли сарделек на всю пятерку — их теперь пятеро стало, кефира, принесли на тарелке на всю артель гору хлеба. У Федорова и Пушкарева был свой припас, еда из дома. Выложили и этот припас на стол. Водочки бы к этой еде, к куску колбасы и целой селедке, но водочки в кафе не было. Леонид Викторович пожалел об этом, его бутылка коньяка как-то не смотрелась здесь. Но что делать, пришлось разливать по стаканам коньяк. Девушкам поменьше, мужчинам побольше — вся бутылка разом и опорожнилась.

— Стало быть, жили в этом доме?— спросил Захар Иванович.

— Жил. Молодым был.

— Как мы? — спросила Нина. Ей было лет двадцать. Все смеялось, лукавилось в ней. И хоть была она в спецовке, заляпанной, заскорузлой, но и из этой спецовки выступало ее юное тело, упругое и гибкое.

— Нет, старше.

— Так какой же тогда молодой? Вот мы с Зиной еще годик-два поживем — и прощай молодость. Верно, Зинок?

— Верно,— согласилась Зина, смущенно прикрыв ладонью лицо.

Ей тоже, наверное, было лет двадцать, но выглядела она много старше. Глаза у нее были старше. В неприметном, сереньком ее лице удивительно заметны были глаза. Серьезные, упористо-внимательные, разбирающиеся. Труднее жилось? Детство было труднее, чем у Нины? Расспросить бы, узнать бы про их жизнь. А то посидят минут с десять и уйдут, и все, и нет их, и больше никогда не встретятся. А жаль. С годами особенно начинаешь жалеть, что промельком идет жизнь. Ведь вот они, ведь это молодость, которой утверждаться. Не тебе владеть завтрашним днем, не Федорову Захару Ивановичу и не Пушкареву Николаю, а им — Зине и Нине.

— Вы из деревни?— спросил он Зину, ту, у которой были серьезные глаза.

— Из деревни.

— Отец с матерью живы ли? Нет, наверное?

— Померли.

— А вы москвичка, верно?— спросил он Нину.

— Угадали.

— В вечерней школе учитесь, в институт собираетесь?

— Угадали.

— Понимает человек жизнь, сразу видно,— сказал Захар Иванович.— Что ж мы, этот напиток выдыхается.

Все подняли свои стаканы, потянулись чокаться.

— А за что? — спросила Нина.— Полагается слова говорить.

— За вас,— сказал Леонид Викторович.— За вас с Зиной. За молодость. Вам жить. За ваше счастье.

Тост понравился.

— Ладненько, мы поживем,— сказала Нина.— Только вот в получку мало приходится. Бригадир, за нас пьешь, а нет чтобы на премию вытянуть. Скуповат ты, дядя Захар. Мелочишься.

— Каждому по труду,— весомо произнес Захар Иванович.

Все выпили. И до дна, как и полагается, если тост произнесен.

— И что в нем, в этом коньяке?—сказала Зина и быстро закрыла ладонью лицо, будто устыдилась, что пьет.

— Напиток,— пояснил ей Захар Иванович.— По градусам не хуже водки. Аппетит только отшибает.

— Да, вкус не тот, —заметил его напарник Пушкарев.— Вкус у него не разбери поймешь. Забава?

— А водка не забава?— спросила Зина.

— Водка — предмет серьезный. Вот, можем сравнить.— Пушкарев сунул руку в карман штанов и — нате вам! — выставил на стол четвертинку «российской».

— Гляди!— удивился Захар Иванович.— А я и в мыслях не держал.

Разлили по стаканам и четвертинку.

— Теперь за вас, мужички,— сказала Нина.— Чтобы пенсия вам вышла хорошая.

— Эта мысль правильная,— похвалил ее Пушкарев.

Выпили, начали закусывать. Под водку и верно еда показалась куда вкуснее.

Давно уже так не ел Леонид Викторович: с газетки, отламывая, крепко приправляя горчицей. И так дружно со всеми, артельно. Хороший народ. Малость запьянел Леонид Викторович. Тепло ему стало, покойно. Осень за стеклами уютнее сделалась. Ну, дождь, ну, листья падают, и очень все это даже приятно наблюдать.

— А вы что там на стене нашли?— вдруг спросила его Зина.— Важное что или ничего особенного?

— Когда-то записи у меня были всякие на той стене, на обоях. Придет ночью какая-нибудь мыслишка, бумаги под рукой нет, ну, на обоях и пишешь.— Леонид Викторович добыл из кармана клочок обоев, положил на стол. «Если...» Это слово опять ему ничего не сказало, не напомнило, про что он думал, когда писал его. А написалось оно тогда с таким упором, что вот ни время, ни клейстер не сумели его извести. «Если...» Нет, память отмалчивалась.

— «Если...» И все?— Серьезные глаза старались понять. Но что тут поймешь?— А про что это?

— Не вспоминается.

— Вы думайте, думайте, вспоминайте.

— Этим только сейчас и занят.

Захар Иванович поднялся.

— Нам пора. Рады были познакомиться.

Вместе вышли из кафе, стали прощаться.

— Вы к нам придете еще?— спросила Нина и снова бойко глянула на Леонида Викторовича.— Мы там, где старье теперь сносим, потом строить будем. Долго. По кирпичику. Дом для дипломатов. Придете? Вы из газеты, правда? Мы сразу поняли, что вы из газеты. Вот и напишите про нас, какие мы хорошие. Работяг всегда хвалят.

— И вдруг да вспомните, что тогда написали на стене,— сказала Зина и смущенно потянулась рукой к лицу.— Вдруг что важное... Расскажете тогда?

— Делов у товарища других нету, как к вам бегать да рассказывать,— сказал Захар Иванович.

— А посидели хорошо,— сказал Пушкарев.— Согрелись.

И снова он на улице, где некогда жил, куда забрел нынче совсем случайно. Ну ладно, с собой-то зачем хитрить? Не так уж и случайно забредаем мы на улицы, где когда-то жили, стучимся в двери домов своей молодости, а то и тысячи километров отмахиваем, чтобы только глянуть на скамеечку какую-нибудь, посидеть над обрывом, пройти старым парком. Возрастная дань сентиментальности? Нет, иное. Важно человеку, приходит такой миг, оглянуться. В прошлом своем ему важно опору найти. Чтобы дальше двинуться. Невыносимо трудно бывает всего шаг дальше сделать, если сперва не оглянешься на пройденное. Не на весь путь, зачем же, а лишь на ту его часть, где был ты счастлив, смел или трудно тебе было без меры. Счастливое, смелое, трудное с годами объединяется, складываясь в главные вехи жизни. И не понять уже, что было лучше, что было важнее. А память хранит, память приберегает для тебя все это. И в должный час выпускает на волю. Вот и пойми, случайно ли ты забрел на свою улицу...

8

Не увиделись ему тогда веселые, бодрые сны, про которые толковал доктор. Да и спал ли он? Дни слились с ночами, сон с явью. Ему было так худо, что сны по-

кинули его. Помирать, что ли, собрался? Вместо снов все время что-то мерещилось, что-то, что добывала память, нежданные, накрепко забытые картины из детства. Совсем маленьким он себя увидел. Пожар вспомнился, когда ему было три года. Высоченная, тонкая, прогибающаяся лестница тянулась от земли к его окну, и по этой лестнице двигались вверх черные острые усы. Все ближе, ближе. Потом эти усы оказались рядом, и человек в брезентовой куртке с медными яркими пуговицами начал манить его к себе, шевеля пальцами. И шевеля усами, как сказочный кот. Он придвинулся к этому коту, кот схватил его и понес по гнущейся, зыбкой лестнице. А внизу была мама и ее руки, подхватившие его. И вот уже совсем иное надвинулось, зажило в глазах. И тоже, казалось, напрочь забытое. Дом, где он жил в детстве, в самом раннем детстве, выходил окнами на шумную, рыночную Большую Грузинскую. Рынок подкатывал свои волны к краю улицы, захлестывал и самое улицу. Оглушительно звоня, пробирались через толпу трамваи. Кричали извозчики, надсаживая голоса. Лошади не смели идти на людей, пятились. Сидя на подоконнике, он смотрел на эту толпу, слушал этот уличный голос — маленький горожанин, которому все здесь казалось обычным, как деревенскому мальчику кажется обычным поле перед окном или лес за огородом. Он смотрел и ничего не запоминал: ведь обычное не запоминается. А сейчас из той толпы под окном полезли в глаза лица, лица, лица. Скверные, пугающие. Рыночная толпа разбилась для него на отдельных людей, и эти люди зло, скверно на него поглядывали, будто приценялись, будто прикидывали, а нельзя ли его продать. И тотчас вспомнилось, как он отстал от матери однажды все там же, в скверике напротив, рядом с рынком и аптекой, что стояла на углу площади. Он отстал, замешкался и потерял мать, а она его. И сразу же к нему подошла старая цыганка и, жалея (а он заплакал), укрыла его своей большой цветастой шалью. С головой укрыла. Вспомнилась духота этой шали и громадный желтый цветок, наползший на глаза. «Пойдем, дитятко, пойдем со мной»,— сладко сказала цыганка и потянула его куда-то. И он понял, что погибает, что цыганка решила украсть его, он это понял, но ничего не мог поделать, обессилев под этой удушливой шалью. Страх, самый страшный страх из всего детства сковал тогда

его. Но вдруг голос матери пронзил сердце. Она нашла, она поспела вовремя, она сдернула с его головы эту погибельную шаль. И радость, самая радостная радость из всего его детства грянула тогда для него. Все забылось. Все вспомнилось. Но это был не сон, а явь. Пожалуй, да, пожалуй, так подступает смерть, возвращая человека к его детству. Потом и еще поводит за руку по жизни и еще что-то покажет, словно заново велит пережить, а потом отпустит твою руку, и вот ты и умер. Говорят, так все вспоминается перед залпом, за миг один до залпа, когда человека выводят на расстрел. Про это знают те, кому удалось все же выжить. Знают, но не рассказывают. Об этом догадываются по их застывшим лицам. Припоминающим лицам. Ведь память им столько успела напомнить. А думают, что они об этом залпе вспоминают. Нет, они вспоминают о том, как промелькнула перед глазами жизнь, от самого детства, и как это ярко все было. Сберечь бы, сберечь эту яркость.

По детству, только по детству путешествовал он в первые дни своей болезни, путая дни и ночи, сон и явь. Дальше детства ему дороги были заказаны. Наверное, так полагается, когда еще не окончательно ясно, что пришла пора человеку помирать. Кому ясно? А вот это не ясно. И все-таки кто-то да управляет тобой, человек, распоряжается тобой. Совесть? Пусть так, пусть Совесть.

Ночами возле него дежурил Сергей Сергеевич, днем — Клавдия Павловна. Днем было ему легче, он приходил иногда в себя, выбираясь из воспоминаний, где жил с тем же бьющимся сердцем, как и в пору, когда все это происходило.

Клавдия Павловна устраивалась в качалке и вязала. Все время перед глазами были ее руки. Они вязали, оправляли ему постель, меняли компрессы. Они были ловки, добры, избавляюще добры. Иногда она разговаривала с ним. Она ни о чем его не спрашивала. Она рассказывала. Какие-то тихие все истории рассказывала она ему. В них люди были нешумливы, отзывчивы, добросердечны. Они никуда не торопились, но у них все получалось споро, ладно. Не сказки ли она ему рассказывала, какие-то особенные сказки, которые слагают для заболевших взрослых? Он не запоминал ее историй, да их было бы трудно запомнить, они были бедны

событиями, но он все время жил в звуке ее голоса, в покое этого голоса. Такие голоса бывают у надежных людей, в них не уловить ни фальшивинки, той самой, с какой разговаривают и самые замечательные актрисы. Вот, вот, она была совсем не актрисой, и все, что она делала, было естественным, правдивым. Ведь правда живет и в движениях.

Днем ему было лучше, он легче дышал. Самым изнурительным в этой болезни было то, что человек разучивался дышать. Он все делал как надо, он дышал, но воздуха в себе не слышал. И тогда надвигался страх, что придет удушье. Удушья еще не было, а страх появлялся. И начиналась паника, панические начинались движения, чтобы ухватить куда-то подевавшийся воздух. Клавдия Павловна всякий раз одним только прикосновением руки снимала эту панику, она всякий раз будто чудо свершала, даря ему воздух мановением руки. И звучал, звучал ее голос, повествующий о каких-то малостях людской жизни, о заботах и радостях совсем крошечных, удивительный голос, без фальшивинки.

Осип Иванович и утром появлялся и к вечеру, после работы. А когда не было его, а приходило время делать уколы — пенициллин, эту драгоценную заграничную плесень, раздобыли,— то уколы делала Любовь Марковна, та самая Любочка, распрелестная сестра милосердия, которая еще в гражданскую ответила взаимностью Осипу Ивановичу.

Годы, конечно, многое порушили в этой Любочке, но все же не смогли одолеть ее горделивую стать, и коса у нее была, как в пору молодости, величественная, легшая короной вокруг гордо поднятой головы. Такая королева, а досталась совсем не видному, не рослому, куда там, Осипу Ивановичу. И, кажется, премного была благодарна судьбе, что именно ему досталась. Когда они бывали вместе, то сразу видно делалось, что они души друг в дружке не чают. И удивительно дополняют друг друга. Он — это ум и воля, она — это красота, обаяние и тоже, конечно, ум и воля, но только не такой высочайшей пробы, тут она ему уступала.

Любовь Марковна так и осталась сестрой милосердия, хотя нынче ее перекрестили в старшую медицинскую сестру. А жаль, что вывелось это звание — сестра милосердия. Чего стыдиться — милосердия? Вот Любовь Марковна так и осталась милосердной сестрой. Повезло

ему, и еще одна женщина умела прикосновением рук дарить ему облегчение. Она была противница всех этих новаций, всех этих чудодейственных новых лекарств и особенно подозрительной этой плесени — пенициллина. Она была сторонницей старых, проверенных способов лечения и веровала, как и муж, что воля к жизни врачует прежде всех лекарств. Но муж был еще и за прогресс, и не ей было с ним спорить, поскольку, не имея никаких медицинских чинов и званий, ее Осип Иванович был одним из лучших в Москве терапевтов — это уж точно так, это уж было доказано и признано многими авторитетами. Повезло ему, его лечил один из лучших врачей в городе.

Лучший врач, лучшая сестра милосердия, лучшая сиделка с удивительными руками, с удивительным голосом, знающая тихо-мирные сказки для больных взрослых, и лучший дежурный и в ночные часы, о каком только можно было мечтать. Сергей Сергеевич сказок не рассказывал, руками чудес сотворить не мог, голос его был прокурен до хрипоты, но он свой знал секрет, как обходиться с тяжко больным человеком. Секрет этот, если вдуматься, все припомнив, был донельзя прост. Сергей Сергеевич обходился с ним так, как если бы пришел ночью всего-навсего навестить не уснувшего еще приятеля. Ну, не спится соседу, вот и зашел поболтать. Зашел, уселся в качалку, укутал ноги пледом — долго ли простыть-то,— и потекла беседа. У русского человека и тогда беседа, когда он один говорит, и тогда, когда он только слушает. Сергей Сергеевич говорил о своих делах киоскерских, о бегах говорил, хотя об этом и скупо, перемежая свои будни философскими отступлениями, рассуждениями о судьбах мира, всего человечества, итожил войну, недоумевал и вопрошал, чего-то не понимая в нынешнем ходе жизни, но надеясь на лучшее, уповая на лучшее. И он все время приговаривал:

— Завидую вам, Леня. Вам жить еще сколько. Дождетесь, вы дождетесь.

И не знал он, милый Сергей Сергеевич, что этот поверженный болезнью Леня, сколько бы дальше ни жил, как бы бойко, и весело, и просторно, спустя много лет снова вернется в мыслях своих в эту узкую комнату, на эту тяжкую для него койку, потому что здесь-то как раз и завидную познал он жизнь. Да и сам повержен-

ный про это не мог бы догадаться. Был он тогда несчастен, сотрясен, отвергнут, заболел, был без гроша. Чему уж тут завидовать?

9

Вот они где жили, Осип Иванович и Любовь Марковна, в этом старом доме с прилегшим на фронтоне львом. Это тоже был дом из серии доходных, которые понастроили в Москве в начале века. Зачем понадобился хозяину лев на доме — как узнать, но, видно, без льва он не мыслил взять доход со своего дома, он, надо думать, предназначал его для квартирантов с фантазией, с притязаниями на сановитость, на всякую там геральдику.

Да, дом уцелел, и ему еще стоять и стоять, он крепок, осанист, и он мудро отодвинут за нынешнюю линию улицы, так что никому и в голову не придет его сносить, он никому не помеха. Одно неудобство: в этом доме, как, впрочем, в большинстве его сверстников, слишком велики квартиры. Их планировали на людей богатых, на московскую верхушку, строили с размахом, с залами и гостиными, с парадным входом и с черным. А революция взяла да и вселила в эти дома рабочий московский люд. По семье на комнату, на две. Революция вселила в эти дома хлынувших в столицу пролетариев со всей страны. Барские тихие квартиры стали шумны и многолюдны, они превратились в общежития, а иначе — в коммуналки. Это имя прижилось. И хотя кому же не ведомо, что жизнь в коммуналках не проста и не легка, иные из этих коммуналок являли примеры действительно дружного, коммунного общения людей, чужих людей, которых свело вместе общее житие. И все дело, вся удача чаще всего зависела от одного, двух человек, от той ячейки добра и человечности, вокруг которой начинали нарождаться и другие такие же ячейки добра и человечности, ибо пример добра тоже заразителен, как и пример зла.

Осип Иванович и Любовь Марковна и были такими двумя добрыми людьми в своей громадной коммунальной квартире, где мир царил, где жила дружба.

А через улицу, если взять наискосок, если войти во двор барского особняка, где ныне разместилась иностранная держава, если углубиться во двор и свернуть к брандмауэру, то этот домик, флигелек этот, столь без-

жалостно ныне сносимый, — ведь и он был некогда средоточием добра и человеческой теплоты, потому что жили в нем два добрых, сердечных человека — Клавдия Павловна и Сергей Сергеевич. Дом со львом и этот флигелек были разделены улицей, а московская улица так делит людей, что они за всю свою жизнь могут не повстречаться, но эти две пары и встретились и подружились. И, кажется, вся улица приметила этих людей, оценила их дружбу, потянулась к ним. Пожалуй, не только квартиру, но и дом, но и улицу можно назвать общежитием для людей, тут живущих. И разве не встречаются скверные, злобные общежития-улицы, равно как и добрые, приветливые? А все дело порой в каких-нибудь двух-трех обитателях этой улицы, все дело в людском зачине.

Улица, по которой шел сейчас Леонид Викторович, когда он жил здесь, была доброй, вот именно — доброй. А всему начало, доброте начало, теперь он был уверен в этом, положили тут Клавдия Павловна и Сергей Сергеевич, Осип Иванович и Любовь Марковна.

Живы ли еще доктор и его статная сестра милосердия? Нет, пожалуй. Уж доктора-то наверняка нет, он и тогда был стар, пришаркивал. Бодрость духа творит чудеса, но перед старостью и она пасует. А сестра милосердия? Как же захотелось, чтобы все было так, как было, чтобы он поднялся сейчас к ним на второй этаж и, изумившись их парадной двери, на которой всего один звонок и один почтовый ящик, а надпись гласила: «Всем один звонок!» — и улыбнувшись этой надписи, исполненной каллиграфом, свершив этот единственный звонок, услышав слабый, а все же бодрый всплеск звонка, он бы затем услышал неспешные шаги, а в дверях, неторопливо отомкнутых, встала бы Любовь Марковна. В строгом платье, с короной-косой вокруг головы, со взглядом взыскующим и готовым к добру. Мыслимо ли? Возможно ли? Два с лишним десятилетия позади.

Вздумалось зайти в дом, толкнулось туда сердце. И сердце же остерегло. Нет там их, милых стариков его, их нигде больше нет, их не стало. А он упустил, прозевал годы и годы, когда бы мог еще застать их. Сколько же всего упустил он!

И все же он вошел в дом, поднялся на второй этаж. Надпись — цела ли? Ему очень важно было, чтобы она

уцелела. Нет, ее не было. Да и как было ей уцелеть, когда ремонты тут сменяли один другой, и выносились из этих широких дверей гробы, и вносились в них новые шкафы и кровати, уезжали и въезжали, умирали тут и рождались. Надписи не было, но, правда, и иных каких-либо надписей не было и звонок при двери был всего один. Это обрадовало. Значит, дух былой все же не умер в этой квартире. Это посулило надежду.

Он позвонил. Звонок был новый, переливчатый, какой-то с дамского голоса, когда дамы, изображая светскость и молодость, вскрикивают по телефону: «Ал-л-л-уо!»

Затем послышались легкие, но и не воздушные шаги, и точно такая именно дама, в халатике, с лоснящимся от крема молодым — от тридцати до сорока — лицом встала на пороге.

— Вы к кому?

Он был подвергнут мгновенному осмотру. Миг-то миг, а он был рассмотрен доскональнейшим образом. И было решено про него, что он еще ничего, что он заслуживает некоторого внимания, хотя, конечно, какой-то он хмурый, настороженный, будто испуганный или не совсем здоров. А впрочем...

— Я хотел бы узнать...

— Да?— пропела, подражая звонку, дама. Пожалуй, она была ближе к сорока, чем к тридцати.

— Живут ли здесь еще Осип Иванович и Любовь Марковна?— Он даже показал, сколь небольшого роста был Осип Иванович и как представительна была Любовь Марковна.— Знаете?..

Она внимательно следила за движениями его рук, вспоминала.

— А-а-а! Ну-ну-ну! Такая милая, пряменькая старушка?! Нет, его я не помню, не застала, а ее припоминаю. Но только я переехала, только мы с мужем переехали — это было десять лет назад,— как... вскоре...— Дама запнулась на трудном слове.— А она вам кем была?

— Доброй, очень доброй знакомой.

— Да, припоминаю, милая была старушка. Я теперь живу в ее комнате. Помнится, мы дружили. Характер, волевая была. Мы все тут ее слушались. Вы очень огорчены, да? Но, как говорится, такова жизнь. Все мы...

— Да, да. Можно мне взглянуть на ее комнату, на их комнату?

— Что ж, проходите.

— Я только взгляну, и все.

— Прошу, прошу.— Дама двинулась в глубь коридора.— Не оступитесь, тут у нас темновато.

Раньше в коридоре было светло, он помнил, было светло. А телефон стоял не на стуле, как сейчас, а на специальном столике, возле которого можно было и посидеть в стареньких, но удобных креслицах, купленных жильцами в складчину и для общего блага.

Коридор был долог и просторен. Таким он вспомнился и забылся. Теперь это была всего лишь щель для прохода, а вдоль этой щели громоздилась, наглухо прикрыв стены, умершая мебель. И только подступы к дверям в комнаты снова являли былой здесь простор.

— Сюда, сюда,— звала дама.

Он отстал, ему трудно было продвигаться, он все время обо что-то ударялся, отовсюду торчали углы.

Дама распахнула дверь в свою комнату, и стало посветлей.

— Извольте, смотрите. Правда, у меня еще не прибрано. Поздно ложусь, поздно встаю.

Он стоял на пороге их комнаты. Большой, с двумя окнами и балконом. Светло в ней было, хоть и пасмурный был день.

— Войдите, войдите,— сказала дама.— Снимайте пальто, присаживайтесь. Хотите кофе? Я как раз собиралась кофе пить, когда вы позвонили. Ну, за компанию? Расскажите хоть, кто вы и откуда? Меня зовут Валентиной Андреевной. А вас?

Он представился. И вошел в комнату. И снял пальто, как ему было велено, повесил его на крючок у двери. А не надо было всего этого делать. Надо было поворачиваться и уходить. Да побыстрей. Пока еще все новое здесь не вытеснило напрочь того, что хранилось в памяти. Все тут было оглушительно чужим. И не плохим и не хорошим, а обычным, под стать этой даме около сорока, со всем тем набором приличных вещей при малом достатке и явно одиноком проживании,— да, все было обычным и ему не нужным. Он-то пришел не к этим вещам, его потянуло сюда прошлое. Прошлого здесь не было. И следа не осталось в этой комнате от доктора Осипа Ивановича и сестры милосердия Лю-

бови Марковны. Да и в этой квартире тоже. А на улице, где когда-то всех ее обитателей, особенно бедных и сирых, лечил безвозмездно доктор Осип Иванович? А на улице след остался. Он был этим следом. Он сам. Потому и очутился нынче здесь, что и по прошествии многих лет был он связан с этой улицей узами памяти, благодарности и печали.

А в комнате этой ему оставаться было незачем. Но уже налит был кофе, уже подсела к столику радушно заулыбавшаяся Валентина Андреевна, смущенная, хоть и в меру, что ее халатик все время распахивался и просто рук не хватало, чтобы уследить за всеми его вольностями.

— Вы уж простите меня: и в комнате не прибрано, и сама я...

— Это вы меня простите за вторжение.

Она рукой указала ему на стул, и халатик тотчас этим воспользовался, дерзко приоткрыв ее колени.

— О господи!— Валентина Андреевна расхохоталась.— Не смотрите так на меня.

— Как? — тупо спросил он.

— А так, с осуждением. Что, мол, за дамочка такая? Я же понимаю... У вас все в душе грустит, а тут этот халатик на босу ногу. И все совсем другое вокруг. Правильно?

Он подошел к окну, к правому окну, вдруг вспомнив, что из него можно было заглянуть во двор особняка, можно было увидеть флигелек Клавдии Павловны.

Вот он стоит, еще стоит, наполовину порушенный, будто и его настигло землетрясение, но все еще узнаваемый, еще с целыми на одной стене окнами. Он вспомнил, что у Клавдии Павловны с Любовью Марковной было условлено звать друг друга в гости или по делу с помощью разного цвета кусков материи, которые они вывешивали в окнах. Телефона у Клавдии Павловны не было, и они условились прибегать к этой сигнализации. Если материя вывешивалась красная, то это был призыв к деловому свиданию, а если желтая, то, значит, звали в гости. По вечерам куски материи заменялись керосиновым фонарем с красным или желтым стеклом.

— Нет, не все тут другое,— сказал он.— Не все.

Сквозь дрему, сквозь горячую пелену, застилавшую глаза, сквозь ватную какую-то неподвижность воздуха

добирались до него движения, и звуки, и голос Клавдии Павловны, приказывавшей Сергею Сергеевичу: «Повесьте красный лоскут... Поставьте красное стекло...» Сперва он не мог уразуметь, что это, о чем она. И как-то спросил, когда было ему полегче. Спросил, не померещились ли ему эти слова про красный лоскут и красное стекло. И тогда-то Клавдия Павловна рассказала ему об этой сигнализации. И больше уже ни разу громко не отдавала этих команд. Ведь красный сигнал был сигналом тревоги. Он подавался, когда ему было особенно худо.

— Можно, я постою здесь недолго?— обернулся от окна Леонид Викторович. Он счел необходимым пояснить:— Там сносят мой дом. Жил там когда-то.

— В молодости?— спросила Валентина Андреевна.

— Да.

Она принесла ему стул и кофе его принесла, поставила на подоконник.

— Что, была там любовь? Я тоже иногда перебираю старые фотографии.

Он внимательно посмотрел на нее. И она смотрела на него, заново его рассматривая.

— Помогает?— спросил он.

— У меня мало хороших фотографий. Всегда снималась не тогда, когда надо было. Не с теми. Полно пьяных морд. Пикники всякие. Курорты. Юрики. Шурики. А кто — и не вспомнить. Но есть две-три все-таки. А одну, самую главную, я изорвала. Жалко как!

Лицо у нее под кремом, с уже подведенными наспех глазами — только вскочила и сразу за тушь,— лицо ее сейчас простым стало и смягчившимся, и было это лицо вовсе никакой не дамы, московской этакой штучки, а было оно бабьим, деревенским лицом. Миловидным, простецким, готовым и к смеху и к слезам. Сейчас в ее измученных тушью глазах встали слезы.

— Конец света! Разнюнилась!— сказала она и улыбнулась не нынешней своей, а той, бабьей улыбкой.

Опечаленная, растерянная женщина стояла перед ним. Вдруг глянула на себя, скосив глаза в зеркало.

— Да господи ж, почти голая!— вскрикнула она и кинулась к шкафу, распахнула дверцу, спряталась за нее.

В качающемся зеркале шкафа увидел Леонид Викторович и себя, и комнату, стены, мебель, и край окна

за спиной. Он увидел себя как бы со стороны, себя, присматривающегося ко всему вокруг и к самому себе в том числе. Эта комната, как и лицо хозяйки, жила двумя обликами. Было тут и городское гнездо хозяйки, и деревенское, хоть и потесненное в углы. Сундучок в одном углу стоял, стыдливо укрытый старыми афишами, заваленный журналами мод. Икона в окладе в углу висела, и хотя это модно нынче, чтобы висели по стенам иконы, но эта была пристроена в углу не по моде, а как положено, как бы и в избе она была пристроена. Какие-то открыточки еще цеплялись к стенам, какие-то высохшие метелочки трав. Половичок жался к двери, домотканый, знавший смолоду избу, сапоги, босую ступню, половицы. Ну, а все прочее было от города. Этот шкаф румынский или болгарский, этот столик журнальный, он же обеденный, чванливые эти креслица и стулья. У нее в комнате был свой мирок выделен, свой, интимный,— тахта, торшер, пуфик из цветастых ромбов — и там-то уж все у нее было городским, нынешним. И оттуда дурманный притекал запах, пахло ее духами. И было там, гнездилось что-то еще такое, что заставляло отводить глаза, стыдное было там что-то, стыдное в этой привыкшей к ее телу тахте, в этих подушечках, затянутых в темный шелк и тоже привыкших к локтю ли, к голове ли, к ногам, может быть. Тахта была накрыта истертым туркменским ковром, текинским. Он близким другом показался — этот ковер. И жаль его стало. Куда занесло?

— А вот и я!— Валентина Андреевна вышагнула из-за шкафа. Принаряженная, даже причесанная, губы успела подвести. И снова была она городской, исконной, снова стала дамой, привлекательной, оживленной, знающей себе цену, в меру счастливой.— Вчера запелась совсем. Не отпускали. Я певица. Эстрадная.

Рассказывая о себе, она приглашала и его рассказать о себе. Не про то, что жил здесь когда-то, не об этом, а про то, кем стал, кем был об нынешний день. В ней начинал пробуждаться к нему интерес — ведь женщины веруют в случай, как в бога. И внезапное это знакомство, эта грусть в их душах и эта осень за окном — это так романтично, так все ускоряет, упрощает. А город, громадный город — он вполне безразличен к тому, кто что делает. Хлопнула дверь — вошел человек, хлопнула дверь — ушел. Но нет, нет... Милые, доб-

рые, родные Осип Иванович и Любовь Марковна, ваши души еще не отлетели от этих стен, еще витают над этой улицей, вы еще тут досматриваете, чтобы все было по совести, по-людски. Спасибо вам!

— Мне пора,— сказал Леонид Викторович и пошел к двери, ступил на деревенский половичок.— Спасибо и вам, Валентина Андреевна.

— Просто Валя,— сказала она.— Уходите? Что так быстро?— Она не стала дожидаться его ответа, все поняв.— Верно, правильно,— покивала она ему, распахивая дверь.— Проберетесь по коридору? С замком управитесь?

— Проберусь. Управлюсь.

Какой-то угол больно ткнул его в бедро, какая-то корзина дряхло проскрипела о чем-то в спину.

— Счастливо!— крикнула ему от своей двери дама Валя.— Не грустите! Чао!

— Да, да...

Замок был старый, все тот же, он узнал его и легко с ним управился.

10

Снова улица приняла его, повела от дома к дому. В далеком ее просвете открылось беспокойное Садовое кольцо, подернутое рябью машин. А тут было тихо. Тут было безлюдно. Но только не для него. Голоса, голоса звучали в ушах. И память, не отпуская, вела с ним свой разговор. Будто канат в нем натянулся и придерживал его здесь. Нельзя было уйти с этой улицы, не закончив разговора с прошлым. Он был ему необходим, этот разговор.

А где были друзья тогда, куда они подевались — все его друзья, которых было так много в ту киношную пору его жизни? Он был болен, он и помереть мог, а ни единого друга не оказалось рядом. Что друзья? Видно, они были тоже для праздников, а не для будней. Вот поправится, вот тогда...

Но чтобы поправиться, надо ему было сражаться за жизнь. И не в одиночку. В одиночку бы он не отбился. И ему помогли, его вытащили, отбили. Вот это и были друзья — те, кто боролся с ним вместе за его жизнь. Друзья, и верно, познаются в беде.

Сколько он проболел? Месяц? Дольше? Считать на-

до было те дни, когда он выпрастывался из-под смерти. А у этих друзей была своя длина. Считать надо было часы в тех днях. И иные минуты в тех часах.

Он присел на скамью в крошечном и недавнем здесь скверике перед новым домом-великаном, за зеркальными окнами которого диковинные зеленели деревья, чуть что не финиковые пальмы. Хороший был дом, просто замечательный. Уж в нем-то никаких коммуналок, конечно, не было.

Осип Иванович не таил от него, что болен он грозно, что надобно все силы напрячь, чтобы не покориться, не сникнуть. Он так и сказал напрямик:

— Все силы в кулак, все силы. А иначе не поручусь.

Он собрал все силы, он напрягся. Он всю свою жизнь обшаривал, стараясь припомнить, когда бывал смел, тверд, настоящим был другом. Память впустила его в детство, а дальше ни на шаг. Как он ни старался, память держала его там, в мальчишеской поре, не пуская ни на ступеньку дальше. Память как бы говорила ему: «Сперва разберись здесь».

Уральский городок Ключевой возник перед глазами. Он жил там до войны, когда отца перевели туда на работу, на строящийся комбинат. С тех пор сколько лет миновало, институт был, война была, землетрясение было. А память пустила его лишь в Ключевой, из детства городок. Разбирайся. Торопись. А еще раньше память держала его совсем уж в детской поре, водила его там от страшного к страшному. Зачем?

Они тогда убежали из Ключевого, он и два его друга, Борис Ермаков и Левка Аванесов. Взяли лодку и поплыли по Каме. Их путь был на Каспий. Они убежали, потому что Бориса ударил ремнем его отчим, потому что повесился их друг дядя Саша. Вот и еще один у него был настоящий друг. Дядя Саша. Он тогда пришел к нему, взбежал по лестнице, распахнул дверь и увидел ноги, которые не касались пола, чуть, самую малость не дотягивались до пола. Он поднял глаза, он не знал, что не надо этого делать. Перед ним висел дядя Саша. Вот куда завела его память, в эту комнату, где человек сам убил себя. А почему? Зачем? Ничего нельзя было понять, родители не сумели им толком ничего объяснить. Дядю Сашу все считали пьяницей, опустившимся человеком, бродягой, а он был удивительно добр, честен, он был мудр и терпелив. Для них, для ребят,

он был высшим авторитетом. Но его обижали, его чурались, и он повесился. Ах так?! Они взяли лодку, дяди Саши лодку, и убежали из дома. На Каспий, где привольное житье, куда так стремился дядя Саша. Это был их протест. Против несправедливости. Они правильно поступили. Они были тверды в своей дружбе, верны. Потом их поймали. И даже продержали несколько дней в пермской «предварилке», покуда не приехал за ними отец Левки. И в этой «предварилке» такого они нагляделись, так натерпелись, что пали духом. Там в камере были скверные люди, подлые и лукавые. Там был человек с перебитым горлом, его звали Хрипуном. Этот человек бил тех, кто послабее, он был беспощаден, но был и угодлив. И все же они и от Хрипуна отбились, потому что были вместе, крепка была их дружба. Потом их отвезли домой. Но это уже потом. А сперва был побег, была Кама, была «предварилка», был Хрипун, и через все это они прошли и остались друзьями.

Где Борис Ермаков, неразговорчивый, даже хмурый и до дерзости смелый,— где он, верный товарищ? Он убит на войне. А Левка где, большеглазый их Левка, который и шагу, казалось, не мог сделать, не спросясь у мамочки, и так боялся холода и не умел плавать, а все же поплыл с ними в утлой лодчонке по Каме, реке нешуточной, суровой, с высокой волной, с крутыми, нависшими берегами? Где он? Убит на войне.

Их не стало, его верных товарищей, его первых друзей, их не стало...

Но память снова вернула их ему. Они встали рядом. Убитые, но живее самых живых, живущих где-то совсем недалеко и бесконечно далеких. Они встали рядом, и их юные лица были добры и открыты. «Ты что, парень?— спрашивали друзья.— Ты что это болеть вздумал? Нам некогда болеть, нам нельзя болеть, у нас дел вон сколько...»

Ему было худо, дышать было нечем, но в изголовье стояли друзья.

В один из тех дней, когда жизнь начала отмерять ему свой паек не часами, а уже минутами, пришла к нему ясность, легко стало дышать, и он сумел приподнять голову. И позвал:

— Боря! Левка!

Еще миг назад они плыли по Каме, а громадный

диск солнца катился по реке перед ними и совсем близко от них. Казалось, стоит только налечь на весла — и можно будет догнать этот красный, маревом подернутый диск. Догнать и обогнать, заглянуть за его край.

— А что там — за краем солнца? — спросил он громко.

Была ночь, но в качалке сидела Клавдия Павловна.

— За краем солнца? — переспросила она.

— Да. Рано утром... когда плывешь по реке... и вдруг солнце...— Он хотел все объяснить Клавдии Павловне, рассказать ей про Каму, про его друзей, но он очень устал и понял, что не сможет всего рассказать, и умолк.

— А за краем,— сказала Клавдия Павловна,— новый день, Леня.— Она тихонько окликнула:— Сергей Сергеевич, фонарь! Нет, лучше сбегайте к автомату, позвоните.

— Бегу, бегу!— с готовностью отозвался из-за стены Сергей Сергеевич.

Он побежал, было слышно, как захлопали двери, как ступил он в лужу своей большущей ногой, значит, дождь шел, и стал сразу слышен этот дождь, как вдруг начинает тикать ночью будильник, который до этого не был слышен.

А Клавдия Павловна заговорила, заговорила весело, принялась рассказывать какую-то свою сказочку. И все время мелькало в ее рассказе его имя: «Знаете, Леня... Вы меня слышите, Леня?.. Леня... Леня... Леня...»

Вскоре появился в комнате Осип Иванович. От него пахло дождем. Его руки были строже, чем обычно, торопливее.

— Ну, с чего это вам не спится, Леня? Не вздумали ли на ножки встать, Леня?

— Леня, он у нас такой,— сказала Клавдия Павловна.

Леня... Леня... Леня... Они ухватились за его имя, они без его имени просто не могли обойтись.

Пришла Любовь Марковна с металлической посудиной, в которой варила-кипятила свой шприц.

— Ну-с, Леня, лицом к стенке!— скомандовала она.

Поворачиваясь, он увидел остановившийся на нем взгляд Клавдии Павловны. Глаза ее те остались в его глазах. Вот и сейчас они встали в его глазах, пожили

там недолго и отодвинулись, отплыли и стали смотреть на него, то приближаясь, то отдаляясь, как огоньки в ночи, — два светящихся огня на всю его потом жизнь.

Клавдия Павловна посмотрела на него своими широко распахнутыми глазами и ушла, и Осип Иванович и сестра милосердия в четыре руки занялись им. У Любови Марковны тоже были на этот раз какие-то потвердевшие и очень торопящиеся руки...

Он очнулся на своей скамье в скверике перед домом-великаном. Очнулся потому, что на него изо всей мочи лаяла кудлатая желтоглазая собачонка. Она была на поводке и прямо рвалась с поводка, задохнуться была готова, лишь бы только ухватить его, укусить.

— Тебе чего?— спросил Леонид Викторович, дивясь такой злобе.

Он любил собак, у него у самого вот уже сколько лет была собака, и он умел с ними разговаривать. Собаки — как дети, они не терпят снисходительного тона, они и угодничества не выносят. Их, конечно, можно запугать, но не стоит этого делать. Лучше всего заговорить с ними дружески, попытаться выяснить отношения, не начиная войны.

— Может, это твоя скамья?— спросил он.

Собаку на поводке держала девочка лет тринадцати, красивая, уже вытянувшаяся, с независимым, даже, жаль, заносчивым личиком. Была она одета во всякие заграничные занятные вещицы, вся замшевая была, если не считать русой косицы, которую она перекинула на грудь.

— Да, это наша скамейка,— сказала девочка.

— Вся? И присесть нельзя никому?

Она внимательно глянула на него, решая, как ответить. А собачка надрывалась в лае и задыхалась, натягивая поводок.

— Я подумала, что вы пьяный,— сказала она.— Или спите. Мы с Джоем не любим пьяных.

— Нет, я не пьяный и я не спал. Я задумался. Он сообразил, что девочке этой столько же лет, сколько было Борису, Левке и ему, когда они поплыли по Каме. Он сообразил это и встрепенулся:

— Слушай-ка, как ты живешь?

— Я?— изумилась девочка его горячности. И сразу замкнулась, стала величественной и неприступной. Как ее мама, наверное, когда какой-нибудь прохожий на-

думает с ней заговорить. В эти годы девочки всегда подражают своим мамам. А мамы у них, у таких вот девочек, еще молоды, еще многое их ждет впереди.

— А вам-то что за забота?— сказала девочка, обдав его холодом.

— Верно. Прости. Слушай-ка, отчего у тебя собака такая злая? Как это вышло, что она такая злая?

— Порода. Она у нас норная. Она должна быть злющей-презлющей. Иначе разве возьмешь лису или там барсука.

— Твой папа охотник, он промышляет лис?

— Да что вы!— Девочка высокомерно вздернула плечи.— Джой, уймись, он не пьяный, он просто странный.

Пес, потому ли, что послушался хозяйки, потому ли, что наскучило ему, перестал лаять и уселся, по-фоксячьи вытянув вперед задние лапы, как будто в кресло сел.

— А раз на охоту тебя не берут, так и незачем тебе быть таким злым,— сказал ему Леонид Викторович и безбоязненно протянул псу руку. Ладонью вперед, конечно же.

Пес оскалился, удивился и не укусил.

— Смотрите-ка,— сказала девочка.— Нашли с ним общий язык.

Леонид Викторович поднялся.

— Знаешь что, хотя, конечно, время упущено, но ты все-таки постарайся, сделай пса подобрей.— Он кивнул девочке и пошел от скамьи, снова вступая в русло своей улицы.

— А как?!— вдруг очень заинтересованно окликнула его девочка.— Как дрессируют на добро?!

— Никак!— отозвался Леонид Викторович, обернувшись.— В том-то и дело, что никак не дрессируют.

Улица, та и не та, его и не его, снова легла ему под ноги.

Смешной человек, он все искал в ее лице черты былые, сохранившиеся от его молодой здесь поры. Но шли, но ведь шли годы. А все-таки... И хотя новые стены встали по обе стороны этой улицы, и хотя почти неузнаваемо подновлены были старые стены, а все-таки улица эта не могла не быть его улицей и в чем-то главном узнавалась им, как узнаем мы друга школьной поры в солидном и маститом муже, узнаем в нем курносого паренька, обнаружив просвет все той же бесша-

башной улыбочки, приметив жест какой-нибудь — ну, плечом там повел, подбородок вздернул,— и вот он уже весь перед нами, узнан, хоть годы минули, хоть ныне и осанист и степенен, просто иной совсем человек и улыбается по-иному. Выдал, выдал себя! Проговорилась в нем юность! «Здравствуй, друг!.. Как ты?..»

Навстречу шел парень лет двадцати, вольно шел, никуда не торопясь. Он явно был здесь у себя, его это была улица. И он прогуливался по ней в свободный от работы или занятий час, должно быть, в поисках приятелей, тех, что жили тут же, по соседству. Он и одет был совсем по-домашнему, в вещи, которые донашиваются, ему тут незачем было красоваться. Но и старые совсем брюки, и старая куртка, и ботинки былой, востроносой моды — все это так сжилось с ним, приладилось к нему, не мешало и не теснило, что казалось — парень одет преотличнейшим образом.

Глянув друг на друга, они угадали друг про друга, что вот этот парень здесь у себя, но и этот прохожий тоже здесь у себя. Угадали и примедлили шаг, чтобы, может быть, побеседовать мимоходом, как это водится между соседями.

— Что-то знакомо мне ваше лицо,— сказал парень, останавливаясь.— Здесь живете? Недавно переехали?

Леонид Викторович тоже остановился.

— Нет, сейчас не здесь. Но когда-то жил.

— Вот я и говорю!— обрадовался парень.— У меня память на знакомые лица.

— Вы меня знать не можете. Я здесь жил, когда вы, пожалуй, еще и не родились.

— Древние времена!— усмехнулся парень. Усмехнулся и посмотрел на Леонида Викторовича, как смотрит юность на всех, кто шагнул уже в старость, посмотрел жалеючи.— И что же, к родственникам сюда пожаловали? Может, я кого из родственников ваших знаю? Лицо, смотрю, знакомое.— Ну никак не хотел этот парень усомниться в своей зрительной памяти.

— Родственников у меня тут нет,— сказал Леонид Викторович и виновато развел руки.— А вот друзья были. Давно, правда. Их тоже тут уже нет.

— Кто да кто?— деловито осведомился парень.— Может, знаю? Я тут родился. Представляете?

— Осип Иванович,— на всякий случай сказал Лео-

нид Викторович, скорее из вежливости, для беседы. Где было знать этому юноше Осипа Ивановича!

— О, доктор наш?! Еще бы не знать! Он, когда я маленький был, лечил меня. Так он был вашим другом? — И парень с новым интересом, собственно, именно теперь-то и с интересом, поглядел на Леонида Викторовича.— Великий был старик. А вы что же, как и он, из врачей?

— Нет. А Сергея Сергеевича, а Клавдию Павловну —их вы не знали? Кажется, они еще совсем недавно жили здесь...

Парень не успел ответить, кивнуть даже, а Леонид Викторович понял, по его вспыхнувшим глазам понял, что да, он их знал.

— Удача какая! Где они? Что с ними?— заторопился Леонид Викторович с вопросами.

— Живы, живы!— поспешил успокоить его парень.— Недавно только и съехали.

— А адрес?!— вырвалось у Леонида Викторовича. Вот как бывает, годы не сворачивал на эту улицу, а сейчас просто обожгло нетерпением, так понадобилось ему узнать, где его друзья да что с ними.

— Живы, живы,— повторил парень и дружески взял Леонида Викторовича под руку. Он был теперь естествен, этот дружеский жест, хоть они и не знали друг друга.

Они пошли рядом как старые знакомые, как соседи, встретившиеся на своей улице в пору, когда выдался свободный час.

— Да недавно только и съехали,— сказал парень, заглядывая в лицо Леонида Викторовича с симпатией. Он спохватился, высвободил руку и протянул ее, знакомясь:— Николай.

— Леонид Викторович. А куда съехали?

— Да куда, в Москву же и съехали. Адреса я не знаю, но адрес — штука нехитрая. Послушайте, может, я вас на фотографии у них видел? Ну, знакомое лицо!

— На фотографии? — задумался Леонид Викторович.— Не припомню что-то, чтобы я дарил им свою фотографию. И давно все было, переменился.

— Нет, а я вот видел и видел! — настаивал Николай.— У меня память на лица — это точно, это все признают.

— И что же они, как? Здоровы? Счастливы?— спро-

сил Леонид Викторович и даже подтолкнул парня под локоть, чтобы тот побыстрей ответил.

— Как это?— несколько опешил от его вопросов Николай.— Здоровы, спрашиваете? Так старенькие уже они. Счастливы? Так ведь старенькие же. Еще старее вас.

— Да, да...— Леонид Викторович постарался улыбнуться.

— Но все равно народ они замечательный,— утешил его Николай.— На выручку — тут как тут. Помню...

— Да, да, и я помню...

— Может, пивка по кружечке?

— Нет, мне пора. Спасибо, Николай, спасибо на добром слове.

— Ну, глядите, Леонид Викторович, а то бы по кружечке. Да и до смены мне еще далеко. Как-никак соседями могли быть.

— Это верно, могли.

— Если что, я при деньгах,— сказал Николай.— Приглашаю.

— Спасибо, спасибо. Как-нибудь в другой раз.

— Ну, ну...— И Николай отпустил Леонида Викторовича, вдруг зорко, не по-молодому поняв его:— С собой беседуете?

Они разошлись, пошагали по своей улице — один в одну сторону, другой в другую.

11

«Кризис...» Это слово кто-то шепотом произнес за стеной, и он услышал его. Он знал, что это означает — кризис. Это про него было сказано. Это с ним сейчас вершился кризис, в нем засел. Если не победить его, этого врага в нем, то враг этот сам прикончит его, отнимет у него жизнь.

Он совсем маленький был, еще только собирался в школу, как свалила его тяжелая болезнь, сразу будто обдавшая кипятком. Это была скарлатина. Как он тогда болел, он не помнил, он долго болел, и дни слились в серую и забытую дорогу. Но один день он вспомнил: все тогда засуетились вокруг него, люди в белых халатах, чьи лица он уже забыл. И тогда тоже было произнесено слово «кризис». И тогда тоже, хоть и был он мал, он догадался, что от этого слова зависит его

жизнь. Но знал ли он тогда, что такое жизнь? Наверное, что-то все же знал, понимал. Он страха тогда не испытывал, но ему было жаль себя, он помнит, ему было очень жаль себя, но даже плакать он не мог, так был слаб. И все время клонило ко сну. Это он помнит. Но он не спал. Его только клонило ко сну, а заснуть он не мог. Все слышал, что делалось вокруг, слышал шепотом произносимые слова, шаги, звон посуды, гудки фабричные, посвист ребят, гонявших во дворе голубей, нянину слышал молитву, ее слезный шепот у изголовья, слышал прерывистое дыхание матери.

Вот и теперь он тоже все слышал, хотя его оберегали от звуков. Он и это слышал, как его оберегали от звуков. Он лежал с закрытыми глазами, и было ему все слышно. И то, что вершилось вокруг, и то, что вершилось в нем самом. А там, в нем, был кризис, и он завоевывал его, там, изнутри, захватывая владение за владением, руша преграду за преградой. Было страшно. Но не все время. Вдруг никнуть он начинал, смиряться, сдаваться, сам в себе отступать. И тогда-то окликала его Клавдия Павловна: «Леня... Леня...» Она знала, она всегда угадывала, когда надо его позвать.

А зачем? Ему казалось, что и ладно и хорошо, что все так складывается. Он устал, если бы она знала, как он устал. И сколько обиды набралось, как несправедлива была к нему жизнь. Он старался припомнить эти обиды, рылся в памяти, чтобы все собрать. Странная его память отказывалась служить. Она своевольничала. Она удерживала его в детстве, не пуская ни на шаг дальше. И в изголовье у него стояли Борис и Левка. Как же так?! Куда же все подевались?! Где обиды?! Где предательства?! Где это все, что сотрясло его, заставило извериться, ожесточиться, очерстветь, замерзнуть душой?! Он бился, чтобы добыть все это, припомнить, собрать вместе, навалить на себя, как падающие стены в землетрясение. И тогда — все. И ничего не жаль...

«Леня... Леня...»— звала его Клавдия Павловна.

Она развеивала все его усилия. Она мешала ему собраться с памятью. Она всех прогоняла от него. Всех и вся. Только Борису и Левке позволила она остаться в комнате, остаться в памяти. А зачем? Зачем это ей было нужно? Ну, продерется он через этот кризис, ну, выздоровеет,— а зачем?

Она ответила, она угадала его вопрос:

— Что вы, Леня, что вы, милый, да у вас еще столько всего в жизни будет! И любовь будет! И вы повесть свою напишете. И ее напечатают в самом лучшем нашем журнале. А Сергей Сергеевич принесет мне этот журнал, и я прочту повесть. Всплакну, может быть, читая. Все будет. Что вы, Леня!..

Это верно, хорошо бы дописать повесть, хорошо бы напечатать ее в журнале, хорошо бы побыть в том дне, когда появится этот номер журнала в киоске Сергея Сергеевича, хорошо бы встать в очередь в этот киоск и посмотреть, а покупает ли кто журнал с его повестью. И чтобы весна была, лучше всего май, и на Арбатской площади, где стоит киоск Сергея Сергеевича, уже подсох бы асфальт, пригревало бы солнце, встав своим красным диском за спиной у сутулого Гоголя. Распрямись, печальный человек! Весна на дворе!

А что — если?.. Если взять да и побороться с этим кризисом?.. Если напрячься, повеселеть, взбодриться, приказать себе быть таким,— что тогда?..

Клавдия Павловна ответила, она угадала его мысли:

— А тогда вы поправитесь, Леня. Вы — поправитесь. Вам бы уснуть. Ну, постарайтесь, усните. Вы постарайтесь...

«Ты чего это, ты спи, раз болен, собирайся с силами»,— тоже посоветовали ему в изголовье Борис и Левка. И принялись кивать ему: мол, спи, спи.

Он заснул. Как все просто оказалось. То никак не мог уснуть, всякий шорох достигал слуха, а то взял вдруг и провалился в сон.

А когда проснулся, то узнал, что проспал почти двое суток и что кризис миновал.

12

— Вот вам и плесень!— ликуя говорил Осип Иванович.— Вот, Любочка, вот, маловер, тебе и доказательство!

Старик был счастлив, будто это первый был в его жизни больной. И все были счастливы, все вокруг были счастливы. А он не очень-то понимал, отчего такое всеобщее ликование. Он так ослабел, так сник, что все время был в полудреме. И если уж он чему и радовался, так это обретенной вновь памяти: ему снова было дано вспоминать, и не только детство, а обо всем,

о чем бы ни пожелал. Он попробовал припомнить войну. Пожалуйста, вспомнилась. Попробовал в Ашхабад заглянуть. Никаких помех, заглянул. Робея, подобрался памятью к совсем недавнему, к дому Ирины. И туда впустила его память. Но вот странность: все, о чем бы ни вспомнил он, не ранило его, не печалило, как он того ждал. Издали все как-то разглядывалось, и широко. Будто это не с ним все случилось, а если и с ним, то с ним не теперешним. Он, теперешний, был наделен еще незнакомым ему спокойствием, он даже и улыбнуться мог иному из того, что некогда приводило в отчаяние. Мог улыбнуться, мог понять, мог простить. Совсем другим будто стал человеком. Не поумнел ли? За несколько дней болезни — возможно ли? Ну, не поумнел, так постарел. За несколько дней? Или, может быть, подобрел?

Он лежал, подремывая, и медленно думал о странных в себе переменах, гадал, как теперь дальше пойдет жизнь.

А вокруг все люди, его окружавшие, были добры с ним, были рады всякому его слову, и их радость передавалась ему, он старался тоже обрадоваться, но пока это плохо ему удавалось, он был очень слаб, трудно было даже улыбнуться.

Кресло-качалка не пустовало. То Клавдия Павловна в нем вязала, то Сергей Сергеевич усаживался, то взбиралась Машенька. Часто заходили Осип Иванович и Любовь Марковна. Наверное, они все сговорились, потому что одинаковые вели с ним беседы. Про разное, разумеется, но одинаково. Бодро, весело, жизнеутверждающе. Конечно, они сговорились, иначе откуда бы такое всеобщее в мире ликование.

Его продолжали врачевать, в него вводили бодрость.

Клавдия Павловна перестала рассказывать свои сказки для взрослых, он больше не нуждался в таких сказках. Она теперь рассказывала ему немудрящие истории, которые происходили где-то совсем рядом, во дворе у них, в доме по соседству, в магазине. Она будто брала его за руку и выводила на улицу и учила ходить.

— Снег выпал,— рассказывала она.— А тепло. Скользко, гололед,— предупреждала она.— Побежала в булочную и чуть было не грохнулась,— делилась она.— Вот бы нахватала синяков. А то и ногу могла сломать.

И, глядишь, Леня, мы поменялись бы местами. Стали бы сидеть рядышком в кресле-качалке?

— Стал бы.

Она поглядывала на него, взмахивала ресницами и вязала. Чуть подавшись вперед, едва покачиваясь в кресле, она вязала, надолго умолкая, хотя губы у нее шевелились: она подсчитывала петли. А ему казалось, что разговор их длится. Он и длился. Всякий раз, когда в нем нарождался к ней вопрос, она угадывала его и отвечала. Всякий раз, когда ему важно было, чтобы прозвучал ее голос, он начинал звучать. Они разговаривали молча и вслух, и, пожалуй, их молчаливый разговор был куда значительнее, чем те слова, которые прорывались наружу.

Красива ли она была? В своей старенькой кофточке, в старенькой юбке, в плотных чулках, как у школьницы, в домашних туфлях, отороченных истершимся мехом, она как бы все делала для того, чтобы спрятать себя, приглушить, пристарить. Но из всего этого уютного домашнего старья ей вопреки, ей наперекор проглядывала, открывалась мягкая и сильная ее красота. Спокойная и надежная ее красота. А если, случалось, трогала ее губы улыбка, то уж тут и гадать было нечего, тут уж просто вспыхивало ее лицо красотой. И долго потом не угасала эта вспышка, хотя и улыбки уже давно не было. Потому-то она и улыбалась не часто, стыдясь будто этих вспышек молодости и счастья в себе. С чего бы? С какой радости? Но сейчас, но ради него она все же почаще давала волю улыбке, припрятывала, гнала свои заботы. Ей было велено быть такой. Осип Иванович велел. Велел быть красавицей? Для дела выздоровления молодого человека? Вон что, вон какие чудеса творились в этой узкой и высокой комнате: перед ним сидела красавица.

— Да, мне хорошо с вами рядом,— сказала она, доверяясь ему.— Моложе я делаюсь. А ведь я еще не старая, нет?

— Что вы! Да вы!..

— Тише, тише!..— Она наклонялась к нему, приближала руку.— Вам нельзя так вскрикивать.

Откачнувшись, откинувшись сильным телом на спинку качалки, она с удовольствием принималась качаться, и лицо ее становилось удивленным, счастливым, медленно разгоралась ее улыбка.

— Что со мной? Не влюбилась ли я в вас, Леня?

Она была доверчива, бесхитростна. Да и как можно было хитрить с ним, с этим поверженным человеком? Кокетничать, лукавить — все это было оскорбительно неуместным сейчас.

— Правда?! Это правда?! — вскинулся он.

— Тише, тише! — Она наклонялась к нему, приближала руку, почти дотрагивалась ладонью до его губ.

13

Настал день, когда ему разрешено было подняться на ноги. В этот день он наново учился ходить. Но учиться было нетрудно. Вся квартирка была поделена столькими перегородками, что всегда можно было достать рукой до стены, а то сразу и в две стены упереться, как в костыли.

Клавдия Павловна куда-то ушла, Машенька была в школе, и только Сергей Сергеевич был с ним. Хорошая у Сергея Сергеевича была работа. Он быстро распродавал по утрам свои газеты и журналы и потом бывал свободен до обеда. И выходных у него было целых два. Хорошо было и то, что его киоск находился недалеко от дома. Он теперь почти все время жил здесь, у Клавдии Павловны, ночуя в совсем уж похожей на пенал комнатенке. Считалось, что он временно здесь поселился, у него своя была где-то комната, а здесь он оставался ночевать, или потому, что засиживался с Машенькой, помогая ей делать уроки, или потому, что надо было печи протопить, а Клавдия Павловна, занятая вязаньем — она становилась заправской вязальщицей, уже и заказчицы у нее появились, правда неприхотливые, — сама не успевала этого сделать. И все ночи, пока Леонид болел, Сергей Сергеевич тоже был здесь, добровольно взвалив на себя обязанности санитара. Не было бы Сергея Сергеевича, не избежать бы Леониду больницы.

Сейчас Сергей Сергеевич снова был ему необходим, помогал учиться ходить, оберегал от малейшего сквозняка, кутал как маленького.

Они сидели в узкой кухне и пили чай.

— Вот и все позади, Леня, — радуясь за него, говорил Сергей Сергеевич и смотрел на него добрыми глазами.

Он пил чай с блюдца, держа блюдце на широкой ладони. Он казался неповоротливым и неуклюжим, хотя был ловок в работе и руки у него умели все. Силой веяло от этого простого, простодушного даже человека с загадкой. Кто он? Откуда? Какие это были пути в его жизни, которые в конце концов подвели к газетному киоску на Арбатской площади, где он и остался? И какой судьбой занесло его на бега, где он и остался? И как забрел он в этот домик, в этот флигелек, где так хотелось ему навсегда остаться? Как случилось, что полюбил он Клавдию Павловну?

Они пили чай и думали друг о друге. У Сергея Сергеевича тоже не могло не быть к нему вопросов. Какой судьбой занесло этого молодого парня в дом Клавдии Павловны? И как случилось, что Клава, его Клава, полюбила этого парня? А он, не дай бог, а парень-то этот, не влюбился ли и он в нее?

Трудно было Сергею Сергеевичу. Страшно ему было. Но он только добро помаргивал ресничками да смешно подувал, собирая губы трубочкой, на блюдце.

— Чему быть, того не миновать,— сказал он вслух.

— Вы о чем?

— Смотри-ка, сколько снега навалило,— сказал Сергей Сергеевич.— Надо будет Машеньке лыжи наладить.

Да, снега за окном было много. Когда в первом этаже живешь, а дом твой и для одноэтажного невысок, то ближе ко всему становишься — и к дождю, и к снегу, и, наверное, к людям.

— Сергей Сергеевич, вы были на войне?

— Да, был.— Он поставил блюдце на стол, широкими ладонями сжал щеки.— С первого дня. Я, Леня, кадровый. Начал капитаном.

— Вон что!

— Не похож?

— Да как вам сказать...

— Знаю, не похож. Я больше на солдата всегда смахивал. Знаете, из крестьян, что от сохи прямо. Офицерская форма ну никак ко мне не приживалась. Неуклюж. Топором рублен. Знаю. В военном училище эта выправка меня просто замучила. И потом было трудно. Только война и выучила. Воевать — не каблуками щелкать. Верно?

— Верно.

— И все шло хорошо у меня, Леня, да, все шло хорошо...

Сергей Сергеевич мял лицо ладонями, покачивался на табурете из стороны в сторону, далеко он где-то был в своих мыслях.

— А потом обвалом жизнь пошла. Был ранен, раненым, без памяти, попал в плен, чудом выжил...

— А дальше, что было дальше?

— А дальше... Бежал из плена... Потом проверяли... Я ведь, Леня, из дворян, из столбовых. Что, не похож?— Сергей Сергеевич развел руки, усмехнулся.— Знаю, не похож. Если по кинофильмам судить, то никак не похож. Но в русском дворянине мужик, крестьянин, частенько проглядывал. Вот и во мне тоже. Ну, проверили, поверили, но в армию назад не взяли. Семья рухнула, жена не пожелала ждать, профессии у меня для мирных времен не оказалось, да и побит был сильно.

— Досталось вам...

— Я не жалуюсь. Живу... Вот чай мы с вами попиваем. Вот Клавдия Павловна сейчас придет. Разве плохо? Придет, разбранит меня, что вас на кухне держу, а тут окно худо замазано. Она, когда сердится, еще краше делается. Примечали? Да нет, она на вас не сердится, у нее для вас улыбка. Счастливый вы. Редко она улыбается, наша Клавдия Павловна, редко. Зато уж когда улыбнется... Примечали?

— Вы ее любите?

— Да, Леня, я ее люблю.— Сергей Сергеевич поднял голову. Его простоватое, в рыжеватой щетине лицо истовым стало, словно перед древней иконой остановился и замер глубоко и свято верующий человек.— Она!

По тропинке в снегу, минуя заснеженный палисадник, шла в подшитых валенках, по-деревенски повязав голову теплой шалью, в бедном своем демисезонном пальто, перешитом, наверное, из мужниного, шла и улыбалась, завидев их в окне, Клавдия Павловна. Солнце катилось следом за ней по крышам домов, старых московских здесь домов. Сверкал снег, небо было прозрачным и глубоким. Шла к ним красавица. И бедная одежда ее лишь щемящей делала эту красоту.

Сергей Сергеевич увидел свою икону и теперь не сводил с нее глаз. И вовсе не простоватым было его

лицо. Добрым оно было, самоотверженным, готовность в нем жила на все пойти ради нее. Откровенным, простосердечным было его лицо, а не простоватым. Вдруг подумалось, дошло до сознания: а ведь Сергей Сергеевич впервые стал рассказывать ему о своем прошлом. И его слова опять услышались: «Да, Леня, я ее люблю». Вон что, вон зачем он заговорил с ним так откровенно. Этот кроткий человек, этот будто притихший после всех своих бед человек, он сейчас на крайнюю меру отважился, он громко заявил о своей любви. А уж там, а уж дальше пусть будет как будет. «Чему быть, того не миновать»,— сказал он. Покоряясь? Отступаясь? Нет, он просто не мог воевать свою любовь. Он мог только служить ей, молиться на нее, как истинно верующий перед святой иконой. Он к милосердию, к совести взывал, он был не соперником.

Клавдия Павловна только вошла и, верно, сразу напустилась на Сергея Сергеевича, что усадил больного пить чай на кухне, где вон какая холодина.

— Сейчас же, Леня, сейчас же в комнату!— сказала она и сама повела его по узкому коридору, где вдвоем было не повернуться и где он ли к ней, она ли к нему, но они прижались друг к другу, и он услышал, как колотится ее сердце — своего сердца он не ощутил, да и не остановилось ли оно?— и услышал, как мимолетно коснулись его лба ее губы, жаркие и еще прихваченные морозцем.

Следом за ними шел Сергей Сергеевич, покорно улыбаясь, покорно уронив руки, цепляясь плечами за стенки этого узкого коридора, где было не повернуться.

14

Леонид Викторович не прогуливался по своей улице. Его будто ветром несло, толкая то на одну сторону, то на другую. Он шел торопясь. А куда? Это память гнала его. Она была его поводырем, словно он ослеп или, наоборот, прозрел, но иным совсем зрением, нежели то, каким жил обычно. Двойным было его зрение. Нынешнее и тогдашнее слилось в нем. Но уже совсем немного оставалось от тогдашнего, последние договаривали слова его друзья, в последний, в самый последний раз так явственно видел он их, так явственно, будто были они вот здесь, сейчас, рядом, и слышным было ему их дыхание.

Прощаясь, теперь уже совсем, навсегда, он заскочил во двор особняка, спеша к своему домику, страшась, что рухнула и последняя стена. Нет, она все еще стояла, держалась.

Он поспешно подошел, радуясь, что стена стоит.

— Это вы опять?! — окликнула его Нина, разбитная московская девчонка. — Ну, вспомнили?!

— Вспомнил... А вы про что?

— Да про это слово на обоях. Дальше-то какие были слова? Что-нибудь важное?

— Важное...

И они отчетливо вспомнились, эти слова. Память подвела его к ним, он подошел к ним, и они вспомнились. И вспомнился миг тот, когда он написал на обоях эту яростную фразу, начинавшуюся с «если...». Миг тот, ночь та...

Он был тогда уже здоров, снова начал писать свою повесть, надеясь на нее как на спасение, и тянулись, тянулись его дни в этом доме, где жить становилось все труднее, невыносимее, потому что надо было на что-то решиться. Решиться, минуя Сергея Сергеевича? Нет, тот не был соперником, куда там. В том-то и дело, что он не был соперником. Его любовь была выше соперничества, в том-то и дело.

Была ночь. Сергей Сергеевич ночевал у себя, в своей где-то комнате, он часто теперь ночевал не здесь, спеша управиться с Машиными уроками и с печами пораньше, чтобы не вымаливать этих слов Клавдии Павловны: «Сергей Сергеевич, да вы оставайтесь...»

Была ночь, и Клавдия Павловна не спала за стеной, он слышал, что она не спит. И надо было только тихонько окликнуть ее, позвать, имя только произнести. Она бы пришла, он знал — она бы пришла. Вскинулась бы бесшумно, чтобы не разбудить дочь, шорохом метнулась бы по коридору, кинулась бы к нему. Он знал, это бы случилось, свершилось.

Он не окликнул. Он схватил карандаш, чтобы, терзая обои, душу терзая, написать для самого себя это заклятие, этот запрет. Всего три слова. Как просто они вспомнились. Всего три слова: «Если ты человек!»

Наутро, когда никого не было дома, он сгреб в чемодан вещи и ушел. А днем позже уехал на Урал к родителям, кое-как раздобыв у дяди денег на дорогу и на то, чтобы перевести Клавдии Павловне свой долг за

комнату и за очень дорогой в те годы пенициллин. И уже оттуда, с Урала, написал он Клавдии Павловне письмо. Попрощался с ней, за все, за все, за все поблагодарив. Какими словами? Стоит ли вспоминать? Слова те были бедны, слова всегда бедны в таких письмах.

Вот и вся история про то, как жил он на этой улице. История, которая помогла ему и сегодня. Она поможет ему и завтра. Надо быть человеком.

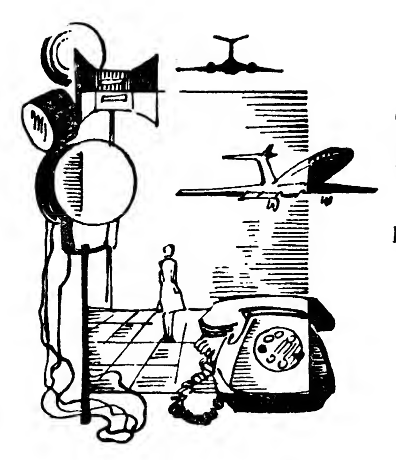
— Так про что же слова? — допытывалась бойкая Нина.

— Если ты человек... — сказал он.

— И все?

— И все.

Он повернулся и пошел отсюда. Он не хотел ждать, когда рухнет стена. Но шел и оглядывался, шел и прощался.



СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС

ПОВЕСТЬ

1

В СТАРИНУ СПЕРВА раздавался цокот копыт в ночи,— почему-то все известия тогда приходили ночью, если верить книгам и историческим фильмам,— потом было слышно, как спешивался всадник, как взбегал по ступеням, и тень его, сгорбившись, бежала за ним. Сама тревога вступала в дом, сердце сжималось от предчувствия, чаще всего недоброго, а в фильмах обитатели дома сводили в страхе ладони, замирали.

Нынче ничего подобного не происходит. Нынче просто звонит телефон, и не ночью, зачем же, а в самый будничный дневной час, и ты будничным голосом вопрошаешь, как приучил себя: либо «Да?», либо «Алло?», либо «Я слушаю?». А оттуда, из трубки, откликается Судьба.

Андрей Андреевич Лосев не ждал голоса Судьбы и потому побрел к телефону без всякого трепета. Он не ждал от звонка даже малой радости,— в невнятной жил поре, более того, пребывал в том жизненном состоянии, которое официально наречено было по роду его занятий «простоем». Он был кинорежиссером «в простое», то есть он уже больше года не ставил очередного фильма, числился в штате студии, но сидел дома — словом, на-

ходился «в простое», из которого его мог вызволить лишь новый сценарий, запущенный в режиссерскую разработку, где бы режиссером был он, Лосев.

Такого сценария и вдалеке не было видно. Надоело, наскучило ставить не милые сердцу сценарии. Милые сердцу — не попадались. Их и не так просто сыскать, когда сердцу твоему за пятьдесят, когда поставлено два десятка фильмов, когда и имя есть, и звания всякие и медали, но и страх холодит, что еще один проходной фильм тебе уже не простят. Кто не простит? А судьи — кто? Сразу и не поймешь, кто да что, — судить ведь в искусстве дано каждому. Сложится мнение, — и все, и засужен, и отодвинут, зачислен в сошедших с беговой дорожки.

Есть и еще один судья для тебя: ты — сам. Конечно, этот судья часто нисходит до снисхождения, но если уж этот судья рассердится, то берегись. Доводить его до гнева не следует. Лучше уж «простой». Собственно, почему «простой»? Ищется сценарий, неспешно, скрупулезно, чтобы по сердцу, чтобы всего себя потом вбить в картину, чтобы рвануться всей душой к себе, лучшему, из этой ныне серой, простойной скуки.

Телефон звонил, вызванивая какой-нибудь никчемный разговор с приятелем, какое-нибудь приглашение на очередную премьеру в Дом кино, а уж про фильм этот известно, что он не удался, и смотреть его нет охоты или же что, напротив, фильм удался, и смотреть его поэтому тоже нет охоты. Телефон мог окликнуть и голосом женщины, прознавшей, что жена на съемках в другом городе, прознавшей, что с женой у него нелады, что у нее с другим вроде бы нынче те самые начинаются лады, после которых слух пойдет об его очередном разводе. Самое время звонить к такому предразводному мужчине, самое время утешить его, заскочить на минуточку, прибрать в квартире, приговаривая: «Бедный вы, бедный!» Он ненавидел таких женщин, презирал, все про них понимая, но это были женщины его среды, его профессии, их нельзя было избежать. Мир того дела, которым он занимался, был громаден, мирок людской, в котором он обращался, был ничтожно мал. У всех на виду, всем ведом и одинок до ужаса. В простое.

Андрей Андреевич поднял трубку, загодя скривившись на любой голос, который ничего ему не сулил.

— Да?.. — спросил он, увидев себя в полированной

поверхности шкафа, отметив режиссерским глазом неимоверную скуку во всей своей позе, какую-то общую в себе пониклость, будто он не только лицом, но и всем телом скривился от предстоящего разговора. Когда-нибудь он заставит актера вот так же скривиться спиной, ногами, заведенной рукой. Не забыть бы только. Ничего, он был памятлив на всякий жест и взгляд, рассказывающий человека. Профессия обучила.

А в трубке, в ответ на его «Да?» забился голос, разом, в миг один, распрямивший его, словно взорвалась в нем кровь.

— Андрей Лосев, это, правда, вы?

И все — и узнал! Голос ее, и это ее словечко «правда», которое она умудрялась вставлять чуть ли не в каждую свою фразу. Тридцать лет не слышал он этого голоса, все тридцать лет, оказывается, помнил его.

Он знал: у женщин не стареют голоса. Стареют, конечно, но что-то в них уцелевает. Что-то главное. Этот вот звук напевный, эта вот удивленность, готовность к удивлению, эта вот першинка в звуке. И эта вот «правда». Так это слово, с таким напором на него во всей фразе, молвить могла только она.

— Да, это я... — Он снова поглядел на себя в полированную поверхность, увидел, что стоит прямо, приметил в своей позе готовность припустить бегом, только бы позвала. Так было, когда она звонила ему, — всегда в какой-то неурочный миг, — когда смешливо, напевно, удивленно, дружелюбно, с першинкой в голосе спрашивала: «Андрей Лосев, это, правда, вы?»

«Где ты?!» — кричал он в ответ, едва сдерживаемый шнуром телефона. Она всегда оказывалась где-то очень далеко. «Бегу!» — кричал он, когда узнавал, где она. И бросался бежать. В ночь, через весь город, в кромешную тьму, где светилось ее лицо. Господи, какое это было лицо! Было!..

Он вспомнил, как вспоминают о несчастье, что ей сейчас пятьдесят пять лет. Он понял, что бежать некуда. Пусть даже это и она, он не хотел встречаться с ней — пятидесятипятилетней. Он знал, какой это ужас, обвал какой, когда встречаешься с женщиной из своей молодости. Сколько раз он ударялся лбом об эту встречу с былым, когда старое и печальное лицо открывается тебе, вытесняя из памяти юное и счастливое.

— Да, это я, — повторил он и робко окликнул из прошлого: — Ни-на...

— Нет, что вы?! Мама умерла...

— Умерла?..— Тридцать лет прошло, как они расстались, а весть о смерти этой женщины, с ожившим вдруг ее голосом, поразила. Несбыточно, даже нелепо было надеяться, но все же надеялся все эти годы, что встретятся. Сейчас испугался, что встреча эта настала, и вот ужаснулся, что встрече этой теперь не быть никогда.

Смятение было в мыслях, но слова сами поспешали, слагая продолжение разговора, рождая фразу, какую и следовало родить, когда такая вот узнана печальная новость.

— Как же это, ведь она же была совсем не старой женщиной... — услышал Лосев свой голос.

А в трубку отозвался ее голос, той, которой больше не было:

— Сердце... Она всегда очень много работала... И потом, ведь вы знаете, у нас в Ашхабаде так иногда жарко, что... И потом...

Смятение продолжалось, потому что звучал ее голос, а ее не было.

Но слова сами набегали, нужные слагая фразы:

— И когда это случилось?

— Год назад.

— И вы не написали?

— А зачем? Ведь и вы ни разу не написали. Ей, живой... Забыли, правда?

— Не правда, — услышал Лосев свой голос. Он кивнул этому ответу, подтверждая, что слова сложили верный ответ и он наконец сам вступил в разговор: — Где вы? Хочу вас увидеть. — Он помедлил, собираясь с духом, чтобы задать очень важный вопрос. Зажила и в трубке тишина, будто слушательница его знала, что спросят ее сейчас о важном.

— Сколько вам лет? — спросил Лосев, напрягаясь навстречу грозному известию. — И как вас зовут?

— Таня, — отозвалась женщина голосом своей матери, Нининым голосом. — Не пугайтесь, я не ваша дочь... Правда, ведь вы об этом подумали? Мне двадцать семь лет, а вы расстались с моей мамой почти тридцать лет назад. Отлегло?..

А он не знал, был бы он повержен новостью, что

у него есть дочь, взрослая дочь, или же новость эта принесла бы ему радость, странную радость, не без горечи и печали, но все равно радость.

— Где вы? — спросил Лосев. — Немедленно хочу вас видеть.

Сжалось что-то в висках, тоненький какой-то звон там ожил. Показалось Лосеву, что мчится он назад, в юность свою со скоростью звука, да что там — света или куда быстрее. Он был там, в Ашхабаде, тридцать лет назад, он целовал свою Нину. Все вспомнилось! В миг один! Что там все скорости Вселенной по сравнению со скоростью памяти души.

— Я в Домодедове. Я не решалась вам позвонить, хотя всю неделю, что жила в Москве, думала о вас. На все ваши картины сходила, какие где шли. Правда, правда.

— Таня, сколько вам лет? — спросил опять Лосев, забыв, что спрашивал об этом.

— Не пугайтесь, мне двадцать семь, двадцать семь.

— Ваш отец жив?

— Отца я не знаю.

— Там, в Домодедове, где я вас найду?

— Где? Ну, у кассы ашхабадского рейса.

— Когда отлетает ваш самолет?

— Он должен был уже улететь. Но рейс задерживается из-за погодных условий. Я загадала, если рейс задержится, то позвоню вам. Наверное, так бы сделала моя мама. Почему-то мне кажется, что она бы так поступила. Скажите, она никогда не звонила вам, — вот так, из аэропорта, чтобы только услышать голос, и все?..

— Никогда.

— Да... Я горжусь ею, горжусь.

— Нина!.. Таня! Я еду к вам! Не улетайте, слышите?!

— Как уж будет с погодой... Где-то там, над Каспием...

2

Таксисту он сказал все, как есть. Почему-то совершенно чужим людям иногда рассказываешь самое сокровенное. Но, рассказывая таксисту, он рассказывал и себе. История эта еще никогда им и самому себе не

была рассказана. Только лишь приходила она на память, как он заставлял себя думать о чем-нибудь другом. Не мог он возвращаться памятью в те дни, ну, не мог.

А этому славному парню с могучей шеей и простодушными глазами стал рассказывать. И себе тоже. Время приспело.

Мчалась машина мимо Кремля, мимо Коломенских куполов, мимо рафинадных прямоугольников Орехова-Борисова, солнце светило, сентябрьский день выдался погожим, а в машине рассказ шел о ночной поре, о страшной ночи с пятого на шестое октября сорок восьмого года, когда рухнул за одиннадцать секунд город Ашхабад. Он, Лосев, жил тогда там, работал на киностудии, куда был направлен на преддипломную практику. В те одиннадцать секунд многих жителей города не стало. А от города осталось не то два, не то три дома. Там, на студии, девушка одна работала. Красивая? Красавица! Такую больше не встречал он ни разу в жизни. Поверьте, весь мир исколесил, — не встречал. А каким человеком была замечательным, какой добротой лучились ее глаза. Ее боготворила вся студия.

Она не погибла в землетрясении, повезло ей. Рухнувшая стена лишь придавила ей ноги. Самолетом ее срочно отправили в Баку. Он отправил, он ее вытащил из-под обломков, раскровенив себе руки, локти, — вот даже и по сей день сохранились шрамы на тыльной стороне правой руки. Вот они — эти шрамы. Лопатой того нельзя было бы сделать, что он тогда сделал руками. Откуда силы у людей брались? Женщины, матери, согнувшись над детьми, своими телами выдерживали тяжесть железных крыш. Умирали под этой тяжестью, но детей спасали. Земля гудела так страшно, так ни на что не похоже, что он даже на фронте, испытав бомбежки и артобстрелы, такого страха припомнить не мог. И пыль захлестнула улицы. И занялись кругом пожары. А он бежал с ней через весь город, потом остановил кого-то, они сделали из досок носилки, положили ее, побежали дальше. На площади, в центре города, нашли врачей. Но там, среди пыли и гари, ее нельзя было оставлять. А уже появились первые самолеты над городом, уже садились в предрассветной серой мгле на аэродром. С тем же человеком, имя которого так и не узнал, они отнесли Нину на аэродром. Что там творилось! На

войне был, а то, что увидел там, было страшнее. Наверное, потому, что про войну хоть что-то можно было понять, а про землетрясение мозг отказывался от понимания. Он пробился с ней к самолету, он увидел, как самолет взлетел. Потом снова бросился в город, к студии. Он вел себя тогда как все. А все тогда, кто уцелел, кто мог двигаться, спасали тех, кто был погребен под обломками.

Машина мчалась, шофер, где только мог, превышал скорость, и орудовцы не свистели ему, угадывая, что тут их свисток будет бессилен.

А что было дальше, с той девушкой что было? Нет, они больше не встретились. Студия рухнула, работы для него там не было, надо было возвращаться в Москву писать диплом. И он уехал. Нет, и потом они ни разу не встретились. Так вышло... А сейчас он мчался в Домодедово, чтобы взглянуть на ее дочь. Если поспеют. Такой же голос, как у матери. Представляете?

Водитель поглядывал на рассказчика простодушными глазами, кивал сочувственно и гнал машину, чтобы поспеть. Понимал, человеку этому важно было поспеть. Таксисты умеют понимать людей, у таксистов вырабатывается человекознание. Исповеди ведь такие часты. И гон такой не редкость. Мчатся люди, гонясь за судьбой.

Про этого, что рассказывал, непросто до конца все было понять. Мудрен был этот человек для таксиста, не простой был человек, не исповедный. Такие чаще молчат, когда их везут. Щедры на чаевые, но не щедры на слова. Будто отгораживаются от тебя. Одет вот как на картинке, как в кинофильмах заграничных одеваются. Волосы в седину, но крепкий еще мужик. Часы на руке больших денег стоят. Вон и платочек в кармашке пиджака. Не поймешь кто. Знаменитый артист? Начальство? Наверняка своя машина у него есть, а то и на персональной раскатывает. Все, все у такого человека есть. А вот припекло, глаза таращит, в словах закашливается.

— Своя-то машина у вас есть? — спросил шофер.

— Есть.

— «Волга», как полагаю.

— «Волга».

— Да, надо было вам тогда к ней в Баку наведаться.

— Надо было.

Они приехали. Скрипнули тормоза.

— Ну, удачи вам,— сказал шофер, принимая от Лосева деньги, но и не принимая, когда увидел, что слишком уж большие ему отваливают чаевые.— Зачем же? Беседовали.

— За гон, за риск.

— Ну, если за риск...

Простились. Лосев кинулся к зданию аэропорта, ища двери в бесконечном его стекле.

Стеклянно-пластиковый ангар аэропорта был так открыт взору, что сразу тут ничего нельзя было углядеть. Все уравнивалось в этой громадности, и человек становился малостью, всего лишь цветной деталью, частицей движущейся мозаики. И где-то тут, среди одинаковых людей, схожих по общей заботе — улететь, улететь! — пряталась у всех на виду молодая женщина Таня, поразительно перенявшая голос своей матери. А лицо?

Лосев двинулся вдоль рейсовых касс, отыскивая, от которой отправляли пассажиров на Ашхабад. Он медлил, он не был готов к встрече, хотя мчался на машине и бегом проскочил через двери. Спешил, спешил и вдруг оробел. Страшно сделалось, что рухнет, рассыплется через миг его надежда. На что — надежда? А вот, чтобы встала перед ним Нина. Та, былая. А другую он и не знал. В памяти жила только та, которой было тогда столько же лет, сколько ее дочери. Голоса их совпали. Он ждал, он надеялся, что продлится чудо. И страшился, что чуда не произойдет.

— Андрей Лосев, а вот и я. Правда, я похожа на маму? Все говорят...

Он оглянулся, стремительно и жадно.

Да, это была Нина. Его Нина. Только в странно для глаз современном обличье,— в этих откровенничающих брюках, в слишком яркой кофточке, громадные блескучие очки зачем-то были заведены за лоб, прятались в волосах. Так одевались, так выставлялись молодые женщины сейчас, в сию минуту его жизни, и он привык читать все секреты женских фигур, когда женщины шли навстречу или он шел следом за ними, ибо так велит нынче мода. Но странно было смотреть в это родное лицо из той поры и видеть перед собой незнакомку из

сегодня, невозможно было для него слить воедино тот образ и нынешний облик.

— Да, вы похожи, — сказал Лосев. — Очень.

Конечно, теперь, приглядевшись, вглядевшись, он многие отличия усмотрел и в лице. И все же сходство было поразительным. В главном. А главным в Нинином лице были глаза и, словно бы падавший на все лицо, их свет, главным была озаренность этого лица, а потому открытость, ясность, пригожая ясность. Нинино лицо нельзя было назвать красивым, строго красивым, его Нина не была красавицей, если начать придираться, — ее вычерчивала не слишком уверенная рука, — но этот свет, эта мягкость, эта лучистая распахнутость глаз, они и рождали пригожесть этого лица, нет, прелесть этого лица, да, а все-таки его Нина была красавицей. Не всегда, а когда особенно ярко светились ее глаза. Сейчас они светились особенно ярко.

— А теперь, когда рассмотрели, еще похожа?— спросила Таня. Она тоже прямо и откровенно рассматривала его. Как говорится, во все глаза на него смотрела. Так откровенно, так прямо смотреть не каждому дано. Так смотрела всегда Нина. И требовала, чтобы он не отводил глаз. С ней не просто было. Чего-то она не умела понять, ее не трудно было и обмануть, но вдруг она про такое в тебе догадывалась, про что и сам о себе не знал.

Таня, ее дочь, так же вот глядела на него. Голова кружилась, тридцать лет промелькнули, попятились за какой-то миг, все вернулось и вспомнилось.

— Наваждение!— вслух вырвалось у Лосева.— Сколько мне лет? Где я? Куда податься?

Он глянул по сторонам, наигрывая свою растерянность, чтобы скрыть ее, свою растерянность. Он тотчас профессионально сообразил крошечную сценку, эпизодик, где актеру было дано задание сопоставить день нынешний и день минувший, чтобы мило эдак, не без печали, но и не без юмора, отработать этот самый стык растерянности. Все дело ведь в стыках, в работе на столкновениях, сопоставлениях. Так увяз в этих стыках, что в собственной жизни все время режиссировал и актерствовал, будто показывал кому-то на съемочной площадке, как надо все делать. И сам все и делал. Жил, играя, играл, вживаясь. Самим же собой бывал не часто. Не удавалось. Все контролировал себя, подска-

зывал себе, наигрывал, все время как бы поглядывая на себя самого со стороны.

— И я не пойму, где я,— сказала Таня.— В маминой комнате столько ваших портретов, что мне сейчас показалось, словно я уже дома. Нет, правда. А если оглядеться по сторонам, вот как вы это сделали, то и у нас в Ашхабаде, в аэропорту, всюду стекло, а за стеклом самолеты.

— Значит, прилетели уже домой?

— Нет, вы правы, это всего лишь наваждение. У нас воздух иначе пахнет. Не забыли, какой к нам воздух приходит с гор и из песков? Горьковатый, тревожный, свежий. У Ашхабада свой запах.

— А у Москвы?

— Не такой отчетливый. И потом, мне кажется, в Москве до десятка разных городов. Правда?

— Пожалуй.— Он слушал ее, смотрел на нее, но был не здесь, не в этой сутолоке аэропорта, а там, на три десятилетия отступя, у какого-то дувала стоял на тихой улочке, в тень карагача ступив вместе с Ниной. Там был, там, в молодости своей. Почудилось: и верно, горьковато и высушенно пах воздух.

— Расскажите мне о маме,— попросил Лосев, зажмуриваясь, чтобы возвратиться в сегодня.— Не хочу верить, что ее нет. Так пусто вдруг стало без нее.

— Помнили?

Вот бы и стать тут самим собой, ответить, не ища жеста, не ища приличествующего лица. Да где там, профессия вжилась в него до макушки. Уронил голову, уронил руки, сказал скорбно:

— Помнил.

А ведь помнил же, помнил, можно было в этом и не убеждать.

— Вы говорите, мои портреты у вас дома? Зачем?

— Мама любила вас,— просто ответила Таня.— Всю жизнь любила. Все ваши фильмы мы с ней наизусть выучили. Иногда, обедаем, а из ваших фильмов ведем разговор. У вас все герои очень находчивые, остроумные, в жизни так не всегда найдешься. Вы сейчас опять что-нибудь снимаете?

— Я сейчас в простое,— сказал Лосев. Ура, сказал не наигрывая.

— Как это?

— Нет сценария. Не знаю, про что снимать.

— Господи, столько всего кругом происходит!

— Но надо выбрать. Вы что в жизни делаете?

— О, я уже одну профессию сменила. Начинала учительницей, стала врачом.

— А почему сменили?

— Оказалось, я не умею учить. Тут нужна большая решительность. Ну, если хотите, самомнение, что ли, необходимо. Хоть в малой дозе.

— А чтобы лечить?

— Тут все другое. Тут важнее сочувствие, умение понять. Я — терапевт. Впрочем, начинающий. Начинающий врач — это что-то очень зыбкое, даже забавное. Правда, правда. Настоящий врач не может обойтись без душевного опыта. Где его сразу взять? Нужны годы и годы. Но не всякие годы. Помните чеховского Ионыча? Его жизнь согнула. Согнулся и врач.

— Целая философия.

— О, ведь мы, провинциалы, любим порассуждать! — У Нины тоже иногда вспыхивали в глазах такие вот чертенята, и тогда Лосев из стороны наступающей сразу же превращался в сторону обороняющуюся.

Но то было раньше, тогда. И Нина была на год старше его. Она была опытнее его, даром что он был на фронте. У нее был за плечами блокадный Ленинград.

А теперь перед ним, нынешним, стояла девочка. Зажглись чертенятами ее глаза, все так, да только и сам он нынче был чертом, матерым чертом. Он усмехнулся своей мысли, этому сочетанию слов. Матерыми бывают волки, а не черти.

Таня разглядывала его, вглядывалась в него, стараясь понять, чему это он вдруг усмехнулся.

— Что-нибудь вспомнили? — спросила она.

— Все время вспоминаю. Так как же с самолетом? Что там — над Каспием?

— Буря.

— Летал я и в бури. Нет, они тут правильно делают, лучше обождать. Стойте здесь, Танюша, я сейчас поточнее узнаю, что там с вашим рейсом.

Лосев повернулся и зашагал, сразу став уверенным, знающим себе цену, убежденный, что и со стороны, кто бы ни поглядел, цену ему назначит высокую. И вправду, хорошо шел, смел и широк был его шаг, голова са-

ма собой вскинулась. Не зазнайствовал человек, нет, но знал себе цену.

Таня смотрела ему вслед, — в этом Лосев не сомневался. Неотрывно. Изучая. Запоминая. Понять ее было можно. Шутка ли, это был Андрей Лосев, знаменитый кинорежиссер, фильмы которого она знала наизусть. И это был человек, которого любила ее мать. Смолоду и до последнего дня. И это был еще не старый мужчина. Его еще не за что было жалеть. Вон как идет!

3

Лосев отсутствовал совсем недолго. Все мигом узнал, обо всем договорился. Вылет ее самолета действительно зависел от состояния погоды в районе Каспия. Чуть там посветлеет, как будет объявлена посадка. Ему, Лосеву, было твердо обещано, что по радио заранее выкликнут его фамилию. Мол, Лосев, товарищ Лосев, приготовьтесь к полету.

— Что ж, есть и у моей профессии свои плюсы, — скромно улыбнулся, подводя итог своему рассказу, Лосев. — Милая девушка из диспетчерской, как оказалось, знает мои фильмы.

— А кто знаменитее, актеры или режиссеры? — спросила Таня.

— Знаменитее те, кто знаменитей,— улыбнулся Лосев. — Впрочем, вру, конечно, актеры. Да ведь и я, как вам известно, играю иногда разные рольки. А теперь — пошли.

— Куда?

— В ресторан, разумеется. Усядемся в уголке, закажем графин пива, порцию сыра... Нет, не выйдет...

— Почему?

— В этих стекляшках теперь нет уголков. В нынешних ресторанах не подают в графинах бочковое пиво, а в нынешних моих обстоятельствах мне неловко заказывать одну порцию сыра.

— Вы в плену обстоятельств, Лосев?

— Нина так же бы спросила. И так же бы поглядела.

— Вам забавно, что я так похожа на маму?

— Забавно?

— Простите, я не то хотела сказать. Может быть, странно?

— Может быть...

В ресторане — снова стекло и пластик — действительно трудно было отыскать столик, хоть как-то обретший тень. Разве что этот, прижавшийся к стене у входа в кухню. Но то был служебный стол, украшенный даже не одной, а двумя табличками «занято». Лосев эти таблички снял, отнес на соседний стол и пошел договариваться. Маленькие победы не всегда и не всем даются легко. Таня сжалась, ожидая, что их сейчас погонят от заветного столика. Не только не погнали, но прибежала чуть ли не сама директорша, полная дама с драгоценными ушами и пальцами, и сама — сама! — стала прибирать на столе. Есть, есть все-таки в кино магическая сила. В кино и в жрецах его.

Уселись. Маленькая победа может и большому человеку принести радость.

— Вы радуетесь как ребенок, — сказала Таня. — Даже нахмурились от удовольствия.

— Заметили? Это я старался скрыть от вас, что доволен. Шли бы, Танюша, в режиссеры. Приметливая.

— Приметливым надо быть и врачу. Нет, я не приметливая. Как раз очень многое не замечаю.

— Это потому, что у вас слишком распахнуты глаза.

— Красиво сказано. У меня есть друг один. Он бы многое отдал, чтобы изобрести такую фразу.

— Пустой, должно быть, малый?

— Вы не обижайтесь, я и не думала подшучивать. Действительно красиво сказалось. Просто мы с мамой всегда боялись красивых слов. А парень как парень. Философ.

— То есть?

— Ну, самый настоящий. Преподает даже этот предмет в университете.

— Умный, должно быть, до чертиков?

— Не сказала бы. Наверное, ему не надо было становиться философом. Как мне учительницей. Каждый рожден для чего-то своего. Вот вы — вы режиссер.

— А я порой сомневаюсь.

— Это и хорошо, что сомневаетесь. Часто?

— Все чаще.

Скользя, плывя и сияя, подходила к их столику директриса, самолично неся в золотых руках канцелярский графин с пивом и тарелочку с порцией сыра.

— Так?! То?!

О, ей тоже сродни был артистизм!

— То самое! — просиял Лосев. — Хотите ко мне в ассистенты режиссера?

Женщина медленно улыбнулась, взглянула на Лосева, как на ровню себе.

— Ну зачем же?

В этих медленно вышедших из ярких губ словах прозвучало превосходство.

— Ваша правда, вы уже не ассистент, — построжал Лосев. — Пожалуй, мы коллеги. Или и тут я заношусь?

Женщина не ответила. Глядела на него и улыбалась. Вдруг, как фокусник, щелкнула пальцами, и из-за ее спины выскользнула совсем юная жрица, еще пока в дешевеньких украшениях, но зато с роскошными яствами на подносе.

Графин с пивом и тарелка с сыром — это была дань прошлому, а икра, а замысловатый башенный салат, а помидоры, обложенные призмами из льда, а еще там что-то и что-то, и, наконец, бутылка шампанского, и тоже в ледяных торосах, — это была дань настоящему.

— Прекрасно, прекрасно, — сказал Лосев, глядя, как его прошлое и его настоящее устанавливаются на столе руками директрисы.— А все-таки в вас погиб режиссер.

— Надо же кому-то и людей питать, — сказала дама. — Ну, ну, репетируйте.

Она поплыла от стола, а ее помощница упорхнула.

— А что мы репетируем, Андрей Андреевич? — спросила Таня.

— Пустое! Это она сболтнула для светскости. — Лосев вдруг помрачнел. — Или, может быть, я сболтнул, когда заказывал пиво и сыр. Как объяснить такой каприз? Мол, для нужд кино,— и все всё делают.

— А как объяснить такой каприз? — спросила Таня. — Вы всегда всем представляетесь или вас узнают?

— Узнают.

— За эти ваши рольки или как режиссера?

— По совокупности, как считаю. Нет, Таня, это не каприз. Это все вы виноваты, уж очень вы похожи на свою маму.

— И мы сейчас там, в какой-нибудь тогдашней «Фирюзе»? И нас мучает жажда? Кстати, очень хочется пить. — Таня протянула руку к графину, налила в бокал пива и стала пить, обливая подбородок, и сразу же на-

лила и Лосеву пива и протянула ему бокал, сверкнув влажными зубами. — Пейте же!

Он смотрел на нее, приподнявшись. Он замешкался, когда принимал из ее руки бокал. У него были движения ослепшего человека.

— Только та разница, что она обращалась ко мне на ты, — сказал он.

— Вы ошибаетесь, мама была другой. Вы забыли ее. Пейте же.

— Мы пили из граненых стаканов, — сказал Лосев.

— Маленькая ложь, и все не так, все не то, правда?

— Но иногда мы пили и из хрусталя. Тогда хрусталь не был в цене, а было в цене пиво.

— Мама рассказывала, что тогда в Ашхабаде всюду продавали красную икру и коробки с крабами.

— Но не всегда был хлеб.

— У нее было только одно приличное платье. Она лишь меняла воротнички.

— Она казалась мне очень нарядной.

— А туфли, туфли! Мама рассказывала, что у нее были одни-единственные туфли, латаные-перелатаные.

— У нее была очень легкая походка, но я не помню, какие у нее были туфли.

— Нет, вы не забыли ее. Но только вы преувеличиваете наше сходство.

— Так ведь все же говорят.

— Это на первый взгляд. А у вас не первый взгляд. Хотя вы почти меня не видите. Смотрите в упор, но мимо меня. Вы далеко, вы там сейчас?

— И там и здесь. И здесь и там. Вы не правы, Таня. Я не забыл вашу маму, я знал ее, вам неведомую. Еще до вас. Сколько вам лет?

— Я же говорила — двадцать семь. Показать паспорт?

— Паспорт может и соврать.

— Господи, вы думаете, что я ваша дочка?! У вас есть дети?

— Нет.

— И вдруг взрослая дочь. Никого не было, и вдруг родная дочь. Как интересно! Какой сюжет для сценария! А вы говорите, у вас нет сценария.

— И нет дочери.

— Есть ваши фильмы.

— Иногда мне кажется, что их нет. Иногда — что

они есть. Сейчас вот ни об одном не хочется вспоминать.

— Вот что: теперь, после пива, давайте выпьем вашего шампанского. Только, пожалуйста, откройте бутылку сами. Шпалы настилать и шампанское открывать — это не женская работа.

— Так бы могла сказать Нина... Открыл! — Он умело управлялся с шампанским, не страшась выплескивающейся пены. — Пьем! А знаете за что? За ваш голос. Из миллиона бы узнал.

— Но если вы так ее любили, отчего же сбежали тогда?

— Я не сбежал. Я просто не знал, что люблю. Мальчишкой был. Дураком. Смолоду мы не знаем, что все дается раз в жизни.

— А прошли войну. О тех, кто прошел войну, я всегда думаю, как о героях и мудрецах.

— А мы не были ни героями, ни мудрецами. Тогда не было людей, не прошедших войну. И всем нам жадно хотелось жить и, знаете, обрести беспечность, делать глупости. Можете быть уверены, мы их и делали.

— На какое завидное время пришлась ваша молодость.

— Молодость всегда приходится на завидное время. Все дело в молодости. Вот сейчас полетите в свой Ашхабад... И кто-то там вас встретит... Этот философ... Он — женат?

— Да, и многодетен.

— Ну, тогда какой-нибудь молодой врач вас встретит, небрежно одетый, длинноногий, слегка похожий на Олега Ефремова. В руке у него будет смятый букетик, нет, не в руке, он его позабудет в собственном кармане. Вы сами добудете этот букет из кармана его пиджака.

— Режиссируете?

— А что, не похоже?

— Нет. Во-первых, встречать меня будут человек десять, в расчете на то, что я исполнила их заказы. И женщины и мужчины. Во-вторых, цветы осенью в Ашхабаде не дарят. Слишком долго длятся у нас цветы. В-третьих, тот, кого бы я хотела увидеть, не придет.

— Поссорились?

— Да, но мы друзья. Друзья... — Таня вслушалась в это слово, как бы вгляделась в него. Опечалилось, стало угасать ее ясное лицо.

Так бывало, так уже бывало когда-то, когда он обижал свою Нину. Меркли глаза, опечаливалось, угасало ее лицо. Он мог быть для нее счастьем, но мог быть и несчастьем.

Сейчас кто-то творил несчастье в жизни Тани, и, может быть, в своей собственной.

Лосев спросил:

— Что привело вас в Москву, Танюша?

— Приятельница угодила в больницу. Ехала из отпуска, с курорта, а попала на операционный стол.

— И вы прилетели к ней из Ашхабада?

— В Москве у нее никого. Привезла ей кое-что, убедилась, что поправляется, поговорила с хирургом. Оказался отличным хирургом и отличным парнем. Этакий доктор Гааз при бороде и в джинсах. Слыхали про доктора Гааза? Он внедрял в русскую медицину доброту и сострадание, как синоним долга врача. Мир не без добрых людей и поныне.

— А где вы у нас тут жили?

— У старушки одной, маминой приятельницы. Мир не без добрых людей.

Он вслушивался в ее с першинкой, низкий, глубокий голос, взглядывал на нее, как профессия приучила, коротким, пристальным вскидом глаз, все стараясь уразуметь эту молодую женщину, живущую вот в мире не без добрых людей. Сам он жил в каком-то ином мире. Из этого мира не мчались за тысячи километров, чтобы навестить приятельницу в больнице. В этом мире не было старушек, у которых можно бы было запросто остановиться на неделю, проездом через Москву. Его мир лишь казался общительным, а был замкнут, был широк на жест, но скуп на поступок. Впрочем, мир свой ты творишь себе сам. Это ты стал таким. Замкнулся, оскудел, — так не вини других. И все потому, что в простое, что нет работы. И вот, чтобы с поспешностью жаждущего осушить бокал. Порой помогали и эти заемные градусы бодрости.

— А мне зачем позвонили? — спросил Лосев. — Выпейте, в самолете легче вздремнется.

Таня выпила, глядя на него поверх кромки бокала. Острым, как срез, получился ее взгляд. И что-то углядела, так взглянув, раздумала отвечать.

— Думали, что смогу помочь в чем-то, но тотчас и раздумали, изверились во мне? — спросил Лосев.

Таня не ответила.

— Голос мой вспугнул вашу надежду? — допытывался Лосев.

Таня продолжала молчать, глядя на него чуть поверх кромки бокала.

Громадные дельфиньи тела самолетов медленно протягивались за стеклянной стеной. Не верилось, что они могут взлететь, но они взлетали, там, вдали. Рокот то смолкал, то надвигался. Не верилось, что за какие-нибудь три часа один из этих дельфинов перенесет девушку, сидящую перед ним, в Ашхабад. Но знал, что перенесет. Она выйдет из самолета, вдохнет горьковатый, пахнущий пустыней и горами воздух, увидит своих друзей, которым она что-то там привезла из столицы, заспешит им навстречу, они обступят ее, приветствуя, спрашивая, рассказывая, — и все, и она забудет о нем, о Лосеве, об этом давнем друге ее матери, который, так беспомощно, так сбивчиво, так жалко позируя, режиссирует перед ней былое. Им оставалось прожить вместе какие-то минуты, ну, час. Он возненавидел себя и возмутился за этот свой плен у собственной профессии. Отринуть все, весь лоск, эту умелость, эту постоянную готовность к тому, что тебя узнают, постыдную жажду эту, чтобы тебя узнавали, отринуть и побыть самим собой в этом странно смешавшемся прошлом и настоящем, с этой Таней-Ниной, с тоской в себе и радостью.

— Я полечу с вами, — сказал Лосев, еще не веря собственным словам.

Дельфинья тень скользнула по стеклу, скользнула по его лицу, поманила. Ну, конечно же, он полетит!

Нина, нет, Таня внимательно продолжала смотреть на него.

4

Легко замахнуться на поступок, но совершить его не просто. Мигом вспомнилось множество всяких дел, которые удерживали в Москве. Он ездил много, летал из конца в конец страны, летал за границу, у него всегда был наготове чемодан, чтобы не тратить время на сборы, его заграничный паспорт тоже всегда был наготове. Но это все для поездок запланированных, для командировок. А сейчас им было принято решение вопреки все-

му, самому себе вопреки. Какое-то очень молодое им было принято решение. Кажется, давным-давно когда-то так вот срывался и мчался куда-то. Когда? Куда? Забылось. Мчался, стучал в ночи в чью-то дверь, вторгался в чью-то жизнь.

Или снова стал молодым? А не смешным? Ну что, что думает сейчас о нем эта Таня? Уставилась, рассматривает, распахнув глаза, а что углядела?

Некогда было пускаться в разговор. Гон начался, бег на короткую дистанцию, поскольку в миг тот, когда было принято решение лететь, проник в ресторанный динамик усмешливо-дружественный женский голос: «Лосев, кинорежиссер Лосев, посадка на ваш самолет будет объявлена через несколько минут».

Он кинулся покупать билет. Билет ему продали мгновенно. Он кинулся звонить в Москву, не надеясь, что застанет дома свою многолетнюю помощницу, ассистента режиссера по актерам Серафиму Викторовну, даму к шестидесяти, но непоседливую, как воробушек. Сима была дома. Ей предстояло поливать цветочки в его отсутствие, — ключи от его квартиры у нее были, — ей предстояло, если позвонит жена из Минска, сказать, что он рванул на несколько дней в Ашхабад. Зачем? Он должен был дать Симе кое-какие разъяснения, она была связующим звеном между ним и съемочной группой, вот уже годы следовавшей за ним из картины в картину. Но он и сам не знал — зачем?

— Похоже, наскочил на сюжет для сценария! — бодро соврал он в трубку.

Сюжет для сценария — это было дело. Нельзя же лететь в такую даль и в такое пекло, где и сейчас за тридцать градусов, без всякого дела, без всякой цели. И лететь, даже не прихватив чемодана. Душевные порывы возможны в фильмах, но не в жизни.

— Замечательно! — прокричала Сима в трубку, и Лосев услышал, как она деловито закурила. Ему показалось, что из трубки приструился к нему табачный дымок. — Может, начать смотреть актеров на главные роли? Есть соображения? Героиня — кто? А герой? Натура в Ашхабаде?

Начавши врать, ври дальше.

— Натура в Ашхабаде, — сказал Лосев. — Героиня?.. Все дело в глазах, Сима.

— Всегда все дело в глазах.

— В распахнутых глазах.

— Именно в распахнутых, а в каких же еще?

— Ей лет двадцать шесть — двадцать семь. Может быть, чуть больше... Ей не легко живется. С год назад она потеряла мать, которая была всем для нее. У нее не складывается личная жизнь.— Похоже, Сима начала выуживать из него правду. Он обозлился: — Рано думать об актерах!

И вот он в небе. Но занялся земными делами: поменялся местом с каким-то уставившимся на него гражданином — узнал, должно быть? — чтобы оказаться рядом с Таней, пошел потом покурить, перебросился несколькими фразами со стюардессами, которыми был, конечно же, узнан, — подобно режиссеру Басову, прославившемуся в эпизодической роли полотера, режиссер Лосев утвердил свой лик в памяти народной, сыграв в собственном фильме официанта-виртуоза, чуть ли не жонглирующего подносом, тарелками и бутылками. Удача рольки была в том, что Лосев еще со вгиковских времен умел жонглировать и показывать не очень хитрые фокусы, когда исчезает в руке яблоко, а носовой платок оказывается не в том кармане. Из года в год проделывал он эти штучки, так, забавы ради, на вечеринках, а тут взял и сыграл себя такого, забавляющего, в фильме, изобразив печального официанта с веселыми бутылками. Удача рольки была в истинном уменье рук, как и в истинной печали глаз. Снимался без особой цели, веселясь и импровизируя, а экран показал нечто серьезное, печальный и ловкий официант запомнился. Были потом и другие рольки, когда снимался уже не сам у себя, а в фильмах приятелей, разглядевших в нем умение сверкнуть в крошечном эпизодике, запомниться одной-двумя фразами, весело сказанными печальным человеком. И забавно, режиссерская его известность была безлика, хотя картины его были среди заметных, а вот сыгранные им эпизодики в фильмах сделали лик его весьма знаменитым. Узнавали на улицах, в гостиницах, просили автограф. Вот и отринь все, поживи попробуй в тишине безвестности, когда ты для всех — тот самый фокусник из ресторана, таксист, футбольный болельщик, — кто там еще? Вся затея с полетом в Ашхабад показалась вдруг нелепостью. Ну, прилетит, ну, взмокнет от жары, встретит кого-нибудь из той поры, ныне старых и поникших. Зачем? А дальше что?

Лосев тяжело опустился в кресло между Таней и пожилой туркменкой в просторном, домотканом туркменском платье, украшенном старинными серебряными поковками. Чудо, какое платье, какой глубокий цвет у ткани, какая доподлинность старого серебра. Парижских бы модельеров сюда. Они бы сотворили сенсацию. А старая туркменка и не догадывается, что одета в сенсацию.

Старая туркменка скосила на Лосева невыцветшие, коричневые глаза.

— Не пугайтесь, в это время года у нас не очень жарко, — сказала она.

Лосев как можно веселей взглянул на Таню.

— Разве я похож на перепуганного человека? А знаете, что на вас, — он обернулся к туркменке, — такое платье и такие украшения, что в Париже бы...

— Когда-то жили у нас в Ашхабаде? — спросила туркменка.

— Да! Как вы догадались? — напрягся Лосев.

Старая женщина улыбнулась, устало и мудро.

— Я смотрела, как вы оглядываетесь, прислушиваетесь, как пытаетесь узнать кого-нибудь. Вы жили у нас еще до землетрясения?

— Да. И во время.

Ему показалось, что он уже встречался когда-то с этой женщиной. Глядел в ее коричневые глаза, вслушивался в ее с мягким «л» и с неожиданными ударениями русский говор. И эти серебряные украшения вспомнились ему.

— А потом бывали? — спросила женщина.

— Нет.

Нет, он не встречал ее раньше, а если и встречал, то не смог бы запомнить. Он встречал ей подобных, тогда, там, на улицах того города, которого теперь нет, в который он все-таки возвращался.

Женщина строго свела брови.

— Почему так поздно возвращаетесь?

Что он мог ей ответить? Он потянулся глазами за помощью к Тане. И у нее тоже строго были сведены брови. О, эту строгость он помнил!

В самолете, долго простоявшем на земле, было невыносимо жарко. Лосев привстал, схватился за вентиляционные дульца, направил на себя все три дульца, все три расстреливающие струи.

— Лучше поздно, чем никогда, — сказала туркменке Таня.

— Это так, — наклонила старая женщина голову, но не простила.

Самолет шел на большой высоте, земля лишь изредка открывалась где-то под барашковыми завертями облаков, — то выжелтившаяся степь, то высинившийся Каспий вдруг проглядывали. Но над Туркменией земля открылась окончательно и близко. То были осенние Каракумы, буроватый, изнуренный солнцем барханный океан. Странно, но только над Каракумами понял Лосев, как далеко он залетел, хотя в пути был всего около трех часов. И только над Каракумами успокоился, перестал казнить себя за нелепый порыв. Все правильно, он должен был полететь вместе с Таней. Эта встреча не могла прерваться, она была не случайна в его жизни, она была предназначена. Он должен был еще хоть раз побывать в Ашхабаде. Все правильно! Кажется, и Таня отнеслась к его решению, как к чему-то вполне разумному, понятному. Всю дорогу она подремывала, несколько раз ее голова притыкалась к его плечу, и тогда он заставлял себя думать, что это Нина рядом с ним, что три десятилетия отбежали назад и что летит он не в ИЛ-154, а в машине времени. Фильм, этот вечно мелькающий во внутреннем его зрении фильм, обещал быть интересным, сулил находку чуть ли не в следующем кадре, то самое нечто, за чем гоняются всю жизнь все режиссеры, днем ли, ночью ли, наяву и даже во сне всматривающиеся в свой бесконечный фильм. Каторжная профессия. Сладкая каторга. Что же, он и впрямь летит за сюжетом для будущего фильма? Или просто жил в этом сюжете? Но в том-то и дело, что истинные сюжеты — это всегда жизнь.

Самолет пошел на посадку. Под крылом открылось коричневатое озеро, в которое втекала прямая, как по линейке, полоска воды. То был знаменитый Каракумский канал, то было озеро, вставшее на окраине Ашхабада, города, от века пребывавшего на голодном водяном пайке. Сейчас Лосев увидел не только озеро и канал, но еще и множество водяных проступей в соседстве с аэродромом. Это была уже избыточная для Ашхабада вода. Та самая, должно быть, какая мерещится изнывающим от жажды путникам в пустыне.

— В Ашхабаде наводнение?! — удивился Лосев.

— Грунтовые воды, наша беда, — сказала старая туркменка.

— Человеку всегда все не так, — сказал Лосев.

Приземлились. Притихшие было пассажиры заговорили все сразу и громко, высвобожденно. Что ни говори, а человек не создан для полета, на земле ему уверенней. На родной земле — особенно. Слышней сделались голоса тех, кто прилетел домой, слышней стала туркменская речь с круглым «р» и мягким «л». А те, кто прилетел сюда в командировку или в гости, попритихли, скованные близкими заботами: встретят ли, дадут ли номер в гостинице, найдется ли такси?

Притих и Лосев, вдруг усомнившись в своей затее. Ну куда он сейчас станет подаваться? В гостиницу? Паспорта у него с собой не было. Впрочем, он не сомневался, что добудет номер и без паспорта, под кинематографическое удостоверение, как добыл под него и билет на самолет. Но надо будет кому-то что-то втолковывать, о чем-то просить, глядишь, звонить на местную киностудию, если гостиница переполнена. И тогда начнется! Обнаружатся знакомые, сотоварищи, эти самые, как их, единомышленники в искусстве. А там — коньяк до позднего вечера, мелькание лиц и треп бесконечный про то, кто что снял, как снял, у кого слямзил. А там — поездка на студию, просмотр фильма или материала здесь работающего приятеля, выступление на студийном худсовете, интервью для местной газеты, снова ресторан, снова коньяк, снова просмотр.

Поник, приуныл Лосев, чувствуя, как катастрофически мелеет его решимость, его порыв, как смысл превращается в бессмыслицу. Да еще самолет пронзила жара. Пассажиры поднялись, грудились в проходе, а двери еще не были откинуты, трапы только подкатывались. Невмоготу стало Андрею Лосеву.

— Вы можете остановиться у меня, — сказала ему Таня, прохладным шепотом обдав щеку. — У меня двухкомнатная секция.

— Секция? — не понял Лосев.

— Ну, квартира. У нас тут почему-то квартиры в сборных домах называют секциями.

Вспомнилось, или показалось, что вспомнилось, как

вот так же точно о чем-то говорила ему Нина и прохладный ветерок от ее слов пробирался к его лицу через знойный воздух. Вспомнился белый дувал и ночной звездный свод неба, вспомнились крошечная из тяжких досок дверь в стене, железное кольцо на двери, тень карагача через лунный блик дороги. Вспомнилось это все или показалось, придумалось? О чем тогда они говорили у дувала? Господи, о чем?!

Откинулась наконец дверь, ворвался в чрево самолета горьковатый, с песочком, мигом узнанный и через тридцать лет воздух.

— Все правильно, — сказал Лосев. — Все правильно.

5

Из узнанного, когда ступил на ашхабадскую землю, был только этот горьковатый и с песочком воздух. Все прочее открылось городом-незнакомцем. И незачем было всматриваться в стекла аэропорта, почти такого же, как и во Фрунзе или Самарканде. Деревья тоже были такие же, какие растут в Самарканде, Ташкенте или в Алма-Ате. Не странно ли, за эти тридцать лет он побывал во многих городах Средней Азии, в Алма-Ате, в Семипалатинске даже был, но только не в Ашхабаде.

Путь от аэродрома в город был уставлен типовыми домами, когда въехали на проспект Свободы, а Лосев узнал этот проспект по уникальной прямолинейности, этот проспект рассекал весь город, но и тут не нашлось ни одного дома, который бы напомнил о себе, окликнул бы, что ли. Нет, тут не на чем было ожить памяти, разве что на горы оглянуться — но что горы, они были свидетелями вечности и к Лосеву в свидетели не шли.

Позади аэродром, сутолока встречи, — показалось, что Таню встречают чуть ли не все, кто вышел к самолету, — позади глуповатая его роль человека, которого сразу все узнали, но сразу же — деликатный народ! — постарались сделать вид, что он совершенно никому неведом. Впереди незнакомый город, совершенно незнакомый город, и вдруг нахлынувшая, стиснувшая горло печаль. А все-таки нельзя выбиваться из колеи. Нельзя, незачем в такие-то годы совершать подобные рывки

в прошлое. Тут возможны чрезмерные, опасные перегрузки, похуже, чем в космосе.

Поплутав по узким от деревьев аллеям, машина остановилась у Таниного дома, который был почти до крыши заслонен тополями, хотя тополя эти были молоды. Вся свободная земля перед домом и перед соседними такими же домами, в два этажа и в галерее застекленных террас, была разделена на крошечные участки, превращенные в огороды, цветники, виноградники.

— Прямо как в Японии, — сказал Лосев.

— Вы бывали в Японии?

— Бывал.

— И у них похоже?

— Сходства нет, а вспомнилась вот Япония.

— Да, мы тоже скученно живем, — согласилась Таня. — В жару и спим в этих огородиках. Да что я вам рассказываю. Идемте, входите.

Она взяла его под руку и повела к дому. Он нес ее чемоданчик, совсем маленький и легкий. Груда свертков, которые она везла с собой из Москвы, была разобрана ее друзьями на аэродроме. И там же все с ней простились, видимо изменив традиции, согласно которой должны были прикатить сюда всем табором, чтобы кутнуть по случаю благополучного приземления подруги, приятельницы, соперницы, возлюбленной, — кто да кто была Таня для встречавших ее, этого Лосев понять не успел. А понял он другое. Танины знакомые не только его узнали, они еще и что-то такое о нем знали, что делало для них вполне объяснимым его приезд с Таней, вполне оправдывало в их глазах решение Тани поселить его у себя. Тут было над чем задуматься.

Таня жила на первом этаже. Дом не мог быть старым, но казался обветшавшим. Ступени лестницы искрошились, осели, будто века по ним прошли.

— Такие дома называются у нас времянками,— сказала Таня. — Их строили сразу после землетрясения, на короткий срок. Но вот живем и живем. В городе все еще очень трудно с жильем.

— Да, да... — Лосев не вникал в то, о чем говорит ему Таня, он слушал ее голос. Это был голос Нины. Он поднимался сейчас по ступеням, по этим осевшим ступеням, по которым почти тридцать лет ходила Нина. Годы меняли ее, как и эти ступени, обламывали что-то в ней,

затаптывали, ее жизнь оборвалась до срока, раньше, чем жизнь этой времянки.

— Вам трудно жилось? — спросил Лосев.

Они встали перед бедной дверью, с убогой ручкой, какие приколачивались к дверям вот именно тридцать лет назад. Кажется, и охра на двери была от той поры. Зной иссушил краску, облупил, изморщинил.

— Нет, почему же, — отозвалась Нина, нет, Таня. — По-разному жилось.

Она отомкнула дверь, и Лосев робко шагнул в дом Нины. Он ждал, что стены и вещи, как эта лестница, как эта дверь, начнут упрекать его.

Таня быстро прошлась по комнатам, распахивая окна. А Лосев все еще топтался в крохотной прихожей, осматриваясь, всматриваясь в две пары глаз. Одна пара — это были его, Лосева, глаза, другая — это были глаза кинорежиссера. Обычно взгляд этих глаз был слит, но сейчас разделился. Опыт души и боль души смотрят по-разному.

Такие квартиры доводилось видеть режиссеру Лосеву, доводилось и павильоны такие заказывать и снимать в них ту жизнь, что соответствовала стенам и мебели. Но то были декорации. Но то была чья-то жизнь, чаще всего измышленная, взятая из сценария, чаще всего подогнанная под схему: такие-то люди вот так-то вот живут.

А сейчас был не сценарий, не сборно-разборные декорации вокруг стояли. Это его Нина с дочкой вот так-то вот жила. Почти тридцать лет прожила в этих стенах женщина, которую он любил, единственно которую и любил, хотя были потом и любови и влюбленности, вся эта маета души человека, в спешке юности проскочившего свою судьбу.

Что ж, кто же был зорче сейчас — человек Лосев или кинорежиссер Лосев? Опыт и боль продолжали смотреть поврозь. И если опыт подмечал бедность, старавшуюся все-таки изображать некий уровень благополучия, то боль человека подметила гордость. Здесь жили гордые женщины. Они умели одолевать одиночество, их дом был открыт для друзей, они были отзывчивы к чужому горю, они умели не жаловаться, умели довольствоваться малым, умели радоваться малому, независтливыми были. А все вместе — они были горды.

Но как можно было углядеть все это, ведь не было

же на стенах и на вещах титров, к каким прибегал немой кинематограф: «ОНИ ЖИЛИ БЕДНО, НО ГОРДО». «ОНИ ЧЕСТНО ТРУДИЛИСЬ». «ИХ СОВЕСТЬ БЫЛА ЧИСТА».

Титры были. В том-то и дело, что немой кинематограф начался не при братьях Люмьер, а несколько раньше, в пору Адама и Евы. Под каждой вещью или над каждой вещью явственно обозначиваются письмена. Их прочесть дано не каждому и не во всякий миг. Это чтение особенного рода, это зоркость души человеческой, обретаемая не часто. Это боль, а не зрение.

Лосев шагнул из прихожей в комнату, в которой жила Таня и в которой принимали гостей, а иногда и больных, — большой стол стоял у стены в обступе старых, удобных стульев, в углу строго, узкоплече вытянулся белый больничный шкаф. Танина тахта была укрыта текинским ковром, потертым местами, очень старым, заслуженным, каким и должен быть ковер в семье коренных ашхабадцев, — Таня ведь была коренной ашхабадкой, родилась здесь. Новенький, фабричный ковер в таком доме был бы немыслим. Ни одной дорогой, кокетливой вещи не было в этой комнате, где жила молодая женщина, но все тут вещи — и старый телевизор, какие уже не выпускаются, и старый дешевый проигрыватель, ветеран радиоприемник, явно говоривший еще голосом Сталина,— все эти вещи изо всех сил продолжали служить своей молодой хозяйке. Да, они были горды собой, своей работой, своей затянувшейся службой. Это все разом увиделось Лосеву. А режиссер в нем потянулся к сюжету, к какому-то еще в туманце сюжету, где бы разговор пошел про то же самое, про что догадался Лосев, но только в нравоучительном непременно ключе. Вот, мол, как чисто, трудолюбиво, как жертвенно шла и идет в этих скромных стенах жизнь. Лосев яростно взмахнул рукой и развеял туманец, в котором набирал силу бодрый обман. А правда была в том, что одиночество убивает. А ну-ка, режиссер, сложи попробуй такой сюжет.

Лосев встал в дверях второй комнаты, где у окна стояла Таня. Это была совсем маленькая комната, комната Нины. Здесь ничего не было тронуто после ее смерти. Это была комната и еще одного человека. Культ этого человека. Все стены были в его портретах. Больших, маленьких, давних, недавних. Лосев оторопел,

вглядываясь. Отовсюду смотрел на него он сам. Где сам из жизни, а где — из роли.

Таня проскользнула мимо Лосева, оставила его одного.

Тщеславные режиссеры собирают свои портреты, афиши, увешивают ими стены. Лосев никогда не поддавался этому искушению. Дома, в его комнате, висел большой портрет Эйзенштейна, стоял на письменном столе маленький портрет Игоря Савченко с дарственной надписью. Это были учителя.

А здесь — учительствовал он. И здесь были собраны не какие попало фотографии, а тщательно отобранные, только из той его поры, когда случалась наивысшая удача. Здесь утверждалась его удача.

Лосев пошел вдоль стен. Иные фотографии он и сам видел впервые. Он не так уж часто улыбался в жизни. Тут, на фотографиях, улыбка не сходила с его лица.

Были и афиши его фильмов. И тоже — самых удачных его фильмов. Не обязательно тех, какие хором хвалили, а тех, что нравились ему самому. Если уж стал бы он вывешивать свои афиши, он бы вывесил именно эти. И даже обруганный его фильм, забытый, перечеркнутый, у которого и рекламы никакой не было, был представлен здесь крошечной афишей, где-то раздобытой Ниной. Лосев не знал о существовании этой афиши, он встал перед ней, растроганный, глаза в глаза встретившись с актрисой, игравшей в том фильме главную роль. Да, конечно же, она была похожа на Нину. Такие же распахнутые глаза, чистый, упрямый лоб. Он тогда не догадался, что из всех кандидаток на роль взял актрису, похожую на Нину. Он тогда не искал этого сходства, забыл про Нину. Но это сходство было необходимо ему, как образец правды, угнездившейся в нем, в той памяти нашей, которой мы не вольны управлять.

Нина догадалась, что этот обруганный фильм был самым его любимым. Она догадывалась и о счастливых его минутах, об уверенной поре. И только на тумбочке, у изголовья стояла в рамке одна-единственная здесь неулыбчивая фотография. Это был кадр из фильма, где он сыграл печального и ловкого официанта. Усталое лицо, потухший взгляд, бодрящиеся брови. Маленькая фотография, совсем незаметная, случайная здесь, в этом музее его славы. Да, он находился сейчас в комнате-музее своего имени, в прижизненном мемориале. Но по-

чему-то не возгордился и не обрадовался. Разглядывая себя, он думал о женщине, которая год за годом собирала эти фотографии и рекламные афиши, он начинал догадываться, зачем она это делала, все более утверждаясь в своей догадке. Теперь понятным становилось многое. Ну хотя бы то, как встретили его друзья Тани, какими заговорщически понимающими перебрасывались взглядами. Он был отцом Тани! В этой комнате утверждалось его отцовство. Девочка, лишенная отца, росла все-таки с отцом, в окружении его улыбающихся портретов, его успеха, его славы. Да, у ее матери не сложилась с ним жизнь. Что ж, бывает. Но у Тани есть, есть отец. Вот он. Знаменитый кинорежиссер. Победоносный человек. Вот он! И лишь эта маленькая фотография на тумбочке была фотографией не для дочери, а для себя. Он понял все...

— Не пугайтесь, я не ваша дочь,— услышал он за спиной.

Таня вернулась, стояла в дверях, скрестив руки, смотрела на него, разгадывала его мысли.

— А я и не пугаюсь. А все-таки, что за всем этим кроется?— Он повел рукой.

— Какая-то мамина фантазия. В детстве и я в это верила. Правда. Но вот, смотрите.— Таня пошла к нему, протягивая какие-то бумаги.— Вот моя метрика. Тут все точно, я проверяла. Я родилась не в сорок девятом, как следовало бы вашей дочери, а в конце пятидесятого. Я и записана без указания отца. Отец — прочерк. Так делается, когда...

Они присели на Нинину тахту, узкую, девическую лежанку, и Лосев стал рассматривать врученные ему Таней бумаги. Все так, она родилась в декабре 1950 года, она не могла быть его дочерью. Все так, но он совсем по-новому взглядывал на нее, изучал ее профиль, теперь ища не сходства с Ниной, а сходства с собой. Не находил. Это была мамина дочь, и все-таки, а все-таки, возможно, что это сходство есть, но только не ему дано его обнаружить. Так бывает, что родные люди себя друг в друге не узнают, а кто-то со стороны, едва глянув на них, сразу же устанавливает их родство.

— Заметили, как на нас смотрели на аэродроме ваши друзья?— спросил Лосев, забыв о бумагах, отложив их, потому что бумаги эти ни в чем его не убедили. Каких только справок не бывает на свете, путающих

правду. Он и сам жил по паспорту, который на год убавлял его возраст. Когда-то, давным-давно, мать рассказала ему про этот убавленный год. Он родился в пору ту, когда было не до регистрации младенцев, когда по всей стране голод косил людей и особенно детей. Вот он и был зарегистрирован с опозданием на год.

— Да, им очень хочется, чтобы вы оказались моим отцом,— сказала Таня.— Ах, как им этого хочется!— Она вдруг отстранилась от него, взглянула потемневшими глазами.— Вы не должны были приезжать со мной! Зачем, ну зачем я вам позвонила?!

Чужая женщина сидела рядом, но могло оказаться, что рядом сидит родная дочь. Но если даже не дочь, не его дочь, то она была дочерью Нины, а прошлое сейчас слилось для Лосева с настоящим.

— Я должен вам в чем-то помочь, Таня? Ваши друзья считают, что я смогу вам помочь?

— Господи! Да зачем вы мне?! Вы нужны были моей маме, ей, только ей! А вас не было!

— Что ж, так случилось.

— Да, так случилось. Я не должна была вам звонить! Мамы не вернуть, а все остальное не имеет значения. И давно пора снять эти карточки. Прошу вас, будете уезжать, заберите их.

— Что — остальное?— спросил Лосев.— Хорошо, я не отец вам, поверим этим справкам. Но я был другом вашей матери. Чем я могу помочь вам, Таня? Я прилетел, я здесь. Велите мне вам помочь.

— Это невозможно.— Она спрятала лицо в ладони. Никогда не прятал он лица в ладонях, это был не его жест.

— Почему невозможно? А вы поделитесь со мной. Еще там, в Москве, я понял, что у вас неприятности.

— Неприятности?— Она вздернула плечи, отрешаясь, пренебрегая им.

Это тоже был не его жест. Он не помнил, чтобы и Нина таким отсекающим владела жестом.

— Дело не в слове.

— А я верю словам.

— Сперва было дело, а потом — слово. Я верю в поступок.

— Не думаете ли вы, что совершили поступок, прилетев сюда? Годом раньше — это был бы поступок. Сейчас — каприз. Есть деньги, есть время. Отчего не слетать

на денек к местам своей юности.— Ее глаза враждовали с ним, но он и в этом темном поблеске глаз искал сейчас сходство с собой.— Занималась! Изучала! Нет, Андрей Лосев, я ни в чем, ну ни в чем не похожа на вас!

А ему показалось, вот как раз сейчас показалось, что смолоду он так же вот любил напрямик разговаривать, в упор разглядывая, сжимая кулаки. Что ж, кулаки свои в ней узнал? Он поднялся.

— Быть по сему! Не похожи. Ну, а чаем хоть попоите? Мой план такой... Поброжу по городу, повспоминаю, если вспомнится что, куплю зубную щетку, бритву, рубашку — найду я тут приличную рубашку?— схожу на базар, в фруктовые ряды,— подышу, погляжу, в «Фирюзу», может быть, съездим,— съездим?— ну, а там и в самолет. Не обременю, не бойтесь.

— Вечером набегут друзья на вас смотреть. Прошу вас, развейте легенду.

Прося, она даже попыталась улыбнуться.

Лосев глянул на стены, на свои улыбающиеся изображения. Нет, Таня не так улыбалась, как он, сходства не было.

— Хорошо, буду стараться,— пообещал он.— Скажите, разве с матерью у вас не было разговора, кто да кто я вам? Ну, хотя бы в последние ее дни...

— Она не шла на такой разговор. Фантазия не нуждается в разбирательстве. Легенда — потому и легенда, потому и сон, а не явь. Ей это нужно было, вот и все. Но когда я получила паспорт, я сама сходила в архив, нашла все записи. Поверьте, мне даже было жаль, что я не ваша дочь. Рухнули мои детские фантазии. И очень, очень стало жаль маму. Но теперь ее нет. Развеем легенду.

— А в последний, в последний час вы были с ней рядом?— настаивал Лосев.

— Да.

— И она ничего не сказала вам?

— Какой вы! Ну сказала. Но она уже бредила тогда. Ну сказала, что в самую, самую трудную мою минуту отец обязательно объявится. Она бредила тогда.

Ища союзницу, обвел Лосев глазами стены. Но только себя везде углядел.

— А ее где фотография?— спросил он.

Таня быстро поднялась, выскользнула из комнаты и тотчас вернулась, неся в вытянутой руке маленькую,

с ладонь фотографию. Лосев принял ее, всмотрелся. Он увидел болезненно полную женщину, опирающуюся на палку.

— Почему — палка?

— Множественный перелом. Тогда, в землетрясение. Разве вы не знали?

— Нет. Я нес ее на руках, потом на носилках. Ее сразу же отправили в Баку.

— И вы решили, что ваша миссия выполнена? Вот видите...

Да, он видел... Болезненно полная женщина привычно опирается на палку. Все тело ее давно привыкло к хромоте. Есть и в лице что-то от этой привычки, от этой постоянной напряженности. Нинино лицо и не ее. Очень далеко ушедшее от молодой поры лицо, почти все позабывшее из прошлого.

Когда обрушивалось на него горе, ну, не горе,— он горя не знал,— а случалась у него неудача, крупная неприятность, Лосев, того не желая, бессознательно, сам себя тихо оповещал грозными тактами Бетховенской Пятой симфонии: «Та-та-та-там...»

— Та-та-та-там...— тихо сорвалось с губ Лосева.

Так вот оно что, с тех пор, с той ночи Нина стала калекой! Так вот оно что!

Душно ему стало, нечем стало дышать, как тогда, как в ту ночь.

— Пойду, похожу! — сказал Лосев, шагнув к двери.

— Запомните назад дорогу?

— Запомню.

6

Начался вечер, и если не всматриваться в стены, в эти незнакомые окна, вспыхивавшие огнями, то деревья, кустарники, а еще больше желоба арыков, шорох воды в них были ему знакомы. И этот жар от перегревшейся земли был знаком. Вспомнился. Тут и ночью не исчезал этот жар земли, будто ты находился где-то совсем рядом с тем котлом с кипящей смолой, куда аллах кидает своих грешников. Но поверху тек с гор ветер. Он был настоян пронзительной свежестью, он шел с вершин, где у аллаха были сады для праведников. Ашхабад был зажат в тиски между адом и раем.

Так вот оно что, Нина была калекой! Все тридцать

лет, все эти долгие тридцать лет она прожила, опираясь на палку, перемогаясь. И ни строчки ему, так велика была ее обида. Обида или гордость?

Он бросил ее тогда, задвинув носилки в самолет. А он тогда считал себя чуть ли не героем. Откопал, пронес через весь город, который был охвачен пожарами, в котором нечем было дышать от поднявшейся пыли.

Он бросил и этот город, где нет ни единого дома, который возможно бы было узнать. Только деревья, иные из них, были из той поры. Но эти деревья не сохранились в памяти. Да и они стали иными за тридцать лет.

Чужой город, даже враждебный ему, укоряющий его, но и не чужой, если укоряет, если связи с прошлым не оборвались. Кто ему Таня, так кто же она ему? Тогда, незадолго до землетрясения, они с Ниной даже собирались пожениться. Друзья знали об их близости, торопили их принять решение. Друзьям виделась роскошная свадьба на всю киностудию и, конечно же, во дворе киностудии у фонтана, и чтобы были зажжены все диги и пятисотки, словом, все павильонные киносолнца. Друзья любят справлять свадьбы своих друзей. Но он медлил, а она не торопила. Он был на этой студии всего лишь дипломником, он не собирался оставаться здесь. Она же приехала сюда надолго, по распределению, окончив Ленинградский институт киноинженеров. И она была старше его на год, хотя на самом-то деле они были ровесниками. И манила, окликала, звала домой Москва. Он медлил, она не торопила. Пожалуй, все-таки она была старше его не на год, согласно паспорту, а на верный десяток лет, потому что у нее за плечами был опыт блокадного Ленинграда. Его тяжкий мужской опыт войны мало что стоил с ее блокадным опытом. Так все у них и тянулось до тех одиннадцати секунд в ночь с пятого на шестое октября сорок восьмого года, в которые не стало Ашхабада и судьбы всех его жителей сотряслись и смешались.

В Москве, за годом год, Лосев забывал Ашхабад, да не забыл, оказывается. Память была все время готова вернуть былое, устремиться в юность, в те дни здесь, в этот зной и запах пустыни, в нешуточный мир города, воистину стоящего на краю земли. Но, вспоминая, все время что-то вспоминая, Лосев ничего не на-

ходил на улицах, что бы могло поддержать его память. Он шел незнакомым городом. Эти новые стены вытеснили старые. Старый город как бы рухнул в памяти, но зато вспыхнули в памяти пятна мглы и пятна пожаров той ночи, когда Ашхабад действительно рухнул и рассыпался.

Лосев шел, чуть что не бежал, и ему казалось, что за деревьями нет стен, а вспышки огней в витринах казались огоньками начинающихся пожаров. И трудно, как тогда, было дышать, болело сердце. Мысли путались. Он был сейчас и в тогдашнем и в сегодняшнем. Он понимал, что ему душно, что сердце болит, потому что еще не обвык после полета, но он понимал, что сердце болит и дышать ему нечем, потому что открывалось глазам былое и что былое задает ему нынче невыносимо трудные вопросы.

Так кто же ему Таня? Почему все эти годы собирала Нина его фотографии, жила его делами, успехами, но ни разу не подала вести о себе? Что ему делать дальше?

Он никуда не сворачивал с проспекта Свободы, которому не было конца. Он держался этого проспекта, потому что он был прям и потому что помнился таким, хотя ни одного на нем не осталось знакомого дома.

Неожиданно Лосев вышел к знакомому дому. Знакомому по фотографиям, по кинохронике последних лет. То было залитое огнями здание гостиницы, на котором светилась неоновая надпись: «Отель «Ашхабад».

Лосев знал об этом отеле, как и о здании городской библиотеки, за которую архитектор получил Государственную премию, как и о здании управления Каракумского канала,— знал, поскольку следил за судьбой Ашхабада, прочитывал в газетах все заметки о нем, смотрел о нем кинохронику. Но все это было знанием из нового времени и разглядыванием издалека. Сейчас память ввела его в былое, а сам он снова был здесь, на этой земле. Спешил куда-то, оглядывался зачем-то, недоумевал, надеялся, путался в мыслях. И болело сердце, все время болело сердце.

Лосев вошел в холл гостиницы, рассчитывая найти там аптечный киоск. Он собирался совершить первую покупку в городе своей юности, купить валидол. Аптечного киоска он не нашел. В просторном с низким по-

толком холле, который оформляли вовсе не бездарные люди в деле оформительства, Лосев обнаружил кованую решетку и торжественные врата, ведущие в ресторан. Что ж, не валидол, так рюмка коньяка. Лосев вошел в ресторан, но тотчас убедился, что свободных мест нет. Он не сразу повернул назад. Захотелось поглядеть, что за народ здесь нынче коротает время. Тридцать лет назад, не в таком шикарном ресторане, конечно, а все-таки в лучшем ресторане города по названию «Фирюза», и он просиживал почти все свои вечера. Бывало, и днем забегал. Все официантки в той «Фирюзе» были его приятельницами, он даже пользовался у них кредитом, как, впрочем, почти все работники студии, включая и директора Сергея Денисова, и заведующего сценарным отделом Леонида Галя, закадычнейшего тогда друга Лосева. Леонид Галь сейчас жил в Москве, но они не встречались, и Лосев прочно забыл о своем ашхабадском дружке, а вот тут мигом вспомнил. И барак-ресторан этот вспомнил. И графины с пивом, без которых не начиналось застолье, на которых оно часто и заканчивалось. Двухлитровый графин с пивом и порция дешевенького сыра. И разговоры, разговоры. Всякие там планы, мечты. А где-то там, в небе или под землей, уже шел отсчет месяцам, дням, часам, минутам и, наконец, секундам в жизни этого города.

А вот сейчас ликуют джазовые парни, дергаются и усатые и волосатые, как где-нибудь на Бродвее или в подвальчиках Стокгольма. Вопит музыка, гудит праздник. Ну, а там — в небе или под землей — еще не пущены новые часы, ведущие свой отсчет для этого вновь возникшего города? Смелый народ тут живет, упрямый народ и, пожалуй, немножечко беспечный. Впрочем, теперь тут дома строят с учетом сейсмического пояса, так строят, что и девять баллов сдюжат стены. Только разве что качнутся на метр вправо и на метр влево. Смелый, смелый народ тут обитает.

К Лосеву, остановившемуся во вратах ресторана, подошел один из местных завсегдатаев. Длиннющий парень, кожа да кости. Почти красавец, когда улыбался, почти урод без улыбки. Он знал это и не уставал улыбаться, озаряя свое носатое, серенькое лицо светом доброты, приязни, молодости, щедрости — всего самого лучшего, что есть в человеке.

— Вы Андрей Андреевич Лосев,— сказал — улыбнулся парень.— Я один из тех, кто встречал Танюшу Белову и кто любит ваше кино.— Он померк, оценивая свои слова, но снова просиял улыбкой.— Между прочим, вас уже все тут узнали. Я послан звать вас к нашему столу. Удостоите?

— Почту за честь, но меня ждет Таня. Я выскочил, чтобы глянуть на город, купить кое-что.

— А мы нагрянем к ней все вместе. Да, разрешите представиться. Дамир Поливин. Корреспондент, референт, консультант и все такое прочее. Нравится вам мое имя? Родители, осуществив меня, решили внести свою лепту в дело борьбы за мир.

— Они внесли свою лепту в вашу улыбку,— сказал Лосев.— Вас в кино еще не снимали?

— И вы про это! Снимали. Пугалом выхожу. Дело в том, что я не умею улыбаться по заданию. Я человек непроизвольный.

Они вступили в ресторанный зал, направились в самый дальний его угол, где столы были только для избранных, для завсегдатаев. И еще издали стал угадывать Лосев, кто сидит за тем столом, где его ждали, откуда поглядывали. То был знакомый ему народ, в дальнем, а то и близком родстве с его профессией. Он встречал такую свою родню повсюду. В московских Домах кино, литераторов или журналистов, в таких же клубах в Ленинграде, в других городах. Не столько профессии метят людей, сколько люди метят себя своими профессиями. Вот, мол, кто я!

За столом, к которому подходил Лосев, сидел художник лет тридцати с небольшим при бороде и трубке, небрежно засунутой в верхний карман пиджака, литератор, одетый с продуманным вольнолюбием, и тоже молодой еще, другой литератор или журналист, одетый беднейшим образом, но зато дерзко поглядывающий окрест. Сидела еще дама. Миловидная, очень аккуратно одетая, строгая. Заведует отделом в газете? Начальствует в каком-нибудь издательстве? Тут ясности не было.

Подошли.

— Вас представлять нет надобности,— сказал Дамир.— А друзья мои сами представятся. Что вам налить? Впрочем, у нас только водка и пиво.

— Я на минуточку, если разрешите,— поклонившись

даме, сказал Лосев.— Цель одна, проглотить рюмку коньяку, чтобы поскорее обвыкнуть после полета.

Дама протянула ему руку, совсем так, как это делается на светских приемах и в кинофильмах про светскую жизнь.

— Елена Кошелева.

Что ж, он наклонился и поцеловал эту руку.

— Очень рад, очень рад.

Дамир пододвинул ему стул и принялся размахивать рукой-веслом, подзывая официанта. Паренек подбежал, уставился на Лосева, не веря глазам, впадая в обожание.

— Да, да, он самый!— сказал Дамир.— И требуется рюмка коньяку. Молниеносно!

— Бутылка,— сказал Лосев.— Лучше грузинский, но можно любой.

Вот и он стал втягиваться в эту игру под кого-то там. А сердце продолжало болеть и душно было, модерновый этот ресторан плохо проветривался.

— Олег Дозоров,— представился художник.

— Вы — художник?

— В смысле рисуем-малюем? Ни в малейшей мере.— Бородатый обиделся.— Это потому что борода и трубка? Стереотип мышления.

— А я кто?— спросил дерзкоглазый.

— А я?— спросил литератор.

— А я?— спросила Елена Кошелева.

— Не смею даже строить догадки,— сказал Лосев.

Его приняли не очень-то дружелюбно, хотя сами позвали к столу. И это тоже было знакомо. Все от случая, какой стих найдет. В одном застолье самоуничижаются, в другом — самоутверждаются. Да ну их, сейчас он их покинет!

Примчался официант, торжественно поставил на стол бутылку.

— Марочный! Туркменский! Только начали изготавливать!

— Вот, мальчики, вот что дарит людям слава,— сказала Елена Кошелева.— Вас так здесь сроду не обслуживали, аборигенов.

— Так ведь...— И официант, не сводя с Лосева влюбленных глаз, изобразил руками, будто жонглирует.— Может человек...

— А вы действительно все это проделывали сами?—

спросил Лосева дерзкоглазый.— Или очередной кинообман?

Худо, худо его тут встречали. Осадить, а то и послать их всех ничего не стоило, но это, кажется, были друзья Тани, все они встречали ее на аэродроме. Не могли же у Тани быть пустопорожние друзья.

Вслушиваясь, как все не отпускает сердце, Лосев вялым движением взял бутылку, крутанул, обернув вокруг руки и раз и другой,— нате вам, убеждайтесь!— и стал открывать.

— Ага!— возликовал официант.— Умеет человек!

Он выхватил из рук Лосева бутылку, почтительно склонился, налил только ему.

— Даме, даме, коллега!— сказал Лосев. Он отобрал бутылку и налил Елене Кошелевой, а потом и всем остальным.— И сразу счет. Спешу.

Он поднялся, стоя начал пить, вслушиваясь, как подбирается коньяк к сердцу, как тишает — чудо-коньяк!— боль.

Все тоже поднялись. Официант обслуживал этот столик, как положено на приемах, подливая, держа бутылку наготове, забыв о прочих столах.

— Все-таки надо за что-то же выпить,— сказала Елена Кошелева.— Вот, надумала. За ваше возвращение в родной город!— Она высоко подняла бокал.

— Родной?— усомнился дерзкоглазый.— А что сие означает? Философ, что входит в понятие — родной город?

— Целый набор понятий,— отозвался бородатый, который, оказывается, был философом.— Родился... Родил... Созидал здесь и сам был созидаем.

— Я не подхожу ни под одно из этих определений,— сказал Лосев.

— Как знать, как знать,— прямо взглянула на него Елена Кошелева.— Я все же настаиваю на своем тосте.

Она выпила, ее приятели выпили следом. Выпил и Лосев. А затем поклонился даме и ее сотоварищам, милому Дамиру, который, почувствовав общий холодок, перестал улыбаться, вмиг превратившись из праздника в серый день,— и пошел от стола. Паренек-официант его сопровождал, пребывая все в том же восхищенном изумлении, и веря и не веря глазам своим. Шутка ли, перед ним был тот самый человек, который сыграл

в кино замечательного официанта, фокусника, жонглера и острослова,— мечту сделал явью.

— Ни за что!— вспыхнул паренек святой обидой, когда Лосев попытался дать ему на чай.— Со своих не берем!

Славный парень! Как утешил он сейчас Лосева, приобщив к числу своих. И коньяк этот туркменский помог, перестало окликать поминутно сердце. Не такой безнадежной духотой встретила и улица.

Но все же, где в этом городе можно обзавестись зубной щеткой и бритвой? Лосев остановился, стал оглядываться, решая, куда путь держать. Он знал, что находится в центре, план города был сохранен, когда его восстанавливали, но и нарушен. Здесь, где возник этот отель, некогда были жилые дома, одноэтажные, с высокими оградами, с садами и виноградниками. В один из таких домов он часто захаживал, там жила милая одна армяночка, дочка крупного в городе начальника по торговой части. Это была сказочно богатая невеста. С прекрасным образованием — музыкантша, преподавательница по классу фортепиано в музыкальной школе, получившая к тому же отличное домашнее воспитание: замечательно пекла разные там печенья, слегка разговаривала по-французски, никогда не вмешивалась в мужские беседы. Брак с ней не мог не быть счастливым. Но молодость побаивается слишком уж очевидного счастья. У милой этой музыкантши было много ухаживателей, пудами поглощавших сладкое печенье, но никак не отыскивался настоящий жених.

Да, где-то здесь был ее дом, из окон которого всегда лились звуки фортепиано, смешанные со сладчайшим запахом ванили и корицы. Сгинул этот дом. Отлетели сладкие звуки и запахи.

7

Существует память глаз. И разные еще есть памяти. Можно вспомнить запах. Так пронзительно, что быстрее скорости света отлетишь из нынешнего в былое. Из шестого десятка в первый. А всего-то пахнуло печеной картошкой. Зрение... Обоняние... Осязание... А есть еще память счастья. Да, да, вот тут ты был счастлив. На этой земле, которая пахнет так же, как и тогда. Ты проходил здесь, твои следы тут стерты, но и не стерты.

Вот почему так любят люди метить деревья, скамьи, даже скалы своими безвестными всем прочим именами. Важно след оставить о счастливой минуте, важно пометить себя в счастье. Здесь не было дерева с его инициалами. А жаль. Деревья здесь сохранились от той поры. Только, пожалуй, одни деревья. Да вот еще горы в близкой дали. К вечеру горы по-новому открываются глазам. Уходит цвет, остается очерк. Господень резец прочерчивает небо. Здесь были суровые горы. Он помнил, здесь горы никогда не напоминали ни Крым, ни Кавказ. Сколько бы он ни ездил потом по Крыму и Кавказу, тамошние горы ни разу не совпали с этими. Так океан не похож на озеро, хотя вода и вода.

Есть память глаз, — и Лосев смотрел на эти горы, на эти громады Копет-Дага, затаивавшиеся во тьме, но по вершинам еще открытые небу. Он смотрел, тщась вспомнить молниепохожий их очерк, он свернул к ним, пошел к ним, сам не ведая, что обретает иную память — память ног, плеч, память тела, движения, когда, как слепец, угадываешь дорогу, по которой ходил много раз — тогда, в пору счастья.

Ноги повели его и привели на обширную площадь. Сразу узнались величественные здания, окаймлявшие ее. Узнались по фотографиям. Раньше их тут не было. От прежнего тут остались только горы, темная, в черноту сейчас гряда. Раньше по склонам холмов предгорья взбегали огоньки домов, крошечных домиков, по одному огоньку на дом. Этих огоньков не стало. На склонах, не дотягиваясь лучами друг до друга, одиноко, одноглазо белели и алели сигнальные огни.

А площадь была светла под звездным шатром. Откуда-то вырывались лучи прожекторов, которым надлежало подсвечивать фонтаны. Не гасли огни в зданиях. Вот в этом был «Каракумстрой». Вот в этом — знаменитая библиотека. Не книгами пока знаменита, а стенами. В близкой дали светился Вечный огонь у памятника-обелиска. И сверкала вода, вобранная в узорчатые озерца, уставленные островками, на которых стояли для отдохновения скамьи под навесом струй.

Да, это и была та самая площадь, посреди которой некогда стояла сбитая из фанеры трибуна,— площадь, утрамбованная крупной галькой, умягченная песком пустыни, в завертях пыли, чуть лишь подует ветер. Центральная площадь города, где проходили парады.

Пустынная в обычные дни площадь, где он, Лосев, встречался с Ниной, где они сидели на ступенях трибуны и где, помнится, он что-то нацарапал на фанерном листе,— это самое и нацарапал: «Нина плюс Андрей»,— конечно же, забавы ради. Фанера и не ждет серьезных надписей, вот уж воистину не вечный материал.

Здесь, на этой площади, когда рухнул город, был развернут госпиталь. Сразу, в первый же час. Под открытым небом, под звездным шатром. Но тогда пыль сокрыла звезды. Тогда зажглись на площади костры. При свете этих костров и шли операции. На эти огни сбегались со всего города уцелевшие, приносили раненых. Сюда он и принес сперва Нину.

Памятное место. Эту площадь не узнать теперь, тут все иное. Это действительно красивая площадь, ею можно гордиться. И забыть на ней можно о том, что было, что творилось тут в ночь, когда рухнул город. Так и строили ее, затем и строили, чтобы страшное поменять на светлое. Спасибо людям, построившим эти здания, придумавшим эти фонтаны в лучах прожекторов. И эти гроты, островки. И скамейки для отдохновения. Спасибо людям, одолевшим страх, не бежавшим с этой земли. И все же на этой площади необходим памятник той ночи. Не вся площадь памятник, а памятник на площади. Памятник погибшим и тем, кто, уцелев, не ушел.

А он ушел.

Он был прав тогда, ему нечего было делать в городе, где рухнула студия, сто доводов было за то, чтобы уехать. Он ведь и не был ашхабадцем, он приехал сюда на практику. И Нины здесь не было, он сам ее отправил в Баку. Все так, все верно, а вот сел на эту скамью, под навес брызг, а вот глянул на сумеречные горы,— и усомнился. Через тридцать лет усомнился: а верно ли поступил?

Хорошо светили прожекторы. Кто-то умный их расставил, но кто-то еще более умный распорядился, чтобы одна из ламп перегорела, другая бы затянулась пылью, а еще одна, избывая, лишь слабо мерцала. И вот теперь-то и хорошо светили прожекторы.

А все же площадь напоминала. Та ночь не сошла с нее. Горы были все те же, звезды все те же, земля, хоть и укрытая бетоном, асфальтом, водными плошка-

ми,— она была все той же. Тени блуждали в лучах прожекторов.

Лосев вгляделся, упершись глазами в тонкий луч, бивший из грота. И ослеп, конечно. На съемках, в павильоне, он бы никогда не уставился так на прожектор: знал, что нельзя. Тут забылась выучка. Глянул, ослеп, прозрел, зажмурив и разжмурив глаза. Та площадь увиделась. Плохо натянутые палатки,— никто, как оказалось, не умел их крепить, да и земля тут была каменной. Маревом ходила пыль. Небо обеззвездилось. Лишь редко, как чудо, открывалась в клубящихся тучах луна. То были не тучи, это пыль взметнулась над павшими стенами.

Пылали костры. Их становилось все больше. Они разгорались жадно, огню редко когда доставалась такая щедрая пища. В огонь шло все, любая вещь: мебель так мебель, ковры так ковры, книги так книги. Нужен был свет, чтобы разглядеть побитые тела.

Мелькали между кострами белые пятна врачебных халатов. Врачи перестали тут быть людьми, они казались пришельцами с небес, спасителями. Да, и начало уже гудеть небо,— это во тьме кромешной шли к городу со всех сторон самолеты. Старые, военной поры, на которых возили воду в Красноводск, серу из пустыни,— все эти ЛИ-2, ПО-2 и «Дугласы». Их натужные, родные голоса узнавались. И уже иные звучали в небе голоса, посильней, помоложе, с большей высоты. Это шли самолеты из Баку, из Ташкента, из Алма-Аты. Гудело небо — там блуждала помощь.

А белые халаты, как белые крылья, склонялись над распластанными телами. У земли, стелясь по земле, неумолчно двигался стон.

Лосев закрыл глаза ладонью, отгородился, стер с глаз вспомнившееся. А потом наново поглядел на эту яркую площадь, у которой была своя тайна, своя печаль, как бы весело ей сейчас ни было.

Да, памятник той ночи был тут необходим. Как те два памятника — героям гражданской и героям Отечественной, светившиеся невдалеке Вечным огнем. Лосев вспомнил,— читал где-то недавно,— что такой памятник задуман, что решено соорудить его на деньги, собранные в народе, что памятник этот и задуман в народе. Кажется, уже объявлен конкурс на лучший проект,

уже рассмотрены первые предложения. Но еще не найдено решение, не найден образ.

О чем будет памятник? О ком? О погибших? Об оставшихся? О мужестве? Верности? Обо всем этом сразу? Но как совместить все это, как слить, единый отыскав образ?

Лосев прикинул, напрягся, надеясь угадать, углядеть памятник,— вот тут, вот сейчас, прозрев вдруг, обретя ту зоркость, которая иногда навещала его в самые-самые счастливые мгновения на съемках. Наиредчайшие мгновения. В отлетевшую пору. Да, в отлетевшую.

Он напрягся, он все силы души позвал на помощь, он искал этот памятник. Сперва место ему. Потом облик его. Показалось, место нашел. Этот вот островок, на котором находился. А облик? В ослепших, в слезящихся глазах мелькнул вдруг образ согбенной женщины, телом своим прикрывающей ребенка. И крестовина неумолимых балок, рухнувших на эту спину и остановленных женской, материнской спиной. Это?! Нашел?!

Лосев наклонился к земле, отыскивая щепку, прутик, чтобы нарисовать на песке увиденное, чтобы проверить себя. Схватил подвернувшийся камень, начал водить им по сухому гравию. Но гравий не принимал рисунка, не запоминал. Сыпучая, равнодушная материя! Не сама тут земля, которая помнила, а пришлый, привозной, декоративный мелкий камушек, которому было безразлично!

Кто-то негромко позвал Лосева:

— Андрей...

Лосев выпрямился, обрадовавшись, что кто-то избавляет его от этой мучительной борьбы с гравием.

Перед Лосевым стоял сухонький, едко улыбающийся старичок. Совершенно незнакомый ему старичок. Но он назвал его по имени, он и улыбался так, как улыбаются старому знакомцу, с которым можно даже расцеловаться,— старичок слегка подался к Лосеву для этой цели.

Но нет, не знал его Лосев.

— Простите, кто вы?

— Андрей, Андрей, Андрей... Эх, Андрей...— Все морщины на маленьком, сохлом личике огорчились, а тонкие губы обиделись.— Петьку Рогова забыл!.. Эх, Андрей, Андрей... Зазнавшаяся душа!.. Ну, помнишь, вме-

сте чечетку откалывали?..— Старичок подпрыгнул вдруг, легкий, невесомый, и сухо прощелкал подошвами.

Вспомнил! Когда вскинулась, задергалась старая голова, когда построжало и выравнялось для танца лицо, напряглось, чуть помолодев, вот тогда и вспомнил Лосев своего студийного приятеля тридцатилетней давности Петра Рогова.

Вспомнил и устрашился. Что же, и в нем самом столь грозны перемены?

— Нет, ты молодцом,— утешил его Петр Рогов.— Да и я не всегда такой. Это я пью нынче. Крепко пью, товарищ дорогой. Бывает, не отпираюсь.— Он все еще пританцовывал, все еще подгибал колени, притухая после рывка — туда, в молодость.— Приехал, стало быть, Андрей Андреевич! А я тебя давно жду. Все наши, землетрясенцы, кто бы ни сбежал, рано или поздно сюда возвращаются. Рано или поздно. Из самых дальних далей. Потому что зацепленные мы все. Ну, ходишь, не узнаешь?

— Не узнаю.

— Поздно прикатил, передержал душу. Ничего, узнаешь. Выпей покрепче, надерись, чтобы держалки-то все в тебе разжались, и узнаешь. Я потому и пью, чтобы не забыть. Слыхал обо мне?

— Что?

— Ну, как же... Жену похоронил, двоих детей похоронил, в психиатричке с год продержали. Не слыхал, не справлялся? Дружками ведь были.

— Не справлялся, Петя. Забыть хотелось. Этот город. Все, все!

— Хитер! Всем того хотелось. Никто не забыл! Вон, сползаетесь из разных мест... Слезы лить... Я часто вижу таких приезжих, что глазами блуждают. Я ведь тоже уезжал. Где только не был! Вернулся. Тут и могилы. Вернулся.

— По-прежнему снимаешь хронику?

— Отснимался. На пенсии. Знаешь, милое дело. Сам себе господин. Ты на много ли меня моложе? Пенсия еще не манит?

— Еще поработаю. Какая пенсия?

— Прости, совсем забыл, что ты у нас маститый. Тебе подобные ставят фильмы до гробовой доски. И не могут уже, а ставят. И хвалить себя велят. Так и тянется. А в кино смотреть нечего.

— Ходишь все-таки, смотришь?

— Иногда. Изредка. Твои картинки смотрю. Что-то давно ничего не показываешь. Притомился или сериал рубаешь? Это ведь мешок денег. И надсаживаться не нужно. Серии эти убьют кино, уже убили. Болтуны работают.

— Есть, есть отчасти,— согласился Лосев.— Скажи, где бы мне электрическую бритву купить? Или уже поздно?

— Опоздал. Закрылись магазины. Сейчас надо думать, где бы успеть бутылку схватить. А ты у коридорного спроси, может, есть у них. Что, своя сломалась?

— Забыл прихватить.

— В спешке, видно, собирался. Прижгло? Понимаю. Да, смотрю, а из отеля Андрюха Лосев выскакивает. Я как ждал, даже не удивился. Ну, пошел следом. Что, так и будем здесь торчать? Надо бы отметить встречу. Айда, есть местечко. Найдутся темы. Кстати, а как там наш Ленька Галь? Тоже сбежал, как и ты, но наезжал несколько раз, так прочно Ашхабад не забыл.

— В Москве мы не встречаемся. Он ведь ушел из кино.

— Да, пописывает, литератором стал. Не встречаетесь? Что так? А дружили, вместе здесь начинали. В одном городе живете.

— Город наш, как страна. Разминулись.

— Смотри, Андрей Андреевич, заскучаешь в одиночку-то.

— Я все время на людях. С избытком на людях.

— Это — другое. Ну, принимаешь приглашение?

— Не сегодня, Рогов. Ждут меня.

— Банкет в твою честь закатывают? Студийные? У нас тут, как кто из Москвы, так банкетик в его честь. В «Фирюзу» везут, а то есть и специальные банкетные помещения, ну и у себя дома, конечно, могут принять, смотря какого ранга гость. Ты как, еще на плаву? Еще уважают?

Надо было устремляться в этот путь за тысячи километров, чтобы выслушивать подобные речи, такие же, какими шуршат коридоры родного «Мосфильма» или Дома кино на Васильевской. Чуть зазевался, и уже кто-то берет тебя под локоть, и язвит, язвит, улыбчиво,

участливо, но, главное, старательно приравнивая с собой. Неудачники страсть как любят уравниловку. Там, дома, он умел обрывать подобные беседы, а вот здесь растерялся. Сперва в ресторане его слегка отволочили, теперь вот эта тень из былого на нем приплясывает.

— Слушай, Рогов, мы как-нибудь потом поговорим, спешу,— поднимаясь, сказал Лосев и перешагнул действительно все еще чуть приплясывающую тень. И зашагал, накренясь, спешащей походкой, как там бы пошел, в коридоре «Мосфильма». Но шел он сперва по островку, где должен был встать памятник. На фоне гор, вечных огней и этих стен из стекла и бетона, хранивших книги. Все пройдет — горы останутся. Все пройдет — книги останутся. И женщина под крестовиной балок, удерживающая их, чтобы спасти свое дитя,— и она останется.

Потом Лосев вышел на улицу Гоголя, прочел на табличке, что это улица Гоголя, но ничего не узнал, новые тут были дома. И даже крепостная стена, некогда высившаяся за спиной гостиницы «Дом Советов»,— даже и эта древняя горка стала иной, утрясло ее землетрясение, прибило к земле.

Лосев снова вышел на проспект Свободы, зашагал по нему, углубляясь в город, где все напоминало, как падали стены. Не эти, другие. И смертным голосом выла земля.

8

Таня ждала его, стоя в освещенном окне.

— Сюда, сюда!— позвала она, когда он, плутая, пошел по двору.

Он взбежал по ступеням, а Таня уже стояла в освещенном проеме двери. Скрестила руки на груди, всматривалась в него. А он — в нее. Она переоделась, была в простеньком платье, по-домашнему подколола вверх волосы, у нее были Нинины глаза. Почудилось, что Нина стоит и ждет его,— тогда, в той жизни. И он сразу срежиссировал себя, подошел, как тогда бы подошел, уронив руки, за что-то винясь, а вот за что — не вспомнилось. Любимая профессия становилась иногда проклятием, заставляя все время срабатывать какие-то сценки, эпизодики, перебивки по поводу собственной жизни. И путались тогда явь и вымысел, невозможно

было понять, где ты — в кино или в собственной жизни. Так и сейчас смешалось все: перед ним не Нина стояла, а Таня, не прошлое мелькало в глазах — кадрами, наплывами! — а действительность облегла и сжала, придумав такое, чего ни в каком сценарии не сыскать,— перед ним, возможно, стояла его родная дочь. Кстати, а что за жанр предлагала ему действительность, слагая свой сюжет? Типичная мелодрама? А может быть, просто драма человеческая? А может быть, тут не без трагедии, если вспомнить про землетрясение? Но, может, тут и комедии вволю — он ли не смешон сейчас в нелепой роли неопознанного отца? Ну никак не надевался на этот сюжет из жизни нужный жанр. Это вымысел можно загнать в жанровый башмак, а жизнь — ну никак.

Следом за Таней Лосев вошел в квартиру. Таня уже накрыла на стол, где-то раздобыв громадную дыню, желтоватый, ноздреватый брусок брынзы, белую буханку хлеба. И бутылочка у нее стояла, гордясь дешевенькой водочной этикеткой.

Проклятая профессия! Опять включил свои режиссерские глаза Лосев, кивнул даже, мол, все так, все по делу, можно обживать стол актерами. И вспомнил, выщелкнув дурацкое свое зрение, что актерами за этим столом будут он и Таня. Возможный отец и возможная дочь.

— Вы все куда-то уходите, уплываете взглядом,— сказала Таня.— Что — город? Узнали?

— Другой совсем город.

— Но ведь что-то узнали. Все, кто приезжает к нам сюда, ну, из тех, кто раньше жил, до землетрясения, обязательно что-нибудь да узнают. Отыскивают все же что-то.

— Отыскался мой давний по студии приятель Петр Рогов. Сам меня окликнул, узнал. А я бы, случись встретиться на людях, мог бы и не узнать его.

— Да, он очень сильно пьет. И болен. Ему как раз пить ни в коем случае нельзя. Но как ему не пить? Он вам рассказал?

— Рассказал. Так вы его знаете?

— Конечно. У нас большой город, да маленький. И потом, мы не все всех знаем, а чаще всего так: старожилы старожилов, новички новичков. Так и лепимся друг к другу. Петр Васильевич Рогов дружил с мамой.

Она его жалела. Даже иногда выпивала с ним вместе. Он пьет, спешит, а она сидит рядом, кивает ему, когда он вскидывает стакан, и оба молчат. А считалось, встретились, поговорили.

— Еще ваших друзей видел, из тех, кто встречал вас на аэродроме. Они сидели в ресторане гостиницы. Пригласили разделить компанию, но обошлись со мной довольно сухо. Бородатый философ. Долговязый Дамир. Елена Кошелева. Кто она?

— Там была Лена? Она адвокат. И это ее призвание. Я хожу на ее процессы. Изумительно защищает. Но, знаете, а сама беззащитная.

— Как это?

— А так... Что же мы стоим? Прошу к столу, Андрей Андреевич. Такой дыни в Москве вам не отведать. Ташаузская. Помните вкус? А как нарезать ее, знаете?

Таня присела к столу, стала терпеливо смотреть, как кромсает Лосев дыню. Он старался, орудовал ножом вдохновенно, снова, забывшись, играя, а не живя. Дыня под его ножом скрипела, брызгалась, погибала.

— Так? А аромат, аромат какой!

— Можно и так.— Таня взяла у него нож.— А можно и эдак.— Она стала иначе резать дыню, не страшась забрызгаться, смело и весело и легко поводя ножом, под которым дыня как бы сама разнималась на длинные, ладные ломти.

— У вас лучше выходит, Танюша,— сказал Лосев.— А я забыл эту науку. Вот водочку я открою, натаскан. Дыня, брынза, водка самая простенькая, хлеб этот чудной выпечки! Вы прочли мой сон, Таня.

— Да, такой хлеб у нас только в одной пекарне пекут, в железнодорожной. Чуть привезут оттуда хлеб, его сразу расхватывают.

— А вы где достали? Вечер, магазины позакрывались.

— Мир не без добрых людей.— Она сама налила ему и себе, первая подняла рюмку.— Давайте не чокаясь, помянем.

Он поднялся.

— Помянем.— Он выпил, торопливо и неловко, водка пролилась ему на подбородок. Проклятая профессия! Он подумал: так и надо пить в горькую минуту, неумело, разучившись. Проклятая неволя!

— Опоздал я, опоздал!— с тоской вырвалось у Ло-

сева. Он набил рот брынзой и дыней, начал жевать, сам не поверив своим словам, как-то не так, не по правде они у него сказались. Дубль! Еще разок! Проклятая профессия!— Опоздал я... Опоздал...— повторил он, кляня себя за этот «дубль».

— Знаете, Андрей Андреевич, вам надо еще выпить. Разжаться.

— Мне уже был дан такой совет. Рогов посоветовал. Надерись, сказал, чтобы все держалки в тебе разжались. А что, и выпью!— Лосев налил себе, не присаживаясь.— За вас, Таня!— Он выпил. И сразу снова налил.— И за мою разжатость!— И снова выпил, уселся, вслушиваясь в какой-то гул, начавшийся в себе, вроде бы веселый гул.

Лосев глянул на Таню, на знакомую незнакомку, в милое это лицо в который раз всмотрелся, чтобы снова сдвинуть в памяти день нынешний со днем минувшим. Вдруг все показалось ему проще простого. Ну, разлучила их жизнь, а теперь свела. Перед ним дочь его, родная кровь его. Сюжет был не совсем обычен. Лосев даже и сейчас, в миг всепонимания, в миг обретения простых мыслей, признавал, что вступил в сюжет на редкость необычный, какой-то из зарубежных фильмов, может быть, но уж никак не из нашей жизни. Тем лучше, тем лучше! Почему лучше, про это не додумывалось. Это уже была сложная мысль, а он жил в простых сейчас. Он проведет тут с недельку, а потом вернется домой, забрав с собой Таню, дочь. Она поживет у него, у своего отца, поглядится. Вместе они потом решат, где ей жить. Скорее всего, он уговорит ее перебраться в Москву, к нему. Места хватит. Жена станет возражать? А он не станет слушать эти возражения. Случилось чудо, он обрел дочь, он необходим ей. Вот и все.

— Что-то вы все решаете, Андрей Андреевич,— сказала Таня.— И, кажется, и за меня. Напрасно. Ведь мы уговорились: развеем легенду.

— А я вот поверил в эту легенду. Да, решаю. Хотите, помогу вам перебраться в Москву? Там, в Москве, отныне вас ждет дом и ваша собственная в нем комната. С балконом, который смотрит в тихий переулок. Вам понравится. Сперва погостите, пооглядитесь, а потом...

Таня отрицательно качнула головой.

— Ну, не останетесь, будете наезжать.

Таня снова качнула головой. Нина так же вот, с ним не соглашаясь, медленно поводила головой. Вся в Нину, только в нее. Себя он в Тане не находил.

— Развеем легенду,— сказала Таня.

— Зачем это вам? Ну, легенда! Пусть! В ней так много от правды, что можно и поверить. Не зря же Нина...

— Зачем? А вот затем, чтобы жить в правде. Мама выдумала себе сказку. Это ее право. Может быть, так ей было легче. Мне легче — без сказок. Почему вы не хотите понять меня?

— Не хочу! Нина тоже недолюбливала сказки. Все не так просто. Я докажу вам!

— Ну, докажите...

Уже давно кто-то коротко, робковато нажимал на звонок, и звонок едва вздрагивал, оповещая все же, что некто деликатнейший, но и упрямейший стоит за дверью.

— Это Дамир,— поднимаясь, сказала Таня.

Пока она шла к двери, Лосев торопливо наполнил рюмку, торопливо выпил, надеясь, что еще проще, еще яснее станет для него происходящее, но обманулся. Ушла ясность, нагрянула сложность. Так бывает: водка начала вытрезвлять.

Да, явился Дамир. Он возник в дверном проеме, пригнув голову, отчего показался виноватым или плутоватым.

— О, водочка!— Он с треском свел и азартно потер громадные свои ладони.— И мы не с пустыми руками!

Эти «мы» еще были в прихожей, но там царила непонятная тишина.

— Мы — это вы один?— спросил Лосев.

— Мы — это я с другом.— Дамир продолжал загораживать собой дверной проем, едва помещаясь в нем.

А там, в прихожей, совсем тихо было, хотя там были Таня и друг Дамира.

— Таня, так где же вы?!— позвал Лосев, отчего-то угнетенный этой тишиной, тянувшейся из прихожей.

— Верно! Объяснитесь потом! — Дамир шагнул в комнату, отдавая глазам Лосева прихожую.

На крохотном пространстве, где и двоим трудно было разминуться, Лосев увидел два разобщеннейших существа. Ее и Его, отринувших друг от друга, с готовыми кинуться навстречу руками. Хорошо, отлично была

поставлена режиссером — Жизнью — эта крохотная сценка. Тут ничего нельзя было ни убавить, ни прибавить. Была ссора. Но он пришел. Он смирил гордыню, он здесь. Она счастлива, но она еще не простила. И первого слова нет ни у него, ни у нее. Все в точку, все прочитывается. Можно командовать: «Камера!».

Мешало, что Лосев знал этого вытянувшегося в струну, протягивающего руки парня. Это мешало. Приходилось вспоминать, двоилось зрение. Так вот он — ее друг, ее радость, ее печаль, ее горе. Все прочитывалось. Жизнь учила режиссуре. Пламенной режиссуре, не без боли, не без собственного участия, ибо в стену вжималась его Таня и в ее глазах была боль, которая уже была и его болью.

Но кто этот парень? Необходимо было вспомнить его. Но для этого надо было далеко назад отбежать памяти, покинуть этот город, вернуть себя в досегодняшнюю жизнь.

Они почувствовали, что на них смотрят, и сдвинулись. Таня оглянулась, погасив глаза, парень улыбнулся, привычно, заученно, ибо сверх меры хороша была его улыбка. Лосев вспомнил: это был Чары Агаханов, недавний его студент по режиссерской мастерской во ВГИКе. Самая лучшая улыбка во всем институте. Вспыхивающая улыбка, прибавляющая свет. И вспыхивающий характер. А то вдруг в сон погружался человек. Говорлив или молчалив. Порой мрачен, замкнут,— не дозовешься. И только улыбка, часто машинальная, посверк этот поразительно белых зубов.

— Здравствуйте, учитель!— сказал Чары, протягивая руки, и пошел к Лосеву, забирая в плен его своей улыбкой.

— Здравствуй, Чары. Совсем забыл, что ты здесь.

— А где же мне еще быть?

Таня смотрела на них, выверяя каждый жест, вслушиваясь в каждое слово, ей важно было что-то понять, установить, решить для себя, наблюдая их встречу. Все так, все прочитывалось: ей важно было понять, как он, Лосев, оценивает этого парня, этого своего недавнего ученика, совпадает ли явь с тем, что Чары ей рассказывал, не нафантазировал ли Чары. Вот он назвал его «учителем», а был ли он действительно его учеником? Учеником не потому только, что зачислен был в его мастерскую, а потому, что они совпадали в своих веро-

ваниях, в своих пристрастиях в искусстве, потому, что старший был интересен и нужен младшему?

Лосев небрежно вел свою мастерскую во ВГИКе, часто пропускал занятия — то съемки, то командировки, то просто не успевал настроиться. Но бывали и счастливые часы у него с ребятами, вдохновенные, азартные. Вот в те часы — что́ был для него Чары Агаханов, студент из Туркмении, диковатый, красивый, с богоданной улыбкой паренек? К счастью, вспомнилось, что было с ним интересно. И отклик вспомнился, отклик интереса в молодых, горячих глазах. И потому не соврал он перед Таней, когда обнял Чары, когда расцеловались они,— не соврал, не подладился под ее желание, угаданное, прочитанное им.

— Правда, правда, очень рад!— сказал Лосев, поверх головы Чары глянув на Таню.

Она расцвела глазами.

— Правда, правда?

Лосев покивал ей, все еще сжимая в руках суховатые, угластые плечи Чары.

Вот когда она подружилась с Лосевым — вот в этот миг, когда он так добр был с ее Чары, когда признал его, подтвердил, что Чары не хвастал, говоря ей, что был дружен с режиссером Лосевым. Все прочитывалось!

— Я очень рад, очень рад, что вы здесь, Андрей Андреевич!— сказал Чары, так разволновавшись, что позабыл даже улыбнуться.

— И я рад. Начал что-нибудь делать? Дали картину?

Полуобнявшись, они подошли к столу, у которого их уже ждали налитые Дамиром рюмки, сели рядышком.

— Особый разговор,— сказал Чары и помрачнел, но тотчас вспомнил об улыбке.— Уделите мне потом минуточку? Потом, завтра?

— Конечно.

— А теперь выпьем за ваше возвращение!— Чары поднялся, вытянулся, вскинул руку с рюмкой. И так быстры, стремительны были его движения, что он показался Лосеву сверкнувшим клинком.

— Таня!— позвал Чары.— Прошу тебя разделить мой тост.

Таня подошла к столу, ее глаза смеялись.

— А можно мне с мужчинами? Знаете, Андрей Анд-

реевич, он, этот ваш ученик, не любит, когда женщины сидят за одним столом с мужчинами. Впрочем, он и за столом-то сидеть не любит. Ему бы ковер, подушку под локоть. И чтобы тенями появлялись женщины, принося и унося.

— Таня!— сказал Чары, и в голосе его умоляющая забилась нота.— Не будем сегодня ссориться. Я гость в твоем доме. Не забывай, пожалуйста.

— Не будем, не будем. Дамир, налей мне, но совсем чуть-чуть. Противно пить эту гадость, когда такой хороший вечер.

— Таня!— помолил Чары.— Прошу тебя, не называй гадостью то, что пьют твои гости!

— О, прости! Вот тут ты прав! Так выпьем же!

Чокнувшись со всеми, Лосев не стал пить, лишь пригубил. Он сейчас берег свою зоркость. Столько всего увиделось. Сам на себя сумел глянуть со стороны. Он был отцом здесь. А рядом были его дети. Его дети! Дочь и ее жених. Да, да, какое странное, неизведанное, счастливое, но с болью пополам, радостное и горькое чувство! Он во все глаза смотрел на них и на себя. Вслушивался в их голоса и в себя самого. Как странно ему было сейчас, как радостно, как больно. Опоздал... Пропустил... Наверстает ли?.. Да полно, отец ли он?!

— Вы не пьете,— сказал Чары.— Вам не понравился мой тост?

— Я много уже выпил сегодня. А не пью, потому что понравился твой тост.

— Понял!— кивнул Чары.— Понял! Но мы все выпьем за вас! Можно?

— Только не нужно слова произносить.

— Понял!— кивнул Чары, безмерно счастливый, что так понимает своего учителя.— В кино мы задыхаемся от слов. И в жизни тоже.

Лосев глядел, как молодость усердно пьет за него, и сам выпил, потому что особая зоркость ему уже больше не требовалась. Сверх меры все углядел. И сверх меры устал. Он бывал так выжат после съемок, после труднейшей, не дававшейся сцены, когда только к самому концу смены что-то начинало получаться, прояснялось, доходило до ума и у актеров и у самого. Но уже был сорван голос, иссушены глаза, саднило сердце.

Лосев прижал ладони к лицу, перемогая усталость.

Это было не его движение, это движение он перенял сегодня у Тани.

— Видишь!— услышал он ликующий голос Чары.— Видишь!

Приметливый, подумалось Лосеву, да только все наоборот.

9

Он поднялся, ощутив себя в каком-то новом качестве, понимая, что может уйти, никого не обидев и не ссылаясь на усталость, а потому, что должно ему уйти, чтобы дать молодым свободу.

И его не стали удерживать, ибо его уход был понят именно так, как понят был им самим. Новое чувство, странное, неизведанное. И обрадовало, что Чары огорчило его решение уйти. Но и Чары, взглянув огорченно, не стал его удерживать. А Таня сказала:

— Вам действительно надо отдохнуть. Акклиматизироваться надо. Ведь в Москве, когда вы вылетали, было семь градусов тепла, а здесь — до тридцати.

Но уйти ему не пришлось. Снова подал голос дверной звонок, посмелей, чем от руки Дамира, но и про этого человека нельзя было сказать, что он бесцеремонен.

— Лена!— обрадовалась Таня, заспешив к двери.

— И наверняка со свитой,— сказал Дамир.— Принесут ли что выпить?

— Могли бы позвонить сперва по телефону,— помрачнел Чары. Он обернулся к Лосеву за поддержкой.— Почему-то считается в порядке вещей, что к Тане можно являться чуть ли не за полночь. Ну куда это годится?

— Верно, надо звонить, предупреждать,— сказал Лосев.

— А к ней без всякого звонка. Принимай. Пои чаем. Ставь пластинки. Ну куда это годится?

— Открытый дом, отверстая душа,— сказал Дамир.— Еще при Нине Васильевне заведено. Сколько себя помню, чуть беда, обидели мальчика,— к ним. И напоят, и накормят, и спать уложат. В моем случае подставляли к тахте стул.

— Ну куда это годится?!— Глаза Чары вспыхнули гневом.— Караван-сарай! А когда я сказал ей об этом,

она ответила, что я сухой человек. Андрей Андреевич, кто прав?

— Погоди, разберусь.

Явились, так сказать, всем ресторанным столиком: и Елена Кошелева, и бородатый философ, и оба литератора, взысканный и не взысканный удачей. А кстати, литераторы ли? Ведь сказано, у него стереотип мышления. Возможно, возможно, мышление тоже может притомиться. Лосев наклонился к Чары, спросил шепотом:

— Тот, нарядный, он — кто?

— Никто точно не знает. Откликается на имя — Сергей. Кажется, в звании капитана.

— У-у!

— Как вы знаете, рядом с нами проходит государственная граница.

— А тот, ниспровергатель?

— Здорово сказано, учитель!— Чары явно нравилось шептаться с Лосевым.— А он — наш брат, киношник. Пишет сценарии, которые никто почему-то не ставит.

— Ну хоть что-то да угадал,— усмехнулся Лосев.— Способный?

— Когда так долго у человека ничего не идет, его начинают считать способным.

— Ого! Сам додумался?

— Но ведь я ваш ученик.

— Ну, ну.

Новые гости уже вступили в комнату, и Лосев пошел навстречу Елене Кошелевой, про которую уже знал, что она защитница, но что сама вот беззащитная. И это знание по-иному настроило его зрение, женщина эта сейчас ему куда больше понравилась, чем с первого взгляда. Он углядел в ней женственность и мягкость, и ту самую беззащитность, которая тоже была ей к лицу, как и загадочная все-таки профессия юриста.

Капитан принес бутылку вина, философ выложил на стол какие-то свертки с едой,— все начиналось, как говорится, снова да ладом.

— Вот видите,— пожаловался Лосеву Чары.— А ей завтра в семь утра вставать на работу.

— Так прогони их,— улыбнулся Лосев, всматриваясь в Чары, довольный его рассерженностью.

— Это не мой дом.

— Пока?

Вздрогнули глаза Чары, а Лосев понял, что нельзя

было так спрашивать, что отец бы, будь он отцом Тани, такой вопрос Чары не задал бы. Тоньше, трепетней, ранимее за нее, за Таню, надо было становиться ему, если он считал ее своей дочерью.

— Прости, Чары,— огорченно сказал Лосев.— Прости, устал я. Сбиваюсь.

Елена Кошелева,— ее усадили рядом с Лосевым,— услышала.

— Устали? Сбиваетесь? С чего? Куда?

— Кабы знать.

— Мы все так,— кабы знать... Скользим!

— Лена...— Он взял ее за руку.— Давайте совсем просто разговаривать. Не рисуясь. Не умничая. А? Я действительно устал. И вы, наверное, тоже. Вот сидим рядом. Я не режиссер, а вы не адвокат. Как думаете, сможем мы быть вне профессии?

— Попробуем. Хотя заранее скажу, нам будет трудно. Наши профессии по разделу человековедения. А ведь и мы — человеки.— Она мягко высвободила свою руку.— У вас повадки столичного льва, хотя и очень усталого, согласна. Что-то уже узнали про меня? Что — разведена? Что — одинока?

— Узнал, но не так конкретно.

— Нужен намек. Остальное домысливается. Верно?

— Верно. Но не обязательно верно. Случается, стереотип мышления подводит.

— Обиделись? Не обращайте внимания. Наш Гришенька, от учености своей, впал в гордыню. Грубит людям. Убежден, наивный человек, что познал все истины.

— Лена!— подал голос философ Гриша.— За наивного человека спасибо,— что может быть краше наивности?— а вообще-то ты язвишь.

— Услышал? Я на это и рассчитывала. Но раз ты согласен быть наивным, так будь еще и кротким. Попробуй, Гриша, весь этот вечер быть кротким, наивным, слушающим, а не вещающим.

— Пропадет у человека вечерок!— рассмеялся капитан Сергей.

— Ничего, он восполнит упущенное,— сказал ниспровергатель, щурясь, будто от едкого табачного дыма.— Он вполне может отыграться на своих студентах.

— Мои студенты собирают хлопок,— сказал Гриша.

— Вот и езжай к ним, открывай в поле Афинскую школу.

— Идея!

— Друзья! Достопочтенные друзья мои!— поднялся капитан Сергей.— Предлагаю чуть выпить! Есть тост, свежий, как этот ветер с гор.— Он указал рукой на распахнувшееся со стуком в этот миг окно, в которое ворвался горьковатый, с песочком ветер.

— За дам!— сказал Дамир.— Неужели угадал?

— А вот и нет!

— За его величество кино,— сказал ниспровергатель, щурясь.— И за знаменитых здесь его представителей.

— А вот и нет!

— Господи, так это же Андрюша Лосев!..— послышался изумленный голос от окна, прерывающийся, будто наносимый ветром.

Лосев обернулся, но сперва ничего не разглядел в вечерней мгле.

— Тетя Аня, это вы?— крикнула Таня.

— Я, я, деточка.

Голова старой женщины возникла в раме окна. Седые волосы, насметное число морщин. Но глаза не поблекли, и над ними все те же, вмиг узнанные Лосевым, караулили правду строгие брови.

— Аня! Айкануш!— Он кинулся к окну, прижался лбом к этим проволочным бровям, ткнулся губами в старческую, податливую щеку. И вдруг, совсем позабыв, сколько ему лет и сколько лет этой седой женщине, он подхватил ее под локти, приподнял, удивившись, что так легко его рукам, и втащил свою Айкануш, хрупкую, усохшую старушку эту, в комнату. На ней было черное платье, глухое, траурное. Лосев разжал руки, опомнившись. А от стола ему хлопали. Он яростно обернулся на хлопки, и они смолкли. Только брови и глаза, только эти проволочные брови и зоркие, мудрые глаза сохранились от былой Айкануш.

— Что, высохла твоя Айкануш?— спросила старая женщина.— А ты зачем приехал? Нины нет. Опоздал. Долго ехал.

Лосев молчал, опустив голову. Он и глаза закрыл. Так легче было отбежать — туда, где неумолчно звенел смех маленькой, верткой армяночки, зоркоглазой, бедовой,— их верной с Ниной подруги.

— Тетя Аня, как хорошо, что вы пришли, — сказала Таня.— Садитесь к столу, пожалуйста.

— Я не пришла, меня втащили в окно. Даже не

пойму, в гостях я или нет. Я не привыкла ходить в гости через окна. Ох, Андрей Лосев, ты все такой же! Почему, скажите мне, умные люди, мужчин не карает время?

У нее был хрипловатый голос, напористый. Ее русский язык был пересыпан острыми камушками. Голос и то, как она произносила слова, будто гнала их каменистым ручьем, тоже жили в ней от былого. И если закрыть глаза, и если забыть, где ты и какой год на календаре, целую жизнь если позабыть, то вот и возвратился ты в ту, молодую свою жизнь, в начало всех решений. Можно так поступить, а можно иначе. Можно уехать из рухнувшего города, а можно и остаться. Он — уехал.

— Послушай, Андрей Лосев, ты что там увидел за закрытыми глазами?

— Тебя, Айкануш.

— О, слишком далеко заглянул! Возвращайся! Танюша, с приездом, доченька. Так вот кого привезла ты из Москвы. А лекарство мне привезла?

— Привезла, тетя Аня.

— Спасибо. Еще хочу пожить. Вот ведь какая она жизнь, дети. Никак нельзя соскучиться. Пожалуйста, сам Андрей Лосев передо мной. Интересно жить, дети.

Она медленно подошла к столу, маленькие шажки ее обрели торжественность. Она торжественно села на подставленный ей Дамиром стул. Неспешно поводя глазами, оглядела застолье и всех участников его, спросила:

— Пируете? А какой нынче праздник?

— Таня вернулась из Москвы,— сказал Чары.

— И не одна, как видите,— сказала Кошелева.

— Так, так, так, так,— покивала седая голова.— Всех вас знаю. Вы хорошие люди. Но зачем столько пьете? Если радость, водка не нужна, если горе, водка не поможет. Мы раньше разве пили столько, Андрей?

— Кажется, чуть поменьше.

— Совсем мало пили.

— Только кончилась война, испытывали материальные затруднения,— сказал философ Гриша.

— Нет, не поэтому. На выпивку всегда найдется. Да, кончилась война. Мы были очень счастливыми тогда. Не хотелось пить.

— По-своему всякое поколение и счастливо и несчастливо,— сказал Гриша.

— Ты все понимаешь!— отчего-то вдруг рассердился Чары.— По-своему.

— Прости, но а как же мне еще понимать?

— Иногда хорошо что-то и не понять. В виде исключения. А то живем, все всё понимая. Задохнуться можно!

— Но в том-то и дело, что никто никого не желает понять!— горячо заговорил неудачливый сценарист, впервые за весь вечер разжмурив колючие глаза. И такие они печальные оказались, такие недоумевающие, будто очень близорукий человек сдернул очки.

Лосев поднялся, отошел к окну, за которым был Ашхабад. Все тот же, что и три десятилетия назад. Ничего не было видно за окном. И потому это был все тот же город. Вот только звезды светились в небе. Те же самые звезды, подтверждающие, что под ними тот же самый город. Упали одни стены, встали другие. Так было, так будет. Что же тогда — город? А город — это не стены, хоть город пошел от стен. А город — это люди, которые в нем живут. Все дело в людях. Можно далеко уехать и быть ашхабадцем, можно жить здесь и быть москвичом. А он кто? Где его город?

За спиной задвигались стулья, там поднимались, там прощались, собираясь уходить. К Лосеву подошла Таня.

— Почему-то вдруг все заспешили домой,— сказала она.— Я не удерживаю, вам надо отдохнуть.— И вдруг спросила:— Как он вам? Мама не хотела, чтобы я шла за него. Трудный характер!— Чтобы ее не услышали в комнате, Таня далеко высунулась в окно, и оттуда, из звездной темноты, шел к Лосеву ее шепот.

Он тоже высунулся в окно, к звездам. Задумался, прежде чем ответить. Что ответить? Не просто сейчас ему было ответить. Он не смел советовать. Решительный в своих поступках человек, он вдруг растерялся, испугался. Так мы пугаемся за близких людей, больше пугаемся, чем за себя.

— Он хочет поговорить с вами,— шептала Таня.— Но кого он любит, меня или режиссера Лосева? Не пойму! Он верит в легенду. Он вцепился в нее! Теперь вы понимаете?..

К ним подошел Чары.

— О чем вы шепчетесь?
— О тебе. Правда, правда.
— И что решили?
К ним подошла седенькая Айкануш.
— Андрей Лосев, ты затащил меня в дом через окно. А из дома тоже через окно будешь провожать?
— Да, да, я провожу тебя, Айкануш!— обрадовался, засуетился Лосев.— Нет уж, а теперь по всем правилам, через дверь!
— Я недалеко живу. Пойдем.— Она взяла Лосева за руку, повела к двери.— До свиданья, дети. Простите, что нарушила ваш вечер. У вас их еще много будет, а нам, старикам, надо спешить.
Гурьбой вышли из квартиры. У всех на глазах замкнув дверь, Таня сунула ключ под коврик.
— Андрей Андреевич, если вернетесь первым, ключ вот здесь.
— Где лежит этот ключ, знает весь город,— сказала Елена Кошелева.— Спасительный ключ. До свиданья, Андрей Андреевич!
— До свиданья!
— Я завтра заеду за вами, свезу на границу!— посулил капитан в штатском, шагнув в темноту двора.— До свиданья!
— До свиданья!
— Уж как хотите, а притащу вам завтра свой последний сценарий!— пообещал сценарист.— До свиданья!
— До свиданья!
— А я, уж как хотите, а затащу вас к ребятам в университет!— крикнул бородатый философ.— Подискуссируем об уровне современного кинематографа.
— Ваши ребята собирают хлопок,— сказал Чары.
Все уже разбрелись, скрылись в темноте, перекликались, не видя друг друга.
— Ничего! На Лосева народ соберется! Условились, Андрей Андреевич?! До свиданья!
— До свиданья, друзья, до свиданья!

10

Какими-то переулочками повела его Айкануш, где почти не было фонарей, где дома были одноэтажными и с высокими оградами-дувалами. В старый, в былой

Ашхабад ввела. Лосев знал, что и эти дома и дувалы недавней постройки,— ведь после землетрясения во всем городе уцелело лишь здание банка и здание бывшей женской гимназии,— но сейчас, в темноте, перешагивая арычные желоба, Лосев снова шел по своему Ашхабаду, вступал в былое. И рядом была Аня, Айкануш. Когда-то, куда-то так же вот шли они. Когда-то, куда-то...

— Не поздно к тебе?— спросил Лосев.— Наверное, у тебя строгий муж. Еще шугнет.

— У меня нет мужа. И не было.

— Помнится, за тобой ухаживал один паренек. Боксер. Я помню, как он однажды в «Фирюзе» раскидал целую кучу хулиганов. Лихой был парень!

— Он погиб в землетрясение.

— Ты любила его?

— Как смешно ты спрашиваешь. Другие мне были не нужны.

— Так и живешь одна?

— Почему — одна? Я еще нужна людям. Ты знаешь, какая у меня профессия?

— Забыл.

— Я — акушерка. Половина тех, кто живет здесь, лежали вот на этих ладонях.

— А Таня?

— Не спеши. Дойдет очередь и до Тани. Ты надолго к нам?

— Не знаю. Дня на четыре, на неделю. Я сорвался даже без вещей. Таня позвонила, я приехал к ней в аэропорт и вот...

— Так это Таня тебе позвонила? А я подумала, что ты сам разыскал ее.

— Но я даже не знал о ее существовании.

— Да, верно. Уехал — и все. Ты хоть справлялся о судьбе Нины у кого-нибудь из ашхабадцев?

— Нет.

— Уехал — и все. А теперь приехал. Мы пришли, Андрей. Я тебя не к себе в дом привела, а к своей подруге. Она говорит, что вы были знакомы. Она ждет нас. Входи.

В высоком дувале, выше роста человеческого, темнела узкая, низкая дверца с тяжелым кольцом. Дверца эта отпахнулась бесшумно и сама по себе, не понадобилось колотить кольцом. Зато залился тоненько со-

бачий голосок, захлебывающийся не от злобы, а от радости.

— Здравствуй, здравствуй, Макс,— сказала Айкануш.— Принимай гостя.

Лосев шагнул во двор, страшась наступить на крошечную собачонку, тойтерьерчика, вившегося у его ног. Выстланная камнями тропа вела к крыльцу дома, на ступенях которого стояла женщина. Скудный свет от приоткрытой двери в дом осветил ее загадочно. Показалось, что он бывал уже в этом доме, по такой же из камней ступал тропе к крыльцу, такой же беззлобный, заливистый встречал его лай. Свет может чудеса творить. Свет так положил на землю тень женщины, стоявшей в дверях, что тень эта вытончилась, много моложе став своей владелицы. И тень, с руками, прижатыми к горлу, с закинутой головой,— тень эта тоже была из знакомых снов, из былой поры.

— Свиделись все-таки,— сказала женщина.— Входи, Андрей. Входи, полуночник.

«Полуночник»! Это слово принадлежало ему, частенько говорилось о нем — тогда, в той жизни. И все-таки, а все-таки, у женщин не стареют голоса...

— Ира?! Ты?!

— Я, кому же еще быть?

Лосев медлил, не решался приблизиться к женщине, коснуться ее опустившейся ему навстречу руки. Он знал, что шаг только ступит, как все разрушится, как нагрянет снова эта мука узнавания неузнаваемого лица.

— И все тот же Макс у тебя? Он даже вроде узнал меня.

— Хватился! Тот, что узнавал тебя, погиб в землетрясение. А этот Макс у меня четвертый. Ну входи, не страшись.— Ира повернулась, вошла в дом, широко распахнув дверь. Свету прибавилось, и все стало сегодняшним.

Ира, известная всему городу буфетчица из ресторана «Фирюза», не такая уж и красавица, но с огоньком женщина, стройная, стремительная, остроглазая, сейчас шла перед Лосевым, тяжкими поводя бедрами. Макс, той же породы собачонка, вился в ногах, но был — четвертым Максом, старым, облинялым, раскормленным.

В комнате, где было совсем много света, все лампы были зажжены,— и над столом, и над тахтой, и в тор-

шере возле кресла,— сидел за столом прямой, строгий, со вскинутой головкой Петр Рогов.

— Со мной не пошел, а все равно пришел,— сказал Рогов.— Давай, выходи на свет.

— Вот ведь чудной,— сказала Ира.— Все лампы запалил.

— А мы света не боимся.

— Вам что, а каково нам — женщинам? Да, это я!— Ира рывком обернулась к Лосеву, с такой решимостью, как в воду бросаются.

Он ждал утраты, обвала этого, когда сминается в памяти былой образ, когда глазам остаются одни руины, он был уже готов солгать, что узнал, конечно же. Но не пришлось, к счастью, лгать. Удивительно убереглось лицо женщины, живым проступило из прошлого. Только было оно тогда худым, подпаленным внутренним огоньком, с втянутыми смуглыми щеками, а стало теперь полным, успокоенным, румяным. Но — красивым, чуть ли не более красивым, чем прежде.

Что было у них прежде? Она была подругой Нины, не очень близкой, точнее сказать, приятельницей. И вот эта приятельница, когда Нина лежала в бакинской больнице, оказалась рядом с Лосевым. Города не было, домов не стало, все ютились, где кто мог, в отрытых наскоро землянках, в палатках. А уже кончался октябрь, нагрянули небывалые для этих мест холода. Было промозгло, руины и времянки были погружены в темноту, черная пыль все еще блуждала над городом, смрадным духом тянуло из-под каждой стены. Было сыро, жутковато, мир вокруг был озвучен стонами женщин, день и ночь оплакивающих потерю детей. И вот в этом во всем, оказавшись рядом в какой-то землянке, они сблизились. Не собирались, не тянулись друг к другу, а так вышло. Он вспомнил ее шепот в ту ночь: «Грех-то какой, грех какой! Как я Нине в глаза погляжу?» Уж добродетельной-то эта Ира никогда не была, а тут устыдилась. Вскоре он уехал в Москву. Все оборвал.

Оказывается, ничего не обрывается в жизни. Уж эту-то Иру он начисто забыл. И вот она перед ним, а он перед ней. И еще перед Айкануш, тоже позабытой и тоже повязанной с ним какой-то там ниточкой. И перед Петром Роговым, с которым тоже — это уж совсем удивительно — не оборвана нить. Прожита целая жизнь, иная, ничем не напоминавшая ашхабадскую его юность,

а связи остались. Эти люди, по сути чужие, имели на него какие-то права, могли обсуждать его поступки, выговаривать за что-то. Вот запалил Рогов, бывший оператор, все светильники,— так сказать, поставил свет на него, на Лосева, будто собрался снимать. А что за сцена будет сниматься? О чем пойдет разговор? Лосев огляделся усмешливо. Стены комнаты были увешаны коврами, и дорогими. Много хрусталя столпилось в серванте. Стол был застлан дорогой, ручной вышивки скатертью. На столе было изобильно, но на женский вкус. Не было водки, стояли сладкие вина, «Тер-баш», «Безмеин» — тоже позабытые ашхабадские сладчайшие вина, изготовленные из сладчайшего туркменского винограда. Чайники маленькие стояли, заваренные гок-чаем, даром что тут не было туркмен. И пиалы высились горкой вместо стаканов. Здесь не было туркмен, но жила тут русская женщина, сроднившаяся с Туркменией, прижившаяся здесь. И ее друзья тоже были от этой земли побегами. А он был — чужаком здесь. Но был повязан с ними необорванными нитями, сейчас натянувшимися так, что, казалось, был слышен их звон. Все ясно, сцена ясна, прочитывается: эти трое собираются судить его, Лосева. За что, собственно? Что уехал тогда? Буфетчица, натаскавшая в свой дом столько ковров, что уж не ей быть праведницей, женщина, сама же согрешившая с ним, и этот пьянчужка, по целым дням гоняющийся за бутылкой, и эта незнакомая старушка, оставившая в прошлом былую Айкануш,— они вознамерились судить его, выговаривать ему, будто был он дезертиром.

— Садись, Андрей, чай станем пить,— сказала Ира.— Вина налить? Сладенького?

— Нет, после коньяка, водки голова утром расколется, если еще вина добавить.

— И мне — нет,— сказал Рогов, сам себе изумляясь.

— А я бы выпила,— сказала Айкануш.— Мужчины у нас пьяноватые, надо подравняться.

Не было перерыва в их общении почти в тридцать лет, не было разницы в их положении в жизни,— ровней они ему были.

— И я чуть выпью,— сказала Ира.— Андрей, помнишь, как чай зеленый наливают? Сперва чуть плесни в пиалу, потом вылей назад в чайник, а уж потом опять в пиалу. И под карамельки его пьют, в прикуску, под

самые дешевенькие конфетки. Ты что, собираешься все архивы перерыть, чтобы доказать, что Таня твоя дочь?

Вот! Началось!

— Пускай, Петя, мотор. Камера!— сказал Лосев и стал на эту камеру работать, стал наливать из чайника в пиалу, а потом из пиалы в чайник, а затем назад в пиалу. Ловко у него получалось, дубля не потребуется.

— Отца в бумагах Нина не обозначила,— сказал Рогов.— Не захотела. Чего рыться, зачем?

— Вся ее комната увешана моими портретами,— сказал Лосев.— Зачем?

— Ну, ценила как режиссера. Киношница же.

— Петя, ты этот разговор прямо веди,— строго сказала Айкануш.— Документы одно, а сердцу не прикажешь.

— Айкануш!— вскинулся Лосев.— Ты должна все знать! Ты не можешь не знать! Скажи правду, Таня дочь мне или нет?

— Если отец, так должен знать об этом, а если не знаешь, так какая она тебе дочь?

— Ну, так случилось! Развела жизнь. Скажи, прошу тебя, дочь мне Таня или нет?

— Не знаю. Я ведь тогда тоже в больницу угодила. Нина лежала в Баку, я — в Ташкенте.

— А потом, потом?

— Зачем тебе это потом?— спросила Ира.— Потом тебя не стало, а Нина вернулась из больницы калекой. Больше года пробыла в Баку и вернулась на костылях.

— С ребенком?

— Не знаю. Я избегала тогда встречаться с ней. Стыдно мне было. Забыл почему?

— Не забыл.

— Нет, забыл. Помнил бы, была бы такая дрянь, как я, хоть в одном твоем фильме. А у тебя все чистенькие. Забыл. Только сейчас вспомнил. Сразу вместе — и меня и Макса.

— И Нины в его фильмах нет,— сказал Рогов.— Вычеркнул из памяти.

— Неправда! Есть Нина, она есть!

— Развеселая такая, с ямочками, быстроногая? Мы ту забыли, мы с палочкой помним.

— Ту я не знал.

— Об этом речь! А до палочки года два на костылях проходила. Соображаешь, легко ли в нашем городе,

в сорокаградусную жару, гулять на костылях? Теперь дальше. Сообрази, если девочка твоя, то родилась она у Нины еще в больнице. Родилась у калеки. Костыли и ребенок на руках. Сообразил?

— Ну чего ты насел с этим словом?— сказала Ира.— Тут никто не сообразит.

— Как же, а ставит фильмы! Про жизнь людскую. Имеет премии. В таком случае должен соображать.

— Но почему она не написала, почему?!— выкрикнулось у Лосева.

— Бывают, встречаются гордые женщины, Андрей,— сказала Ира.

— Так ты же почти сразу женился, там, в Москве,— сказала Айкануш.— Я наводила справки. Актрису взял. А тут костыли.

— Я бы написала, она не написала,— сказала Ира.— А вот фотографии стала собирать. Как первый фильм твой вышел на экраны, так и начала. Я бы не стала собирать.

— Все же, скажите мне, я все равно дознаюсь, месяц тут проживу, а дознаюсь,— скажите, Нина из Баку вернулась с девочкой?

— Я этого не знаю, в больнице еще валялась,— сказала Айкануш и по-птичьему подняла сухонькие плечи, втянулась в черное платье.

— Я этого не знаю,— сказала Ира, смело выдерживая взгляд Лосева.— Говорю, стыдно мне было ей на глаза показываться. И не расспрашивала о ней. Тогда у нас столько было костылей этих, столько горя.

— Я этого не знаю,— сказал Рогов, крутя головой, нервно закидывая ее.

— Хорошо, сам узнаю!— Лосев поднялся, так резко поставив пиалу, что она опрокинулась, чай залил скатерть.

— Да ты не убегай, не спеши,— сказала Ира и снова налила в пиалу чай, протянула пиалу Лосеву.— Ну, узнаешь. Скажем, ты отец. А что такое отец — ведь этого ты не знаешь? А как дальше с Таней тебе быть, если ты отец,— про это ты знаешь? Что за жизнь у нее, как складывалась, какое здоровье? Ничего не знаешь.

— Все для себя, для себя старается! — вскрикнул Рогов.— Папочкой захотелось стать на старости лет! Как же, занятно! Взрослая дочь имеется! Миленькая! Славненькая! В случае чего, позаботится, чаек к по-

стельке поднесет! А что эта дочь тяжко болела,— про это известно тебе?!

— Что у нее было?— спросил Лосев, снова присаживаясь.— И не кричи на меня, Петя. Ну, можно сейчас на меня кричать, момент подходящий, а ты все-таки не кричи, сдержись.

— Вот, умеет осадить!— не унимался Рогов.— Это они умеют, баловни судьбы!

— Он прав, не надо кричать,— сказала Айкануш.— У нее, у Танюши нашей, Андрей, с голосовыми связками что-то приключилось. Только начала в школе преподавать, голос отказал. Но сильная девочка, ушла из учителей, стала учиться на врача. Сама про себя теперь лучше всех понимает. Обошлось, заговорила.

— А стронь ее, взбудоражь — и опять может начаться,— сказала Ира.

— Если нужны врачи, самые лучшие, если нужны лекарства, любые, я...— Лосев опять порывисто встал, готовый вот прямо сейчас кинуться за самыми лучшими врачами и редчайшими лекарствами.— Вы подтверждаете, я — отец!

— Да погоди ты вступать в права отцовства,— сказала Ира.— Не доказаны еще твои права.

— Узнаю! Докажу!

— А ты, Андрей, если можешь, просто так помогай девочке,— сказала Айкануш.— Вот видишь, какой ты. Тебе сперва надо узнать, что это родная кровь тебе, а уж тогда...

— Нет! Все не так! Но должен же я знать правду! Если я отец...

— Хватился!— усмехнулась Ира.— Пока ты собирался к нам сюда, давно отыскался Танин отец.

— Кто?!

— А вот я, Айкануш, Петя. Еще с десяток имен могу назвать. Все мы — единый ее отец. А она нам дочь. Она нам души лечит своей добротой. Она нужна нам больше, чем мы ей. Ты пойми, умный-разумный, что она для нас значит. И Нина такой же была. Беды не озлобили ее, не оттолкнули от людей, а отворили душу. Все для других — вот она какая была. Это редкость нынче — такие люди. Я бы хуже была, еще хуже была б,— признаюсь! — если бы не Нина, не Таня. И Петя бы наш давно спился, если б не Нина, не Таня. Можешь ты это понять?

— А он ее в чемодан и в Москву!— совсем разволновался Рогов, в забывчивости наливая себе в пиалу вина. Хлебнул, яростно покривился, поник.— А он ее в чемодан... Крадут же картины, скульптуры, иконы... Из церквей крадут... Им что?!

— Понял,— сказал Лосев.— Велите уехать мне?

— Не понял,— сказала Айкануш.— Раз позвонила, ты нужен девочке. Ты не о себе сейчас думай, о ней. Вот этот Чары, режиссер этот молодой, твой коллега, он почему к нашей Тане потянулся? Потому что любил или потому, что тебя уважает?

— Как же, Лосев подсобит, протолкнет!— Рогов зло затряс головой.— Покровительство нынче в ходу!

— Петя, замолчи!— прикрикнула Ира.— Пей уж лучше!

— Мне показалось, он искренен с ней,— сказал Лосев.

— И мне так кажется,— сказала Ира.— Но вы артисты, вам прикинуться ничего не стоит. Таня не красотка у нас и не такая уж молоденькая. Что — вдруг?

— Он учился у тебя в Москве,— сказала Айкануш.— Скажи, каким был?

— Прямой. Взрывной. Но и скрытный. Часто уходил в себя.

— Вот!— насторожилась Ира. — Скрытный! Нина была права.

— Она колебалась,— сказала Айкануш.— То он ей нравился, то нет.

— И что ни говори, туркмен,— сказал Рогов.— Я подмечаю, он своим обычаям очень предан. У них как,— в Москве он за столом, а дома — на ковре, в Москве женщинам ручки целует, а дома у него женщины на кухне содержатся.

— Туркмены — хорошие мужья,— сказала Айкануш.— Это на людях они иногда чудят, а дома, в семье, не они командиры. Уж я-то знаю, нагляделась. Русских своих не перехваливай.

— Я не про то, что мы лучше, а про то, что каждому свое.

— Мой жених был мне женихом, дорогим человеком, я о его национальности не думала,— сказала Айкануш.— Не стало его, не стало никого — ни армян, ни туркмен, ни русских.

— Так как же, как же нам быть?— спросила Ира.— Благословляешь их, Андрей?

Благословляешь! Каким словом она его одарила! Признала? Призналась? Он — отец?!

Не успел вдуматься, обрадоваться. Надо было отвечать. Надо было на себя брать ответственность, ибо, благословляя, отпускаешь близкого человека, рискуешь им. Ну, решайся, Лосев!

— Он честный парень,— сказал Лосев.— Я верю ему.— Помолчал, поискал еще слова в том гуле, какой возник в нем, путая мысли, не нашел.— Я, пожалуй, пойду,— сказал он.— Устал смертельно. Завтра поговорим, послезавтра поговорим. Я понял вас.

Он подошел к двери, Макс-четвертый ласково, как кошка, обвивался вокруг его ног. И скулил.

11

Близко светились звезды, когда Лосев вышел на улицу. Небо было все таким же над этим новым городом. Душно было. Ночь не принесла прохлады, ветер шумел где-то поверху.

Возле маленькой двери, врезанной в дувал, увиделась Лосеву скамейка. Он сел на нее, чтобы переждать рвавшийся в нем гул. Белый дувал на противоположной стороне переулка и белые стены одноэтажных домов показались ему экранами. Любой белый прямоугольник всегда казался ему экраном. И всегда хотелось населить это пространство, оживить пустоту. Сейчас множество экранов встало перед глазами. Ну, как в монтажной, где в ряд выстроились несколько мувиол. Или как на пульте в телевизионной студии. Белое пространство между двумя домами — один экран, дома сами по себе — тоже экраны, а дальше — опять дувал-экран и опять дом-экран.

Лосев всмотрелся в эти прямоугольники. Он попытался населить их чем-то памятным для себя, удачами своими, теми кадрами, которые жили в фотографиях на стене в Нининой комнате. Но стены Нининой комнаты не пришли сюда — на эти дувалы.

А пришла, подобралась к ногам, вжалась в его тень у скамьи та ночь, их последняя с Ниной ночь на такой же улочке, у такой же скамьи. Лосев поднялся, его тень легла поперек дороги, вошла в прямоугольник на той

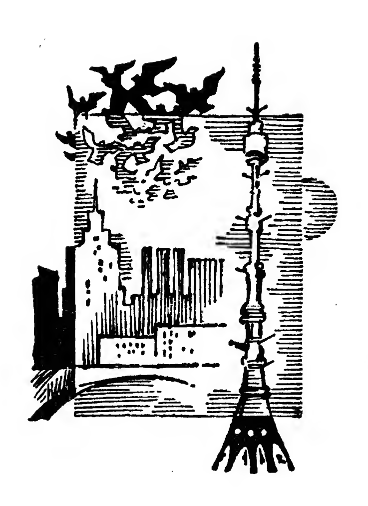
стороне. А вторую тень, Нинину, не увидел, но вспомнил. Вот так они стояли тогда, истончившиеся, колеблющиеся. Нет, ее тень была недвижна. Это его тень все переминалась с ноги на ногу. Ломкая, кренящаяся, зыбкая. Прямая тень Нины была строга, и серьезны были слова Нины. О чем она тогда говорила? Лосев взгляделся, напрягся, мучительно вспоминая. Он вспомнил лицо Нины, губы, готовые сказать что-то важное. Он вспомнил свою тень, откачнувшуюся от этого разговора, засуетившуюся. Он повторил себя тогдашнего в белом прямоугольнике дувала. Он, тогдашний, куда-то спешил, звал куда-то, не хотелось ему стоять на месте, вслушиваться в слова. О чем — слова? Что испугало его в начатом Ниной разговоре? Не вспоминались слова. Они не были еще произнесены, к ним только подступ был сделан. Но и этого было довольно, чтобы он испугался. Чего, чего же? От какой грозной вести пытался он тогда по-мальчишески удрать?

Белые прямоугольники, эти пустые экраны, терзали его память. Он вспомнил! Нет, не слова, слов еще не было. Он вспомнил свой испуг тогда. Что-то произошло, что-то такое, что могло посягнуть на его свободу. Господи, какую свободу?! Нина сказала, поняв его смятение: «Беги. Завтра поговорим...»

А завтра у них не было. Потому что у этого лишь начавшегося разговора была дата: он случился в ночь с пятого на шестое октября 1948 года, за час до землетрясения.

Завтра пришло сегодня, через тридцать лет. Она ждала ребенка. Вот о чем она хотела ему сказать. Дочь! Таня его дочь! Уразумел!

Он снова опустился на скамью, и вдруг скамья качнулась под ним, странно обезножев. И взорвалась непереносимая боль в груди, куда добрался гул. Теряя сознание, погружаясь в неболь, Лосев успел подумать: «Неужели землетрясение?..» И не испугался.



РАССКАЗЫ

ПУЧОК РЕДИСКИ

В ЭТОЙ ГОСТИНИЦЕ было несколько буфетов. На каждый этаж по два: в северном крыле и в южном. Вообще это была шикарная гостиница, вся из стекла. Ее лестничные марши просматривались со двора и с улицы, да и номера тоже просматривались. В номерах не было окон — стена из стекла с дверью, выходившей на балкон, заменяла им окна. И если плотно не задернуть шторой эту прозрачную стену, то вот ты и у всех на виду. Отличная гостиница, наиновейшие в ней были представлены архитектурные идеи.

Но или архитектор ошибся в своих расчетах, или строители как-то сплоховали, а был все же в этой гостинице — я случайно забрел туда — некий укромный коридорчик, и был в этом коридорчике буфет, который только тем отличался от своих собратьев на этажах, что не весь насквозь просматривался со двора и с улицы. Он в каком-то тупичке оказался, в затененности, навес какой-то его выручил и укрыл, стенка какая-то отгородила, поставленная во дворе для хозяйских нужд. Я забрел в этот буфет и возрадовался. И солнца поменьше,— а ведь тут, на юге, оно не щадит даже ранней весной,— и в рот со стороны никто не заглядывает.

Здесь кормили похуже, чем в других буфетах этой гостиницы. Да и буфетчица здесь была совсем уже немолода, почти свыклась с этим обстоятельством, даже подкрашивалась тяп-ляп как — одна бровь выведена, а на другую терпения не хватило.

Сюда приходили нелюдимы. Есть такие, попадаются еще в нашей среде. Едят и помалкивают. И столик норовят занять на одного только на себя. Жуют, уперев глаза в одну точку. Может, им отчего-то невесело? Может, у них с женой нелады? Вот уехали в командировку, а нелады эти вместе с ними увязались. Да и с работой ведь бывает не всегда все в порядке, не правда ли? И тогда хочется побыть одному. И тогда ноги сами отыскивают какой-нибудь тупичок, а глаза им помогают.

В который уже раз ел я здесь неизменные сосиски, запивая их кефиром. Кстати скажу, что сосиски в этом городе были не в целлофане — целлофановые сосиски — это удел столичных жителей,— а кефир по вкусу напоминал кефир нашего детства, а вовсе не зубной порошок. Вот я и наслаждался тут обыкновенным кефиром и обыкновенными сосисками и думу думал. Моя командировка не задалась, планы мои не исполнялись, настроение у меня было отвратительное. Такое как раз, когда все время подсчитываешь, сколько тебе лет и чего ты не успел еще сделать. Конечно, при таких подсчетах тянет к коньяку, а не к кефиру, но наши командировочные и суточные не в ладах с коньяком.

Думу свою думаешь, но и по сторонам поглядываешь: а что вот это за человек, а этот чем дышит? Мои сопоедатели сосисок не загадывали мне трудных загадок. Обыкновенные люди, хотя, конечно, обыкновенных людей не бывает. Но все же, если костюм на тебе рублей за семьдесят, если галстук и к пятидесяти годам ты не научился завязывать, а на столе рядом с тобой лелейно уложена папочка-скоросшиватель или портфель из дерматинового шевро, то, во-первых, живешь ты в этой шикарной гостинице в общежитии, чемоданчик твой заперт в камере хранения, хотя цена ему со всем содержимым десятка, ну, а во-вторых и в-третьих, занесла тебя судьба в этот большой город из города совсем маленького и по делам весьма небольшим. Бухгалтер с авансовым отчетом копейка в копеечку, завхоз, прибывший за партией недопоставленных стульев,

толкач какой-нибудь... Нет, толкачи в этот буфет не заглядывали. Толкачи — народ, как известно, общительный. Артисты — тоже, в гостинице множество жило артистов — целый театр приезжий и какие-то еще эстрадники. И спортсмены сюда не заглядывали, хотя и спортсменов здесь хватало. Знаете, этакие с останкинскую башню девушки со школьными косичками, славные такие баскетболисточки, глянув на которых полдня потом чувствуешь себя лилипутом. И еще парни-футболисты (в гостинице как раз остановилась команда мастеров) — народ до того на режиме, до того знаменитый, до того погруженный в разные стратегические свои выкладки, что походили они уже даже не на людей, а на скульптурные с самих себя изваяния. Их в этом буфете не было и быть не могло. Их содержали где-то в особых покоях, кормили потаенно и тайным. Травкой, может быть, какой-нибудь? У изваяний этих, блуждавших по коридорам и по гостиничному двору, были голодные глаза. Впрочем, глаза бывают голодными и по разным иным причинам.

Да, буфетик был из скучнейших, но он соответствовал состоянию моего духа, и потому я стал его завсегдатаем.

И вот однажды...

Этот человек вошел, как входят знаменитости, страшась быть узнанным и неузнанным. Узнают — начнут, того гляди, просить автографы, заговаривать, досаждать. Не узнают — это, стало быть, не так уж ты и знаменит, друг. И сразу возникает какое-то внезапное чувство одиночества, от которого давно уж отвык. Он вошел и огляделся внимательно, явно решая участь нашего буфетика: быть ему осчастливленным или не быть. Ах, какой это был великолепный и неслыханный для сих мест посетитель! Он был одет в такой самый костюм, в который ухлопана куча денег, чтобы ткань его была похожа на обыкновенную дерюгу, хотя на самом-то деле ткань эта изготовлена из тончайшей синтетики и почти невесома. На нем были ботинки, о которых я могу только сказать, что они потом мне долго снились. И даже во сне я отчетливо сознавал, что у меня, к примеру, таких ботинок никогда не будет. Широконосые, заносчивые, легкие, грубые, простые, загадочные — черт бы их побрал! Итак, в глухой наш буфетик забрел иностранец. И тотчас охватило меня смятение, возникшее

из чувства местного патриотизма. Я глянул с тревогой на утлые столики. Моя тревога была не зряшной. Могли бы и почище быть эти столики, поприбранней, ну, там с салфетками бумажными, с солонками, не измазанными горчицей, и с горчичницами, в которых живая бы жила горчица. А выбор яств и напитков тоже не очень-то радовал. Я заметил, как встревожилась и буфетчица, нахмурив свои полторы брови: что за жизнь, опять продукты вовремя не завезли! Да пусть бы он лучше ушел, этот иностранец. Ведь есть отличное при гостинице кафе, ресторан с парадными залами. Вот туда и иди, любезный обладатель дорогостоящей дерюги.

Нет, оглядевшись, иностранец решил остаться. Он подошел к стойке, и тут я увидел, что под мышкой у него зажат газетный сверток и из свертка этого торчат редисочные куцые хвостики и выпростались зеленые стрелы лука.

А затем иностранец на чистейшем русском языке попросил у буфетчицы пятьдесят граммов сливочного масла. Только и всего, кусочек масла. Вот те на, и никакой это был не иностранец.

Пока я считал его за иностранца, я в лицо не всматривался. Что могло сказать мне его лицо? Ну, бизнесмен, залетевший в эти отдаленные места под воздействием вируса туризма. Ну, может быть, корреспондент, или даже дипломат, или ученый. Симпозиумы нынче у нас стали проводиться повсеместно. Но теперь, узнав, что передо мной соотечественник, я стал рассматривать его во все глаза. Впрочем, в пределах приличия, конечно. Я не пялился, я поглядывал на него украдкой, невзначай будто. Не глядеть же я не мог: человек был примечательный. Во всем иностранном, даже стрижка короткая, даже платок в кармашке пиджака, даже перстенек на пальце с ярким камушком, а лицо наипростейшей модели, а потому и загадочное безмерно. Кто ты, мил человек? Сколько тебе лет, угадать не трудно. Уже за пятьдесят. Но кто ты — загадка. С таким лицом у нас и в министрах ходят, и в колхозниках. Ну, бывалые глаза, ну, лукавые, повыцвели уже, а есть, живет в них огонечек. Так что же, с такими глазами и с таким твердым ртом и, верно, кем только у нас не может быть мужчина за пятый десяток. Повторяю, и министром, и академиком, но и ветеринаром, директором школы, председателем горсовета, упаси бог, прокуро-

ром. Но костюм, костюм, ботиночки, перстенек... Дипломат, может быть? Нет, дипломаты наши скромненько одеваются. Ученый? Да разве ученый не обязан быть небрежен в одежде? Или писатель? Нет, не похож, осанист очень, взгляд властный — где уж писателю. Так кто ты, кто ты, мил человек?

А мил человек горестную для себя услышал новость: масла в буфете не было. Всегда было, а сегодня, как на грех, не завезли. Чего другого, а уж масла-то в этом буфете хватало. И вот, нате вам, зашел такой клиент необычный, спросил перво-наперво масла, а его нет. Буфетчица наша чуть не заплакала. Она кинулась предлагать все прочие свои продукты, но мил человек все прочее отверг, ему нужно было одно только масло, пятьдесят граммов обыкновеннейшего сливочного масла. Возможна ли скромнее просьба? Но масла не было.

И вот он уйдет сейчас, наш загадочный визитер, и я так и не успею понять, угадать, что за дела вершит он на земле. Обидно.

Но он не ушел. Еще разок огляделся, на меня посмотрел внимательно,— а не узнал ли я его,— и, поняв, что не узнал, решительно сел к столу, выбрав в этом укромном месте самый укромный уголок. Да еще и спиной к стеклянной стене сел. Вон что, побыть в одиночестве ему было желательно, и чтобы не узнал никто, не подсмотрел, каким он тут делом будет заниматься. Он развернул свой сверток — пучок молодой редиски, несколько стрелок лука.

— Эх, как же без масла-то!— промолвил он огорченно. И прямо с газеты, не взяв ни тарелки, ни ножа, а отрывая, заламывая и круто соля, стал есть. У него и хлеб с собой был, настоящий черный, ржаной, какой добыть в этом пшеничном крае было делом нелегким. Добыл. Про масло только не подумал, понадеялся на буфет. Чего-чего, а уж масла-то...

Так вот зачем понадобился этому человеку самый что ни на есть глухой уголок! На людях ведь так не поешь, с газетки-то, откусывая да ломая. Хрустя, как некогда, как в молодые годы, в деревенскую еще пору. Так не поешь, если ты нынче на виду, на примете, достиг немалых высот. Засмеют, пожалуй, не поймут, посчитают мужланом. А видно, захотелось, очень захотелось вспомнить давний какой-то денек в своей жизни. Увидел на улице у старушки эту вот редиску да лук

и загорелся припомнить на вкус свою молодость. Пучок редиски, три стрелки лука, горстка соли, чуток маслица, хлеба ржаного краюха, газетка измятая подо всем этим, и — вся жизнь еще впереди. И пахнет все первозданно, весной!

Я понял тебя, мил человек, разряженного, преуспевающего, загрустившего. Но кто ты? Что не актер — это я сразу решил. У актера лицо, к игре натренированное. Он и не хочет, а играет. В образе, все в образе надо быть. Этот не играл. Похрустывал да помалкивал.

Захотелось мне одарить этого человека настоящей мужской работой. По всем статьям ведь вышел. И ел хорошо,— а это не малость, как ест человек. Ту же редиску хотя бы. Хрустко он ее ел, с азартом, казалось даже, улыбчиво.

Я решил, что он директор завода. Наигромаднейшего. Новейшего, что чудеса творит. Ну, а одет так броско потому, что частенько приходится ему за границей бывать. Да нет, опять не то. Директора такие за границей не мотаются. Недосуг, так сказать. И перстень, перстень с приметным камушком. Несерьезный какой-то перстенек.

Хоть подходи да спрашивай: а кто вы, дорогой товарищ? Но он, пожалуй, так глянет, что отшатнешься. Вон какие у него глаза. Как дульца.

Ладно, не актер, не директор, не писатель, так быть ему министром. А перстенек? Тьфу ты! А костюмчик из драгоценной дерюги? Нет, не подходит.

Я подумал усмешливо: а может, поп какой-нибудь в штатском? Нынче попы, ну, не из рядовых, конечно, стали в «Чайках» кататься. И перстенек для попа вовсе не редкость. Нет, слава богу, на попа он не смахивал. Без елея в лице. Разве что прокурор синода? А есть нынче синод-то?

Замаялся я. Уйти бы, а не могу.

Зря он так вырядился. Иному идут яркие тряпки, поскольку сам он не очень-то ярок. Вот и наряжается, до седых кудрей пособляя себе. Этому не надо было никаких таких одежек. Сильный мужик, прочный, смекалистый. И вот редиска эта с газетки — тоже ведь за него говорит. Памятливый, юность в душе бережет, те годочки, когда начинал все. Я люблю людей, у которых тяга есть погрустить. Глупые не грустят, самодовольству грусть неведома.

А может, он вот кто... Мечтал я когда-то в юности стать летчиком-испытателем. О многом мы в юности мечтаем — это уж пора такая. И всяк ставит себя в мечтах высоко. Он и смел, и умен. Удачлив. И делом таким занят, какое уважением у людей пользуется, у народа. В годы моей юности был Чкалов, был Громов. Была улица Горького, по которой ехали в открытой машине Чкалов, Беляков, Байдуков. И ярче того дня в юности своей я не помню. Вон он кто, он летчик! Он летает ныне на сверхзвуковых. Две тысячи триста в час — вот его скорость. Похоже, похоже. Стар? Нет, он еще может. Ну и блажит чуть-чуть, наряжается. Это так, для разрядки. Москва — Нью-Йорк и обратно за один день. Сотни приборов перед глазами — и все ему ведомы. Мастер. Если бы надел ордена, лопнула бы, пожалуй, его дерюга, не вынесла бы тяжести. И воевал, конечно, по-настоящему. И спортсмен по нынешний день. Ну, теннис там — с ним до старости дружит, ну, и в бильярде, наверное, не знает себе равных среди друзей. И щедр, конечно. Не мелочен, не завистлив. Кому, чему завидовать, если сладилась жизнь. Некому и нечему.

Я замечтался. Я уже и на летчика своего почти не глядел. Я в самого себя глядел, в несбывшееся мое прошлое. Учился человек, прыгал с парашютом, упорствовал; когда не везло, не робел, не сдавался, путей полегче не выискивал, был весел, был добр, был богат друзьями и не терял их. И умел оглядываться, и умел грустить,— успех ему память не застил...

Я поднял глаза и в открытую, не таясь, посмотрел на своего героя. Мне важно было его запомнить. В кино я часто встречал своих героев, но то были тени. Этот — был въяве передо мной. Не елось ему, не шла редиска без масла. Он задумался, пригорюнился. Мил человек, или устал?

Не елось ему, и он вот чем занялся: стал катать по столу бело-розовые редисочные кругляши, поддавая их крепким ногтем, загоняя между солонкой и перечницей. Вдруг бросил этой щелкотней заниматься и стал быстро, озабоченно, будто делом увлекся, расставлять по столу свои кругляши, то так, то сяк, то по три в ряд, то по четыре, а солонку и перечницу отодвинул на самый край стола, словно то были ворота, ну, а стол был у него полем. Футбол! Так вот ты кто!

Заклубился вихорек в моих глазах, истаяла, ис-

чезла улица Горького, улетела машина, в которой ехал Чкалов, дверца в юность захлопнулась. Я проморгался и снова обрел себя в своем буфетике перед остывшими сосисками, а по соседству от меня сидел — вон кто! — знаменитый футбольный тренер. Как же это я раньше его не вспомнил? Ведь видел же на фотографиях. Ну, конечно, вон они, его мальчики, его напористые бомбардиры и бесстрашные защитники. Если обернуться к стене из стекла, что выходит во двор, и, наклонившись, заглянуть под навес, можно увидеть их всех. Вяло и картинно прохаживаются они вокруг гостиничного бассейна. Купаться им нельзя, не время, в город их не пускают — того гляди, режим нарушат, — вот они и прогуливаются на глазах у изумленного и восхищенного населения гостиницы. Что ни игрок, то знаменитость. Вот специалист по «сухому листу», а тот — таранного стиля нападающий, а вон тот вошел от нас в символическую команду мира. Для игры с марсианами, надо думать? Парни скучали. Им ничего нельзя перед матчем, а тяжесть славы велика. И не хочешь, а примешь картинную позу. Очень, очень интересно было на них смотреть.

А их тренер, их прославленный тренер, в двух метрах от меня катал по столу редисочные шарики. Может, он сейчас тактический план игры разрабатывал? Помните, как Чапаев с картофелинами, когда показывал, где надо быть командиру во время боя? Да, дело это не шуточное — футбол. Самая популярная во всем мире игра. И одиннадцать парней, выполняя твою волю, могут победить других одиннадцать. Большое дело. В иной стране чуть ли не национальный траур объявляют, если их команда пропустит мяч. Очень, очень интересно.

Парни за стеклянной стеной, вялые и прекрасные, и не подозревали, что сейчас вот в этом буфетике, с помощью пучка редиски, решается тактический и даже стратегический замысел их матча с местной командой. Две редиски по левому флангу, одна в центре, а правый фланг оголен. Он открыт, он забыт. Но нет, чуть только зазевался противник, как именно сюда, на правый фланг, прорывается самая крупная редиска, и — вот вам! — щелчок ногтя — и она влетает в заветное пространство между солонкой и перечницей.

Он спрятался, мил человек, от своих парней, от представителей прессы, коллег и поклонников, чтобы

просто-напросто поесть весенней редиски с маслом и черным хлебом. Он хотел побыть в прошлом, в запахах былых. Но не повезло ему: масла в буфете не оказалось. А без масла — какая же редиска?

Мил человек поднялся и пошел прочь из буфета, широко отмахивая сильной рукой, выпрямляясь на ходу, расправляя плечи. Уже в коридоре его мог кто-то встретить, кто знал его. Грустная минутка прошла.

— Жалость-то какая!— вздохнула буфетчица.— Ну, как это я о масле не подумала?

И я вздохнул: верно, жалость.

ПУТЬ МУЖЧИНЫ

Я ЭТУ ИСТОРИЮ не придумал. Впрочем, иная правда кажется вымыслом, а иной вымысел правдой. Это особенно хорошо художникам известно. Им говорят: такого солнца, как на ваших картинах, не бывает, уж очень красное, разве, мол, солнце красное. А художники клянутся, что бывает, сердятся, что им не верят. Они-то видели именно такое солнце — красное, пламенно-красное. Они видели, и все тут. Это уж у кого какие глаза. Ну, а я хоть и не видел сам, так слышал про эту историю. И от людей, заслуживающих доверия.

Он любил, а его не любили. Но и не прогоняли, придерживали подле себя на всякий случай и вообще от скуки, а еще для того, чтобы все видели, что вот он, ухажер, имеется, бегает по пятам, как собачонка.

И он мирился с этой незавидной участью, потому что любил.

А однажды он пришел к ней и застал у нее другого. Был тот другой таким молодцом на вид, что наш-то, нелюбимый, сразу понял участь свою. И верно, совсем недолго они посидели втроем, и девушка — а они жестокими бывают в иных случаях жизни — взяла да и сказала нашему неудачнику, чтобы он шел домой.

И тот пошел, покорился. Да и как было не уйти? Молодец-то новый мог ведь и взашей вытолкать. Он уж и с места встал и плечи расправил. Ступай, мол, чего стоишь?

Такая вот история. Но история, собственно, только еще начинается.

Вышел мой герой на улицу, прислонился головой к какой-то стене и заплакал. От обиды, от горя. Он очень любил эту жестокосердную девушку. Без нее ему и жизнь была не мила. Вот так, не мила жизнь, да и только. Молодой, и жизнь у него вся впереди, а она-то ему и не мила. Молодые, случается, очень небрежно относятся к своей жизни. Они еще не ведают, что за дар им выпал. А не ведая, часто расстаются с этим даром, и даже из-за пустяка какого-нибудь. Обидели их — и они уже с моста в речку... Молодость не глупа, нет, она слишком уж нетерпима к несправедливости. С годами это проходит. С годами опыт приобретается, натренировывается наша душа и на плохое и на обидное. Тренировочка, видать, во всем нужна, а не только в спорте.

Выплакался наш герой в стенку, вытер глаза и решил кончить с этой самой штуковиной, имя которой — Жизнь. Он еще и потому так решил, что за трусость себя запрезирал. А это уже серьезно, когда парень себя запрезирает за трусость. Ведь мог же он взять да и выгнать того молодца. Ну, а не выгнать, так хоть попытку такую сделать. Ведь тот-то парень не любил, как он любил. Такие красавчики и вообще не умеют любить, а если любят, то только самих себя. Надо было не показывать ему спину. А там уж как вышло бы. Пусть бы лучше побили его. Но ушел, опозорился и в ее глазах и в своих, чего уж теперь руками размахивать. А стыд жег, а душа болела, и жить стало невмоготу.

И вот тут я подхожу к своей невероятной будто бы, но вовсе не измышленной мною истории. Она произошла с моим соседом. И о ней многие знают в нашем доме и даже в иных разных местах, включая и отделение милиции. Наш участковый, к примеру, даже и не удивился, у него богатый опыт по части необыкновенных историй. А я-то, признаюсь, удивился, мой опыт не столь велик, как у участкового. Вот потому-то я и решил про эту историю поведать. Ну, как художник, который увидел красное солнце, совсем красное, краснее помидора, и решил написать его. А уж там верьте не верьте, это ваше дело.

Сережей звали того паренька. И пошел наш Сережа искать смерти. А помереть-то в двадцать лет не просто. Был бы пистолет — милое дело. Но пистолета или даже

охотничьего ружьеца у Сергея не было. Ножом себя пырнуть? Противно как-то, морозно даже делается от мысли одной. Да и подходящего ножа у Сережи не было. Не кухонным же жизнь обрывать. Газ напустить? Других отравишь. В речку броситься, в Яузу? Осень, холодно... Да и гляньте на эту воду — ведь грязища одна. Как в такую броситься? Пока утонешь, нахлебаешься дряни. Нет, речка не подходила. Под поезд? Под машину? А вдруг просчитаешься, и ты вместо желанной смерти обретешь страшные какие-нибудь увечья и останешься жить, но уже без ног или без руки. Нет, только не это! Сергей не мог рисковать, он должен был действовать наверняка, чтобы прямо сегодня же и покончить со своей жизнью. Да попробуй покончи. Оказывается, задача эта наитруднейшая в нашем обществе. Как же быть? Стыд жжет, душа изболелась...

Сережа брел да брел и на какую-то глухую улицу выбрел. А уже сумерки. Время идет, решение не приходит. Что делать? И тут его грубо толкнул кто-то. Мимо пивного ларька Сергей проходил, и какой-то подвыпивший парень взял да и толкнул его. Мол, чего шляешься не по своей улице, чего, мол, за прогулки за такие, когда здесь народ серьезным делом занят? Толкнул, хохотнул в лицо, обдав перегарцем, выхвалился перед приятелями, и делу конец. Да не тут-то было. В иное бы время, и верно, смолчал бы Сергей. Он один, пьянчуг вон сколько, да и улица чужая. В иное бы время смолчал бы, а сейчас его просто в жар бросило, такой вдруг удачный случай подвернулся. Вот, вот она, и смерть-матушка! Хулигана этого надо стукнуть, а уж он тебя не пожалеет. Сергей размахнулся и стукнул. Кабы страшился он смерти, удар бы его наверняка не удался бы, но он смерти не страшился, он ее искал, и потому удар его был точен, силен, от всей души изболевшейся. Эх, как врезал! Так, что хулиган-то, верзила-парень, с ног слетел да еще и об стенку мордой шмякнулся. Чудо-удар! Что ж, и смерть пришла. Сгрудились вокруг поверженного его дружки, подняли и поставили перед Сергеем. Ну?! Не стал ждать Сергей, когда обрушится на него смертельный удар или там пырнут его ножичком. Захотелось ему в последний разочек еще рукой взмахнуть. Накипело! Взмахнул, да так ловко, что хулиган снова об землю грохнулся. Лежит и помалкивает. Что ж это такое? Кто же теперь Сергея убивать

станет? Встревожился он, оглядывается, друзей хулигана ищет, отмщения ждет. Ведь это же общеизвестно, что хулиганы быстры на отмщение. Оглядывается, тревожится, а друзья хулигановы под его взглядом вдруг пятиться начинают, ухмылочки на их лицах объявились, мол, мы что, да мы ничего. Расступились и даже, можно сказать, разбежались. А тот, поверженный, встать страшится и только хнычет: «Да кабы я знал, что боксер... Да кабы я знал, что ты парень-молоток...» Какой там боксер? Какой там молоток? Эх, слюнтяй ты, товарищ хулиган!

Пошел дальше Сергей. Что-то там в душе у него сотряслось от всех этих его ударов, что-то вроде как бы перемешалось по-новому, и чуть поменьше стала душа болеть. Зато кулак заныл. Но эта боль по сравнению с душевной — чистейший пустяк.

Что же делать-то? А? Время идет, парень тот сидит у нее, темнеет там у них в комнате. Хорошо, если она электричество догадается зажечь, как всегда догадывалась, когда Сергей засиживался. А если не догадается?

Болит, болит душа. Не повезло, трусливый хулиган подвернулся. Слабак!

Вышел Сергей еще на какую-то улицу, к стоянке такси подошел. Не поехать ли куда-нибудь? А куда? А зачем? Но все же встал в очередь: что-то же делать надо. Одна машина проехала — никого не взял шофер: не по пути ему оказалось. Другая проехала — опять никого не взял шофер: не всякий же пассажир рядом с его гаражом живет, а ему подавай только соседа. Ну, а первой в очереди женщина с маленьким ребенком.

Третья машина подошла. Шофер в ней оказался посговорчивее, не сразу дверцу захлопнул, задумался, как быть пассажирке с ребенком. Но пока он думал, откуда-то вынырнул громадный детина и скок в машину. Ему, вишь, некогда. Вези! И повез бы шофер, поскольку в детине было сто с лишним килограммов, а с таким весом, если еще вес этот водкой заправлен, спорить не приходится. Повез бы, да не тут-то было. Распахнул Сергей дверцу, рванул детину из машины:

— Не сметь без очереди!

Что ж, тот вылез. Удивился, конечно, но вылез.

— Смерти захотел?

— Захотел, — кивнул Сергей. И чтобы уж наверняка детина его зашиб, от всей души, на прощание, дважды

наотмашь хлестанул нахала по мордатой роже. Так звонко хлестанул, что постовой на углу оглянулся, не стреляют ли.

Ну, вот и все, вот и смерть пришла. А все же хорошо, что напоследок прибил он одного хулигана и одного нахала. Можно и помирать, не зря жил. Ну, так что же ты, бочка с водкой? А бочка-то вдруг бочком, бочком, и за машину, и бегом, бегом вдоль по улице. Да еще на бегу кричать принялась:

— Товарищ милиционер, бьют! Убивают!

А тут за спиной у Сергея вдруг хлопать начали. Он оглянулся, а ему вся очередь хлопает, будто он артист какой-нибудь знаменитый, будто на сцене стоит, завершив блистательное свое выступление. А одна девушка молоденькая даже кинулась к нему и поцеловала в щеку.

— Молодец! Умница! — сказала она.

И шофер подал голос:

— Хоть в конце смены отдохнул душой.

Шофер распахнул дверцу перед женщиной с ребенком.

Ну, а Сергею надо было уходить. Милиционер к нему приближался. Еще акт начнет составлять, в милицию, того гляди, поведет. Не до милиции было Сергею.

Шел, шел он и вышел к Курскому вокзалу. Народ снует, вокзал перестраивается, — теснота. Побрел через площадь Сергей к станции метро. Смерть смертью, а надо было где-нибудь руки холодной водой обдать: уж больно гудели. Идет и вдруг слышит крик:

— Помогите! Помогите!

Оглянулся: женщина какая-то кричит, от парня какого-то отбивается. Ну, ясно, привязался, желает, видите ли, познакомиться. И снова — сколько же их?! — издали видно, что парень пьян. И опять — а все же удача не совсем отвернулась от Сергея — здоровенный такой парень, на одну левую может Сергея взять. Вот Сергей и кинулся на крик.

— Ты что хулиганишь?

— Проваливай, пока жив!

Возрадовался Сергей.

— Сам проваливай, подонок! — Да как стукнет его. Уже приноровился, удар вышел что надо. Обидный такой удар, прямо в нос. От такого удара взбеситься можно. На это Сергей и рассчитывал.

— Ох! — молитвенно свела руки женщина и, как на бога настоящего, восхищенно, благодарно, влюбленно уставилась на Сережу. Это «ох!» и того больше должно было взбесить непрошеного кавалера. Но ведь дело-то он совершил неправедное. Был он всего наглецом, да и только. Душонка в нем была никчемнейшая, если вообще была какая-нибудь душонка. Словом, он струсил. Поменьше вдруг стал, сутулость в нем объявилась — и шмыг в сторону. А уже свист на площади, милиционер поспешает. Зачем Сергею нашему милиционер? Вовсе он был ему сейчас не нужен. И Сергей быстренько поклонился женщине, что все не сводила с него молитвенных глаз, и заспешил по своим делам.

Но дел у него никаких не было, а была лишь одна забота: сыскать смерть... Правда, душа болела потише, стыд жег помилосерднее, но вот зато руки ныли до самых плеч. Не помогла и газированная вода. Четыре стакана на руки вылил, а они гудят. Это с непривычки, конечно. Мы ведь привыкли руками-то работу какую-нибудь делать, а не по мордам хлестать. Тренировки нет. А пожалуй, нужна и такая тренировка. Пока есть пьяные нахалы, хулиганы, вообще подлецы, нужна, пожалуй, и такая тренировка, а вернее сказать, и такая практика.

Пошел дальше наш Сергей. Задумался, не смотрит, куда идет, ноги сами повели. Вели, вели и привели глупые ноги назад к дому его любимой, к дому той жестокой девушки, что променяла нашего Сергея на какого-то красавчика с грубой душой. Преданность променяла на ветренность. Нет, нет у нас еще таких лекториев, где бы объясняли девицам, какой человек чего стоит и что смазливая внешность — это еще не всегда красивый человек!

Опомнился Сергей, смотрит, а он перед ее домом стоит. В два этажа домик, из старненьких, с геранькой в ее окошечке, — второе от угла, на первом этаже. Глянул Сергей на это окошечко и на миг счастливым стал: горел, горел свет в окошечке! Но только обрадовался, только вздохнул счастливо, как свет в том окошечке погас. И обмер Сергей, и мир весь померк перед его глазами. Те, кто никогда не испытывал мук ревности, пожалуй, и не поймут нашего Сергея. Да только много ли таких, что не испытывали мук ревности?..

Погас свет, и обмер Сергей. Убежать бы, да ноги

нейдут. Окаменел, похолодел, похоже, что и сердце встало. Но, счастье великое, снова зажегся свет. Зажегся, померцал — и опять погас. Только погас и опять вспыхнул. А сердце Сережино то вверх, то вниз, то оживет, то замрет. Что же это, что там такое? Понял Сергей, да и всяк бы понял, что там, за горшочками с геранькой, борьба сейчас происходит: он свет гасит, она свет зажигает, он гасит, она зажигает. Он руки ей выламывает! Он голову ей запрокидывает! Он...

Забыл обо всем Сергей, рванулся к окну, благо невысоко оно было от земли, и миг спустя был уже в комнате. Разлетелись горшки с геранью, и он — вот он! И как раз свет опять зажегся. И все увидел Сергей. И все так и было, чего страшился. Истерзанную свою девушку он увидел, забившуюся в угол, и молодца-подлеца увидел, тянувшегося лапищей к выключателю.

— Сереженька, милый! — кинулась к нему девушка. — Спаси!

Да разве надо было его об этом просить?

И вот сошлись они посреди комнаты — правый и неправый. Один — щупловатый, невысокого росточка, но он любил. А другой был могуч, ручищи, как кувалды, но... Сергей не стал терять времени на разговоры, благо опыт у него уже какой-то накопился. И уж если помирать, так разве слаще, чем такую, смерть сыщешь? Ведь она сказала: «Сереженька, милый!» И ведь она смотрит на него. И Сергей ударил. Это неправда, что хлипкие да невысокие несильным обладают ударом. Все это чепуха — все эти теории о весе тела, помноженного на силу удара. Одна есть истина, когда речь не о спорте идет, а о серьезном, о возмездии. Истина эта — гнев праведный. Сергей ударил и в ответ получил. Снова ударил и снова получил. Упал и поднялся. Снова ударил и снова упал. И снова поднялся. Вот и смерть пришла. Нет, смерть слабых выбирает, и Сергей ей был неподвластен. Он падал и вставал, он отлетал к стене и снова шел вперед. Он уже почти ничего не видел. Только видел, куда бить. Это он видел. И он бил, бил, не ведая страха, не слыша боли. И вдруг мишень ненавистная, эта рожа оскалившаяся, сгинула. Он бежал, подлец, он не выстоял. Вот вам и вес тела, помноженный на силу удара!..

И Сергей тогда пошел прочь из этой комнаты. Де-

вушка звала его, окликала, ласковыми словами звала. Он не слышал ее. Он и не видел почти ничего, но был он счастлив, и умирать ему больше не хотелось.

Вот и вся история. Хотите верьте в нее, хотите — не верьте. Мне рассказывали ее надежные люди, и я им верю. Да и Сережу я потом видел всего в синяках. Был он весел, держался молодцом.

ПЕРЕД ЭКРАНОМ

Он почти всегда останавливался в гостинице «Москва». Даже когда был безвестным актериком, ленинградским театральным актериком, ходившим в кепочке финского образца и в продувном пальтеце, будь то ростепель или стужа. Так повелось, что ему почти всегда давали номер в этой первостатейной гостинице, хотя никакой, конечно, брони у него не было. А что было? А была улыбка, его, Сереги Чуклинова, улыбка, от уха до уха, знаменитейшая его улыбка, простецкая, доверчивая, от души, которая безотказно добывала ему роли «друзей первых героев» и всех этих заводил на стройке, на лесоповале и прокладке газовых магистралей, когда убийственный хлад или убийственный зной, а надобно — душа велит — улыбаться, вот именно от уха до уха. А говорить ничего не надобно. Разве что одну какую-нибудь залихватскую фразочку, одну-единственную на весь спектакль. Что-нибудь вроде: «Ух ты!» или: «Ох ты!» Или еще: «Ну, девчата, крепись! Мороз-воевода дозором...» И все, вся роль. И год за годом так, с той поры, как был взят в театр, по окончании театрального училища. Не какого-нибудь там, а Щепкинского. Вот судьба.

Но номер в гостинице «Москва», номер на одного, ему почти всегда давали. И это было доброй приметой на земле московской, это всегда выправляло его настроение, в какой бы хмури он ни приезжал в Москву. А он приезжал в столицу довольно часто. Все для того же, чтобы улыбнуться в каком-нибудь фильме от уха до уха, по-простецки эдак, по-свойски, и чтобы вымолвить одну-другую реплику на весь сценарий: «А ну, девчата!..» Или там: «Во дает, во наяривает — мороз...

жара... пурга... сушь...» Стихия определялась в зависимости от времени года, от выбора натуры.

Да, номер давали. Если, конечно, не было сессии или уж очень представительного симпозиума. Тогда давали койку. Ему, безвестному, в утлом пальтишке, ему на дверь не указывали, почти никогда не знал он тут отказа. Уважали? А за что? Жалели? Да не может быть! Даже в пот бросило от этой мысли. Привыкли? Улыбка покоряла? Эта простота в ней, бесшабашность, бесхитростность?

Как бы там ни было, за то ли, за иное ли, но номер давали. А вот сегодня он встретил отказ. И даже в койке отказали. И даже не обнадежили, что через час там, через другой... А ведь в городе не было ни сессии, ни международного симпозиума, гостиница вовсе не трещала по швам.

Сергей Чуклинов не сразу признал себя побежденным. Он решил, что администраторша не разглядела его. И он наклонился к окошечку и улыбнулся ей. Он улыбнулся даже не просто там своей обычной улыбкой, он весь выложился, он в роль себя ввел, в ту самую, из многосерийного фильма, после которого он «проснулся знаменитым». Не приятеля героя играл он в том прогремевшем фильме, а самого героя. Сподобился наконец. Нашелся наконец умный режиссер, догадливый. И пришла слава. Узнавать стали на улицах. Завалили письмами. По гостям затаскали. Открыли актера. Открыли, что эта простецкая улыбка его, от уха до уха, вовсе не помеха, чтобы играть разных нонешних высоколобых героев. Напротив, как раз по методу контраста, как раз вопреки всем установлениям. Простецкий малый — и вот вам, играет молодого доктора наук или молодого партийного работника, на плечах у которого целый город. И не поверишь, что он доктор наук, а он — доктор, и не подумаешь, что английский и французский ему ведом, а он взял да и заговорил. Пусть с произношением российским, не совсем бойко, а все-таки. Угадали парня, угадали актера, вытолкнули вперед. И уже пошла, поперла удача. И уже не в пальтеце и кепочке стоит он перед гостиничной администраторшей, а в замшевом дорогом распашливом пальто, а в шапочке, — куда там боярину. Стоит, улыбается, мерцая взглядом, так совсем, как там, в том фильме, когда надобно было дать понять человеку,

что прост-то он, прост, а строг его спрос. И что же? Глядит на него пожилая, полная администраторша, ответно улыбается, а головой — нет, нет. Не узнала? Что же, в телевизор не заглядывает, в кино не ходит? Он назвался ей. Скромненько так, понизив голос, чтобы вокруг не услышали. К чему это афиширование? Еще за автографами полезут. Он назвался, он даже удостоверение свое актерское на мрамор выложил. И — ничего. Улыбается администраторша, смотрит на него, а головой — нет и нет.

— Но, может быть, койка? До завтра, когда мне оформят броню? — Не ждал, не гадал, что придется дойти до такого унижения, что станет просить о койке в гостиничном общежитии.

Но и койки не оказалось.

Разгневанный, он кинулся к главному администратору. Распахнув пальто, позабыв о своей улыбке, помня разве что, как кричал, — когда это? А, в третьей серии! — на нерадивого одного прораба, он принялся кричать на главного администратора, требуя номер, требуя к себе уважения.

Администратор, вышколенный человек, не вспылил ответно, но в номере отказал и в койке отказал. Похоже было, что и он тоже не заглядывает в телевизор и не ходит в кино.

Что было делать? Сергей Чуклинов, подхватив свой элегантный чемоданчик по прозвищу «дипломат», гневный, потный и распахнутый, выскочил из гостиничных дверей и очутился на улице Горького. Туннелем пройти — и еще одна перед ним гостиница. Но он вдруг пал духом. Устал вдруг, будто две смены перед аппаратом отработал, с многими дублями, с частыми окриками режиссера: «Не то! Не так!»

Он пал духом и не пошел в другую гостиницу, страшась, что снова натолкнется на отказ. Он побрел по улице Горького, суматошной в этот вечерний час и совершенно безразличной к нему, к знаменитому артисту, которому отказали в номере и даже в койке. Что было делать? Он брел, брел и все более падал духом. Да и холодно ему стало в этом замшевом пальто с меховыми отворотами, хуже, чем в продувном пальтеце. Сиро ему стало и одиноко. И тут вспомнилась ему его родная по отцу тетка. Так уж мы устроены все. Как обидят нас, как замерзнем, как растеряемся, так сразу и вспоми-

наем о каком-нибудь родном человеке, о котором до этой минуты и год, а то и десять лет ни разу не напомнит память. И вдруг — вот оно спасение, участливое слово, теплый угол, пирожки с капустой. Какие еще пирожки? А те самые, что пекла всегда тетя Ксана, тогда, еще в студенчестве его, когда навещал он ее, учась в Щепкинском. Забежит, отогреется, поест, вывалит свои обиды — и прощай, тетя Ксана, прощай на месяц, а то и на год. Как уж получится.

Вспомнилась тетка, тепло ее комнатки, в ноздрях вдруг пирожковый запах шевельнулся, и наш Сергей просто кинулся на этот зов, к этой памятью отысканной обители.

Повезло ему: схватил сразу такси. Повезло и потом, когда в знакомой кондитерской, неподалеку от теткиного дома, почти не оказалось народа, и молоденькая продавщица, узнав его,— вот уж она-то узнала!— обомлев и даже зардевшись, помогла ему набрать самых лучших, самых модных конфет.

— Девушке? — едва обрела она дар речи.

— Тетушке. — И он улыбнулся ей, так, как умел, самозабвенно, зная, что загубил ее душевный покой.

Тетка встретила его в дверях и не удивилась:

— Ты? Пожаловал? Ну, хорош!

Потеснившись, она пропустила его в коридор громадной квартиры, где, как и много лет назад — сколько же он тут не был, года три, четыре? — тускло горела под потолком голая, пыльная лампочка.

На тетке все та же была кофточка, какого-то неустойчивого коричневого цвета, с большими старинными пуговицами, и одной пуговицы не хватало. Он был памятлив на то, кто во что одет, как причесан, как ходит, как слова молвит. Это было от профессии у него, от выучки: «Наблюдать! Наблюдать! Наблюдать!»

— А я так и знала, что явишься, — сказала тетка. — Пришло время.

Притворив тяжелую дверь с бронзовой витой ручкой, — цены теперь нет такой ручке,— тетушка привстала на цыпочки, положила Сергею руки на плечи, будто собиралась поцеловать его. Но нет, она только приблизила к его лицу свое, чтобы всмотреться получше.

— Пришло время, пришло время. А?

Она очень постарела, сдала, еще меньше стала. Но глаза у нее светились, зоркость в них не отхлынула, и

даже усмешечка в них жила, все та же, с колючими лучиками вкруг зрачков.

— Фу ты, как разоделся! — Она ладонями отодвинула его от себя, разглядывая теперь в общем и в целом. — Благополучен?

Сдернув шапку, Сергей наклонился, чтобы поцеловать тетке руку.

— Ого! И манеры! — Она с интересом посматривала, как он целует ее руку. Посмеиваясь, похвалила: — Обучился. Обтесали парня. — И вдруг рассердилась: — Да ты не на сцене ли себя мыслишь? Прославленный племянник и старая, отживающая тетка! Ага, вот и кулек с конфетами. Самые дорогие? Ну, как же, как же. А я кисленькие, дружок, люблю, дешевенькие, которые по карману.

— Так и будем стоять в коридоре? — спросил Сергей.

— Устал?

— В коридоре стоять?

— Нет, вообще?

— Устал.

— Я и вижу. Ну, входи, дружок, рада тебе.

Распрямившись, поменявшись, повыгнав из глаз колкие в них лучики, мигом подобрев и постарев, тетушка засеменила перед племянником, ведя его по изгибам бесконечного коридора, плотно заставленного старыми вещами.

— Не ушибись, Сергей. Вот тут коварный угол. Не споткнись, паркет выщерблен. Дай руку.

Он протянул ей руку, и маленькая, сохлая ее рука изумила его, как бы к сердцу притронулась, такая она была слабенькая.

— А ты как, тетя Ксана? — спросил он, все сразу поняв, угадав. И что одиноко ей, и что пенсии не хватает, и что силы на исходе.

— Я-то?.. — Она плечиком отворила дверь в свою комнату. — Входи, Сережа, входи. Правду сказать, заждалась я тебя.

В ее комнате мало что изменилось. Как ни напрягай свою наблюдательность, а перемен почти нет. Те же серенькие обои, едва видные в узких просветах между книжными полками. И те же книги, выстроившиеся вдоль стен и чуть что не до самого потолка. Ни одной случайной книжки, только любимые, читанные-перечи-

танные. А над тахтой, застланной все тем же текинским ковриком, повытертым и покладистым, на полке в изголовье — книги-новинки, с яркими еще обложками. На этой полке книги не задерживаются. Эту полку здесь именуют «карантином». Разве что пяток всего книжек из сотни благополучно минуют этот «карантин», водружаются, и уже навсегда, на книжные полки. А остальным заказан туда вход. Не прошли испытания, за порог их, обратно в магазин, хоть за бесценок.

Узкая, да еще и зауженная книжными полками, теткина комната могла показаться совсем никудышной, если бы не окно в ней, с таким простором, с таким оглядом, что сразу, едва ступил в комнату, как уж и очутился у окна. И смотришь, смотришь. От Новодевичьего до Кудринки все видать. А в погожий день...

Сергей так прямо в пальто, с чемоданчиком в руке и придвинулся к окну. Это окно — оно ведь тоже его сюда подманивало. А он и в мыслях не имел, что здесь очутится. Дали бы номер — и не вспомнил бы про тетку. А оказывается — вот что ему было нужно. Эта старушка маленькая нужна была, ее комната в книгах, ее окно в Москву. Может, он и рванул нынче в Москву лишь затем, чтобы побывать здесь? Да полно! Расчувствовался! Он этого и в мыслях не имел. Поехал, потому что заглавная ролька начинает вытанцовываться в новом большом фильме. Пустился в путь, чтобы напомнить о себе в столице, повращаться, перекинуться парой фраз с режиссером, ненароком, на проходе, так сказать, застолбить в его памяти свой образ. Пробы начнутся, а его уже до проб выбрали! Вот затем и приехал. А окно, — что окно? Ну, стены за ним. Россыпь бескрайняя огней вечерних. И все вспыхивают, вспыхивают новые огни в окнах. Что ни огонек, то человек. А то и два, и три. Серьезная эта штука — город. Что ни огонек, то судьба человеческая. Вон их сколько — этих судеб. Счастливы? Добились своего? Делом заняты? Эй, вы, огоньки!

Сергей обернулся к тетке.

— А меня, знаешь ли, не поселили в гостинице, — сказал он, хотя вовсе не собирался признаваться ей в своем поражении.

— Я так и подумала. Да ты сними пальто, присядь. Что там за окном, что померещилось?

— Люди, люди. Огоньки...

— Да, и мы свой затеплим.— Тетка подошла к двери и щелкнула выключателем.

Все тот же абажур висел у нее над круглым столом, выцветший абажур над старым столом. Все то же круглое пятно света легло на стол, как бы качнув его на единственной разляпистой ножке. И пятно это легло, как и прежде, не прицельно, не ровно, оставляя край стола в тени.

— Тетя Ксана, ты все та же, такая же, — сказал Сергей. — Даже тени у тебя все те же. — Он снял пальто, пошел к вешалке.

— Старый человек не любит перемен, Сергей. А тень — это очень важная подробность. Помнишь Шамиссо, повесть его о человеке, запродавшем свою тень?

— Помню, — неуверенно кивнул Сергей.

— Ой ли? А как называлась эта повесть, дружок?— учительским голосом спросила тетя Ксана.

Сергей и задумываться не стал, он не помнил этой повести. Он широко развел руки и улыбнулся, от всей души и чистосердечно признаваясь в своем невежестве. Совсем так, наверное, вел он себя на уроках, у доски, перед учителями своими, когда не знал ответа. Совсем так разводил руки и улыбался, испрашивая этой всепокоряющей улыбкой прощения себе и хотя бы троечку.

— Ох, Сережа, Сергуня, Сергунок,— сказала, вздохнув, тетя Ксана. — И не улыбайся, пожалуйста, не подлизывайся. Артист, интеллигент, а не знаешь Шамиссо, одного из видных представителей немецкого романтизма, ведать не ведаешь о его Петере Шлемеле, «человеке без тени».

— Вот теперь вспомнил! — вскинулся Сергей.— Ей-богу!

— Не божись попусту. Ладно, ступай. Так уж и быть, три.

— Что и требовалось! — просиял от уха до уха Сергей.

Он кинулся к тетке, обнял ее. И тут они поцеловались, как и должно родным людям после долгой разлуки, и притихли на миг, вслушиваясь друг в друга. От старушки пахло чистотой, волосы у нее были легкие, слабые, почти уже неживые. Слабенькой была у нее и шея с чуть подрагивающей жилкой. И бедная эта коф-

точка, штопанная по вороту. Снова будто кто дотронулся рукой до Серегиного сердца, и сердце его сжалось и обмерло.

— Притих? Жалеешь? Вот уж не по адресу! — И тетка оттолкнула его от себя потвердевшими кулачками. — Сядь напротив. Докладывай.

Садясь, Сергей оглянулся на телевизор, стародавний ящик с еще бронзовыми украшениями, будто из прошлого века вещь, хотя телевизионный-то век и четверти своей не отшагал.

Тетка перехватила его взгляд.

— Да, слежу, слежу за тобой. А как же!

— И что же, этот саркофаг еще дышит? — осторожно спросил Сергей.

— Отличнейшим образом. Кинескопы, разумеется, я время от времени меняю, а вот ящик сменить никак не решусь. Привыкли мы друг к дружке, вместе и состарились.

— Тетя Ксана, хочешь, я подарю тебе новый телевизор? — вырвалось у Сергея, и он даже привстал, будто вот прямо сейчас готовый кинуться в магазин.

— Разбогател? Впрочем, это хорошо, что ты не скупой. Нет, дружок, мне ничего от тебя не нужно. Открыточку разве что к Новому году. Но ведь это трудно, не правда ли, открыточку тетке начертать?

— Виноват, виноват. Прости.

— Я так и решила, что виноват. Отцу-то в Ключевой пишешь? Или опять — виноват?

— Пишу. Не часто, но пишу. Собираюсь даже навестить. Звал его к себе, а он — к себе. Пожалуй, вырвусь на недельку.

— Вырвись, Сергей, вырвись. Ведь ты там родился, в этом Ключевом. Помнишь ли?

— Конечно.

— А что помнишь?

Сергей задумался.

— Ну, нашу Ключевку, с завертями, с омутами... Маму... Ну, ребят помню по школе... Не всех, некоторых... Многое помню. Морозы наши... Как на лыжах с обрыва раз съехал...

— Удержался?

— Удержался.

— Вот потому и помнишь. А я все по мостику в памяти иду. Помнишь, деревянный мостик у базарной

площади? Иду и иду по нему, иду и иду. Ему бы давно кончиться, а я все иду. И знакомые навстречу. Их уже нет в живых, а они навстречу. Думается мне, что как дойду до конца этого мостика, так и жизни моей конец. Вот ведь, всю почти жизнь прожила в Москве, а по ночам по Ключевому брожу. Ну, когда не спится. И все, знаешь ли, выпытываю сама у себя про собственную жизнь. Так ли шла? Туда ли? И спрос этот мой к себе из того городка нашего уральского, из детства, из юности. Мостик — что! Голоса слышу. Расспрашивают меня мои товарки умершие, выпытывают. Так ли, Ксана, жизнь прожила в Москве-то своей? По совести ли? Подруги да друзья мои из юности — о, они совестливыми были, строгими. Перед ними ответ держать не легко.

— Да, да, так,— сочувственно покивал тетке Сергей и снова покосился на телевизор, ибо нуждался нынче в похвале себе, в поддержке, а кто как не родной человек и может похвалить да поддержать в трудную минуту.

— Женился? — вдруг спросила тетка.

— Уже развелся. В незадачливую для себя пору.

— Бросила тебя?

— Пожалуй. Хотя считается, что у нас совпало. И мы даже друзья с ней. И, знаешь... — Сергей самолюбиво выпрямился на стуле.

— Что, просится назад?

— Да.

— Не бери. Предала. Тебе устанавливаться надо было, путь выбирать, а она — за порог. Небось деньжонок мало приносил, неудачником от тебя повеяло, так?

— Так. Да, знаешь, ошиблась, просчиталась...

— Не бери. Нет ничего страшнее на земле, чем предательство.

— Я понимаю.

— Все ли? Огорчаешь ты меня, Сергей. Смотрю я на тебя в этот ящик и слезы лью.

— Тетя Ксана, да отчего же?! — изумился Сергей.— Да я же!.. Вы мой последний фильм видели?

— Видела. О нем и речь. Всей квартирой смотрели. Четыре вечера подряд. И все по своим комнатам. У нас семь комнат, и в каждой по телевизору. Всей квартирой и уселись смотреть. А на кухне — обсуждение. Спо-

рили, спорили и даже перессорились. Все — за, я — против.

— Ты?

— Так ведь им что, ты им чужой, позабавил — и ладно. А я тебе родная. — Тетка поднялась. — Пойду, поставлю чайник. Пресненьких испеку. Ты посиди пока, полистай книжечки. А хочешь, приляг с дороги.

— Какая дорога? Час в воздухе.

— Ну, я быстро. — И она ушла, легко просеменив к двери, оставив своего племянника в полнейшем недоумении. Как так: все — за, а она — против? Но — почему, почему?!

В поисках ответа Сергей всем телом повернулся к телевизору, крутанув под собой стул.

— Почему?!

Безмолвствовал древний ящик. Бронзовые завитушки, крепившие его углы, какие-то скверные корчили сейчас рожи. Одной отливки они были, а казались разными, разные корчили рожи. И по-разному подмигивали, но дружные в одном — в сочувствии к нему. Это с чего бы? Он в сочувствии не нуждался. Он был доволен собой. Ну, не всем собой и далеко не всей своей жизнью, но уж фильмом последним он наверняка был доволен. А рожи подмигивали, сочувствовали. Того и жди, протянется от этого ящика морщинистая, крюкастая рука и похлопает его по плечу. Не унывай, мол, с кем не случается...

А, черт с ними, с этими рожами! С этим насупленным ящиком, из времен египетских фараонов. Он потому насупленный, потому и рожи корчит, что услышал, как Сергей вызвался купить тетке новый телевизор.

— Что, старый, обиделся? — пригнулся к ящику Сергей. Его обрадовала собственная непосредственность, миг этот, когда он чуть что не всерьез всматривался в телевизор, поверив, что это живое перед ним существо. И гримасничающее. Поверить и в небылицу, заговорить с зеркалом или там со шкафом, обидеться на кухонную плиту, подружиться с цветочной корзиной — разве это все было не от таланта в нем, не от актера? А «Синяя птица», где он исполнял роль Сахара, и где всему верил, и даже всерьез страшился, что растает, прилипнет к полу, — разве это не о том же самом свидетельствует, не подтверждает, что он актер божьей милостью?

А вот тетя Ксана сказала, что из-за него слезы льет, что все — за, а она — против.

Он попытался понять ее, угадать причину, он попытался представить себя на ее месте, когда она смотрела фильм. Представил, что вот сидит она в своем креслице, вон в том, в чехле, сидит, поджав ноги, подперев рукой подбородок, и смотрит, смотрит. И кофточка на ней эта штопаная, и одиноко ей. Ага, вот причина: одиночество! А на экране жизнь бьет ключом. И он там, на экране, без устали мотается по запани, по лесопунктам, по лесопилкам, и все на людях, на людях. «Что ж ты, племянничек, — небось подумала, — что ж ты к родной-то тетке никак не заглянешь?..» Ага, вот она причина: на экране, мол, один, а в жизни другой. Но, тетя Ксана, тетя Ксана, нельзя же так примитивно мыслить. Ведь ты вон сколько книжечек прочла, учительницей была, статьи писала по литературе. Так неужели ж ты не понимаешь, что человек в искусстве и человек в жизни, ну, не всегда, что ли, однозначны? Понимаешь? Конечно же. Так отчего же слезы твои? Закрутился, передохнуть было некогда. Прости. А вот сегодня, — вот я и здесь, у тебя.

Он продолжал смотреть в безмолвствующий, померклый ящик. Он смотрел потому, что не все еще сам себе сумел объяснить. Нет, еще не все. И он уперся глазами в этот ящик, снова представив, как смотрит его фильм тетя Ксана. Ведь она справедливой у него была. И личное она бы сумела отвести рукой. Ну, забыл ее племянник, а ведь играет-то хорошо. И она бы порадовалась за него. Он так и надеялся, что обрадует ее своей ролью в этом фильме. Главная роль в большом фильме. Куда лучше-то? И он надеялся, что обрадует и отца, и тетю Ксану, и всех своих друзей школьных. О друзьях институтских он как-то меньше думал. Тут все было запутаннее. Кто позавидует, а кто и польстит. Тут было, как всегда в их кругу, все чуть-чуть в туманце, чуть-чуть в обманце, в лукавом слове, в чрезмерном жесте. Но тетя Ксана, отец, школьные товарищи... Да, а не странно ли, отец почти ничего не написал ему о фильме. Только сейчас вдруг пришла ему эта мысль. Отец почти ничего не написал, не высказал своего мнения, хотя и написал, что фильм смотрел. Впрочем, он там еще написал, в том письме, что в кино ходит редко, что, мол, не судья, и только вот приметил, что сплавной рейд, на котором его сын в фильме работал главным инженером,

уж очень вроде бы аккуратный какой-то, вычерченный. Ему — старику, а он у Камы живет, у Вишеры, — такие рейды, такие запани на глаза не попадались. Может, в Сибири такие есть? Этого он не ведает, возможно, и есть. Вот и все, что написал отец, старый речник, капитан, о фильме сына. Тогда не подумалось, сейчас подумалось: и отцу что-то не понравилось в картине. Что? Почему? Да бог с ней, с этой запанью, с этой техникой без меры, которую натаскали на съемочную площадку режиссер с операторами. Разве в этом суть? Играл, как он в фильме играл, — вот в чем суть?! А про игру сына отец не написал ни слова. Ни слова! Тоже слезы лил? Они с сестрой, Чуклиновы эти, они одинаковые. Уральцы, вот уж уральцы-то. Если уж что им втемяшится... А что, а что им втемяшилось?!

Сергей снова уперся глазами в блеклый экран. Так уперся, расширив глаза, что в них радужные круги заходили, и экран будто ожил. И все вспомнилось, весь фильм этот длинный, громадная его в этом фильме роль. Все вспомнилось и мигом промелькнуло. Куда там скорость звука, скорость света. Вон она где скорость — в памяти нашей. И что же осталось? Сергей принялся из этого промелька вытаскивать назад то одно, то другое, как вещь какую из сундука. Вытаскивал и рассматривал. Вытаскивал, что поинтереснее, чем гордился. И рассматривал. Не своими глазами. Свои у него на сей миг вышли из доверия. Он теткиными глазами рассматривал, а стало быть, и отцовыми. Ну-ка, ну-ка...

Вот на катере он. «Ходу! Ходу!» Крутая волна на реке. И речка, даром что речка, а от берега до берега взгляд не перекинуть. Бьет волна, ветер на реке. А ему, Главному, все нипочем. «Ходу! Ходу!» Смел! Удал! Герой! Это в фильме. А как бы ты повел себя, парень, в жизни? Ну зачем гнать катер в такую волну? Скажем, тебе жизнь не дорога, а мотористу, штурвальному, капитану? Есть ли в том необходимость, чтобы так выставляться? Слово-то какое скверное: выставляться. А иного и не найти. Он тогда на том катере выставлялся, смелость свою выказывал, удаль. Так не он же, не он, а по сценарию. Не важно, что по сценарию. Спрос нынче с него, с Сергея Чуклинова. На него смотрят, ему либо верят, либо нет. Этой его улыбочке от уха до уха. А уж он ее в том фильме не жалел, демонстрировал вовсю.

Ладно, в сторону этот катер! Не велик эпизод. В громадном фильме и затеряться свободно может, как платок какой-нибудь в бабушкином сундуке. Ладно, вот что, добудем-ка другой эпизодик... Этот вот, верняковый, в котором он, как актер, просто купался в роли. «Купался в роли» — фразочка-то какая низкопробная. А ведь она бытует в их среде, бытует. Ну-ка, в чем ты там искупался, друг?

А вот, когда вломился в комнату, где остановилась девушка одна, приехавшая к ним в командировку. Приглянулась, вишь, она ему. И он, не раздумывая, даже словом-другим с ней не перемолвившись, ворвался к ней, заломил руки, запрокинул лицо, впился губами в ее губы. «Мы — сибиряки! Мы — такие!»

Господи, да нет же, нет, не такие! Он даже съежился на своем стуле, так стыдно ему сейчас стало за тот эпизод, за нахрап этот его тогда, за наглость. Не такие, в том-то и дело, что не такие, — ни сибиряки, ни уральцы, а он — уралец, а ведь он-то сам — уралец. Как же он забыл тогда, откуда он, кто он? Нахрап, наглость, — это не сибирской, не уральской души суть. Там так любовь не добывается, в родных его краях. Там год и другой человек о своем чувстве не смеет сказать. Во всем смел, а тут робок. Но зато и верен. Отец его был однолюбом. Мать умерла двадцать лет назад, а он, хоть и молодым еще был, не женился на другой, всю свою потом жизнь переладив на одинокий лад. И дед был однолюб. Рассказывали Сергею, как ушли в Революцию дед его и бабка и как расстреляли колчаковцы его бабушку, а ей и тридцати тогда не было. И дед с тех пор жил бобылем. Сергей помнил деда, сурового, молчаливого. Фотография деда есть в городском музее, в том ряду, где и другие помещены фотографии первых коммунистов города Ключевого. Дед в пулеметных лентах, молоденький, востроглазый. И застенчивый. Дерзкий и застенчивый. Смелый и робкий. Как же ты забыл о них — об отце, о деде, когда «купался» — вот гадость-то! — «купался» в этом эпизоде, в том своем нахрапе?!

Пугливо оглянулся Сергей на теткино кресло, вжал голову в плечи, стыдясь и винясь.

Но он еще не сдался, нет, не сдался. В сторону этот постыдный эпизод, на дно его! Иное надобно сыскать в фильме-сундуке, настоящее, удачное. А что? Он порылся в памяти. Память, как этот древний ящик, сейчас

безмолвствовала. Память растерялась, должно быть. Ведь еще минуту назад ему нравилось все то, что теперь, когда глянул как бы со стороны, теткиными как бы глазами, до боли в сердце, до оторопи вдруг разонравилось. Так что же тогда добывать должна ему память? Что надобно ей считать удачным? Растерялась память, замерла на месте. А он торопил ее, подгонял: «Ну же! Ну!» Ему важно было спасительный какой-нибудь сыскать эпизод в том фильме, как бревно на воде ищет утопающий, чтобы ухватиться за него, навалиться, выплыть.

Сжалилась память, двинулась в путь, замелькала снова картина перед глазами. Длинна, длинна. Нет, теперь в один промельк ее не вместить. Все тянется, тянется. И все говорит он в этом фильме, и все куда-то спешит, а кажется, что стоит на месте. И кричит, руками размахивает, а кажется, что его не слышат. И улыбка эта надоедливая его все мелькает, мелькает, то издали надвигаясь, то во весь почти экран оскаливаясь. Смотреть просто больно, а честно сказать, и противно. «Чего это я? Зачем? Ведь кругом люди, а я все выставляюсь, красуюсь, покрикиваю да похохатываю». Нет, не помогла память, хоть и пыталась помочь. Нет, не порадовала. Разве что этот эпизод?.. Стоп! Этот, кажется, по сердцу. Вечер... Спит поселок... И идет главный инженер вдоль берега реки. Идет, никуда не торопится, слушает реку. А она разговаривает, река-то. Подогнали, помнится, тогда тонваген и повели его следом за Сергеем. И что услышал он, то и тонваген записал. А услышал он реку, голоса на ней и ее собственный голос. Жизнь услышал. Вдруг вспомнился — он помнит, как вспомнился тогда, — его родной Ключевой, маленький город на реке Ключевке в километре от Камы. Почти такой же город, как и этот поселок, угодивший в фильм. Вспомнилось, все вдруг тогда вспомнилось. И слезы стали в глазах. А приметливый оператор — тут как тут — и эти слезы и снял. Настоящее, честное вступило на экран. Да жаль, короток был тот миг, те слезы. Да жаль, вспомнилось все, да скоро и забылось, отодвинулось в суете, ушло. Эх, память, что же это ты? Уж очень ты, гляжу, забывчивая. Напомнила — и мимо. А ты бы должна была все возвращаться да возвращаться к тому проходу вдоль реки, к тем голосам из жизни, к тем слезам от сердца. Лучше бы тогда, по правде бы тогда и дальше у него все

в фильме пошло. Сценарий не тот? Режиссер из ремесленников? А сам — что? Или ты всего только кукла с этой вот знаменитой своей улыбочкой? Без души, без сердца, без памяти своей, без корней? Оплошал ты, Серега. Вот что я тебе скажу: оплошал ты, Чуклинов Сергей, уральский паренек. Стыдно!

Вошла тетка, неся чайник и на тарелке гору домашнего печенья, в котором не вкус даже важен, а запах. Все вдруг опять вспомнилось от этого запаха Сергею. Детство все, Ключевка, мама, когда была молодой, ребята из школы, пихтарниковые овраги, лыжня в лесу, мороз, кедры на опушке, пароходик в разливе Камы. Все, все вернулось, встало в глазах, в сердце, рукой провело по волосам.

Он вскочил, кинулся к тетке, замер перед ней, уронив руки.

— Да очень уж себя не казни, — сказала она ему, ставя чайник и печенье на стол. — Ты не старик, выправишься. А талант в тебе есть. Знаешь, те маленькие твои роли в фильмах тебе хорошо удавались. Ты ими не брезгуй. Добрый ты там. Естественный. С людьми, а не сам по себе. Ты это обдумай...

— Да, да, так, так. — Он покивал ей, заглядывая в ее родное, честное лицо. Он был безутешен.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

КАЖЕТСЯ, СОВСЕМ еще недавно жили они в Докучаевом переулке, в кривеньком этом и дряхлом переулке, который вытекал на шумную, узкую, тесную Домниковку, веселую, привокзальную, чуть шальную Домниковку, ныне нареченною улицей Маши Порываевой. Но пришел конец переулку, да и всем переулкам в окрестности. Да и всей Домниковке почти — тоже пришел конец. Так и не стала она по-настоящему улицей Маши Порываевой, героини Отечественной войны. Начала было выравниваться, обстраиваться, в зачине и исходе своем обзаведясь новыми домами, — в зачине высотной гостиницей «Ленинградская», в исходе еще одной гостиницей,— да вышло решение проложить через нее Новокировский проспект. А проспект — это уже не улица, это

все равно что на лесную тропу наложить магистральное шоссе. Прощай, Домниковка, то бишь улица Маши Порываевой, прощай, Докучаев и все окрест переулочки-закоулочки с трухлявыми, изжившими свое домами. Здесь все новое будет. И проспект, и все, что вблизи него. Дома-великаны встанут. Засверкает все. Поширится. Спрямится. Года три пройдет, придешь в эти места, а ничего и не узнаешь. Пожалеешь, что снесли? Да как сказать. Уж очень много трухи тут было. Время пришло сносить. А если чего и жаль станет, то нет, не домишек этих погнивших, а двориков с тополями, а тишины в этих двориках. А если чего и жаль будет, так того, что отшумело тут, — юности своей. Так ведь не вернуть. Отшумела.

Да, кажется, совсем недавно жил он в тех местах, ныне пошедших на снос. И еще нет никакой привычки к новому месту, к этому дому в шестнадцать этажей на бугорке, и к белым-белым стенам, куда ни глянь. И к этому лесу совсем рядом, куда вшагивают новые корпуса. Москва ли? Все тут с иголочки, все тут непривычно глазу, не угадывается тут Москва, та, где вырос, где столько лет прожил. А ведь Москва. И эти вот стены из стекла и бетона — они тоже Москва, оказывается. И надо привыкать тут жить. Женщины уже и привыкли, у них с этим быстрей. Им тут все по сердцу. Еще бы! Отдельная у каждой семьи квартира. Ванна. Кухня в пластике, балкон, а то и два. Магазины имеются. Не палатки, а великаны. И чистка. И прачечная. И детский сад рядом. И школа. И машины подле домов не снуют. Женщины всему этому рады. Да и он, Николай Андреевич Чижов, он тоже рад. Он что — не человек? Ему тоже ванна по сердцу, хотя и привык ходить в баню. И балкон ему мил, он там клетку с кенарями установил, у него там удочки в углу стоят, всякая там снасть рыболовная сложена, — польза от балкона явная. Да и обзор с него дай боже какой. Выйдешь — и весь земной шарик перед глазами. Ну, не весь, конечно, а порядочный все же кус. И хорошо, чего говорить, что сам с семьей хозяин на кухне, что в комнатах не тесно, что в коридоре есть эти вот антресоли, удобнейшая штука, вроде как бы чулан, но на новый манер. Все хорошо, всему рад на новом месте Николай Андреевич. Да только вот скука. И даже не то чтобы скука, а какое-то вот одиночество. Скучать не приходится, квартиру надо

обихаживать, там прибить, там подкрасить, на кухне, к примеру, весь линолеум перестилать пришлось. Нет, дел по дому хватает, и приятные отчасти это дела, хоть и много мороки. Приятные, потому что — свой угол, своя совсем квартира, куда ни сунься — все для тебя, везде ты хозяин. Шутка ли, за сорок уже перевалило, а собственная квартира — вот она, первая за всю жизнь. И у родителей не было, приехали в Москву из деревни, спасибо хоть комната перепала от завода, а сперва в бараке пришлось жить. Там Николай и родился. Москвич. Коренной. Но вот только нынче зажил своим домом. В одной комнате дети, в другой он с женой, своя кухня, все свое. Приятно это, радует. Порой, и ночью вдруг подкинет, чтобы глянуть, как все тут у него, комнаты эти, кухня и прочие. И ходит, ходит, страшась разбудить жену, детей, подолгу стоит у широкого кухонного окна, смотрит в ночь. Покуривает и смотрит. Не так уж и темно ночью за окном. Фонари, огни, куда ни глянь. И какие-то все улицы поразбежались в разные стороны. Вот ведь, москвич, а не знаешь этих улиц. Будто в чужой город переехал. Да так оно и есть на деле-то, что в этих местах раньше он и не бывал никогда. Может, проездом только, но не запомнилось. А теперь это его вокруг улицы, его все тут магазины, и парк, и кинотеатр, и пивной бар, и новый цирк неподалеку, и крытый рынок, до которого тоже близок путь, а если поразведать, если спрямить дорогу между домами, то и совсем близок. Славно тут. Смотрит, смотрит в окно Николай Андреевич, покуривает и сам к себе прислушивается не без удивления. Хорошее что-то в нем звучит, какая-то радостная в нем звучит музыка, хотя какая же в человеке может звучать музыка, не оркестр же внутри. А вот звучит. Тихонечко, правда, не разобрать про что, а звучит. Это — радость? Покуривает, поглядывая за окно, Николай Чижов, слушает самого себя, свою в себе радость, размышляет. И мысли тоже на особицу в нем в эти минуты. Они и есть, и вроде и нет их. Неторопливые они, не спешат поменяться, — одни, все одни и те же, все про одно и то же. Хорошо, мол, хорошо здесь, — вот и все мысли. Сигарета отдымила, а мысли все те же. Отошел от окна, вернулся, а мысли все те же. Хорошо тут, хорошо... Да, а вот скучно. Дел много, а скучно. Радость на душе, а и скука там же. Как это так? Отчего так?

Должно быть, оттого, что сразу вдруг приятелей всех порастерял. Кто еще там остался, в Докучаевом, на Домниковке, а кто тоже на новые места укатил, да только, жаль, не сюда, а совсем в иные московские края. Жаль, что так вышло. Жаль, что вразбивку квартиры дают обитателям старых домов, которые идут на снос. Снесли дом — вот бы и селить потом всех его жителей в одном каком-нибудь месте. Да где там. Разброд начинается у переселенцев, по-разному всякая семья прикидывает. Кому один район надобен, кому другой. Кто на такую квартиру согласен, кто на иную. Пока торгуются со всякими там инстанциями, пока катаются по Москве со смотровыми ордерами, пока упорствуют, выдерживая и нажим и форменную осаду, глядишь, а уже и нет закадычного какого дружка, съехал, поддался или добился своего.

В один распрекрасный день и он тоже съехал — уехал. Сам-то он не хотел в этот район, далековато казалось. За то голосовал, чтобы поближе к центру. И еще за то, чтобы с дружками кой-какими все-таки не расстаться. А вот жена вдруг взяла и решила. Может, потому и решила, чтобы он с дружками-то своими в разные концы отъехал. Известно, жены мужскую дружбу, товарищество мужское понять не умеют. Им смешно или досадно, когда весь выходной свой с приятелями у пивного ларька проторчит, им не понять, что это за дела такие у их благоверных во дворе, что за радость в этом «козле» проклятом, в этих спорах бесконечных про хоккей и футбол. Им не понять. Вот они и досадуют, всячески исхитряясь порушить эту мужскую компанию, где смехом, а где и криком. А тут как раз случай такой вышел, что можно в разные концы Москвы разбежаться, всю эту дружбу-пьянку в миг один разметать. Вот жены и ухватились за этот случай. И так все обделали ловко, что и двух даже дружков вместе в новых домах не найти. Врассыпную по Москве всю компанию пустили. Кто где — и адреса нет. Да хоть бы и был. Приятель тогда приятель, когда рядом. Вышел во двор, а он тут уже. И другой и третий. «Привет!» — «Привет!» — «Закурить есть?» — «Найдется». А если вот Колька Чиж тут, а Ванька Косой за двадцать километров, так это все одно что в разных городах они поселились, даром что считается, что живут в одном городе. В одном, да концы велики. Ну, а по телефонам перего-

вариваться — это жены умеют. По телефону от сигареты не прикуришь и кружкой о кружку не цокнешь.

Конечно, на новом месте и новые друзья заведутся. Будет это. Да когда еще. Да и уж не те. Те-то смолоду заводились, когда друзьями только и обзаводятся. А там, потом — это уже не друзья, а знакомые, а соседи. Поговорить — можно, даже кружечку распить можно. Но за плечами-то у этого приятельства нет ничего. Ни случаев никаких, когда дружба проверялась, ни опасности молодой, какую вместе отведали, ничего, ничего, что память бы сберегла. А без этого какая уж дружба?

Вот и выходит, отъехал за десяток-другой километров, в том же городе и остался, а все не так, все не то. Будто кончилось что-то в твоей жизни, будто началось что-то. Радостно на душе, а и печально. И не понять себя, этого в себе, кури не кури.

А во дворе — да какой это двор, только название, что двор, а это площадь целая, и вся она как на ладони,— кустики редкие, деревца чахлые, а во дворе этом самом, если и погулять, так только малым ребятишкам. Им тут и песочек приготовлен, качели поставлены. Добро бы качели, а то так — детский какой-то агрегат, не взлететь, но и не упасть по-настоящему. Да и во двор не выйдешь, а если и выйдешь, то затем, чтобы мимо пройти, пересечь для дела — в магазин там, в прачечную, в библиотеку. Постоять на этом дворе и в голову не придет. Зачем? Детский садик под открытым небом.

Там, в Докучаевом, что ни подворотня, то сразу и двор за ней. И в каждом дворе посидеть можно, поговорить. Идешь, а тебя окликают: «Колька!», «Чиж!» Даром что «Кольке», «Чижу»-то уж за сорок. Да и окликателям иным и поболе. А все — «Колька» да «Колька». И ты тоже в ответ: «Здорово, Сашок!», «Привет, Хмурик!» А Сашок уже лысый, а Хмурик — седой, и борода седая, не бреется, вишь, наш Хмурик по неделям. Скажешь, пошутишь: «Смотри, Хмурик, как бы в хиппи не зачислили. Видел по телику?» — «Видел, не зачислят. Меня наш участковый отстоит».

Так вот на улыбочках, на шуточках и идешь от скамеечки до скамеечки, от двора к двору. Там посидишь, тут посидишь, — если и не главных приятелей встретил, то уж наверняка хороших знакомых.

Дома вокруг, что говорить, старые, трухлявые, теснота в них, да зато есть с кем словом перемолвиться.

Тебя все знают чуть что не сызмальства, и ты всех знаешь.

А здесь... Хорошо здесь, что говорить, но...

День нынче был у Чижова пустым-пустой. Он нынче в вечернюю заступал. Поспать бы, да не спалось. Все вот похаживал по квартире да покуривал. Все вот радовался да грустил. Так и солнце встретил. Хорошо оно тут, светило это. Впечатляет, как выкатится из-за высокого дома в четырнадцать этажей. И ты тоже не низко стоишь, и ты тоже на десятом этаже. И все видать преотлично, как вдруг загораются стекла в домах, красными делаются, как при пожаре, — это в дальних домах, где солнце уже показалось. А рядом, а у тебя тут, пока только кромка над крышей дома закраснеется, пока только отсвет красный. И вдруг... На Докучаевом такого не было. Там домишки друг друга так обступили, что и днем в ином углу сумерки. Там солнце как-то без торжественности объявлялось. День — вот солнце. Вечер — вот и нет его. Обыкновенно. А тут все торжественней. Потому что стены белые, что высоки, что дома просторно стоят? Поэтому, конечно. Минусов своих тут хватает, сквозняки тут от этой шири, дворов настоящих нет, до магазина бежать да бежать, до работы ехать да ехать, друзей-приятелей нет никого, — минусов хватает. Но и плюсов много. Их и перечислять нечего, они — вот они, перед глазами. И это вот солнце, шар красно-золотой, что встал над крышей, — это вот тоже здешний плюс. Только в деревне или на рыбалке доводилось Чижову увидеть такое солнце. Но чтобы в городе... Нет, в городе такого солнца он не припомнит. И себя таким не припомнит. Вот стоит у окна, распахнув его торопливой рукой, вот дышит всей грудью, дивясь, что так сладок, так чист воздух, и смотрит, смотрит на солнце, дивясь ему, дивясь и себе, той тишине и радости, которую вдруг сам в себе ощутил.

— Что ты, Коля?! — тихонечко позвал себя Чижов. — Вроде и не пил вчера... Да нет, не то говорю...

Смутился Чижов от этих слов вслух, еще более от этого волнения. Ну, солнце взошло. Что за диво! И верно, ничего особенного, если посмотреть спокойными глазами. Вот как сейчас. Да еще и во двор этот поглядеть с детскими качелями. Пусто там сейчас. Ни души. В Докучаевом по дворам уже старушки на солнце повыползали. Там уже беготня всякая началась, уже

покрикивают из окон, кто здороваясь, кто бранясь. Тут не покричишь, не заведено. Того гляди, еще и оштрафуют, если гаркнешь приятелю. Да и незачем гаркать-то, нет их, приятелей. Да, минусов тут хватает.

Он все же вышел во двор,— на эту самую площадь между домами, которую уж никак нельзя было назвать двором. А как можно было назвать? Все ж таки это и не площадь была. Что-то среднее между детской площадкой, с цветочной клумбой и стоянкой для машин. И плюс еще ветер, который тут задувал сразу с трех, если не более, концов. И плюс еще какие-то плакатики, уговаривающие не трогать молодые насаждения. Чего только не придумают эти пенсионеры. Их затея, больше некому. Вот, понаписали: «Товарищ! Дерево твой друг! Береги его!» Будто кто не знает, что дерево его друг. И если уж не бережет, то и плакатик этот его не остановит.

Чижов приостановился, оглянулся на свой шестнадцатиэтажный белостенный дом. Пришлось даже голову запрокидывать, будто на гору смотрел. Надо же, и он живет в этом доме. В отдельной квартире, с балконом. Вот он — балкон их. Как раз отворилась дверь на балкон, и туда вышла жена. Его не видит, на солнце тоже глядит. Радуется, наверное. Она, Маша его, как переехали сюда, совсем будто другой стала. Улыбается все, и голос стал потише. Нравится ей здесь. Она вслух не признается, даже критикует многое, особенно что магазины не такие удобные, как на старом месте, но про себя-то рада, и эта радость ее видна. И ребята рады. Тоже ворчат, тоже им чего-то тут не хватает, но рады. Да им и нельзя не радоваться. Школа у них под боком, вон она — их школа. И светлая, и новая, с бесплатными завтраками. Чего им еще? И спортивный зал имеется при школе. Вон, особняком стоит. Прямо дворец какой-то из стекла. Это для Степки, для сына, да жаль, он к спорту не тянется. Ничего, приохотится. Парень ведь. А для Катюши, для дочки, при этой школе, говорят, есть танцевальный кружок, где самые настоящие балерины преподают. Катя у него плясунья. На месте не постоит. Посуду на кухне и то вприпрыг моет. А что, может, это в ней талант сказывается? Кто это так же вот — все прыгал, прыгал, а потом и знаменитостью стал? Запамятовал, про какую балерину по телевидению рассказывали, что так же вот с малолетства

все плясала да плясала и в лауреаты выплясалась.

Дети... И не заметил, как подросли. Степану четырнадцатый, Катюше — десять. Совсем недавно юбилей этот справили. Как же, десятилетие. Нынче что ни круглая дата, то и юбилей. А Чижовы не хуже других. Крепко попраздновали. Это еще там было, на старом месте. Так попраздновали, что мужички в лежку все. От песен стекла дрожали. Весь двор гулял. Правда, нехорошо вышло, что совсем про ребят забыли, празднуя. Юбиляршу свою он тогда совсем из внимания упустил. И ее гостей-подружек тоже. Сперва был с ними, с ребятней был, а как выпил, так и запамятовал, ради какой радости собрались. Ну и, конечно, начался уже мужской разговор. Жаль, конечно, что так вышло. А все-таки, как у людей, отпраздновали дочкин юбилей, не поскупились, ни одного соседа не обнесли, весь двор гулял.

Здесь так не погуляешь. Здесь, если эти четыре домика угостить, миллиона не хватит. Новыми. Здесь и за целую жизнь со всеми не перезнакомиться. Из стекла все, на виду будто бы, ан нет. Уж очень дома велики. Мало тебе, что есть у дома номер, у него еще номер корпуса есть, да еще номер подъезда надо знать, а то как раз лишний километр прошагаешь, да и какой этаж — это тоже надо знать, чтобы сообразить, на какую кнопку в лифте нажать. Вон сколько всего надо знать, сколько цифр всяких, да еще плюс номер квартиры. А там, в Докучаевом, только спроси: «Где тут Чижов Колька обретается?» И все, всякий укажет. Чижов... Колька... Ну, конечно, не Колька, а Николай Андреевич, «Колькой» его смолоду звали, а если и сейчас тоже так зовут, то это по дружбе, в силу давнего приятельства. На работе же, у себя на заводе, он давно уже Николай Андреевич. И не Чиж уж подавно, а товарищ Чижов. «Чиж» — это тоже от молодых лет осталось, от приятельства. Там, в Докучаевом, с самого детства он в Чижах начал гулять. Привыкли. Он и сам привык. Чиж так Чиж, Колька так Колька. Даже сын с дочкой иной раз так его окликали. Это с досады если. С досады чего только в семье не говорится, всякое слово в строку ставить — жизни не будет. Так-то оно так, конечно. Но вот мать свою они Машкой не называют. «Мама Маша» она у них. Вот ведь как. Что-то кольнуло в сердце, ворохнулось сердце от мысли какой-то хмурой, неясной. Вот ведь как... И вспомнилось, он про это

еще со вчерашнего дня все время помнил, но помнил, да в сторонку отодвигал, а тут всерьез вспомнилось, что надо ему сегодня к двенадцати часам быть в школе, что вызван он туда на родительское собрание. Именно он вызван, отец. В Докучаевом его в школу не вызывали, мать всегда вызывали, отца — ни разу. И прочих отцов, то из приятелей, их тоже не вызывали, а все только жен. Так и установилось там. Мол, за детишек в ответе матери. А мужчины и рады были. Хоть и взрослые, а школа все равно страшит. Двоечки, «неуды» эти до сих пор во сне снятся. «К доске, Чижов, к доске». А что — к доске, когда он за учебники и не брался. Некогда было. То голуби, то по дому дела, то каланчевских надо отваживать. То то, то се. «Ну, ступай, Чижов, двойка». И ладно. Отец бы только не узнал, и ладно.

Чижов проследил глазами путь до школы, куда надо было ему нынче явиться. Неужели Степан успел набедокурить? Ведь и месяца не прошло, как занятия начались. Да Степан и не из шумных у него, не из проказливых. В мать, должно быть. А вот как раз Катя — она в него. Надо же так, из-за сына никаких забот, а дочка — сорванец сорванцом. Перепутаница какая-то вышла, если по-заводскому, не тот металл, не в ту форму залит. Сын за книжками, а дочка по двору гоняет. И все прыг да скок. И в обиду себя не даст. Нет, она не даст. А сын? Мало он знает о своем сыне. Что тихий, это еще ничего не значит. Без причины в драку лезть вовсе и не обязательно. А все-таки, какой он, как поведет себя, если случится причина? Рядом сын, а отцу вот неведом. Как-то так вышло, что вместе они почти не бывают. А если вместе, то только перед телевизором. Тут у них общий интерес. В хоккее—ЦСКА, в футболе — «Торпедо». Ну еще и за баскетбол сообща болеют, за сборную страны. Дочка тоже тут с ними. Только она еще и за фигурное катание болеет. За Роднину, за Ковалева. Да, у телевизора они вместе. Мать тоже на минуточку присядет, тоже смотрит. Ей тоже объяснять не нужно, кто такой Харламов, а кто такой Никонов. Вот тут они все вместе, когда ящик включен. А когда выключен?..

Путь до школы был недолог. Через площадь эту ребятня уже успела проторить свои стежки-дорожки. Эти стежки-дорожки были проложены по строгим прямым от каждого из домов. Узенькие тропки, в одну ступню, с невытоптанной, а только примятой травой. И, как

стрела, прямые. Некогда им, всякий шаг на учете, всякий миг. Ну, народ! И все бегом, бегом. А куда спешить-то? Вот он тоже бегал, тоже дорожки прямил. Ну и что же, куда прибег? Какие-такие итоги у него на сегодняшний день имеются?

Чижов замедлил шаг, чтобы легче было подумать, чтобы мысли не сбивались. Об итогах ему думать еще не доводилось. Внезапно как-то думы эти его настигли. Вот тут, на новом месте, вот посреди этой в ветряных завертях площади. С чего бы? Не старик еще, чтобы бабки подбивать. И печалиться вроде не из-за чего. Наоборот, радость в жизни вышла. Он оглянулся. Вот она — радость. Он даже руки развел — вот она, радость. Но был он печален и было неспокойно у него на душе. Это что в школу надо идти? Или что приятелей вокруг никого? Или еще почему? Он себя нынче не мог понять. Как встал чуть свет, так все мысли да мысли и на душе тревога.

В школу было рано, даже в магазин было рано. А в магазин-то почему рано? Вон, работает, двери стеклянные настежь. Он вдруг сообразил, что для него магазин открытым считается, когда водочный отдел там открывают, — стало быть, с одиннадцати часов. Он вдруг понял, что, того не желая, давно примкнул к стану тех добрых молодцев, что по утрам толкутся у дверей продовольственных магазинов, ожидая своего заветного часа, барабанных этих палочек, одиннадцати этих часов. Но ведь не был же он алкашом, прости господи, не из этих вот — «детей солнца», как их прозвали в народе, поскольку к полудню ближе они только и оживлялись. Ну, выпивал, ну, порой, с приятелями если, и помногу выпивал, но ведь не так же, как эти вот, что толклись. И на вот, как и они, отсчет магазинному времени вел с одиннадцати. И до девятнадцати? Он вдруг почувствовал себя дурак дураком. Он вдруг глянул на все вокруг как бы со стороны и на себя поглядел как бы со стороны. Вот идет, не рослый, но и не низенький, в плечах широкий, руки увесистые, — работяга, одним словом. Костюмчик на нем вполне приличный, польский, за сто тридцать, сидит как пригнанный. Туфли тоже вполне приличные, что у него такие, что у какого-нибудь профессора, — чешские туфли, с женой выбирали, а у Маши вкус замечательный. Вот идет, ну, правда, галстук не модный, не лопатой, не мальчишка ведь, со-

рок переступил. Вот и кудри уже не те, пополз лоб в наступление. Но ничего, глаза еще синеву держат, зубы все еще свои. Еще, если улыбнется да вскинет брови, так иная продавщица и про весы свои забывает. Девчата на заводе, хоть не ровня он им, женатик и так далее, а в старики еще его не записали. Это по глазам их можно угадать. Девчата, если старик перед ними, глазами ему об этом скажут. Глаза у них вперед слов говорят и не врут, как слова иные. Нет, девчата на работе его еще глазами не жалеют, они его еще и побаиваются. Рук его крепких, озорных побаиваются. Схватит иную, поднимет над головой — визг на весь цех. Не стар, чего там. И силенка еще дай бог какая имеется. И мозги варят. И руки смекают. На заводе, в цехе знают — Чижов сделает. «Инструментальщик милостью божьей»— вот про него как один старичок инженер выразился. Забавный был старичок, таких теперь только в кинофильмах показывают, когда спецов изображают в первые годы после революции. А старичок этот еще и поныне жив, еще на завод захаживает, хотя уже и на пенсии. «Береги себя, Чижов, — прощаясь, сказал он ему, когда уходил на пенсию. — У тебя талант, руки у тебя умные. Смотри, чтобы от водки не затряслись. Стыдно, горько мне будет за тебя». Вот какой старичок. «Нет, Олег Сергеевич, руки у меня не трясутся, вот посмотрите...» — Чижов протянул перед собой руки, чуть что не вымолвив эти слова вслух. А руки-то как раз и повело. Не то чтобы они тряслись у него, нет, не тряслись, но и твердости в них привычной не было. Не выспался?.. Рано поднялся?.. Накурился?..

Чижов продолжал смотреть на себя, со стороны как бы, вбирая себя самого в тот широкий огляд, каким глядел вокруг. Вот идет он, идет, справный да ладный, не старый еще, с профессией, семейный, двое ребят у него хороших, жена хорошая, — идет, может, в магазин, а, может, просто прогуливается, и вот зачем-то вдруг руки вперед выкинул, на руки свои зачем-то воззрился. Что за человек? Что за странность в нем? А это Чижов, Николай Андреевич, слесарь-инструментальщик наивысшего мастерства, местный житель, проживающий вон в том доме-великане в отдельной квартире. Удостоверьтесь, десятый этаж, пятый балкон от левого угла. На этом балконе сейчас его жена Маша стоит. Ничего не делает, просто смотрит, просто радуется, как высоко

здесь жить, как просторно. А руки не трясутся у него, руки у него просто устали. Рано встал, не выспался, накурился.

Чижов подошел к магазину, к бесконечному этому стеклянному ряду, протянувшемуся на добрых два квартала, если по докучаевским меркам. А здесь этот магазин всего лишь половину первого этажа занимал, всего лишь одного дома. Вон какой домик-то.

До одиннадцати было далеко. Но Чижов, уже поймав себя на этой стыдной мысли, вошел в магазин, хотя покупать ничего не собирался. У него и сумки-авоськи никакой с собой не было.

Он вошел в магазин, не решив еще, в какой отдел направиться, да ноги уже за него решили, уже повлекли его к винному отделу. Ноги или глаза? Бутылки-то не ноги приметили, а глаза. Но шагать-то начали ноги. Что же это, или он сам себе не хозяин? Глаза командуют, ноги распоряжаются. А ему-то сюда и незачем. Да и отдел еще закрыт, если уж по сути разобраться.

Отдел винный был закрыт, но возле прилавка, а точнее, не возле прилавка, а чуток поодаль какая-то все же да выстроилась очередь. Это была не стройная и упорядоченная очередь, а вроде бы кружок людей, но и не кружок, а, скорее, спираль. И все же то была очередь, закрученная в спираль очередь, поскольку торговля еще не началась и стоявшие в очереди могли пока кое о чем между собой потолковать. Знакомая картина! Вот они, жаждущие! Вот они, и здесь их насбиралось порядочно, в этом магазине из стекла и пластика, где чистота, и свет, и порядок.

Чижов всмотрелся в спираль-очередь. И из очереди в него вперили очи. Кто таков? Не знакомый ли?

Знакомых в этой спирали у Чижова не нашлось. И его никто не признал. Но его и не отвергли. Что-то все же углядели в нем вперившиеся очи, какую-то все же приметину, а может, и не одну даже, что позволило иным из спирали поверить, что мужичок этот, по-воскресному справный и плавный, держит путь именно к ним.

Но Чижов, угадав, что его вроде бы за своего тут признали, этому решительно воспротивился и круто сразу поворотил к другому отделу, где выставлены были торты, конфеты, печенье. Он деловито подшагнул к гнутому стеклу, за которым была выставлена вся эта

благодать. Он прикинул, а не купить ли чего, хотя уже и не помнил, когда последний раз покупал что-либо в кондитерских магазинах. Сладкое — это было Машиной заботой. Как, впрочем, и все иное, что касалось закупки продовольствия. Он же, глава семьи, отряжался, да и то не часто, для покупки рыбы, поскольку был рыбаком, для того, чтобы выбрать настоящей баранинки, когда — давно не затевали! — выезжали всей семьей за город, где и жарился шашлык, который, считалось, он был мастер готовить. Ну, и конечно, его заботой было заготавливать винцо к праздничным дням, когда ожидались гости. Вот и вся магазинная служба, какую нес он в семье. А та служба, какую нес он перед товариществом, когда по-быстрому распивалась меж друзьями бутылочка, — так разве то была служба? Миг всего — и весь припас в руках. Один за водкой, другой за колбаской, третий — в кассу. Артелью пить, — артельно и покупать. Вот они, артельщики, ждут своего часа, своего мига.

Чижов только глаза скосил в ту сторону, где вилась спираль, где не громкий шел гудеж голосов. Смотри-ка, уже столковались, перезнакомились. А ведь, наверное, из разных мест народ, сборная команда со всей Москвы, где нынче рушат старые дома. Интересно, о чем у них там разговор? Никто никого не знает, чужие друг другу. Какой уж тут разговор? Чижов равнодушно отвел глаза и снова стал рассматривать кондитерскую витрину. Изобильной она была. Иных тут сладостей он и на вкус не ведал. И уж не отведает, отохотилось. А когда-то любил он сладкое. Любил, да ничего не было. Мальчишество его на военные годы пришлось, когда розовой липкой подушечке бывал рад, как чуду, как подарку судьбы. Чижов поискал глазами, а нет ли тут, среди этого изобилия и богатства, его скромных розовых подушечек. Сперва не увидел, но вдруг — увидел, в самом углу, в самом низу. И обрадовался, будто друга встретил. И, не раздумывая, ткнул пальцем, прося продавщицу взвесить ему их.

— Сто грамм, — сказал он. — Нет, сто пятьдесят.

— Уж брали бы сразу пол-литра, — сказала остроумная, усмешливая продавщица, уж такая пригожая и нарядная в своем белом халате и белом колпачке, что на нее зажмурившись только можно было глядеть.

— Вы это про что? — не нашелся Чижов, хотя обычно был боек на слово.

Продавщица только глазами повела — ну и глаза, синь-синева! — на спираль в винном отделе, а потом перевела взгляд на него, на Чижова. Мол, из тех ты, дядечка, не прикидывайся.

Обидно стало Чижову. Разве он прикидывается?

— Детство вспомнил, — сказал он, оправдываясь, хотя оправдываться ему было незачем. — Вот еще пряники... Серенькие такие... Есть?..

— Эти? — Продавщица достала из-за спины на совке горстку пряников, тех самых, в сахарной глазури, сереньких, милых сердцу.

— Эти! — вырвалось у Чижова.

— Стакан или стопку? — продолжала зло шутить красавица.

— Давай стакан, — сказал Чижов. Девица ему разонравилась. Даром что сверкает, как майский день. А зубки вот с изъединой, и злые, кусачие, — лучше б не улыбалась.

Он взял свои кульки и пошел к кассе, к загородочке, где такая же сверкающая красавица уже ждала его, вперив скучающий взгляд в какую-то книжку.

Ну никак не умел привыкнуть Чижов к этим магазинам самообслуживания. Одно слово, что самообслуживание. А проверка на проверке. И все равно — и взвешивают, и наливают, и нарезают, если товар еще не поддался расфасовке. Нет, что-то тут недодумано. И велика ли экономия? А обид сколько. У иной старушки на выходе всю сумку перетрясут. Со слезами уйдет. Выгода? Вот и его сейчас обсмотрят, не прихватил ли случаем к своим подушечкам да пряничкам и что другое. Обидно. Чижов не пошел к кассе, а двинулся вдоль рядов, решив, раз уж руки занял, так и еще что-нибудь взять, чтобы у кассирши той не выглядеть мелочным покупателем. А что взять? И куда со всем этим? Сразу же и домой назад?

Он не заметил, как снова приблизился к гудящей спирали.

На него снова воззрились. И какой-то блистательно лысый, но моложавый человек, по-юному развинченный в движениях, по-юному поджарый, да, увы, не только лысый, а еще и сильно обеззубевший, быстро выдвинулся ему навстречу, дружественно протягивая руку.

Поздоровались, не представившись друг другу, по-

скольку все же не могли не понимать, что магазинное это было знакомство, из мимолетных, из безымянных, так сказать.

— Что это у тебя? — бесцеремонно спросил лысый-моложавый. — Что припас? — И длинным тонким пальцем колупнул обертку одного из кульков. — О, подушечки! Как угадал! Мои любимые! А это? — И он колупнул другой кулек. — Прянички? — Он зорко глянул в глаза Чижову, а потом обернулся к спирали, возвещая: — Наш человек, с понятием. — Он подумал, поискал нужные слова, рукой даже в воздухе помахал, помогая себе: — Знает, одним словом, какая она такая жизнь. Изведал...— Затем он подхватил Чижова под руку и повлек его к спирали.

Что было делать? Не упираться же. Да и кульки эти мешали, прилипнув к ладони. Да и народ его сразу принял радушно, заулыбались ему навстречу, а этим пренебрегать нельзя. Люди к тебе с уважением, так и ты будь с уважением.

Как некое именитое лицо, здоровающееся по прибытии с дипломатическим корпусом, Чижов стал продвигаться по спирали, пожимая протянутые руки. А лысый шел за спиной, как то следует по протоколу, давая краткие пояснения, представляя. Вот бы послушать иному мастеру протокола, поучиться бы краткости и вместительности оценок.

— Наш, — представлял лысый-моложавый. — Может, — говорил он. — Устойчивый.

И «наш» и казался «нашим», тот, кто «мог» — действительно мог, если по виду судить, выпить сверх всякой меры, а «устойчивый» — так по-моряцки стоял на крепких ногах, что уж, конечно же, был на редкость устойчив и в свои шаткие минуты.

Про иных в спирали моложавый ничего не сообщал, обходил их молчанием. И это молчание было не менее красноречиво, чем слова. Стало быть, мелкота, нестоящий народ.

Обход был завершен, и Чижов оказался в извиве спирали, был вобран в нее, дабы ждать. Чего? Этих самых одиннадцати часов? Он возмутился и начал выбираться на волю. Но из этих плеч и спин не так-то легко было выбраться. Его не придерживали, а все ж таки выходило, что удерживали. Он в дружеском оказался кольце, в дружеском плену.

— Куда спешишь? — спросил моложавый. — Все одно, здесь это место единственное. Понастроили дворцов, а бутылку схватить человеку негде. Из каких мест сюда?

— С Домниковки. Ну, что у вокзалов.

— Знаю. Как не знать. Почти соседями были. Я — с Самотеки сюда угодил. Надо же, берут людей из центра, урожденных что ни на есть москвичей, и кидают на опушку леса. Это надо же! А привычки? А друзья? А этот, как его, микроклимат?

— Верно, верно, — покивал Чижов, вдруг огорченно сообразив, что у этого закоренелого выпивохи такие же вот мысли в голове, что и у него, те же, так сказать, неудовольствия. И он кинулся спорить: — Зато дома какие, квартиры. Чистота. Воздух. Метро тянут. Народ из центра сюда просится, а не то чтобы...

Он горячился, спорил, а лысый-моложавый согласно кивал ему и улыбался, чуть что не поддакивал. С кем же спорить? Оказывается, и в защите этих мест они были единомышленниками. И «минусы» находили одни, и «плюсы» одни. Да вот и рядышком у винного прилавка оказались. Чижов всмотрелся в своего собеседника, безмерно огорченный этими совпадениями. Чижов таких людей хорошо знал и, как ему казалось, сторонился их. Его друзья были иными. Хоть тоже и выпивали, а иными они были, иными. А какими? Ну, не облезлыми, не беззубыми, не такими вот быстрорукими. Нормальные были люди, уважаемый народ. А этого разве кто станет уважать? И глаза у него мутные, и рука мокрая, и расхлябан, как не рабочий человек.

— Работаешь-то где? — спросил Чижов, уверенный, что перед ним тунеядец.

— Как переехал, водопроводчиком здесь устроился, — охотно отозвался моложавый. — Далеко больно на завод стало ездить. Да все едино, что там железо, что тут. И техники тут, не хуже чем на заводе, понатыкано. — И чтобы покончить с этим, с разговорами этими о работе, которая свое время и без того забирает, моложавый, как две корочки паспорта, распахнул пред Чижовым ладони. Рабочие ладони оказались, с наплывами древних мозолей, с побитыми еще смолоду, когда учился, пальцами, с въевшейся в кожу соляркой.

— Да и ты, так думаю, не из интеллигенции, — сказал Чижову лысый-моложавый и сомкнул корочки-ла-

дони, ставя точку столь в сторону уведшему их разговору.

— Не о том речь! — вслух вырвалось у Чижова.

— А о чем?

Чижов не ответил.

— А! Понял! — щербато просиял моложавый. — Нетерпеж взял, так? — Он оглянулся на висевшие на стене часы: скорчил недовольную мину. — Да, долгонько еще ждать. — Он вдруг заговорщически сощурился: — Есть выход! Есть тут одна...

И он потащил Чижова из очереди, прихватив с собой и еще какого-то мужичка, совсем невеликого росточка, с бойким, развеселым лицом.

Чижов и упираться не стал. У его нового знакомого рука оказалась железной. Чижов порешил, что как только выйдут из магазина, так он отцепит его руку. А пока он покорно шел вослед за моложавым. Тот сам подвел его к кассе, мол, плати за кулечки, а потом втроем они проследовали через стеклянные двери, и вся очередь-спираль проводила их глазами.

Сразу же у магазина Чижов прощаться раздумал, поскольку их еще видели из магазина, а он наперед знал, что от спутничков своих он без хоть какой-то там борьбы не отцепится. Ладно, он дал себя увлечь подальше от магазина, он покорно дошел до угла, где стеклянная стена кончалась. А вот на углу встал.

— Нет, друзья, — сказал он твердо. — Мне сегодня пить не с руки.

— Да разве мы пить собираемся? — Моложавый вовсе и не собирался его удерживать, разжал пальцы. — Бутылочку на троих — разве это пить? Да еще бабенке, у которой разживемся, надо будет накапать. Разве это пить?

— Все едино, — упорствовал Чижов. — Мне к двенадцати на родительское собрание. Хорошо ли, водкой будет разить?

— На родительское?! — радостно изумился моложавый. — В нашу вот школу? — Он махнул в сторону школы. — К двенадцати? В помещении библиотеки?

Чижов покивал его вопросам.

— Так ведь и меня вызывают.

— И меня, — сказал бойколицый мужичок, и круглые его блеклые глаза заблестели от смеха. — Вот втроем и закатимся.

— Удача! — подхватил моложавый. — Прямо удача! Один-то я, признаться, робел, а тут — приятель. Так как же после этого не выпить? По стопочке, а?

— Весь класс завоняем, —не сдавался Чижов. — Сами знаете, хоть наперсток выпей, а водкой от тебя уже разит.

— Там не класс, там помещение библиотеки,— деловито прикинул моложавый. — Заглядывал я туда, батареи проверяли. Все равно что зал. Сядем в уголочке, ну, кто нас станет обнюхивать. Пустое говоришь, сосед. Пошли!

— Пойдем! —подхватил бойкий мужичок. — Сядем в уголочке, пригнемся. — Он счастливой просиял улыбкой.— Как в детстве! В перышки поиграем. Перышки мы там не добудем, Витяй?

— Умок на замок!— рассмеялся моложавый, которого звали Витяем. — Да кто же нынче перышками пишет? Шариковые в ходу.

— Жаль, — угас бойкий. — А то бы как в детстве.— Он снова просиял. — Ну, в крестики-нолики сыграем.

— Там тебе дадут сыграть! — постращал Витяй.— Там с тебя за ребятишек спрос будет. У тебя, Сыр, сколько их?

— Трое у меня. Погодки. И все парни! — гордо распрямился бойкий мужичок, которого, оказывается, окрестили Сыром.

— Почему — Сыр? — спросил Чижов.

— Ну, Сырников,— пояснил Витяй.— Да и сыр на закуску любит. Это я его так нарек. Как приехал, как познакомились, вижу, что — Сыр и Сыр.

— А он — Витяй и Витяй,— подхватил Сыр.

— А почему — Витяй? — спросил Чижов.

— Так он же Виктором Викторовичем отрекомендовался. А какой он Виктор Викторович? Витяй он. И ходит как Витяй, и рукастый. Самый что ни на есть Витяй.— Сырников или, вернее, Сыр был весьма доволен своим объяснением.— А тебя как звать-величать? — осведомился он, наперед прищурившись, изготовившись творчески переосмыслить имя или фамилию нового приятеля.

— Чижов, Николай Андреевич,— распрямляясь, отрекомендовался Чижов. И не скороговоркой, а отчеканив. Так мы себя в отделе кадров представляем или в паспортном столе. Чтобы не спутали чего, записывая.

Так и знакомимся, когда хотим, чтобы нас запомнили, не спутали бы имя-отчество.

— Чижов, Николай Андреевич,— уважительно повторил Сыр, а сам уже прищурился, прицелился, как бы половчей прозвать нового приятеля, как бы его подравнять к собственному своему положению, когда вот уже трое сыновей у него, а он — Сыр да Сыр. Но прищурился, прицелился, а смолчал. Может, из вежливости,— ведь и рюмки в честь знакомства еще не выпили,— а может, что скорее всего, просто еще не отыскалась у него для Чижова кличка. Это ведь не просто — наградить человека кличкой. Надо такую сыскать, чтобы прилипла, чтобы подошла, совпала с человеком, как шестеренка с шестеренкой.

Отлегло у Чижова. Он уже напрягся, ожидая, что его сейчас «Колькой» окликнут или «Чижом». Осточертело это ему. Ну, еще там, на старом месте, где с детства пошло, среди старых друзей,— ну, ладно. Так не до могилы ж. Здесь-то какой он «Чиж»? Кому это он тут «Чиж»,— он, слесарь шестого разряда, отец двоих детей, проживающий с семьей в отдельной квартире? А взять жену, Машу,— она у себя на стройке с доски Почета не сходит, только фотографии меняют, когда выцветут, а так — без перерыва и сколько уже лет. Какая же она «Чижиха», кому она «Чижиха»? Нет, с этим покончено.

Путь их был не долог. В том же доме, где и магазин был, в первом же этаже, жила-поживала дворничиха, у которой — счастливый случай! — как раз припасена была для себя бутылочка. Для себя, для праздничка. Да разве знакомому человеку откажешь. И не просто знакомому. Она ведь с Витяем этим в одном ЖЭКе работает.

Чисто у нее было в доме, в ее комнате-квартире, мебель была хорошая, телевизор из больших, еще и проигрыватель был, и пылесос был. А в кухне, куда дверь была открыта, белела бочка стиральной машины. Белел холодильник, и тоже из больших. Полки еще всякой всячиной поблескивали, а уж линолеум просто сиял, так она его чем-то там натерла. Чисто было, прибрано, достаток во всем был виден. Даже малость тесновато тут было от этого достатка. Квартира совсем

новая, и мебель совсем новая, а стеснено все, насовано, как в старых коммуналках. И ковров сверх меры. Два на стенах, два на диване.

— Одна живете? — осведомился Чижов, когда уже познакомились, когда Витяй отрекомендовал его хозяйке, приврав зачем-то, что-де друзья они давние и закадычные.

— С дочкой. Заневестилась. Все выбирает. Принц ей, вишь, нужен с «Жигулями». А по мне, был бы человек с деньгами, а «Жигули» — это баловство. Вы как думаете?

Дворничиха была еще не старой. Раздалась вот только. А лицо крепкое, гладкое и глаза бедовые. Доводилось встречать Чижову таких бабочек. Улыбчивая, голос певучий, но своего не упустит. Добычливая. Из тех из самых, что по очередям часами выстаивают, чтобы что дефицитное купить, да потом и сбыть. И бутылочка у таких всегда найдется, «припасенная для праздничка». И закуска найдется. Ну, конечно, не даром. Доводилось, доводилось Чижову встречать таких бабочек. И в Докучаевом одна такая была. Смотри-ка, и здесь нашлась.

— Да вы садитесь, располагайтесь.— Медовый у нее был голос. А могла бы и гаркнуть, не хуже, чем ночной сторож. Угадывалось, что могла.— И что это вы за народ, мужики. Все бы вам пить, все бы пировать. Утро еще же. Чего только ваши бабы смотрят?

— Ладно, доставай,— сказал Витяй, нетерпеливый, как борзая в поле.

— Не командуй. Ты у нас по паровому отоплению командир, а не по бабам.

— Что кипяток, что ты — одна природа.

— Кабы знал, а то — хвастаешь.

— Клавушка! Клавдия Ивановна! — взмолился Сыр.— Жилы не тяни! Не свататься пришли. За поллитром.

— Какой быстрый. Я что тебе — магазин? — Клавдия Ивановна подтолкнула легонько Чижова к стулу, выждала, когда он сядет, села напротив и принялась разглядывать, подперев рукой податливый подбородок.— А в кульках-то что? — спросила она.

— Да вот,— смутился Чижов. — Взбрело вдруг в голову.— Он сыпанул из кульков на стол горстку подушечек, извлек и протянул хозяйке пряник.

— Смотри ты! — обрадовалась она и взяла пряник, прикусила мелкими, крепкими зубами.

— Свой, свой он! — поспешил заверить ее Витяй.— Разве я бы кого другого к тебе привел?

— Пряничек, пряничек,— сказала женщина, мечтательно приузив глаза.— Эх, и весело же я жила под эти прянички! — Она поднялась.— Ладно, и я с вами пригублю, черт с ней, с этой печенкой-селезенкой.

И пошла, грузноватая, но прочная еще, и от мыслей каких-то своих вдруг помолодевшая, пошла, скрипя паркетинами, позванивая бокалами в горке.

— Хороша! — восхитился Сыр, счастливый, что дело двинулось, а может, и искренне восхитился,— жила еще в этой раздавшейся женщине молодая стать, проглядывала еще, хоть и наслоила жизнь, поменяв и облик и душу.

Она вернулась с бутылкой и со стаканами.

— Под конфетки, что ли? — спросила она.— Или яишню смастерить?

— Яишня твоя весь градус спугнет,— сказал Витяй.— А тут пить-то всего ничего.

— Если когда по второй,— сказал Сыр и, перехватив из руки Клавдии Ивановны бутылку, распечатал ее, склонился над стаканами.

— Мне чуть-чуть,— сказала Клавдия Ивановна.

— Знаю.— Сыр уже разлил водку и сейчас дожимал из нее последние капли. Он вдруг перестал спешить, движения его вдруг стали медленны, даже торжественны. И если что и выдавало его нетерпение, так это пальцы, сомкнувшиеся на бутылке. Он их так сжал, что побелели.

И Витяй смял в себе нетерпение. Он чинно выпрямился и затих, ожидая, когда можно будет, должно будет взяться за стакан.

Нет, не пьяницами они были, не алкашами,— они себя таковыми не считали. Ну, выпивают, ну, часто даже, но ведь а кто не пьет. И эта вот выдержка перед налитым стаканом —это была защита их перед самими собой. Небось алкаш какой-нибудь сразу б за стакан да и в рот. Нет, они не такие. Они могут выждать.

Чижов тоже знал этот миг перед тем, как запрокинуть стакан. Он тоже никогда бы не позволил себе заспешить в сей последний миг. И он всегда был доволен, что умел пересилить в себе это нетерпение перед

выпивкой, а бывало, что и нетерпелось. Но сейчас, подметив, как замерли Витяй и Сыр, поняв, что и они знали тот же обычай, Чижов опечалился. Не хотелось ему на них походить, не хотелось, чтобы и они на него походили. А сходство было, оно было. И это муть какую-то задувало в душу.

Клавдия Ивановна на своих старых знакомцев не смотрела. Ее Чижов занимал. Она подняла стакан до глаз, поверх кромки остро глянув на Чижова.

— Что заскучал, мужичок?

— Да так.

— Если что, захаживай. Я таких, как ты, уважаю.

— Каких?

— А вот таких, справных. И работать умеешь, и выпить не робеешь.

— Влюбилась! — сказал Сыр.— Влюбилась в тебя баба. Готово. Ну, Чиж!

Чижов вздрогнул. Вот оно! Назвали!

А Сыр как ни в чем не бывало, будто обмолвился, будто ничего не случилось, этого крещения не случилось, уже тянулся к Чижову со своим стаканом, порешив, что должная пауза выдержана.

Чокнулись. Выпили. До дна, разумеется. Пили, послеживая друг за дружкой, как кто пьет.

— Ну, Колька! — продышавшись, сказал Сыр.— Умеешь!

— А я, как увидел, так сразу понял, что он нашего корня! — возбужденно заговорил Витяй.— Костюмчик на нем профессорский, да нынче костюмчиком не удивишь, я на костюмчик и глядеть не стал. Я, если хотите знать, человека с одного взгляда определяю. Пожито на свете, повидано. И в глаза не гляжу. Я по походочке. По повадочке. Глаза — часто врут или муть в них. Врут глаза. А походочка, повадочка...

— Да замолчи ты,— оборвала Витяя Клавдия Ивановна.— Стакана не выпил, а уж понес. Слабак ты, водопроводчик.

— Я с первого всегда такой,— сказал Витяй, оправдываясь.— Потом выравниваюсь. Потом, хоть бутылку в меня влей. Выравниваюсь.

— Видали тебя по-разному,— хмыкнул Сыр.— И после стакана и после бутылки. А он, Чиж, не врет. Правду говорит. Он, если много выпьет, вроде как бы трезвеет.

— Чумеет,— сказала Клавдия Ивановна.

— Когда это?! Где?! — вскинулся Витяй и вдруг поник, обиделся.

— Повторим? — встрепенулся Сыр.— Ты при деньгах, Николай Андреевич? А то я... — Он комически пригорюнился, нарочно передразнивая Витяя. Мол, что он, что я — оба на мели.

Все так, все, как по-писаному. Когда о деньгах зашел разговор, о том, кому платить, так он и снова Николай Андреевич, а как пить начнут, когда забывчивость не в грех, то не миновать ему и «Кольки» и «Чижа».

— Не в деньгах дело,— сказал Чижов.— На родительское собрание идем. Или забыл?

— В крестики-нолики играть,— усмехнулся Витяй. Он поднял голову, трезво и строго поглядел на всех.— Есть для нас зарок или нет?

— Есть, есть, как не быть! — уступчиво согласился Сыр, видно зная, что с Витяем не всегда можно спорить.— Что, прошло, отрезвел?

— Прошло.— Витяй поднялся, подошел к окну, засмотрелся на что-то, горбясь.

— Каким мастером был! —шепотом сказал Чижову Сыр, косясь на Витяя.— Да и сейчас... Все умеет... Когда трезвый... А ты, смотрю, и не почувствовал. Ни в одном, как говорят, глазу. Крепкий.

Чижов напрягся, ожидая, что Сыр непременно вплетет сейчас либо «Кольку», либо «Чижа». Нет, не вплел. Чувствовал, значит, когда можно, а когда нельзя. Умен был этот Сыр, умен и не прост.

— Ты что такой злой? —напрямик спросил его Чижов. Вырвалось, не собирался спрашивать, а спросилось.— Досада какая гложет?

— Злой? Да ну? А я думал, я добрый.

— Уж ты-то добрый,— сказала Клавдия Ивановна.— Любого обсмеешь.

— Так то для шутки,— сказал Сыр и заморгал ресницами.

— Что ж, шутка — дело хорошее.— Чижов поднялся, подошел к Витяю.

— Отдай, Виктор Викторович.— Он протянул Витяю пятерку.— Столько берет?

— Столько, Николай Андреевич.

Странные сейчас были глаза у этого Витяя, у это-

го Виктора Викторовича. Будто всплакнул он там, у окна. Да нет, быть того не могло. Не ждались от него слезы. А вот глаза были странные, словно промытые, посвевшие. Что он там увидел — за окном? Или что особенное?

Чижов тоже глянул в окно.

Площадь открылась перед глазами, все та же самая площадь, легшая между новыми домами. И сама новая. С молодыми деревцами. С легкими тропками, протоpенными ребятишками, прямившими себе путь в школу.

И вот она и школа, куда им сегодня идти втроем. Ребятишки там толкутся. Издали не разобрать, кто да кто. Может, и его Степа и Катюша там. Красные галстуки издали видны да белые передники. Прыгают галстуки, порхают передники. Ребятня...

— Может, и твои там, Виктор Викторович? — спросил Чижов.

— Да вот, не разгляжу. Вроде бы. Не разгляжу. Дочка у меня. Высоконькая. Двое старших померли. Одна осталась.

— И я не разгляжу. Двое у меня. Сын и дочь.

С ними рядом встал Сырников и тоже всмотрелся в ребячью толчею.

— Отыскал? — спросил его Чижов.— Погодков своих отыскал, товарищ Сырников?

— Не разгляжу. Там должны быть, раз перемена. Они у меня непоседы, скакуны.— И у него тоже странными глаза стали. Будто промылись.

— Ну что, отцы, повторять будете? — насмешливо окликнула их от стола Клавдия Ивановна.— Есть еще одна, отыскалась.

— Отваливать будем, Клавдия Ивановна, отваливать,— сказал Чижов.— Нам нынче в школу.

Он взял своих новых приятелей под локти, и, теснясь, они пошли к двери.

— Пятерочка на подоконнике,— сказал Виктор Викторович, проходя мимо хозяйки.

— Конфетки, прянички свои прихватите, мужички! Ну и мужички!

Чижов оглянулся:

— Дарим. Пожуй, вспомни молодость...

И они ушли.

ЧУЖОЕ МЕСТО

Володя Стольников, говорят, чуть ли не от рождения был наделен удивительным свойством подмечать все смешное. Не злобно как-нибудь, не для того, чтобы посмеяться над беспомощностью людской. Нет, он не принимался хохотать, подметив что-то уж очень смешное. Он смеялся не часто. Улыбнется — и все. А так как близкие его почти всегда ничего смешного не видели там, где это видел Володя, то он и улыбаться привык не очень широко, не вызывающе, не обидно. Он рос деликатным мальчиком, нешумливым, неразговорчивым, но улыбчивым. Порой даже загадочно улыбчивым.

Это дар — такое чувство смешного. С годами так и выяснилось, что это дар. Володя стал пописывать, потом киноинститут окончил, сценарное отделение. И еще студентом он уже обратил на себя внимание: умел как-то так написать диалог, так какой-нибудь повернуть эпизод, что просто нельзя было не рассмеяться. Дар этот и имя себе обрел: Володю нарекли комедиографом. Комедиографом от природы, конечно. Ведь жизни всерьез он не знал. Из школы — в институт, из института — на студию, на одну, на другую, где требовалось срочно спасать какой-нибудь серый, хмурый сценарий. И Володя спасал, не ведая жизни, но тонко подмечая в ней все смешное. Без пережима, являя и зоркость и вкус.

В этот южный город, где была киностудия, Володю Стольникова вытребовали срочной телеграммой. «Горел» некий фильм. Актеры отказывались произносить диалоги, увязая и запутываясь в скучнейших фразах. Не помогли и актерская отсебятина, и режиссерское вдохновение. Весь крик этот и все это шаманство на съемочной площадке тоже не помогли. Не шел текст, не произносился. Надо было писать его наново, надо было пронизать текст юмором. А юмор — кто не знает? —требует особого дарования. Решено было вызвать Володю Стольникова. Выбор пал на него еще и потому, что автор сценария был человеком на редкость самолюбивым и разве только на помощь скромнейшего Володи Стольникова и соглашался. А то ведь иной подсобит на грош, а расхвастается на всю плане-

ту: «Я, мол, спас фильм!» Володя не был таким хвастунишкой. Не выпячивал себя...

Милый, скромный, улыбчивый Володя Стольников за какую-нибудь неделю переписал несколько эпизодов в погасшем сценарии, раздул в нем искорку, огонек родил, и — дело пошло. В кино, когда дело начинает идти, все добреют, веселеют, щедро делясь друг с другом то ли своим талантом, то ли чужим, то ли своей удачей, то ли чужой. Какая разница, что за счеты?— шло бы дело, набегала б удача. В кино, когда дело ладится на съемочной площадке, то все начинает ладиться, всеобщее возникает счастье. И это вот счастье всеобщее, всей, стало быть, съемочной группы — от осветителя до режиссера — и есть самое пленительное, чем покоряет людей кино. Трудно, тягомотно порой живут в нем люди. Бедно порою. Но это вот счастье нечастое, эта вот удача на всех все искупает! Кино привораживает и пленников своих не стережет. Их и силой из этого плена не вызволить...

Да, работа пошла, а снималась только эта одна картина, ибо студия была маленькой, но для города, где находилась она, была чуть ли не центром его культурной жизни. Ибо город тоже был маленький, и если бы не студия, не киносказочный ее мир, то жил бы город всего лишь только курортной суетой... Словом, работа пошла, и юный виновник всеобщей удачи был на студии обласкан.

Сперва, когда он приехал, его поместили в весьма скромный гостиничный номер с окном в грязный и шумный двор. Картина не снималась, и студия сразу обеднела, а ее бухгалтер стал скрягой. Но вот начались съемки, и студия разом разбогатела. И тотчас Володю Стольникова перевели в другой номер, в котором было не одно, а три окна, а стены отделаны дубовой фанерой. В нем две роскошные разлеглись кровати, и было столько разных зеркал, что Володя мог одновременно лицезреть и свой нос, и свой затылок. Короче говоря, его поместили в номере люкс. Бог мой, чего только не знал этот номер, этот курортный люкс,— измены, растраты, загулы!..

Володя затосковал в этом двуспальном помещении. В маленькой комнатенке с окном во двор ему было веселей и покойней. А в этом номере, когда не знаешь, на какую кровать лечь, перед каким зеркалом побриться

и в какое окно поглядеть, смутно у него сделалось на душе.

И только эти смутные мысли подкрались к Володе Стольникову, как встал на пороге его номера студийный администратор, полный и бойкий человек в возрасте от сорока пяти до шестидесяти с небольшим, лысовато-седовато-кудрявый и совершенно непохожий на Мефистофеля человек, но, однако, не без мефистофелевских замашек. Он явился не один, следом в номер робко ступила девушка.

Несмотря на три окна, в комнате было темновато — дождь шел за окнами,— и Володя не сумел сразу разглядеть эту девушку. Он приметил лишь, что она не знает, куда руки девать, куда девать голые иззябшие коленки. На ней была юбчонка, которую она, возможно, сняла со своей куклы. Мини от мини, так сказать. И туфли у нее промокли. И кофточка на ней была для пляжа. Холодно было на нее смотреть.

— Скучаете? — спросил Володю администратор, сочувственно и понимающе изогнув свои жизнелюбивые губы.— Дождь — это у нас временное явление.

— Не в дожде дело. Домой, Пал Палыч, пора.

— Ни в коем случае! А вдруг опять заколодит? Приказано держать вас и не пущать.— И с придыханием: — Знакомьтесь... Вот...

Администратор глянул на девушку, прикидывая, как же отрекомендовать ее, посмотрел на Володю, прикидывая, как бы отличиться перед этим общепризнанным специалистом по юмору, и решил, что лучше всего подойдет лаконизм. Когда коротко лгут, это всегда смешней, чем когда лгут многословно. (Администратор тоже кое-что смыслил в юморе.)

— Зоя... Моя невеста... — Он строго выпучил глаза, готовый расхохотаться.

Но Володя Стольников его шутки не принял. Возможно, не понял. Ведь он еще не успел разглядеть эту девушку. Он очень серьезно, даже чинно поздоровался с ней.

— Рад, очень рад,— сказал он, поклонившись.— Садитесь, пожалуйста. Вот сюда, перед этим электрическим камином. Я его сейчас включу.

Ее рука, когда он пожал, была такой холодной, что нельзя было не вспомнить про запыленный в углу камин, забытый там на все долгое лето. Сейчас этот ка-

мин понадобился. Володя завозился с ним, выдувая из него какую-то стародавнюю пыль, свойственную гостиничным люксам.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, мне совсем, совсем не холодно,— говорила Зоя.— Я закаленная.

У нее был хриплый голос, бойкий, но и робкий на сломе звука. И когда она произнесла свое «совсем, совсем», у нее зуб на зуб не попал.

— Камин нам не нужен, с нами горючее,— сказал администратор и выставил на стол бутылку.— Прошу! Пять звездочек.

Поискрив, подымив, одолев налипшую на него пыль, камин начал разгораться.

— Грейтесь, Зоя,— радуясь ожившему камину, сказал Володя.

— Спасибо.

Она смотрела на него из-под длинных, в густой туши, ресниц, смотрела пристально, изучающе. Простенькое и, пожалуй, миловидное ее лицо было скрыто гримом, было переиначено. Должно быть, Зоя стремилась на кого-то быть похожей. На знаменитую актрису какую-нибудь? Пока же она добилась того, что перестала походить на самое себя. Эти удлиненные, заресниченные глаза — не ее глаза. Эти губы, сильно напомаженные, тоже были чужими. Не одна, выходит, а две девушки смотрели на Володю Стольникова. Смотрели пристально, изучающе. Ему надо было решить, с которой из них он будет разговаривать. Девушки-то были разные. И они тоже сейчас что-то решали про него.

Администратор, действуя умело и находчиво, за минуту-другую превратил унылый и мрачный стол под бархатной скатертью чуть ли не в скатерть-самобранку. Он и закуской запасся, он и нож при себе имел, обстоятельный, с вилкой, штопором и ложкой. Настоящий, бывалый администратор! Разбуди такого ночью, дай ему минуту на сборы — и он будет готов для поездки хоть на Северный полюс. И там, на этом полюсе, окажется, что он успел прихватить бутылку, вилку и ложку, кусок сыра и кусок колбасы и даже лимон. Кудесник!

— К столу, к столу! — жизнерадостно звал сейчас этот кудесник, довольный делом рук своих, нетерпеливый и помолодевший.— А что, Володенька, недаром

астрономия и гастрономия — похожие слова. Звездочки-то и тут, и там. Смешно? Находка?

— Пожалуй,— мягко улыбнулся Володя.

— Конечно, не это меня кормит, но и я, случается, могу сострить. Верно, Зоя?

— Пожалуй.

Шумел тоскливо дождичек за тремя окнами, сокрыв от глаз недалекие горы, спрятав куда-то непременное здесь солнце. Да, пожалуй, не худо и выпить.

Сошлись стаканы над столом, привычно прозвенев для этих стен, привычные для этих стен были молвлены слова.

— Пусть нам будет хорошо! — сказал администратор.

— За вас, Зоя,— сказал Володя.

— Ага, поехали! — сказала-кивнула Зоя и за себя и за ту, под которую так старательно загримировалась.

Еще разом прозвучали стаканы, еще по глотку было выпито из них, и вдруг администратор вскочил, вспомнив что-то, какое-то неотложное свое дело:

— Бежать, бежать надо! Совсем забыл! Зоя, ты подожди меня здесь. Я скоро...

В дверях он оглянулся и строго выпучил глаза, готовый расхохотаться:

— Учтите, Володя, вверяю вам свою невесту. Не обездольте старика...

С тем он и исчез, твердо, громко прошагав по коридору, как шагают довольные собой люди.

— Смешной,— сказала Зоя, прислушиваясь к самонадеянному звуку этих шагов.— Взял да и оставил меня с незнакомым мужчиной. В номере. Разве так делают? — Она осуждающе покачала головой.— Ладно, простим ему на первый раз.

И она посмотрела на Володю сквозь дрему ресниц значительно и загадочно. Володя прикинул, какая из Зой сейчас с ним разговаривает. Пожалуй, та, что была под гримом. А та, с милым, простеньким лицом, та помалкивала смущенно и все еще не знала, куда девать руки и голые коленки. Она все еще не согрелась, знобило ее.

— Хорошо быть сценаристом, да? — спросила Зоя.— Написали, и все должны потом делать, как у вас написано. Стольников! Стольников! Хорошо быть знаменитым, да?

У нее были круглые колени, сильные и мягкие. И, наверно, такие же холодные сейчас, как и ее руки.

— Видите ли, Зоя, я совершенно еще не знаменит, а потому и не знаю, хорошо ли быть знаменитым,— сказал Володя.— Наверное, не очень все-таки хорошо. Все время на тебя смотрят, все время чего-то ждут. Даже в буфете, знаете ли, ждут от тебя чего-то. А ты просто пришел выпить стакан кефира с калорийной булочкой.

— Ага, вы тоже любите калорийные булочки?! — обрадовалась Зоя — та Зоя, со смущенным, простеньким лицом.

— Да. В них что-то есть. Несомненно.

— А вы славный.

— И смешной?

— Нет, не очень. Вас уже обженили, Володя?

Он улыбнулся. Но не обидной, не насмешливой, а скорее, растерянной была его улыбка.

— Нет, еще нет.

— Смотрите-ка! А ведь вы жених вполне.

— Вы находите?

— Нахожу. На студии уже многие девчонки на вас глаз положили. Не обратили внимания, как на вас таращатся?

— Нет. Да вы, наверное, ошибаетесь.

— И надо же, вот я тут, у вас... Что-то я никак не согреюсь.— Зоя потянулась к своему стакану, морщась, глотнула.

— Скажите, Зоя, а что вы делаете на студии?

— Я? — Зоя задумалась, вдруг опечалилась.

Эх, не стоило задавать ей этот вопрос. Случайный разговор случайно встретившихся людей ведь хрупок. Слово не то сказал — и легкая, ни к чему не обязывающая болтовня, глядишь, уже и в иное вырастает, уже обязывает, печалит, ранит душу.

— А разве сразу не видно, кто я? — спросила Зоя. В хрипловатый ее голос вплелась ожесточенная глухая нота.— Актриса — вот я кто' Правда, я только в эпизодах занята, но... — замолчала Зоя. И вот сейчас, когда она уж очень загрустила, обе Зои слились в ее лице, общей зажив печалью.

— Эпизоды — дело вполне серьезное,— сказал Володя.— Можно и крошечную роль так сыграть, что всем запомнится.

— Да, да, про это я знаю, слышала уже.

— В нашей картине вы снимаетесь?

И этот вопрос тоже не следовало бы задавать. Но уже покатился, покатился разговор по своему собственному руслу, под стать дождю за окнами и правдивым этим прямым кипарисам.

— В вашей? В этой комедии? Да, но без единого слова. На проходах, ради рублей. Я ведь не комедийная. Говорят, у меня глаза как у Чурсиной. А кто говорит, что как у Самойловой. Ваш режиссер — мы с ним приятели,— когда выпьет, все твердит мне: «Зоенька, тебе Федру играть, Катерину...» Он у вас забавный, режиссер ваш. Когда выпьет. Размечтается, раскричится. Правду ему подавай! Глубину! А утром, глядишь, опять штампик за штампиком выпекает. «Метры, кричит, мне нужны!» И вся правда. Спасибо — вот вы что-то там придумали, живые подкинули словечки. Откуда у вас они? Вы такой тихий, и вдруг... Это талант, да? Ничего в человеке вроде бы и нет, а начнет играть или писать, и ты веришь ему. Странно, правда? Послушайте, вы так и не сказали про мои глаза. Верно, что они трагические? Один знаменитый оператор — мой большой приятель,— он мне как-то сказал: «С такими глазами, с таким голосом тебе всего ближе краски трагические». Правда, здорово сказано —краски трагические?! А вы что скажете? Я вам поверю.

— Я еще мало вас знаю, Зоя.

— А первое впечатление? Многие очень умные люди считают, что первое впечатление — это все.

— Так я как раз не из этих, не из очень умных.— Володя попытался отшутиться, он даже изобразил на лице этакую глупую улыбочку. Он все еще надеялся погасить начавшийся разговор. Страшил его этот обвал вопросов. Пугали эти глаза, если и не трагические, то наверняка несчастные, какими она смотрела сейчас на него. Ей лгали, ей давно уже многие лгали, полагая, что это наилучший и уж наверняка наилегчайший путь к ее сердцу. Не хотелось ему ей лгать. Да он и не сумел бы сделать это с той обязательной крупицей вдохновения, без которой не родить утешительной, уютной этой лжи. Его чувство смешного было бессильно сейчас помочь ему.

— Ну, а раньше, до кино, что вы делали, чем за-

нимались? — спросил он, пытаясь как-нибудь поменять разговор.

— Все как у всех,— сказала Зоя.— Как у многих. Кончила десятилетку, не попала в институт иностранных языков, поступила на работу.

— Куда?

— В нашем благословенном городке какая уж там особенная работа. Курорт, знаете ли. Это вам горы да море, а нам... Летом я даже и не купаюсь. Толкотня. Надоело. Ну, а если уж это вам важно знать, стала я воспитательницей в детском садике.

— И ушли, не понравилось?

— Отчего же, понравилось. Я люблю малышей. О, они, знаете, какие умные! Все, все понимают. Радостно тебе — поймут. Грустно тебе — поймут. Особенно если грустно. Взрослые кругом ничего не заметили, а ребятишки уже тут, уже догадались. Обступят, приласкаются: «Тетя Зоя... Тетя Зоя...» — Подобрело ее лицо, улыбка по-иному как-то тронула губы. И, смотрика, совсем не простеньким было в недавнем прошлом ее лицо. Добрым, приветливым оно стало. Спокойным. С этим лицом она и жила среди своих ребятишек. И, пожалуй, пожалуй, они действительно любили свою тетю Зою — приветливую, добрую, терпеливую.

И он понял, догадался, как все было дальше. Кто-то из киностудии увидел эту девушку. Может быть, в ту минуту как раз, когда она в белом халате, в белой косыночке переводила через улицу свой ребячий выводок, увидел и залюбовался ею. И хороша-то, и голос властно-певучий, оберегающий, уверенный, которому свято внемлют маленькие человечки. И поступь такая, что нельзя не засмотреться. Ведь она вожатая. Ведь она во всем для этих ребятишек пример. Вот она так и ступает, как велит ей ее место в жизни. Плавно, не без важности, веруя в себя и внушая уверенность другим, а стало быть, горд был ее шаг и красив.

И кто-то из киностудии, залюбовавшись, остолбенев от такой красы, и молвил это загребущее слово: «Нам! Нам, на студию, в искусство! Там ей место, такой красавице! Не прозябать же ей, право слово, среди этой ребятни. Воспитательница? Нянечка? Да боже мой, нельзя же хоронить себя!»

И сманил. И уговорил. И пошла она от своих ребятишек. А куда, зачем? — того не ведая. В праздник?

В искусство? А там — черновая работа, а там полно черновой работы. Кому-то под силу, а кому-то и нет. И чудо там с ней случилось, с этой красавицей со спокойным лицом, с величавой походкой, с певучим голосом. Недоброе чудо. Скинула она свой халатик скромный, нарядилась, намалевалась и... померкла. И почти не узнать, не углядеть былую ее красу. Не для нее оказался тот мир, куда ее сманили. Ее мир был там, среди ребятишек... Но уже сделан был шаг, а отпрянуть просто ли? Нет, не просто, когда вокруг праздник и тебе кто жалея, кто лукавя, кто по глупости, а кто и по подлости лжет, лжет, подвирает, суля успех, который якобы придет, который якобы не за горами. А пока что... А пока — эпизодики.

— Что вы так смотрите на меня? О чем вы думаете?

— О себе,— и солгал, и не солгал Володя.— Вдруг подумал о работе своей. Тем ли занимаюсь делом?

— Уж вам-то жаловаться нечего,— сказала Зоя убежденно.

— Я не жалуюсь. Я советуюсь.

— Со мной? —изумилась Зоя.— Да разве я советчик вам?

— Советчик... Зоя, а вам никогда не хочется вернуться к своим ребятишкам? А? Надеть халат белый, крахмальный, босоножки, какие полегче, и зашагать со своими ребятами... Зоя, у меня просьба к вам, ну, пожалуйста, скажите мне какую-нибудь фразу, какую вы говорили своим ребятам. Первую попавшуюся, какая вспомнится.

— Зачем? — Она распахнула на него глаза, оробев вдруг.— Вы меня испытываете?

Он кивнул.

— Для роли?

Он кивнул.

И голосом певучим, не хриплым она памятно проговорила:

— Ребята, давайте посидим, я устала!..

Все, больше ничего она не сумела сказать. Пресекся голос, в нем вздрогнула ее нынешняя хрипловатая нота.

— Напрасно, Зоя, напрасно вы ушли из воспитательниц,— сказал Володя.— Напрасно дали себя уговорить.

— Я и сама думаю... Но Пал Палыч наговорил мне тогда, наобещал...

— Ах, так это он? Разве ему можно верить?

— Я вот поверила...

— Возвращайтесь, Зоя, назад.

— Вы так думаете? — спросила она.

— Да, именно так.

Она поднялась.

— Очень важно найти свое место в жизни,— сказал Володя как бы про себя.

Зоя кивнула, улыбнулась ему, протянула руку. И пошла по ковру к двери, осторожно, ступая по узкой ковровой полосе, как по тропинке, той узкой и скользкой тропинке, сбившись с которой можно угодить в грязь.

Все зеркала, какие были в этом номере, сразу отразили Зою, со всех сторон принялись всматриваться в каждый ее шаг. Казалось, зеркала сочувствуют ей и боятся за нее.

МЕМУАРЫ

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ Поранин готовился к этому дню не без трепета. Но верно ли будет назвать день выхода человека на пенсию — всего лишь именно днем, некоей точно обозначенной датой? Не так все просто. Приказ об уходе на пенсию действительно помечен конкретной датой, но сколько их было, этих дней — до, и сколько их еще будет, — после, прежде чем все в тебе уляжется, утрясется, обретет ритм будничной жизни, и ты сам для себя обретешь этот день. Жить-то дальше ведь надобно. Жить быз привычной работы, без привычных людей вокруг, без привычных привычек во всякой малости. Жить еще надобно. И даже, может быть, не так уж и серо, по нисходящей. В том-то и дело, чтобы не по нисходящей покатились дальше твои деньки. Потому-то и страх берет, потому-то и нужна исподволь подготовка. До решения, в час решения и после, уже потом, уже когда остынешь.

Сергей Федорович долго готовился, чтобы не очень шибко удариться лбом о вдруг наступившую тишину, об этот отдых желанный, об этот барьер бездеятель-

ности. И прежде всего он готовился к деятельности. В том-то и суть, что к деятельности. Это ему и внушало мужество перед шагом в небытие. Он знал, он верил, что по ту сторону черты у него будет дело. И дело не малое. Он готовил себя к писанию мемуаров. Не улыбайтесь. Да, конечно, нынче кто не пишет мемуаров. Просто повальное это бедствие стало — писание мемуаров. И те пишут, кому есть что вспомнить, чья жизнь не без интереса для других, но и те пишут, кто жизнь прожил ничем не примечательно, а стало быть, непригодную для мемуаров. Вспоминать, так уж нечто значительное вспоминать. Не правда ли? А иначе кому интересно, что там с тобой бывало, о человек. Мемуары пишутся не для себя одного.

Сергей Федорович верил, что ему есть что вспомнить. И не для себя, а в поучение и наставление потомству. Он жизнь прожил не пустую, не серую. Он в это свято веровал. Впрочем, справедливости ради, а кто себе признается, что прожил жизнь зазря? Одно из тягчайших открытий — такое признание. Одно из тягчайших поражений всей жизни. Нет, Сергей Федорович, хоть и не был он каким-то там великим гражданином, но был все же заметным гражданином и жизнь свою желал и смел оглядеть. Мемуары... К ним-то и потянулся он всеми силами души, выйдя на пенсию. Это дело и было отныне его делом на земле.

И настал день...

У Сергея Федоровича была дачка, нажитая трудами праведными. Или еще так: заслуженная, а не выслуженная. Вот на этой дачке он и решил уединиться, погрузив себя в работу.

Осень уже началась. Его так просили подгадать с выходом на пенсию, чтобы мог он летом подменить кой-кого из своих ответственных коллег, отправлявшихся в отпуск. Он не возражал. В последние месяцы работы он не только подменял одного или другого из коллег в пору их отпуска, а он вообще так рванул, так по-молодому себя выказал, что его и отпускать не хотели, хотя все давным-давно было сговорено. Уходить надо было с честью, оставляя о себе добрую память. Уходить надо было победоносно. Так он и ушел. И на прощальном ужине все об этом и говорили в один голос. Спешишь, мол, Сергей Федорович. Мог

бы, мог бы еще и потрудиться. Нужен ты нам еще. Запаримся мы без тебя.

Желанные речи! Не похоронные. Не те вот, когда в них одно только «был» мелькает. Не «был», а «есть». Жалеете? Удерживаете? Боитесь запариться без меня? Верю, верю вам. А что, может, и запаритесь. Но мне — пора, но мне-то приспело. Есть еще дело у меня на земле. Долг надобно отдать...

Вот как гордо ушел на пенсию Сергей Федорович. Как вовремя. И хотя — скажем тут толику правды — далеко не всеми был он любим на своей службе, далеко не всеми даже и ценим,— всем ведь не угодишь! — а все же ушел он так именно элегантно, так по-мужски, что ли, и уж наверняка так по-умному, что хор сожалеющих голосов напрочь заглушал шепоток неблагожелателей.

Да, осень, осень уже началась... Он пометил на листе бумаги этот день и час этот, когда уселся за письменный стол, чтобы начать работу. Он знал, что в путь пускается долгий и трудный. Наслышан был, как оно не просто, дело это, за которое принимался. Готовясь, почитал кое-что. Всяких там маршалов и знаменитостей, которые время от времени одаривали мир своими мемуарами. Читая, примечал, как трудно иной из авторов карабкался от фразы к фразе. Примечал и когда кто кривил душой, маневрировал, уклоняясь от истины, вдруг вприпрыжку припускал как раз там, где надо бы было двигаться медленно и обстоятельно. Все примечал Сергей Федорович. Зорок был. Да и опытен. И хотя никаким никогда не был литератором, но силу фразы понимал, но умение так как-то поставить слово, чтобы оно во всей странице стало заглавным, — было ему ведомо, ибо понаписал он за свою многолетнюю служебную деятельность в избытке всяческих писем, приказов и докладных записок, где, — нет, не художественно, зачем же, — но цели своей умел добиться. Надо — умел и отстегать фразой. Надо — и иронию в казенный документ подпустить. Может, оно и не художественно у него выходило, но проникало до костей. Да и то сказать, что есть художественность? Если человека от твоего приказа в краску бросает, — так разве это не художественно исполненный документ? Спросите любого, кто в этом смыслит, и всяк такой знающий человек обязательно подтвердит, что все эти исходящие

в ответ на входящие — это тоже литература, требующая изощренного, порой, мастерства.

Впрочем, Сергей Федорович отлично понимал, что ныне он совсем за новое для себя дело берется, что опыт его писательский следует если не вовсе забыть, то в сторонку отставить, ибо иным совсем писательством предстояло ему заняться. И если уж и можно будет назвать ту работу, за которую он принимался, так сказать документом исходящим, то уж воистину исходящим,— не от учреждения, не от должностного лица, а из самого себя. Исповедь? И исповедь тоже. Мемуары — емкое слово. Вспоминать так уж вспоминать.

Стол у него стоял перед широким окном в сад. Сергей Федорович это окно совсем недавно таким сделал: чуть ли не во всю стену и чуть ли не от пола до потолка. А раньше окошко было обыкновенным, избяных размеров, держало тепло, но скупилось на свет. Готовясь, исподволь готовясь к новой своей работе, Сергей Федорович решил прорубить окно во всю стену. Дача ведь теперь становилась и местом работы. Сад за стеклом — теперь уже должен был стать в той работе помощником. Теперь всякая малость должна была быть учтена, чтобы пошире да позорче было на душе работающему в этой комнате человеку. Там, на службе, Сергей Федорович множество приспособлений внедрил в своем кабинете, чтобы они способствовали успешной работе. Вторую дверь велел поставить для тишины. Ковер постлать — для той же цели. У телефонов сбавил звонки... А, да что вспоминать! Тот кабинет уже позади, за спиной, за чертой. Господи, а ведь вся та жизнь, — да какая, да еще какая! — а ведь вся она за спиной. Да, да, любезнейший, именно так, за спиной. Но вот затем-то и усаживаешься сейчас ты за свой домашний письменный стол, а чтобы и себе самому и другим многим показать и доказать, что жизнь та прожита не зря. Докажешь — и все равно что дальше пойдешь. Мемуары — это взгляд назад, чтобы шагнуть вперед. Мемуары — это ведь то, что может остаться после тебя. Разумеется, если жизнь припомнил ты настоящую и изложил ее по-настоящему. Дерзнем, а? Углубимся?

Сергей Федорович в отсвете оконного стекла увидел свое неясное отражение и покивал себе в том стекле, себя ободряя. Он жалостью вдруг к себе проникся. Вот

ведь, и отдохнуть бы пора, а снова горбиться за письменным столом. И снова чистый лист бумаги перед ним и горсть карандашей отточенных в стаканчике и горка всяких ластиков под рукой. Сергей Федорович привык писать тонко отточенными карандашами, часто подключая к работе ластик, дабы не просто перечеркнуть, а напрочь изъять непонравившееся слово. Да, жаль ему себя стало, но и не без гордости подумалось: «Еще поработаем, еще поработаем! Надо!»

Готовясь к своей итоговой работе, Сергей Федорович и бумагой преотличной запасся и всяческими там блокнотами, на случай, если понадобится делать выписки, если иная какая фраза застанет его в пути. В семье даже обычай с недавних пор установился дарить ему на день рождения и на Новый год исключительно лишь предметы, связанные с писательством. Порой это были весьма дорогие предметы. Ему был подарен диктофон. Сына подарок. А жена, изыскав где-то на своей службе добычливого сослуживца, одаривала Сергея Федоровича разными диковинными шариковыми ручками и фломастерами всех цветов и размеров. Сослуживцы тоже включились в эту заботу, тоже одаривая Сергея Федоровича ручками, ластиками, карандашами, фломастерами, свозя их к нему со всех концов земного шара. Было приятно дарить человеку то, что ему по сердцу, а тебе по карману. Готовясь к своей итоговой работе, Сергей Федорович, таким образом, все предусмотрел и обдумал. И место работы и орудия труда — все изготовил. Но вот в самую работу свою еще не заглянул. Вся глыба жизни его была для него еще как бы за занавесью. Не было у него ни разобранных архивов, ни фотографий, подложенных по годам. С этим он медлил. А может, ему казалось, что стоит лишь сесть за стол, как память и начнет услужливо разматывать перед ним всю ту дорожку, будто то ковровая дорожка, имя которой Жизнь? А может, он оберегал себя до поры от тех нешуточных усилий памяти и души, какие потребны, когда ворошишь, то бишь систематизируешь свою жизнь? До поры, до гой поры, когда эта работа и станет его главной задачей. Скорее всего, как всякий деятельный человек, он не мог себя раздваивать и, живя повседневностью, не мог, вернее, не умел жить еще и в прошлом. То — прошлое, прожитое — пребывало пока в запасе, копилось пока с каждым новым годом жиз-

ни, накапливая итог, как монеты копят в копилке, который, когда копилку раскроют, может оказаться радостно значительным. Да, сравнение с копилкой самое верное. Сергей Федорович не хотел заглядывать в копилку своей жизни, как это делают некоторые скупцы, то и дело пересчитывающие монетки. Он жил, и итог копился, чтобы нежданно выявить себя, когда придет время раскрыть копилку или даже сломать ее и все разом высыпать на кровать. Как в детстве когда-то... Помните эти копилки, которые продавались в сберегательных кассах, никелированные эти бочонки с гербом Советского Союза? Помните? И как же было радостно вдруг обнаружить, что у тебя в бочонке скопилось куда больше монеток, чем ты полагал. Скупым людям такая радость не дана. Они наперед все подсчитывают. Сергей Федорович был не скупым, жил не скупясь. Поразному жил. Всякое было. Ну-ка, копилочка, пришло время, высыпай свои богатства. Вот сюда, на этот стол перед широким окном в сад. И пусть эти три березы, старые березы, постарше его самого, будут понятыми при вскрытии. И эти смородиновые кусты — он сам их сажал — пусть тоже побудут в свидетелях. Начнем считать наше злато.

Первая фраза далась легко, она уже давно была готова, вытвержена.

«Я родился в Москве, в 1906 году, и был у отца с матерью пятым ребенком, а отец мой был всего лишь скромным конторским служащим». К первой фразе легко примкнула и вторая: «Мы жили неподалеку от Яузы, в одном из Таганских тупиков, в собственном доме, но в очень бедном, ветхом, об одном этаже, унаследованном матерью, отец которой тоже был из мелких чиновников».

Написалась эта вторая фраза, и встал вдруг перед глазами солнцем залитый зеленый лужок во дворе, где одни к одному громоздились серые сараи, где куры погуливали, а посредине выбитой, без травинки, площадки высилась странная какая-то башня, в ярко-синий окрашенная цвет. Что за двор? Что за башня? Отчего вдруг вспомнился этот зеленый лужок в серой обступи сараев? Откуда все взялось?

Сергей Федорович никогда так далеко не заглядывал в свое детство. Он дом родительский на Таганке не помнил, они съехали оттуда чуть ли не в пору Се-

режиного младенчества. И вдруг этот двор, эта синяя башня, в которой нельзя не узнать голубятню, и этот мысок зеленый, посреди которого он сам, он, крохотный и беспечальный, зажавший — увиделось! — пучок травинок в белесом кулачке. Увиделось! Миг тот солнечный, летний кинулся в ноздри, дохнув пылью и травой. Пылью не нынешней, не бензиновой, а будто пропахшей молодым лошадиным потом. И травой не нынешней, что без запаха, а остро дохнувшей в ноздри, будто корова рядом отрыгнула свою зеленую жвачку. Быть не может?! Откуда?! Вскинулся Сергей Федорович, чуть что не испугался. И замер с испуганным и растроганным лицом.

— Маша! — позвал он жену, забыв, что жена в Москве. — Маша!

Вот ведь, только начал свою работу, только первые две фразы написал, а память, а душа уже кинулись ему на помощь. И такое открыли, приоткрыли, о чем никогда во всю свою жизнь он и ведать не ведал. Добрый признак! Пойдет работа!

За распахнутым окном березы шелестели пожухлыми листьями. Оттуда, из сада, банькой подувало, но и несло какой-то чертовой химией. Той самой, из-за которой нынче огурец не огурец и помидор не помидор. А в ноздрях все еще жило детство, забытая пора. И душа встрепенулась. И двинулась рука по листу, по превосходной мелованной бумаге, на которой обычно отбивались первые экземпляры наиболее важных писем к наиболее начальственным лицам. Сергей Федорович специально обзавелся такой бумагой, она требовала максимальной отмобилизованности.

Детство... Собственно, он не собирался на нем задерживаться в своих мемуарах. Он мысленно проскакивал этот период жизни. Он и в рассказах близким и друзьям этот порожек жизни переступал без задержки. Родился там-то и в такой-то семье — и все. А вот подсел лишь к столу, а оно и встало перед глазами. И двинулась рука, лепя букву к букве, нежданные рождая слова. Не знал Сергей Федорович, что просто способен на иные из этих слов, что такие может извлечь из себя фразы. Писал и дивился. И в азарт входил. И в счастье. Ах, как хорошо! Как нежданно!

Вдруг вспомнилась тетя Клава какая-то. Как — какая-то? Да тетя ж Клава, мамина сестра, бобылка, мо-

нашка, что воспитала его, выходила. Ее руки вдруг выступили из тьмы забвения. Ее лицо под черным платочком. Прислушался Сергей Федорович, не заговорит ли? Нет, из дали той голос не раздался. Шевельнулись губы, но и все, без звука. А лицо, а глаза увиделись. Будто стоит тетя Клава у одной из берез, будто подперла рукой щеку, будто смотрит на него, на нынешнего. Печальная стоит и родная.

Слезы стали в глазах у Сергея Федоровича. Укоряла его тетя Клава, он понял, — укоряла. Как же мог ты забыть, должно быть, говорили ее губы. Как же это ты мог жизнь прожить без корней?

Оправдаться надо было. Не медля должен он был оправдаться. И Сергей Федорович вслух ответил, в даль ту взглянув:

— Да тетя ж Клава, время-то какое было! Вспомни-ка, расшвыряло всю нашу семью. Кто где, и поныне не ведаю.

«А ты разведывал? — спросила от березы тетя Клава. — Ты матери-то хоть глаза закрыл?»

— Так время-то какое было!..

Истаяло у белого ствола и того белее лицо тети Клавы. Подался вперед Сергей Федорович, очки схватил для дали. Да ну что там, померещилось. Сучочек вот этот кривенький, да от коры завиток — вот и вся она, тетя Клава.

— Нервы! Воображение! — все еще вслух определил свое состояние Сергей Федорович. И огорчился. — Вот и вслух даже разговариваю сам с собой.

Он поплотнее уселся в кресло, придвинул стопу листков к себе, перечел написанное. Задумался. А покуда он раздумывал, правая рука привычно выпустила из пальцев карандаш и вооружилась ластиком. А левая, привычно же, легла на лист бумаги, прижав его ладонью. Коль раздумие возникло, то, стало быть, и сомнение рядом. А сомнению не долго жить, за ним решение последует. Решение — это ластик в дело, чтобы избавиться от сомнений. Привычка в работе над документами владела сейчас руками Сергея Федоровича. И он еще опомниться не успел, как ластик зашуршал, заелозил, стирая какие-то в сомнение вводящие слова. И Сергей Федорович так еще и не опомнился, как всем фразам на мелованном листе, кроме первых двух, пришел конец. Хорошо сработала резинка, себя не жалея.

Сергей Федорович глянул на ластик, на кохиноровский этот чудо-ластик и подумал, очень веруя в привычную импульсивность своих движений: «А ведь верно, не туда сразу свернул, на беллетристику потянуло. Нет, милые, я вам не беллетрист».

С кем он спорил? Кто были те «милые»? Он бы и сам не сумел ответить. Как бы там ни было, он с кем-то спорил и в споре одержал верх. Беллетристике на первой же странице его мемуаров был дан от ворот поворот.

Итак, две фразы остались, а далее — чуть посеревшая белая гладь.

Тетя Клава, тетя Клава... Монашка ведь и верно. А в те годы было строго с этим. В те, уже после революции. Такую родню поминать было незачем. Да и вся материнская линия — купеческого корня. Хоть и не шибко богатые были негоцианты, а все ж таки... Незачем, незачем! Вот он тогда и забыл об этой линии, перескочил ступеньку. Что ж, можно ли было его упрекать за это? Тогда?

Сергей Федорович тихонько покрутил головой, прищурился улыбчиво, сам себя припомнив тогдашнего, лет эдак восемнадцати — двадцати. В юнгштурмовке, подтянутый, а ворот нараспашку. И рот чуть приоткрыт. Яркогубый, яркоглазый, распахнутый навстречу всем ветрам. Ах, какая жизнь была! Как все закручивалось!

Сергей Федорович отомкнул правый ящик стола, вывалил на стол груду фотографий. Долго искать ему не пришлось. Паренек в юнгштурмовке, будто и у фотографий есть свои локти, сам выпростался из груды и — вот он я! Верно, ворот распахнут, глаза распахнуты — залюбуешься. Чуть пухловатые губы, правда, хоть и выцвела фотография, а виден этот белесый пушок над верхней губой,— птенец, да и только. Но вот ведь, птенчиком казался, стареющих дам своим видом в трепет вводил, а по жизни шел, помнится, уверенно, взросло, не мельтеша. Сын его единственный, его Федор, в такие-то годы был еще тюня тюней. Время иное. Опеки больше. Папочки да мамочки. А нет папочек, так в коллективе опекуны найдутся. Иного всю жизнь под локоток ведут. До инженерного диплома все под руки. И даже и после. Нынче, глядишь, и лыс и за тридцать, а в молодых все ходит. В юношах. Нет, в те поры сразу как-то люди взрослели. В двадцать лет полками коман-

довали. К тридцати губернии целые взваливали на плечи. Горели, пламенем горели люди.

Бумага звала, рука сжимала карандаш, подрагивая. Вот-вот вспыхнет слово, вытянется во всю ширь листа фраза. О годах тех. Но фраза не шла. Подрагивал карандаш в пальцах, а фразы не было. Вспомнилось вдруг, когда вот понадобилось написать об этом, вспомнилось вдруг то время, но как-то по-необычному вспомнилось, а не так, как рассказывалось, и многажды,— и жене, и сыну, и сослуживцам. Те рассказы были чуть что не затвержены, в тех рассказах жил этот вот малый в юнгштурмовке, миляга этот, на которого и самому любо смотреть, и самому не верится, что был ты таким. Те рассказы были под стать фотографии. Победоносные какие-то они были, эти рассказы о далеком его житье-бытье, о том, каким был смолоду. Записать их, что ли? Но не шли слова на бумагу, из тех рассказов. Вот странность, для бумаги, чтобы записалось и навек осталось, надобны были иные какие-то слова. А какие? А те, которыми бы можно было поведать о жизни былой всю правду. Вспомнилась та жизнь, теперь она вспомнилась. И рассказы затверженные померкли. Чуть-чуть не то, не так, не по правде им сказывалось. За давностью лет он и сам уверовал, что правду творит, а нет, он легенду творил. Ведь на гражданской-то он не был. Не поспел, молод был, в том его вины нет. Но за давностью лет стало ему казаться, что он все ж таки поспел. Героем не стал, а все ж таки... И ведь в армии-то он служил — это правда. Не в 22-м, нет, но в 25-м. В три годика всего сдвиг, да, жаль, годики эти все определили. В своих рассказах он привык — и сам в то уверовал — добавлять себе эти три всего года: он-де смолоду крепким был, что было правдой, старше своих лет казался, что тоже было правдой, и он, мол, на призывном пункте себе три эти года и прибавил, а вот это было неправдой. Но все же в армии он служил, ведь служил. Вон сколько у него фотографий, где он в форме армейской, где с дружками он на погранзаставе. И хоть и кончилась к тому времени гражданская война, но на границе-то было неспокойно. И, помнится, пришлось раз ему быть в дозоре, когда совсем рядом приятель его, сосед по койке, Гришка Ершов собственноручно поймал нарушителя. Ведь было же, было. А на иных границах и бои еще шли с басмачами и бе-

логвардейскими бандами. Годы прошли, десятилетия, и за давностью лет и самому стало казаться, что и он тоже участвовал в этих боях. Мог же быть, если бы подвезло. Мог бы, конечно. Но не подвезло. В жизни не подвезло, так в рассказах хоть можно было выправить эту несправедливость. И в рассказах, от года к году, становился он все более зрелым воином. Нет, не героем, а все ж таки... Лгал? Да как вам сказать... Уверовал во все это, сам уверовал. А где вера, там и правда.

Но только не для бумаги, не для той затеи, которой жил сейчас, не для мемуаров. Вспомнилось, все вдруг вспомнилось. Как тот зеленый мысок во дворе из позабытого детства, как тетя Клава-монашка, почудившаяся среди берез. Глянул Сергей Федорович — не стоит ли она снова там, не корит ли взглядом. Слава богу, не было ее. Сучочек кривенький да завиток коры — и вся тетя Клава. Не было ее возле берез, но зажила она в памяти. И юноша этот в юнгштурмовке ожил в памяти. И время то первозданное вспыхнуло, увиделось. Загудело, замельтешило, чуть что не запахло...

В армии он прослужил недолго. Демобилизовали, послали учиться. Снова Москва, общежитие, хоть и был он коренным москвичом, рабфак. А там и университет. В анкетах он тогда писал о себе скупо. Отца с матерью потерял в гражданскую... Из служащих... Демобилизован... Служил на границе...

Родных было в городе полно, но с родными не знался, разошлись пути. И мать еще была жива, ютилась у тети Клавы в Кимрах. И мать не наведывал из-за этой вот из-за тети Клавы, бывшей монашки. А женщины и не трогали его, смирились. Должно быть, сами понимали, что могут стать своему Сереженьке обузой. Так и ушли из жизни, в неведомо для него какой час. Вот она правда! Жива была мать, а он ее уже и похоронил в своей анкете. Бедствовала, может, голодала, а он... Вот она правда! Мимо, мимо тех дней, сил нет в них жить! Мимо! Дальше!

Березы перед окном, старые, старше его. Ветер, что ли, там, за окном. Расшелестелись березы, переговариваются. И словно дивятся ему, хозяину. Что это он нынче так погрузнел за столом, что это он все головой трясет, будто осы на него накинулись?

Дальше годы шли добрые, легкие. Учился, женил-

ся. Стоп! Вот про это, про то, как женился, надо бы записать. А что, собственно записывать-то? Задумался Сергей Федорович. Миллион таких историй, как у него с Машей, можно набрать,— и все на бумагу? Он — студент, она — студентка, он — на третьем курсе, она — только поступила. Встретились на какой-то танцульке, проводил домой. В другой раз позвала к себе в гости. Жила она с родителями, но у нее была своя комната. В те времена большая редкость для Москвы — отдельная комната у девушки. Казалось, вся страна хлынула в Москву. А город новыми домами еще не обзавелся. Тесно жили москвичи. В некогда барских квартирах по пять, по шесть семей селилось. А у Маши была комната. С фонарем-окном в тихий переулок. Широко было видно из этого окна. Купола Кремлевские были видны. И трамвайчик, бегущий по Арбату. И россыпь Смоленского рынка. Помнится, как встал он у этого окна в первый раз, так и замер. И пахло в Машиной комнате хорошо, чистотой пахло. И всюду были вышивки, занавесочки, накидочки. Сердце сжалось, как захотелось тут остаться. Он и остался. Не в первый день, но вскоре.

Любил ли он Машу? Не вспомнить уже за давностью лет, какая она и была тогда. Сергей Федорович порылся в папке с фотографиями, отыскивая Машу той поры. Вот она, стоит у какого-то частокола, руки на груди сложила, коса вокруг головы. Смотрит куда-то, прищурилась от солнца. Незнакомая, совсем незнакомая девушка. Выцвела фотография, не углядеть в лице нынешних Машиных черт, да и изменилась очень, и косы той нет давно, и руки так нынче не складывает. Стать уж нынче совсем не та. Так любил ли он эту незнакомую девушку? Забылось... Кажется... В тумане все. И не проступит в этом тумане хоть единая какая-нибудь памятная примета, чтобы все разом и вспомнилось. Вот комната вспомнилась, Машин отец вдруг вспомнился, каким был тогда, а был он тогда совсем молодым, крепким, горластым, усмешливым. Ну, а Маша, Маша?.. Всегда рядом, всегда перед глазами — вот и забылась та, юная, с которой порешил жизнь разделить. Господи, вдуматься только, на целую жизнь с человеком себя связал, а вспомнить миг тот первый, когда любовь пришла, когда «да» она ему сказала, а вспомнить миг тот не может. Глаза ее, голос, губы...

Ушло из памяти. Трамвайчик, что бежал по Арбату, вдруг в ушах затрезвонил, а Машин голос молодой позабыл. Любил ли? Смолоду-то хоть?

Помнится, закрутился он тогда, как переехал к ней. Отец ее над ним шефство взял. Запряг разом да присвистнул. А ну, парень, рви вперед! Сергей Федорович и рванул. Университет побоку, нужда в людях, толковых работниках, а ты тут в студентиках прогуливаешься. Служить иди. Хватит для анкеты и незаконченного высшего. Тесть и службу приискал. Тесть и подталкивал умело, когда первые начали ложиться под ноги ступеньки. Вверх, вверх, зятек, не плошай! Начал с малого, в помощниках у управделами одного совсем не из главных тогда наркоматов. Чуть что не в холуях сперва очутился. Жене своего начальника провизию с рынка таскал, шпица, бывало, прогуливал. Сгинул тот начальник, сгубил его нэп. И другой сгинул и третий... девятый. Лица, лица,— мельтешня просто из лиц перед глазами. А ступеньки все выше, выше, и вот уж и сам он управделами, и министерство его, то делясь, то укрепляясь, то сяк окрещенное, то эдак, то в одном здании пребывая, то в другом,— а министерство его уже без своего Сергея Федоровича Поранина, кажется, и дня бы прожить не смогло б. Незаменим. Несменяем. Наркомы и министры — где они? А он — тут. Замы все эти, члены все эти коллегий — где они? А он — тут. Советники, консультанты, светила и восходящие звезды — где они? Промелькнули, отгорели. А он — тут. И уж давным-давно стало привычным в том министерстве и узаконилось, что ежели надумал ты достигнуть успеха в своем деле, то заручись поддержкой Сергея Федоровича. Поранина. И не его будто забота, не его круг обязанностей, а без него воз и ныне там. Так было, так шло до совсем недавней еще поры. А захотел бы — и длилось бы: на пенсию не выпроводили — сам ушел. Пора! С поднятой головой надобно уходить, а не ногами вперед. Рассказывали ему или где-то прочел он, что львы и слоны, когда к старости, сами отделяются от сородичей и уходят в джунгли. Уединяются. Не затем ли, чтобы писать мемуары?

Усмехнулся Сергей Федорович, повеселей ему стало от этой насмешливой мысли. Да и вспомнилось про доброе, про гордое. Работать он умел. Всеми признано,— умел. Вот про это и следовало вспомнить, это и следо-

вало предать протоколу, то бишь запечатлеть в мемуарах.

С чего начать? Жизнь учила его работать. Тесть только направил, подтолкнул только. Трех-четырех лет не прошло, как и бойкий, пробивной его тесть остался за флагом. И все лишь головой крутил,— мол, ну и зятек, ну и прет. А он и не пер вовсе. Он — работал. А как, ну-ка, вспомни, а как? Про что записать, какие слова про это найти? Давние времена. И за давностью все как в дымке. Помнишь уже и не дело само, а себя молодого, энергичного, ухватистого, поворотливого. «Есть!» да «есть!» все покрикивал. И шло дело. Подчиненные его слушались, вышестоящие — к нему прислушивались. Шло дело.

Сергей Федорович склонился над листом бумаги, снова ужал в пальцах выскользнувший было карандаш. И локоть даже толкнулся вперед — пиши! Но фраза не шла, слово на бумагу не ложилось. Вспомнилось, незнамо зачем, вовсе некстати, как вызвали его в один хмуроватый денек — дождь с утра зарядил, рябью покрыл булыжники мостовой,— как вызвали его на коллегию. Вспомнился, незнамо зачем, вовсе некстати, друг его закадычный той поры, друг и сослуживец, и еще по службе в армии сотоварищ. Он тоже шибко шел вперед, его друг Григорий Ершов. И даже опережать его начал. Как-то все легко ему давалось, развеселому этому парню. Ах, как же он улыбался хорошо, светлея лицом! И как хорош был собой, статен. Женщины без ума от него были. Но он, что ли, робел их, женщин,— вот уж кто не был ловеласом, так это он. И все не женился. Самые завидные партии ему были доступны, а он все в сторону да в сторону. Кого-то, похоже, он любил, тая от всех свою любовь. И работал, работал, яростно, увлеченно. Работал и учился. По четыре часа в сутки спал. До обмороков дорабатывался и доучивался. «Партии, говорил, надобны грамотные работники. Кто, если не мы...»

Дружили они, крепко дружили, как это возможно лишь смолоду, а потом разошлись. А потом... Стоп! Мимо, мимо тех дней! Не о том вспомнилось! Но ведь вспомнилось. Куда теперь деваться от ожившей памяти? Это глаза можно зажмурить, а память не зажмуришь. Разве что о чем-то другом сразу постараешься вспомнить. И тогда одно в памяти повытеснит другое.

А то и не сгладит, не повытеснит. Нет, не шел из памяти друг его ясполицый. И день тот хмурый,— дождь с утра зарядил, рябью покрылись булыжники мостовой,— и день тот хмурый явственно встал перед глазами. Надо же, и за окном вот дождь зарядил. И сразу потемнели, даже почернели стволы берез. Старые уже, мало в них белизны. Да, день тот хмурый встал перед глазами... Но что он мог сделать, как мог он выручить друга, когда тот сам себя и подвел и сгубил? Кому-то доверился, кому не след, в чем-то запутался. Сергея Федоровича тогда спросили на коллегии, что он обо всем этом думает. В жар бросило Сергея Федоровича, как вспомнил он тот миг, когда нарком обратился к нему с вопросом. А ну-ка, мол, дорогой товарищ, что вы скажете в защиту своего друга?

Вскочил Сергей Федорович, как от удушья распахнув рот. Что, что он мог тогда сказать, ну, что?! И как тогда, много лет назад, десятилетия назад, развел он руки и голову вобрал в плечи. «Эк вы какой!»— сказал нарком и отвернулся от него. И все, кажется, отвернулись, все члены коллегии, а друг его вскинулся было и поник.

Умер тот нарком, нет и тех членов коллегии, и друга его давно нет в живых. Сгинул, забылся, вычеркнут из памяти людей тот миг. И нечего, нечего его вспоминать. Мимо, мимо!

Разжались пальцы, выронил Сергей Федорович карандаш, и тот упал на пол. Пришлось нагибаться, на колени даже встать, чтобы добыть из-под стола карандаш. Как назло, карандаш в самый угол забился, под карниз. Стоя на коленях, продвигаясь так по полу, Сергей Федорович все старался не карандаш добыть, а память одолеть. Он елозил на коленях и подстегивал свою память, чтобы переворошилась. А всего и добился, что вспомнил, как рыдала жена, когда узнала о беде, постигшей их друга. Как упала перед ним на колени, руки заламывая, как молила: «Сереженька, Сереженька, выручи его!» А он ответил, все слова вспомнились, до единого: «Маша, дружба дружбой, а табачок врозь». Странно она на него тогда глянула, дикими какими-то глазами и поднялась, рукой прихватив рот, чтобы слова больше не молвить. Стоп, стоп! Да не Машу ли он любил, его друг? Он — ее, она — его? Быть не

может! А ведь это так, так. Открылось! Вон когда открылось! Вон когда...

Насилу достал карандаш Сергей Федорович. Карандаш забился под карниз, зарылся в пыль. Блестит все вокруг, прибрано, а вон она, пыль-то, вон ее сколько. Видимость одна, а не порядок. Открылось!.. Вон когда...

Сергей Федорович снова сел к столу, забыв и брюки отряхнуть. Уперся локтями в столешницу, зло уперся, как это делал всегда, когда не давался какой-нибудь хитроумный документ. Надобно написать, время не ждет, а слов нужных нет. И такая вдруг ярость возьмет, что карандаш об стену. И один и другой. И кулаком на звонок. «Стенографистку сюда!» Прибежит с блокнотиком пигалица какая-нибудь, замрет, внемлюще вскинув на него глаза. И вдруг на тебе, нужная фраза с губ и сорвется.

Сейчас карандашами как ни швыряйся, а не поможет это. И звонка под рукой нет, и стенографистка не прибежит и не замрет. Один ты сейчас. Один со своими мыслями, с памятью этой, которая вдруг взбрыкивать начала, стала оказывать неподчинение. Но ничего, ничего, выйдет по-нашему. Мимо, мимо тех деньков! А Машу, а Марию свет Александровну, как явится, пренепременно надо будет спросить, что у нее тогда было с Гришей. А может, не спрашивать? К чему? Она уж и забыла, а?

Зачем, собственно, задумал он писать мемуары, ну, зачем? А затем, что жизнь, хоть ее и сравнивают с дорогой, у каждого наособицу. И обидно, тоска берет, когда подумаешь, что весь ты без остатка вольешься в эту общую дорогу. Не камушек какой-нибудь, не кусок асфальта, человек ведь. И многого достигший человек, выделенный из ряда способностями и усердием.

Вот они, приметы того, что он выделен был из ряда, вот они, его знаки отличия, разместившиеся в многочисленных этих коробочках, аккуратно уложенных в ящике письменного стола. Этот за пятилетку. Этот по случаю юбилея собственного. Снова по случаю юбилея. Но не было ордена за войну. Медали есть, а ордена нет. Не воевал, не сняли с брони, надобен был в тылу.

Война... Опять заработала память, опять что-то там в себе переворошила, передвинула, добывая из недр своих давнее да забытое. Война... Ни дня, ни денечка

не был Сергей Федорович на войне. За давностью событий этих и он порой принимался вспоминать про ратные свои подвиги. Нет, он не лгал, избави бог. Был же он на строительстве оборонительных сооружений? Был. И самолеты со свастикой летали над ним,— ведь было? Было. И раз на эшелон, в котором ехал, налетели стервятники, и бомбы рвались чуть что не рядом, когда он, выскочив из вагона, упал в какую-то яму. Бомбы рвались, и пулеметы, все пулеметы, будто в его только спину и стреляли. Было, ведь было это? Было, было. А все же на войне он не был ни денечка. Забыл, так вспомни, ни денечка. Ох и память, ну и память,— чего ей надобно?!

Да, если честно в том признаться, если не про то писать, про что привык рассказывать и во что даже уверовал с течением времени, а про то писать, про что подсказывает ему память, то войну-то он стороной обошел. Память нынче враждует с ним, но не лжет. И все ворошится сама в себе, добывая да открывая ему давно позабытое, такое все, от чего больно вдруг делается, стыдно вдруг, не по себе. Или так уж положено, когда садишься писать мемуары? Адова, выходит, работа?

Война... Мимо! Мимо! Ничего геройского он в те годы не совершил. Вернее, ничего такого, о чем бы должно было написать, дабы увековечить. Ну, работал в своем министерстве, работал много, усердно. Так и все так работали. Снабжался хорошо, «Литер А» имел, квартиру в эвакуации получил. Нет, не в строку все это. Война шла, а он, бывало, по воскресным дням на рыбалку закатывал, за преферансик усаживался, и пилось и гулялось, бывало. Здоровый... Сильный... И ведь не так уж был незаменим, мог ведь уйти на фронт, отпроситься, настоять. Не отпрашивался, не настаивал. Куда там! Если уж что и добудет ему сейчас память, если уж что и добыла из той поры, так это совсем про иное, совсем про обратное. Бронь... Он ее сам на себя натягивал, ту бронь, на многие ради того пускаясь ухищрения. Так что же, трусом он был? Трусом он себя не считал, а вот помирать не хотелось. Сам о себе он порешил тогда, что более надобен родине живым, нежели мертвым. Вот так вот, сам о себе порешил сам собой и распорядился. Сумел. Мимо! Мимо тех дней! Не напишутся...

Дождик отгородил от Сергея Федоровича его бере-

зы, почерневшие и погрустневшие. У берез в осеннюю пору, да еще если дождь, печален лик. Будто кто их бросил, покинул на произвол судьбы. И глядеть в эту пору на березы невесело, самого будто бросили, покинули на произвол судьбы. А тут еще память враждует с тобой, все в тебе руша, что выстроил. Воистину, годы строить, день ломать. Слушай-ка, а может, ты и работал не так уж хорошо, а? Нет, не смолоду, а потом, в последний, скажем, десяток лет? Ну, справлялся, а так ли уж был незаменим и ценим, как самому казалось? Годы шли, молодые подпирали, а ты так со своим незаконченным высшим и жил-поживал. Может, подучиться следовало, а нет, так потесниться? Куда там! Самонадеян был. Уверовал в себя, в свою непогрешимость. «На мой век хватит!»— говаривал. И не то чтобы потесниться, а сам кое-кого умел потеснить, назвав для себя работу ту по потеснению всяких там претендентов «стратегией и тактикой в служебных баталиях». Во как: стратегия и тактика. Будто был он главнокомандующим, занимал позиции, а вокруг вражеские войска. Да, красиво звучит: «стратегия и тактика в служебных баталиях». Но можно и в одно слово все эти громкие слова вместить. Находились люди, вмещали, забывшись от гнева, терпя поражение. Ну-ка, память, не церемонься, чего уж. Столько нынче понанесла,— неси и это слово, выкладывай. Ага, вот оно, вынырнуло!.. Один молокосос дипломированный и даже остепененный,— нынче они ранние, эти кандидаты наук,— совсем недавно кинул ему в лицо это слово. «Интриган!»— вот оно, это слово. Он о тактике и стратегии помышлял, а его интриганом обозвали. Проглотил. Промолчал. Как проглатывал и отмалчивался и прежде. В том отчасти и состояла его тактика, чтобы на взрыв не взрываться и на брань не откликаться. Да, а кстати, а где этот бойкий кандидат наук? И след простыл. То-то и оно. Ах, глупый ты человек, да разве служба не требует и обходов и своей тонкой тактики? Какое же тут интриганство? Не прав ты, погорячился по молодости. Ничего, поймешь с течением времени, если уже не понял. Интриган... Хлесткое слово. Обидное. Зарыть бы его назад, упрятать бы навсегда, на самом донышке. Ну и память, ну и усердствует нынче. Вражеский просто лазутчик. Нанесла, напутала, расшвыряла. О чем писать-то? О чем?..

А за окном дождь все сильней. И сирые там мокнут березы. Что это, не тетя ли Клава опять прижалась к одному из стволов? Пригорюнилась там, промокла, а в дом не идет. Страшится в дом ступить.

Глянул, схватив очки для дали, за окно Сергей Федорович. Почудилось?! Конечно, почудилось! Весь день нынче какой-то почудливый. Нет, адова, адова работа, ну ее!

ПОДСНЕЖНИК

1

ВЛАДЕЛЬЦЫ МАЛЕНЬКИХ и старых автомобилей — всегда народ презанятнейший. Не замечали? Хитрое ли дело купить с больших достатков новый «Москвич» или новые «Жигули». Купить, сесть за баранку, надуть щеки,— а они сами надуваются, даже вопреки воле хозяина,— и покатить, в миг един перейдя из племени пешеходов в заносчивое племя собственников. Не вообще — собственников, каковые в нашей стране не в почете, а в собственника вот именно автомобиля, что и в нашей стране звучит красиво. Не хитрое это дело, особенно если достаток твой законен.

Но если ты чуть ли не своими руками собрал машину, если купил ее почти мертвую и влил, вдул, впаял в нее жизнь,— вот тут ты уже не собственник, даже, а как бы соупряжник, как бы солошадник в тех немногих лошадиных силенках, коими жив сей драндулет. И, конечно же, не каждому дано свершить такой животворный подвиг. Тут смекалка надобна. Тут мастерство всяческое необходимо. Тут, того не ведая, Кулибиным надо стать наших новых и новейших дней. Не говоря уж о терпении, просто философическом терпении, которое тут необходимо и которое разве что можно сравнить с терпением рыболова, удящего во внутренних городских водоемах, то бишь в прудах. И ведь приносят на жареху. По карасику в час, но налавливают. Это сколько ж надо выстоять? Посчитайте. А собрать машину, которая пала, а поднять ее на колеса и чтобы эти колеса задвигались,— это, если сравнивать, не десяток карасей надо выудить, а целый, скажем, центнер.

И поднимают все ж таки. И оживляют. И потом,

что ни день, ремонт задают, похоже, что корочку на ладони подносят и из торбы кормят.

И эти вот солошадники, умельцы эти и терпеливцы,— вот они непременно занятнейшие люди, с печатью гения на челе.

С одним таким милым гением совсем недавно свела судьба Всеволода Андреевича Кудрявцева. Гений был не только владельцем самой первой модели «Запорожца»,— знаете, этакого самоварчика на колесах?— но он еще был подснежником. Не ведаете, что сие означает? Подснежником зовут человека, который работает где-либо не по специальности. Вернее, он-то, может, и по специальности работает, но в ведомости на зарплату числится совсем в ином качестве. Он, скажем, тренер футбольной команды на заводе, а в ведомости он — мастер цеха или инженер-конструктор. Тренеров по штатному расписанию у завода нет, а мастера и конструкторы имеются. Вот и комбинируют люди. Тренер-то нужен. Но пример с тренером приведен, как наиболее доходчивый. А вообще-то подснежников хватает и в иных сферах деятельности. Наш подснежник, к примеру, будучи юристом, зарплату в своей фирме получал как электромонтер, но работал вовсе не юристом, а воспитателем в рабочем общежитии. Вот какой он был — воистину подснежник. А что поделаешь? В той фирме, где он работал, не было в штатном расписании нужного числа воспитателей для общежитий, вот там и выкручивались, совершая явное нарушение, уповая на то самое французское «са ира!»— все наладится!— что на русский можно перевести еще и как: «авось обойдется».

Ну, а он-то что же, а он почему, будучи юристом, пошел воспитателем в рабочее общежитие, а он-то зачем дал упрятать себя в тот весенний пористый снежок, в котором и прорастают трудно доступные для глаз подснежники?

Но прежде несколько слов о Всеволоде Андреевиче Кудрявцеве, которого свела судьба с подснежником. Забавные, порой, вершит знакомства эта своевольница судьба. Вот уж кто был самим собой, был не подснежником, так это Всеволод Андреевич Кудрявцев. Он еще в школе наметил себе путь в жизни и им и следовал, к неполным сорока годам заметного достигнув места в жизни. Воистину заметного, даже заметнейшего, ибо был он международником, обозревателем, последнее

время выступавшим не только в журналах и газетах, но и по телевидению. Уж куда заметнее быть, коль выступаешь по телевидению. Всякий раз, после выступления, Всеволод Андреевич примечал, как странно, узнавая, вглядываются в него прохожие, оборачиваются и примедляют шаг. Знакомое лицо? Знаменитость какая-нибудь? Чего скрывать, эти взгляды чуть-чуть да тешили душу Всеволоду Андреевичу, хотя и был он серьезным человеком, серьезным делом был занят, вовсе был не суетен.

Они познакомились при чрезвычайных обстоятельствах. При тех самых, генезис которых столь тщательно, но безуспешно выясняется на страницах «Литературной газеты» и «Вечерней Москвы». Словом, Всеволоду Андреевичу позарез нужно было такси, а машины с зелеными огоньками одна за другой проносились, а если и притормаживали, так только затем, чтобы очередной таксист мог осведомиться, а не по пути ли Всеволоду Андреевичу с ним, с таксистом. Увы, Всеволоду Андреевичу было не по пути, и очередное такси уносилось в поисках попутчиков для своего водителя.

А этот остановился. Самоварчик на колесах взял да остановился.

— Вам куда?— распахнув дверцу, спросил владелец самоварчика и благожелательно улыбнулся павшему духом Всеволоду Андреевичу.

Эта благожелательная улыбка потом все время промелькивала на лице Сергея (его Сергеем звали). Он вот так вот улыбался и коротко кивал, будто соглашаясь с тобой, даже когда и не соглашался, не мог согласиться. Это шло в нем от вежливости, от душевной тонкости. Он был вежлив и тонок. Но сперва-то, конечно, Всеволод Андреевич всего этого не углядел в нем, а только увидел, что человек готов ему пособить и что у человека этого симпатичное лицо — моложавое, сухощавое, с голубыми, умными, внимательными глазами. И вот с улыбкой.

Всеволод Андреевич было начал объяснять, куда ему да что у него за дело, но Сергей улыбчиво прервал его.

— Садитесь,— сказал он.— По ходу пьесы разберемся.— И тогда и представился:— Сергей. А по батюшке — Андреевич.

— И я тоже — Андреевич,— почему-то обрадовался Всеволод Андреевич,— Всеволод.

Он втиснулся в самоварчик, и они покатили.

Кто не ездил на «Запорожцах»,— съездите хоть разок. Во-первых, ты сразу оказываешься чуть ли не у самой земли. Во-вторых, тебя сразу обступают со всех сторон великаны. Я уж не говорю о грузовиках, которые начинают казаться самодвижущимися домами, но даже обыкновенные «Волги» превращаются в настоящие громадины. И ты, почти касаясь земли, катишься среди этих великанов, крошечный, но бойкий какой-то, помолодевший какой-то, без возраста. Совсем как собачонка среди громадных псов. Разок-другой испытать такое полезно, от зазнайства излечивает, как бы познаешь истинные свои размеры.

2

Они покатили, и Всеволод Андреевич сразу же изумился умелости своего водителя. И его улыбка ему все больше нравилась. И его готовность куда-то ехать не торгуясь,— это тоже было дорогой человеческой приметой.

— Сперва в Военторг,— сказал Всеволод Андреевич.— Там по-быстрому купим телевизор, мне нужно для дачи, мой старый сгорел, а без телевизора ну никак,— сами понимаете, такие все время события; ну а потом, если не возражаете, отвезем этот телевизор, я уж присмотрел какой, ко мне на дачу, до нее недалеко и дорога хорошая, все время асфальт.

Конечно, покороче бы можно было все изложить и не на одном дыхании, но Всеволод Андреевич так долго ловил такси и так долго не было ему участливого отклика, что теперь прорвалось. К тому же его благожелательно слушали, и даже с интересом. Ему кивали в тех местах, где надо было бы ставить точки, а ставились запятые, и по кивкам этим Всеволод Андреевич понял, что слушатель его с ним во всем согласен и полностью принимает его план.

До Военторга было рукой подать. Всеволод Андреевич оттуда и шел, в поисках такси, когда уже приглядел в магазине нужный телевизор. Да вот только на чем везти?

Теперь все улаживалось, самоварчик и его хозяин брались помочь Всеволоду Андреевичу, и помощники

они оказались славные, в них подкупала готовность и даже решимость быть полезными. И в них подкупала сердечность. Да, да, и в старенькой машине она тоже проглядывала — эта сердечность. В том, как побежала на своих колесиках к Военторгу, в том, как поднатужился ее движок, потащив теперь уже не одного седока, а двух. Все это делалось охотно, старательно, даже самозабвенно — и потому с сердечностью. Ведь именно от сердца исходят все порывы людские, и вот, оказывается, и машине они могут передаться.

Всеволод Андреевич, грешным делом, подумал было, а не потому ли так старается этот милый Сергей, что узнал его, вспомнил по какой-нибудь телевизионной передаче. Подумал, но отверг эту мысль. И выбранил себя за нее. Она была мельче этого Сергея, его отзывчивости, его готовности. Он вел себя как друг давний. И даже чуть получше, чем давний друг. Давние друзья любят советовать, поучать. Давние друзья и подшутить над тобой могут, нечто смешное углядев в твоих действиях, а Сергей без малейшей иронии вник в дело покупки и доставки телевизора на дачу. Золотой парень. Интересно бы, не спрашивая, догадаться, кто он. Он сказал: «По ходу пьесы». Актер? Он был похож на одного знаменитого актера, каким тот был смолоду, когда и устанавливалась его слава. В том актере смолоду жила доброта, эта вот готовность кинуться человеку на помощь. Потом, когда актер догадался, в чем его сила, когда он стал силой сверх меры поигрывать, она ушла от него, покинула. Он все еще был знаменит, но был подобен угасшей звезде, свет которой идет к нам из ее прошлого. Кстати, страшное это дело — актерская слава. Вообще — слава. Любая, в любом деле. Только начал к ней привыкать, только угрелся в ней, а ее и след простыл. И вдруг такая нагрянет холодина. Всеволод Андреевич даже ощутил этот холод, мурашки кольнули плечи, хотя в магазине было до духоты жарко, и как раз тащили они вдвоем с Сергеем уже упакованный в картонный ящик телевизор, довольно-таки тяжелую махину. Упарился, а плечи вот холодком опахнуло. Чего гадать, он взял да и спросил:

— А вы кто, Сергей?

Они дотащили телевизор до машины, не без труда и всяческих уловок втиснули в нее ящик, втиснулись сами и покатили. И вот, когда покатили, Сергей и ска-

зал Всеволоду Андреевичу о себе, что он — подснежник, растолковав затем, что сие означает.

— Что же, нравится вам быть воспитателем в молодежном общежитии? Кстати, что это за работа — воспитатель в общежитии?

— Работа...

Он улыбкой смягчил неопределенность своего ответа. Верно, всякая работа — работа, и во всякой работе есть свое «нравится» и «не нравится».

— Нам надо выбраться к Минскому шоссе,— сказал Всеволод Андреевич.— По Можайке мимо Бородинской панорамы и ныне вставшей там Триумфальной арки. А потом свернем на Рублевское, а от мигалки на Успенское. И вся дорога.

— Понял,— кивнул Сергей.— В замечательных местах у вас дача. Бывал там. Сосны у вас под самое небо. Москва-река славно течет. Жаль, купаться только не разрешают.

— Исхитряемся иногда. Милицейский катер проскочит, а мы в воду. Правда, занятие для более молодых. Но у нас неподалеку пруд открылся. Вот там ныряй, сколько душе угодно.

— Пруд душе не угоден. Он, наверное, не проточный?

— Воду часто спускают.

— Не то. Живого хода нет.

— Любите воду?

— Как не любить? И воду, и солнце, и чтобы ветерок. Море люблю. Через пару недель у меня отпуск. Рвану туда, к Черному. С сыном. Прокалимся до самых костей. Я потому и левачу вот. Коплю на отпуск.

Приподняв голову, зажмурившись, смотрел он перед собой и, кажется, видел море. Улыбка у него такая была, будто он чему-то далекому улыбался, желанному.

— А почему в отпуск без жены? Ведь вы женаты?

Всеволод Андреевич задал вопрос и тотчас осудил себя за него. Ну, помог человек тебе купить и подвезти телевизор, а к чему расспросы? Женат ли, нет ли, нравится ли работа, не нравится — в душу-то зачем лезть? Любим мы это — задавать вопросы случайно повстречавшемуся человеку. И такие, что впору другу задать, да и то с остережением. Исповедуйся, случай-

ный человек, а хочешь, так и исповедуй. Сидит это в нас.

— Умерла у меня жена,— сказал Сергей, все посматривая с прищуром вдаль.

Вот, вот, началось! Теперь и ему пристало спросить: кто ты, нравится ли тебе твое дело на Земле, женат ли, счастлив ли? Валяй, Сергей, милый подснежник, спрашивай. А что, и отвечу. Со случайным встречным можно поговорить без опаски, как говаривал когда-то с самым близким другом. Но нет такого у тебя друга, который бы не разнес по друзьям же все то, про что говорил с ним, что мучает. Друзья судачат друг про дружку, им это свойственно. А друзья ли? А не просто ли приятели, знакомые, нареченные друзьями, за неимением таковых? Был у тебя друг, был. Нынче нет его. Жив. Благополучен. Приветлив. Но нет его. У тебя — его, у него — тебя. Что так? Годы такие? Износилось что-то в наших душах?

Но надо было отвечать Сергею, отплатить той же искренней монетой. Ведь он сказал: «Умерла у меня жена». Умерла! Есть слова, о которые спотыкаешься, как о камень, выкатившийся на дорогу. Умерла — это такой вот камень. Болью пронизывает от этого слова. Как? Почему? Была ведь молода? Болезнь? Несчастный случай?

— Беда, беда,— сказал Всеволод Андреевич и так же с прищуром, как Сергей, посмотрел вдаль.— А сын? Трудно с ним одному управляться?

Спросил и понял, что переступил черту. Куда-то нам можно со своими вопросами, а куда-то уже и нельзя. Исповедуйся, изволь, но не исповедуй.

И он отвернулся от Сергея — с той поспешностью, как если бы назад отшагнул, поняв, что ступил в запретное. Будто бы и не было шага, будто бы и не было вопроса. Но след-то остался.

Сергей молчал, гнал машину, упершись глазами в сизую полосу асфальта. Казалось, в небо уходила эта сизая полоса.

Пора было сворачивать на Рублевское шоссе, в сторону Кунцева. Всеволод Андреевич собрался сказать об этом Сергею, но тот опередил его:

— Я эту дорогу знаю. Сейчас нам поворачивать.

Въехали в Кунцево, где почти ничего не осталось

от деревни, от дачного поселка. Большие и красивые дома тут встали. И линия метро сюда дотянулась. Рядом с близким лесом город здесь жил, и широко, и чувствовалось, что дышал полной грудью. Здесь, наверное, хорошо было жить людям. Только подумал об этом Всеволод, как Сергей сказал:

— Хорошо тут жить. И в городе и на приволье.

— Далековато все же.

— От каких таких мест?

— Ну, от центра.

— Так нынче в Москве до десятка центров. Пожалуй, что и до десятка городов можно насчитать. Человеку не охватить нынче всей Москвы. Я вот на колесах, а город мой, моя Москва,— это то, что я пеший охватить могу, ногами намерить.

— Пешком можно и сейчас Москву пересечь.

— Можно, конечно. Денька за три. С ночевками. Это уже страна целая.

— Громадные города не от нас начались. Взять Токио, Лондон.

— Так я же не осуждаю.— Он улыбнулся, покивал, готовый отступить и уступить.— Видно, иначе нельзя, век такой. Чем мы хуже?

С недавних пор, когда начал выступать по телевидению, Всеволод Андреевич стал проговаривать, готовясь, свои речи перед зеркалом. Не все, конечно, не всю программу, а с десяток-другой фраз, чтобы глянуть на себя как бы со стороны. Ведь «со стороны-то» теперь на него глядели миллионы. Даже бывалые комментаторы советовались с зеркалом перед выступлением. Мысль есть, фраза найдена, ну, а что творится с твоими губами, бровями, каков ты ликом. Обнаружилось многое в себе от незнакомца. Оказывается, губы у него иной раз тщеславились, выпячиваться начинали, а то вдруг смешно складывались трубочкой, ребячливый выказывая нрав. И смешно подрагивали щеки, когда думал, что говорит решительно. И брови порой вели себя невпопад. Чему-то дивились, когда сам он не удивлялся, чему-то печалились, когда во фразе проговариваемой и тени не было печали. Получалось, что человек не властен над своим лицом. Требовалась работа, актерская эта работа, чтобы лицо твое совпадало со словом, с изреченной мыслью, чтобы верило вместе с тобой в то, что ты говоришь. И не вышучивало тебя

этими губами трубочкой или безволием вдруг щек. Зеркало давало первые уроки, но стал он приглядливее не только к себе, но и к другим. Осваивалась новая профессия, рождалась новая наблюдательность.

Сергей говорил, а Всеволода Андреевича занимали не только его слова, но и лицо. Оно совпадало со словами. Тут разнобоя не было, слова не умалялись гримасками, подмигиваниями, им сопутствовала улыбка, но улыбка — душа лица, и душа эта была отворена. Славный парень. От природы наделенный талантом искренности. Вот бы кому вести телевизионные передачи. Сразу бы состоялся этот пресловутый контакт со зрителем, это вожделенное соприсутствие в каждом доме, в каждой семье,— эффект присутствия!— про который столько твердят объявившиеся уже теоретики телевидения.

А человек, от природы наделенный «эффектом присутствия», диктор или там лектор милостью божьей, а человек этот был каким-то всего лишь воспитателем в общежитии, каким-то подснежником был, подрабатывающим вот на своей жалчайшей машинке, дабы подкопить деньжат для отпуска, чтобы где-то там у Черного моря прокалиться до самых костей.

— Вы никогда, Сергей, не были актером? — спросил Всеволод Андреевич.— Ну, хотя бы в самодеятельности?

— Что вы!— Сергей даже руки вскинул над баранкой, будто за голову хотел схватиться.— На людях выступать для меня мука.

— А пошли в юристы.

— Иное дело.— Он вдруг помрачнел.— Так ведь ушел.

— Или вот стали воспитателем в молодежном общежитии.

— Я там речей не держу. Там с речами делать нечего.

— Но толковать-то, внушать-то приходится.

— Разговариваю, конечно. Все больше с глазу на глаз. Что можно сказать с глазу на глаз, того не скажешь при людях. Вдруг сразу обидным это для человека выходит. Согласны со мной?

— Согласен.

Да, он был согласен с Сергеем. С тем бесспорным, про что он говорил, и с его лицом, которое было прав-

дивым до последней черточки, не поигрывало в простоту или там в самоуничижение, не угождало, не поддакивало, а жило правдой слов, правдой этого человека до самого его донышка. Откуда такой?

Они ехали, сидя близко к земле, и совсем иначе открывалось все вокруг, будто добрее с ними стала природа, доверчивее к ним, как доверчива она к велосипедисту, въезжающему в проселок. Мимо мчались громадные и сверкающие машины. Те, напротив, казались заносчивее обычного. И само шоссе уподобилось быстроводной реке, с тревожным проблеском течения, скользящего к близкому водопаду. Да, мир стал новым вдруг. И все потому, что ехал в крошечном «Запорожце»? И еще потому, что спутник твой был вот таким вот, каким он был? А — каким?

Есть люди, рядом с которыми, рассматривая их, рассматриваешь себя. Это, конечно же, знаменитые люди, взысканные удачей, талантливые, яркие, победоносные. Но Сергей-то этот был не таким. Где там! А вот Всеволод Андреевич, рассматривая его, невольно всматривался в себя. И вопросы, вопросы начались к самому себе, в вопрошающую эту — или взыскующую? — вступал он полосу.

— От мигалки влево,— сказал он.

— Перемены тут у вас,— сказал Сергей.— Вон какой из стекла пост отгрохали. Художника бы туда. Такой обзор!

— Обзор что надо. Сколько вам лет, Сергей?

— Тридцать пять. Много?

— Мне почти сорок. Много?

— Я так и подумал, что сорок. А меня все в мальчишках держат. Ну, от силы двадцать восемь дают.

— Радоваться надо.

— Так если бы за внешность, а то за сущность.

— Как?

— Не тяну свыше двадцати восьми. Ничего не успел свыше.

— А я успел, по-вашему?

— Вам — сорок.

— Такова моя сущность?

— Да.— Сергей улыбнулся, добро и согласливо, и как бы шагнул с помощью этой улыбки из зоны серьезного в зону улыбчивую, где не спорят, не присматриваются, не опечаливаются.

— Это — хорошо?— попытался удержать его в серьезном Всеволод Андреевич.

Сергей улыбнулся ему той же улыбкой и не ответил.

3

Шоссе ввело их в деревню, когда-то кем-то нареченную не без вызова. Раздоры — вот так звалась эта деревня. Что за Раздоры? Какие могли быть тут раздоры? В какие времена?

Никто, с кем бы в первый раз ни приезжал к себе на дачу Всеволод Андреевич, не упускал из вида этого названия, красовавшегося при въезде на транспаранте. И обязательно начинались расспросы: «Почему Раздоры? Когда начались?» И шутки непременно шутились: «А нынче как тут у вас — все раздорничаете? Как вы уживаетесь-притираетесь в своих Раздорах?» Дело в том, что и дачный поселок и железнодорожная станция тоже были названы Раздорами.

Разумеется, и Сергей, едва миновали транспарант, обратился к Всеволоду Андреевичу с вопросом:

— Давно хотел узнать — почему Раздоры?

— Толком не знаю. Говорят, что некогда крестьяне судились из-за каких-то тут земель с местным помещиком. Ну вот и Раздоры. Долго, видимо, шла тяжба, оставила след в душах. Такова легенда. А так ли было на самом деле, нет ли — не ведаю.

— Что ж, легенда подходящая.

— Я — историк, мне надобны факты. Давно собирался порыться в архивах, старые краеведческие книжки полистать, да все нет времени. Впрочем, так ли уж это важно, каким именем и почему наречены эти два холмика, да поле, да смешанный лесок, да десяток-другой изб на земле Российской?

— Так вы историк? Славное занятие. Почему, а мне кажется, что важно и про эти два десятка изб разведать, с чего у них началось.

— Конечно, конечно, но велика Россия. Бог мой, сколь причудливы имена иных селений. И не у одних только у нас. К примеру, в Штатах, а страна эта, как вы знаете, молодая, ее население складывалось из эмигрантов, так там вы можете встретить и Москву, и Париж, и Вену. Крошечный городок и, нате вам,— Париж.

— Я слышал об этом. Тоска по родине, да? Первые

поселенцы, наверное, долго еще тосковали по родной земле. А уж потом только привыкли, стали американцами.

— И тоска по родине и простота решения, когда легко достигается единство мнений. Назвать город, поселок, даже человека назвать — дело не легкое, требующее фантазии. А тут все просто. Переселенцы из Франции — Париж, переселенцы из Англии — Лондон.

— А — Раздоры?

— Была тяжба с помещиком — вот и Раздоры. Но, повторяю, это легенда, а факты могут все опровергнуть. Легенда тоже часто результат нетрудных размышлений, скользящей по поверхности логики. Истина же требует усилий мозга, исследования, сопоставлений — словом, волевого напора. С истиной трудно. Ее надо добывать, воевать, защищать.

Говоря все это, Всеволод Андреевич поймал себя на мысли, что ему хочется понравиться Сергею, произвести впечатление. А зачем, собственно? Сейчас они повернут от магазина влево, потом, спустя двести метров, снова влево и — стоп, приехали. А там, свершив еще небольшое усилие по транспортировке телевизора от калитки до дачной веранды, свершив затем нехитрый обряд передачи из рук в руки, ну, скажем, десятки, предстоит им расстаться на веки вечные. И какая важность, что будет думать о нем этот, спору нет, милый человек, погоняя свой самоварчик назад к Москве? Да и станет ли думать? Заработал — и дальше, дальше, дабы нового подхватить клиента, дабы копились денежки, чтобы можно было рвануть в отпуск к вожделенному Черному морю и прокалиться там до самых костей.

— Вон там впереди магазинчик по правую руку,— сказал Всеволод Андреевич.— Прямо перед ним легла дорожка влево. Нам — туда.

Сверкнул самоварчик. Покатил, въезжая во внутренние порядки дачного поселка, в котором и детство и юность прошли Всеволода Андреевича, где знал он всех и все его знали, хотя в последние годы живал он тут не часто, далеконько порой заносило его в последние годы.

— Хорошо тут у вас,— сказал Сергей.— Тихо.

— Да, тут тихо. И все больше старики живут. Старики даже и зимуют.

— Если печка есть, отчего и не перезимовать. Москва — рядом, а ее вроде нет. Снег. Сосны столетние. Лес. Речка. Хорошо!

— Вы откуда родом?

— Москвич. В Лялином переулке возрос. Знаете, у Земляного вала? Там и живу.

— Там вроде тоже тихо.

— Относительно. Садовая гудит, улица Чернышевского гудит. У нас старый дом, а стены подрагивают.

— Мы, можно сказать, соседи. Я в Потаповском живу.

— Да, совсем рядом! — обрадовался Сергей. — Где вы там?

— А вот в одном из военных домов, — сказал Всеволод Андреевич. — Знаете, по правую руку? Когда-то в них одни военные жили, отсюда и это название.

— Вот и еще одно имя-легенда.

— Это не легенда, это у нас на памяти.

— А пройдет сколько-то лет, и все позабудут, почему дома ваши зовутся военными. Там и военных-то, может, к тому времени не останется.

— И сейчас почти никого. Дети, внуки живут тех военных. Я вот — внук.

— А кем был ваш дед?

— Комкор Василий Кудрявцев.

— Нет его?

— Нет его.

— А отец?

— Комдив Андрей Кудрявцев.

— И его нет?

— Погиб в сорок четвертом.

— Простите, что все спрашиваю. Вы вот сказали, что вы историк. А почему не военный? Как дед, как отец.

— И историку без войны не обойтись, — чуть-чуть поучая, сказал Всеволод Андреевич. — Иной историк до конца дней своих воюет, хотя давно уже мир в тех краях, где для него война. Все исследует, кто кого и как поколотил.

— А вы, что вы исследуете?

— Я ныне в международники угодил. Даже по телевидению, знаете ли, выступаю. Все больше про Латинскую Америку. Не доводилось слушать? Лик мой не припоминается?

Кстати спросилось, хвастовства тут никакого не было, а все-таки Всеволод Андреевич почувствовал себя неловко, когда Сергей пристально глянул на него. Бесхитростные у Сергея этого были глаза, но умом светились. Что еще подумает? Не сочтет ли бахвалом?

— Нет, не припоминается,— сказал Сергей.— Так ведь я телевизор-то не смотрю. Дома у меня его нет, а на работе, в красном уголке, он у нас светится только когда хоккей, футбол, фильм какой-нибудь позанятнее. Лекции ребята не слушают.

— Международная панорама — это не лекция.— Всеволод Андреевич слегка обиделся.— И раз уж вы воспитатель... Надо приучать.

— Устают ребята после работы. Иной и на футболе носом клюет. А приучать, полагаю, вообще ни к чему не надо.

— Как так?

— Приучать — это навязывать свой вкус, свой выбор. По какому праву?

— Так что же вы там делаете? Воспитание — отчасти и насилие.

— Не пойму, что делаю. Все делаю. Вот как раз с насилием борюсь. Знаете, в каждом общежитии всегда отыщется любитель покомандовать. Ну что ж, командуй, но только над собой. Смотрю, чтобы не было обид. За чистотой приглядываю. Завхозничаю, по сути. Работы хватает.

И еще как-то открылся перед Всеволодом Андреевичем этот владелец самоварчика на колесах. О, у него были убеждения! Он что-то там утверждал вот на своей работе, какую-то внедрял педагогику. Интересно было бы глянуть на него, каков он в деле, в подснежниковой этой работе. А зачем, собственно? Любой встречный что-то да делает в жизни. Таксист, продавщица, дикторша, которая тебя выпускает в эфир, почтальонша, приносящая газеты,— все они, встретившись с тобой, тотчас и расстаются. У них своя жизнь, у тебя — своя. И нет и мысли, чтобы погнаться за ними, остановить, пойти рядом. Как вы, мол? Что у вас там? Поделитесь со мной сокровенным. А хотите, и я с вами поделюсь. Такая мысль и не ворохнется. Мимо, мимо идут люди. Они — мимо тебя, ты — мимо них. А тут не захотелось терять человека. Понимал, что нелепое пришло желание, но оно пришло. Вдруг почудилось, что этот бы мог

стать его другом. Вдруг — другом? Встали рядом два слова, почти близнецы по звуку, почти исключающие себя по смыслу. Вдруг не возникают друзья, когда тебе сорок. Внезапное приятельство еще возможно, даже внезапная любовь возможна, а друг, чтобы вдруг,— это уже несбыточно. Смотри-ка, даже любви превыше дар этот, имя которому — друг.

— Снова влево,— сказал Всеволод Андреевич.— И двести метров. И все.

Тянулись заборы, как бы вросшие в буйный орешник, даже калиток тут было не разглядеть. И за орешником, за соснами и березами лишь чуть проглядывали дома. В этом поселке чванились не домами, а деревами. Здесь еще много было скромных, скромнейших домиков, таких совсем, какими их тут поставили в самом начале тридцатых годов их первые строители. Тогда это были молодые еще люди, хотя и из племени старых большевиков.

— Здорово, здорово тут у вас,— сказал Сергей.— Славно.

Он остановил машину, угадав, у какой калитки встать.

— Верно, здесь мой дом,— сказал Всеволод Андреевич.— Как догадались?

— А по антенне телевизионной,— улыбнулся Сергей.— Дома вашего почти не видно, а антенна самая тут высокая.

— Стало быть, если я по телевидению выступаю, так и антенна должна быть у меня самая высокая?

— Стало быть.

— А ведь антенна эта — уже тогда стояла, когда я и не думал, что стану обозревателем.

— В мыслях не было, а к тому шло.

— Как это?

— Объяснить не смогу, но замечал, что и до мыслей мы куда-то идем, идем, куда нас тянет. Дошли почти, а уж только тогда все мыслями обернем, вроде как упакуем. И выходит, мы не сослепу шли. Обдумавши. Загодя. И нас не ум вел, а что-то там еще такое.

— Бог?

— С усмешкой спрашиваете?

— Нет.

— Верующим вам кажусь?

— Сейчас это модно.

— Если мода, так это не вера.

В струну вытягивался разговор, и та струна вот-вот могла порваться. Звон этот неслышный, когда перетягивается струна в разговоре, Всеволод Андреевич умел улавливать. Этому он в своих странствиях обучился, в чужелюдье.

— Прошу вас, помогите мне дотащить ящик до веранды,— сказал Всеволод Андреевич.

Следом за Сергеем он выбрался из машины, от которой жар шел, как от истинного самоварчика. Или нет, этот старенький «Запорожец» сейчас показался Всеволоду Андреевичу дряхлой лошаденкой, едва дотащившей непомерную тяжесть, упарившейся, поводящей боками. А ее хозяин, а кучер, подснежник этот, вдруг увиделся наново, как бы из старых времен, как бы в корневом облике, какого-то из прародителей своих повторив. Невысок, рус, жаль вот только, что без бороды, но и не жаль,— лицо открытое. А лицо впрямь открытое. И глаза чистейшей синевы. Сильные руки, сильнее тела и нешироких плеч. Крепкая шея в ранних морщинах. Много этих морщин и возле глаз, у губ. Родного облика человек, родное лицо, родная синева глаз. Друг?! Где там! Сейчас укатит.

Вместе извлекли ящик, который вынимался из самоварчика еще труднее, чем впихивался в него.

— Надо бы вам машину попросторней,— сказал Всеволод Андреевич, когда, запыхавшись, они все же завладели ящиком и понесли его к калитке.

— Надо бы, да не укупишь. А у вас-то что, нет машины?

— При разделе имущества отошла к бывшей жене.

— Вон что.

Распахнулась калитка, и старенькая старушка вышла им навстречу. Бодрая старушка, энергичная, прибранная, вот даже в брюки обрядилась по-молодому, и седые волосы у нее аккуратными буклями были уложены под тончайшей сеткой. Калитка под ее рукой откинулась с поспешностью, да и шагнула старушка навстречу прибывшим размашисто, деловито, как человек, дорожащий своим временем.

— Всеволод, никак телевизор?

— Он самый. Знакомьтесь, Сергей, это моя тетушка.

Старушка глянула на Сергея, глянула на его драндулет, мигом все про все поняла и руки Сергею не про-

тянула, мигом же установив должную дистанцию между собой и им.

Пришлось Всеволоду Андреевичу как бы протягивать за тетушку руку.

— Зинаида Васильевна,— сказал он и поклонился Сергею.

Смешно вышло: они тащили ящик и тут уж было не до расшаркиваний. Но и Сергей тоже поклонился и даже вроде ногой по посыпанной песком дорожке шаркнул.

— Сергей.

А старушка уже была впереди, обогнала их, перехватила крепкой рукой кинувшегося навстречу фокса, который все же вырвался, бросился к Сергею, наигрывая ярость, но ткнулся в дружелюбно подставленную ладонь и смирился с этим пришельцем, занялся хозяином, подпрыгнул, коротко пролаял что-то ласковое и тут же припустил следом за хозяйкой.

— Тимка,— представил фокса Всеволод Андреевич.— При разделе имущества собачка выбрала меня. Вру, конечно, не меня, а тетушку. Вот так и живем ныне. Старшая сестра отца, пес Тимофей восьми лет от роду, кавалер четырех больших золотых медалей, ну и я в придачу.

— Тетушка у вас боевая.

— Именно, именно. В прошлом военврач, полковник медицинской службы. И все воюет, знаете ли, еще с гражданской войны.

— На меня взглянула и осудила. Левак!

— А вы мнительный. Ранимый.

— Все, все есть.

Трудно было нести ящик вдоль узенькой дорожки, огибающей просторные клумбы. А ступить с дорожки было никак нельзя. На клумбах росли розы. И какие! Глазам не верилось, что возможны такие живые, чистые, первозданные краски, что можно так смешать их, нет, родственно сдвинуть, что земля, эта вот, в древесных угольках и каким-то серым порошком посыпанная, земля может родить такое. Загляделся Сергей.

— Красота, вот красота-то!

— Все она, все тетушка.

— А это что за деревце? Цветет кроной, как одним цветком. Никогда не видел.

— Японцы изобрели.

— И прижилось в нашем климате?

— Попробовало бы не прижиться. У Зинаиды Васильевны не покапризничаешь.

— Уразумел уже. Вам-то как приходится?

— Ну, я любимый племянник. Да и оседлость обрел сравнительно недавно. То в Мексике жил, то в Колумбии, то в Перу.

Они внесли ящик на веранду, поставили, куда указала пальцем Зинаида Васильевна, и вот и пришла пора им расстаться.

Но вмешалась Зинаида Васильевна.

— Всеволод, пусть товарищ поможет тебе установить телевизор. Вам ведома эта работа, Сергей?

— Включить этот ящик дело нехитрое,— сказал Сергей.

— Тогда помогите. Я заметила, что самые нехитрые дела у Всеволода Андреевича выходят не шибко хорошо. Да, а куда старый ящик денем? Всеволод, не отнести ли его вам в маленький домик? Пусть постоит пока, а осенью отвезем в мастерскую.

— Сколько тебе нужно телевизоров?

— Но не выбрасывать же.

— Есть магазины, где принимают старые телевизоры и что-то даже за них платят,— сказал Сергей.

— Слыхала. Гроши какие-то. Нет, пусть постоит. Да и бесчеловечно это — отправлять под штамп своего многолетнего собеседника.— Старушка подошла к старому телевизору, стоявшему на столике в углу, платочком провела по его замутненному лику.— Ну, братец, прощай. Отпоказывался, отболтался. Молодые люди, принимайтесь за дело.

Она отошла в сторонку, уселась в плетеное креслице, такое же ладное, как и она сама, легкое и подвижное, и стала наблюдать за усилиями мужчин, морщась и хмурясь от их неуклюжести. Но от советов вслух она удерживалась. Пускай уж, разве им втолкуешь.

Старый ящик был снят, новый ящик был установлен. Путались, путались Всеволод Андреевич и Сергей, но все же нашли, куда что втыкать, и вот уже замерцала, вспыхнула какая-то таинственная полоса на экране нового телевизора, раздалась, прояснилась — и лег во всю ширь экрана столь ныне знакомый всем круг, испещренный знаками и цифрами. И зазвучала музыка. Странная и прекрасная.

— Григ,— сказала Зинаида Васильевна.

— Пер Гюнт,— кивнул Сергей.— Пляска Анитры.

— Однако!— старушка повнимательней глянула на него.— Однако!

Потом она посмотрела на Всеволода, потом перевела глаза на старый ящик, как бы навсегда прикрывший свое единственное серое веко.

— Жалкий-то какой,— сказала она про ящик.

— Вот и все,— сказал Сергей.

— Да, да,— заторопился Всеволод Андреевич и смущенно полез в карман за деньгами.— Вы меня так выручили, так выручили...

— А коли выручил, так пусть и отобедает у нас,— сказала Зинаида Васильевна.— Пер Гюнт! Надо же! Вы, случайно, не из музыкантов?

— Он — подснежник,— усмехнулся Всеволод Андреевич.— Верно, Сергей, оставайтесь у нас обедать! Сообразим по маленькой. А?

— Я же за рулем.

— Да, худо.

— Обойдется без маленькой,— сказала Зинаида Васильевна и поднялась.— Пьянству — бой. Идите руки мыть, молодые люди. А что это означает — подснежник? А это что?

Это она спросила Сергея о новой мелодии, зазвучавшей из телевизора.

— Вальс Сибелиуса,— сказал Сергей.

— Ох! Плакать хочется, когда слушаешь такую музыку. А вам?

— Просто слушать.

— Ну, ну, слушайте.— Она зачем-то пододвинула ему свое креслице, хотя на веранде были кресла и понадежнее.— Садитесь, Сергей.

Оборвалась музыка, уплыл круг с цифрами, и на экран вплыла торжественноликая красавица. Она опахнула всех ресницами, развела уста и начала рассказывать о предстоящей программе передач, и не было важней дела на Земле, чем то, которое она делала.

— Что за манера прерывать музыку!— возмутилась Зинаида Васильевна.

— Погоди, тетя Зина, послушаем, как она меня объявит,— сказал Всеволод Андреевич.

— Ах, вот почему ты поспешил с этим телевизором!

А я уж возрадовалась, что недельку передохну. И мил собеседник, да уж больно речист.

— Погоди, тетя. Вот!

— В девятнадцать сорок пять,— промолвила красавица, еще как-то построжав в предварении важного известия:— «Сегодняшние проблемы Латинской Америки». Выступление журналиста-международника Всеволода Андреевича Кудрявцева... В двадцать пятнадцать — красавица чуть улыбнулась навстречу новому известию:— «Передача для самых маленьких...»

— Сперва надо уразуметь, кто да кто из нас самый маленький,— сказала Зинаида Васильевна и выключила телевизор, последив, как дрогнуло и истаяло лицо красавицы.— Хороша! Ты знаком с ней, Сева?

— Естественно.

— Пригласил бы как-нибудь. Вдруг она еще и смеяться умеет. И вообще, мила и проста. Это телевидение вас всех притворялами делает. Ну, ну, прости. А за ящик спасибо. Громадный, дорогой. Угодил!

— Пойми тебя!— недовольно буркнул Всеволод Андреевич.

— И не старайся. Сама себя не пойму. Обедать, обедать, молодые люди! Сергей, вы окрошку уважаете?— И старушка дружелюбно кивнула Сергею, уведомляя его о своем расположении.

— Уважаю!— просиял Сергей.

4

Они ели окрошку, и этот квас с луком и еще там с чем-то их объединил. Малость бывает нужна человеку, чтобы на седьмом себя почувствовать небе. Вот окрошка эта, не московской выпечки хлеб, вдруг напомнивший детство, кусты жасмина, затенившие одну из сторон веранды своим сплошным белым цветом, и эти розы, как глаза земли,— все это, и еще высокое небо с недвижными облаками, и какой-то звук далекий, частый оклик неведомой птицы, и тишина, тишина — все это было радостью, полнило душу радостью и тишиной.

— Чего еще человеку надо?— вырвалось у Сергея. Он смутился: поймут ли. Поняли, не ответили.

Чуть погодя старушка сказала, читая мысли своего любимого племянника.

— А вы погостите у нас, Сергей. Куда спешить-то? Чай, выходной у вас?

— Выходной.

— Вот и подышите чистым воздухом. На речку сходите. В лес. Кстати и Тимку погоняете. Ему надо, жиреть стал.

Услышав свое имя, пес вскочил и напрягся, вникая в разговор. Заветных слов, какие ему были ведомы, он не услышал, но радость и его коснулась, это предвкушение радости, что приходит вслед за словом «гулять!».

— На него смотри, от него все зависит,— сказал Тимке, указывая на Сергея, Всеволод Андреевич.— Один не пойду. Проси, умоляй остаться. Мол, побродим, человек. Ведь интересно ж, чем там пахнет в лесу и у реки. Не притворяйся бесчувственным. Интересно, интересно. И вдруг да кого встретим. Оставайся, человек.

Тимка коротко взлаял, уставившись на Сергея.

— Надо же, понял!— умилилась Зинаида Васильевна.— Знаете, Сергей, иногда мне этот пес кажется чертовски умным созданием. Он нацелен на главное. Еда, прогулка, то бишь свобода, мир в доме. Стоит нам только возвысить голос, как он сбегает от нас куда-нибудь под кровать. Ему больно от нашего крика и жаль нас, глупых.

— Если позволите,— сказал Сергей,— если не помешаю, я бы остался. На часок-другой...

— Просим! Умоляем! Тимка, скажи!— Всеволод Андреевич радостно вскинул руку, и пес подпрыгнул, залился счастливым лаем, поняв, что пробил миг его радости.

Быстро дообедали, подгоняемые вызвенившимся нетерпением лаем,— никакими словами нельзя было сейчас унять Тимку,— и вот шагают они втроем по дорожке, теснимой вековыми соснами, и Тимка тянет, тянет на поводке, увлекшись чтением острых и прекрасных запахов.

— Свою нерукотворную книгу листает,— сказал Всеволод Андреевич.— И тут же ответ дает. Пошла переписка.

Следом за псом и он тоже то туда, то сюда устремлялся, кружил, и если не принюхивался, то уж посматривал во все стороны. И тревожились его глаза, не проникал в них покой сих благословенных мест.

А Сергей проникся этим покоем. Он с дорожки не

сходил. Ожидая, оглядывался, и все касался суеверно ладонью каждого дерева, до которого мог дотянуться, и тогда вскидывал голову и тянулся глазами к далекой вершине, казавшейся дальше от земли, чем от неба.

Кружа и как бы разрываясь на части, ибо множество всяческих нагрянуло на него дел,— вон сколько надо было ответов писать,— пес все же вел их, тянул на поводке в свою куда-то сторону, к своей цели. Похоже, этот маршрут был ведом и Всеволоду Андреевичу. И не очень-то охотно шел он дорогой, избранной Тимкой, поводок все время был натянут. Но — шел. А следом за ними, молясь деревьям, следовал Сергей. Был он сейчас в том состоянии духа, когда душа все понимает, когда отклик в ней готов поспешить навстречу всякому, кто нуждается в участии. Этот всякий — и муравей, безрассудно вступивший на пешеходную тропу. Обойти муравья! И даже комар, севший на руку. Сдуть, не убить! И дятел — пестрое чудо, близко перелетевший с сосны на сосну. Применить шаг, не спугнуть бы! Больно глядеть, когда чудо пугается, когда метаться начинает крыльями, созданными для парения, а не для метания.

Он все понимал, всех жалел. И муравья, и дятла, и этого Всеволода Андреевича, который как раз и метался, влекомый своей собакой, и тревожились, не успокаивались, ждали чего-то его глаза. Сергей понял: предстоит встреча. Такая, при которой трудно с глазу на глаз, и потому и понадобился он в спутники. Что ж, Сергей был готов пособить, если нужна станет его помощь, душа его изготовилась.

— Куда это он все тянет?— неискренне удивился Всеволод Андреевич. Знал ведь, куда тянет пес. И шел за ним, хоть и упираясь, но всерьез не препятствуя. Не хотел бы идти туда, куда тянул Тимка, повел бы его сам, натянув поводок, переборол бы его волю.

— Знает дорожку,— сказал Сергей.— Пусть ведет. Они умнее нас в этом.

— В чем, в этом?

— Ну, в выборе пути. У них точнее ориентиры. Проще.

— Пожалуй. Что ж, доверимся ему?

— Доверимся.

— Тогда нам предстоит встреча.

— Я уж догадался.

— Не из легких, скажу я вам.

— Надо думать. О легком бы не предупреждали б.

— Мне будет трудно, да и вам достанется.

— Нас ведь трое,— улыбнулся Сергей. Жаль ему было этого Всеволода Андреевича, которого вел на поводке, тянул куда-то, все более возбуждаясь, пес Тимка. Мудро ли поступал этот пес или, может быть, опрометчиво? Он следовал своим понятиям, своим жил нюхом и тянул, спешил. Но те ли это были понятия, какие бы пригодились сейчас Всеволоду Андреевичу, помогли бы ему разжаться? Как знать? Ответ был в тумане, он был в конце их пути. На этой аллее, где вековые сосны перемежались вековыми березами, на которую они свернули? И где, в каком месте случится та встреча? Возле дерева, возле одной из калиток?

— А ведь мы через древний лес идем, опушкой древнего леса,— сказал Сергей.

— Верно, этот поселок строился в лесу. Жаль, падать стали часто сосны. Что ни гроза, то потери.

— Поврозь стоят, вот ветер их и валит.

— Да, вы воспитатель.

— Я как раз хотел добавить, что у людей все куда сложнее. Народу вокруг много, а ты — одинок. И так бывает.

— Всяко бывает,— Всеволод Андреевич построжал вдруг, словно разговор этот ему наскучил, спутник наскучил. Построжал, отгородился Всеволод Андреевич, своевольно сам натянул поводок и остановился. И дальше — ни шагу. Назад стал поворачивать.

Пес понял, что ему не совладать с хозяином, а до цели оставалось всего ничего. И тогда пес подал голос. Если нельзя добежать, то можно позвать. И он принялся звать, повиснув на поводке, задыхаясь. Это был не лай и не вой. Это был зов.

Где-то близко скрипнула и откинулась дверь, бегущий шорох послышался за оградой, за орешником, скрипнула и откинулась калитка.

— Тимочка!

Она стояла в проеме калитки. Она — обещанная, как трудная встреча.

Всеволод Андреевич выпустил поводок, и пес рванулся к женщине, подпрыгнул, взлетел, онемев от счастья. Но в немоте он жил недолго. Он уселся перед женщиной, твердо упершись в короткий хвост, и при-

нялся звонко лаять на нее, выговаривая. Честное слово, можно было понять, про что он толкует. А еще говорят, что собаки не умеют разговаривать. Всякий взлай его был понятен Сергею. «Где пропадала?! Почему тебя надо ждать и ждать, ждать и ждать?!»

Женщина молчала, опустилась на корточки перед Тимкой, обе руки спрятав в его лохматом загривке, и молчала, ни на кого не глядя.

И на нее мужчины не глядели. Всеволод Андреевич потому, что трудно ему было глядеть. Он так и отвернулся, как отворачиваются, когда трудно глядеть, хоть и тянутся глаза, чтобы поглядеть, но им не дают воли, их утыкают в забор вот, в листву, в траву, велят следить за мурашами, ползущими у ног. А что им мураши? Они, глаза, рвутся, чтобы поглядеть, узнать, вспомнить, вобрать в себя, а их не пускают горбясь, отворачиваясь, смежая веки.

А Сергей было взглянул, да оробел. Он таких красивых женщин страшился. Таких самонадеянных, дерзких, взысканных судьбой. Она была из этих, из взысканных судьбой. Такие сразу угадываются. И на них долго не поглядишь, жжет глаза, как от яркого солнца. Но тянет еще разок поглядеть. Сергей решился, глянул, даже заговорить решился.

— Выговаривает,— сказал он.— Где, мол, пропадала, заждался, мол.

Она взглянула на него, обожгла. И сразу все увидела: и что неказист, и что одет во что-то скверное и мятое, и что оробел, и что не пара он Всеволоду, не друг его, не приятель, а так, случайный просто встречный. Но этот случайный человек заговорил о главном, взялся переводить на человеческий язык Тимкин лай, услышав боль в нем и жалобу, и женщина неприязненно насторожилась.

— Переводчик,— сказала она.— С собачьего. Вы, случайно, не ветеринар?

Она распрямилась, подхватив Тимку на руки, а он был тяжеловат все же, не для рук был собачкой, и потому неуклюже повис, но он был счастлив, замер от счастья.

— Нет, я не ветеринар,— сказал Сергей.— Похож?

Он улыбнулся женщине. И ей и Тимке. Тому, как они увиделись ему сейчас. Есть внешнее в позе человека, а есть сокровенное. Он улыбнулся сокровенному

в этой женщине, и жалость заволокла глаза. С чего бы? Она оставалась победоносной. Она была хороша, стройна, одета во что-то яркое, дорогое и подчеркивающее, молодо блестели ее с позолотой волосы. Но этот пес, повисший и замерший у нее на руках, но Всеволод Андреевич, все еще упиравшийся глазами в заборную заросль, но странность эта, когда взгляд все тот же, но отчего-то вдруг перестает обжигать,— все это пробуждало жалость, делало главным это чувство.

А женщина, возможно, сейчас жалела его. Сперва кольнула взглядом, а потом пожалела. Углядела в нем что-то такое, чтобы отдарить сочувствием. Он посочувствовал ей, она — ему. Так бывает. И как раз в первый миг знакомства. Потом минует этот миг и начинается узнавание, начинают поступать дополнительные сведения, что-то прибавляет или убавляет улыбка, сказанное слово, совершенный жест. Да, вот улыбка — это наше чудо преображения, секрет всякого лица, душа лица. Сергей улыбнулся женщине, пожалел ее, посочувствовал, но и себя отдал ей своей улыбкой на разбор, для оценки. Он — открылся. Это главным было в его улыбке: он — открывался. В доброте, в готовности помочь, в терпеливости и, кажется, в безответности. К нему, такому, с такой улыбкой, с таким кивком понимающим, и потянулся Всеволод Андреевич, будто разом друга обрел. Всеволод Андреевич и сейчас обрадовался этой улыбке, этому кивку. Скосив глаза, он приметил, что Сергей понравился, как приметил вдруг, что на Сергее очень уж жалкая какая-то курточка и что он в совсем не модных — некогда модных!— узких брюках и в узконосых ботинках.

— Знакомься, Ира,— сказал Всеволод Андреевич, гордясь своим Сергеем, но и ужаснувшись его одежде.— Это...

А кто, собственно? Всеволод Андреевич замялся, не умея растолковать, кто, да, кто ему Сергей. Никто ведь. И все-таки уже и не совсем никто.

— Знакомьтесь, Сергей. Это...— Он опять замялся, не найдя нужных слов, чтобы представить Сергею бывшую свою жену. «Бывшая жена...»— вслух не произнолось.

Тогда они сами начали справляться с тем, с чем не справился Всеволод Андреевич.

— Верно, я — Сергей,— сказал Сергей, угадав в пе-

рекрестии взглядов, что сейчас смотрят не на него, а на его одежду, и что смотреть-то не на что.— Вот, помог товарищу подбросить до дачи телевизор. А теперь хожу вот, любуюсь вашими красотами. Славно живете.

— Славно, славно. А я — Ирина.— Она аккуратно поставила Тимку на землю, на все его четыре лапы, распяленные от удовольствия.— Когда-то была женой этого товарища. Скажите, Сергей, вы в машинах разбираетесь?

— Смотря в каких. У меня «мыльница».

— Как?!

— «Запорожец» самого первого выпуска. В народе его «мыльницей» зовут. Похож.

— А я его «самоварчиком» про себя окрестил,— рассмеялся Всеволод Андреевич.— Тоже похож. И знаешь, Ира, а сам Сергей не кто-нибудь, он — подснежник.

— Да, да,— покивал Сергей, радуясь, что Всеволод Андреевич повеселел, радуясь, что перестали они разглядывать его брюки дудочкой и узконосые башмаки.

— Господи, сколько сразу новых понятий! Какой образный ряд!— Ирина тоже развеселилась.— Подснежник, вы — подснежник? Как это? Растолкуйте.

— Юрист по образованию, зарплату получает как электромонтер, а работает воспитателем в молодежном общежитии,— сказал Всеволод Андреевич.— Словом, спрятался человек.

— Спрятался человек?— Она поморщилась.— Ты понял, что сказал?

— Ну, как подснежник. Найди-ка попробуй по весне подснежник. В талом снегу, в пористом, под валежником. Найди-ка.— Всеволод Андреевич все еще посмеивался, придерживая, не отпуская этот веселый миг в этой трудной для него встрече.

— И вы так думаете, что спрятались?— в упор поглядела на Сергея Ирина.

Он тоже прямо поглядел на нее, но от ног к лицу, как всегда смотрят мужчины на женщину. А ее взгляд уже скользнул от лица его к ногам, как всегда смотрят женщины на мужчин. Где-то в пути их взгляды встретились и подружились. Никто он ей, никто она ему, но узелок завязался. Видно, был у этого Сергея дар связывать незримые нити человеческого общения, дар об-

щительности, что ли, хотя он не казался общительным,— было сразу видно, что он застенчив, ненаходчив. Он и ответил ненаходчиво:

— Я про себя не думаю. Избегаю.

— Зажмурились?

— Ну.

Он ей нравился, он ей очень нравился — неказистый этот подснежник.

— Может, зайдете?— сказала она и протянула руку к своему дому, приглашая и прося этим движением.— Всеволод, зайдешь?— Для него она рукой не повела, опустила руку.— Тимка, милости прошу.— Она пошла к калитке, потянув поводок, и Тимка как-то боком, боком затрусил у ее ног, оглядываясь на хозяина.

— Зайдем, пожалуй,— сказал Всеволод Андреевич Сергею.— Взглянем, что у нее там с машиной.— Голос у него был тусклым, да и шагнул он к калитке нехотя.

— Зайдем, — кивнул Сергей, глядя, как идет эта стройная, молодая женщина, независимо шагая в пестреньких своих брючках, плотоядно впившихся в ее бедра, как семенит рядом с ней Тимка, все оглядываясь, будто деля себя надвое, и как вышагивает с отрешенным видом Всеволод Андреевич.

5

От калитки открылся почти такой же дом, что у Всеволода Андреевича и его тетушки. Не очень большой, не очень нарядный, выстроенный без затей. Вот только окна в нем были прорезаны большие, нынешние. И такие же удивительные розы жили на клумбах. Но японского деревца, цветшего всей кроной как одним цветком, тут не было. А за домом зеленела просто лужайка в обрамлении нескольких древних, почти черных берез. У Всеволода Андреевича за домом тянулись рядами старые, раскидистые яблони.

— Где вам больше нравится? — оглянулся Всеволод Андреевич. — У нас или здесь?

Спрашивалось о простом, но вопрос был не прост. Сергей понял: на чью-то сторону ему предложено было встать, чью-то линию тянуть. А какой он судья, ну какой?!

— Не пойму! — вслух подумал он.

— Ну, ну, не понимайте, — легко отступился от него Всеволод Андреевич и вдруг напрягся, остановился,

увидев грузную, седую женщину, шедшую им навстречу.

Она была слишком стара, чтобы быть матерью Ирины, но поразительным было их сходство, молодой и старой, то сходство, когда в молодом узнаешь былое, а в старом провидишь будущее.

— Всеволод Андреевич?.. — Старая женщина, разглядев, кто был перед ней, тоже остановилась. — Это как же понять?

— Бабушка! — издали крикнула Ирина. Она далеко отошла, а теперь возвращалась. — А я тебя ищу.

— Это как же понять? — обернулась к ней женщина.

— Очень просто, все очень просто. — Ирина подошла, встала со своей бабушкой рядом, плечом нашла ее плечо. — Ну, встретились, ну, позвала в дом. Соседи как-никак.

— Как-никак... Объяснила! Что ж, здравствуйте, сосед.

— Здравствуйте, Евгения Павловна.

— А ты, Тима, что молчишь, что хвост поджал? Неловко тебе? Еще бы! У собак ведь совесть есть. А совесть не раздваивается.

— Ты так говоришь, бабушка, будто нас кто-то обидел, а мы гордые, и мы обид не прощаем. Пойми, просто все изжило себя, наш брак изжил себя, а теперь — и наша ссора себя изжила, остыла. Вот и все.

— Поняла, поняла.

Две похожих женщины, кровно похожих, стояли рядом, и было больно смотреть в их лица, — в будущее одной и в прошлое другой.

— А это кто? — спросила Евгения Павловна, кивнув на зажмурившегося Сергея.

— Мой новый знакомый, — сказала Ирина.

— В Москве мы почти соседи, — сказал Всеволод Андреевич.

— Я попросила Сергея посмотреть машину, — сказала Ирина. — Что-то там в моторе происходит.

— Занятно, наш Тимка сразу же принял Сергея, как своего, — сказал Всеволод Андреевич.

— Так, так, — покивала им Евгения Павловна. — Ничего не поняла. Что ж... — Она поглядела на Сергея, и чуть потеплели ее глаза, принимая его, разбиралась эта старая женщина в людях. — Что ж, и я поведу себя, как Тимка. Милости прошу, Сергей... А по батюшке как?

— Да просто Сергей.
— Просто, просто. Все-то у нас просто. Тимка, разожмись! Ну что ты, право?

Евгения Павловна повернулась и пошла к дому, грузно ступая, но и гордо ступая. В ее осанке гордость жила, побеждая рыхлость и слабость тела, ватную непослушность ног.

И все смотрели, как она шла, и не двигались с места, будто выжидая должную дистанцию. Первым Тимка двинулся в путь. Разжался наконец. Нет, он не повеселел и не замелькал хвостом, но как-то все же освоился и затрусил следом за хозяйкой дома, принюхиваясь и вспоминая. Двинулся и Всеволод Андреевич. Не стоять же столбом. И он тоже вспоминал и чуть что не принюхивался. Было и ему что вспомнить на этих дорожках.

— Правда, похожи? — мелькнув улыбкой, спросила Ирина у Сергея.
— Вспоминают, — кивнул Сергей.
— Одному, может, и кстати вспомнить, но другому...
— А вот кто похож, так это вы с Евгенией Павловной, — сказал Сергей.
— Буду такой же?
— Она была такой же.
— Что вы, куда мне до нее. Я еще помню, какой она была. Властительница. А я, что я, — дамочка в брючках. Брошенная жена.
— Ведь изжило же, остыло.
— Слова! Не хочется перед вами притворяться. Слова!

Они все еще стояли на месте, и Тимка остановился, оглянулся, взлаял коротко, зовя свою бывшую хозяйку, требуя от нее, чтобы не обрывала ниточку, вдруг вот снова протянувшуюся между ней и хозяином.

— Иду, иду. А кстати, почему это мне не хочется перед вами притворяться? Как думаете?
— Незачем.
— Это — ответ?
— Конечно.
— Незачем... Какое слово печальное. Прощальное.
— Разве? — не понял и улыбнулся Сергей. И вдруг восхитился: — Нравится мне ваш Тимка! Смышленый пес.

— Теперь не мой. При разделе имущества отошел к Всеволоду.

— Сам выбрал или за него решали?

— Обстоятельства решали. Бабушка стара, а я часто уезжаю.

— Что за работа у вас, если не секрет?

— Устраиваю передвижные выставки. Искусствовед, как принято говорить.

— Интересная работа.

— Издали все интересно.

— И вблизи интересная. Но нужно призвание. Ваше это дело?

— Вроде бы. Местами.— Ирина повела рукой, будто что нашаривая в воздухе.— Много глупости, много болтовни в этом деле. Заказенено многое, облеплено словами.

— Верно, верно.

— Ну, вам виднее. Со стороны-то,— она усмехнулась.— Со стороны всегда виднее.

Сергей покивал ей, соглашаясь:

— Верно, верно.

— Что — верно? — Она вдруг рассердилась, колко глянула.— Вранье это, что со стороны виднее! Чепуха! Самому, самому надо носом во все тыкаться, чтобы понять!

Сергей покивал ей, соглашаясь:

— Верно, верно.

— Вы так и будете все время мне кивать да поддакивать?

— Ну раз правильно говорите.

— Так я же не соглашаюсь с вами.

— Не со мной, с собой. А со мной вам незачем спорить.

— Незачем! Прилепились к словечку! Ну что вы за человек? Откуда такой взялись? Я будто сто лет с вами знакома. И вот, даже покрикиваю на вас. Кто вы? Отчего вы так вырядились жалко? Притворство? Бедность? Плевать на все? Ох господи, учинила допрос! Молчите! Вы не должны мне отвечать! Просто мне худо, худо! Понимаете?

— Ага.

— И вам, наверное, не сладко?

— Живу.

— Поняла! Нашла! Вот оно слово, которое все примиряет! Живу! Вот оно — это слово!

Тимка опять коротко взлаял, позвал, ибо ниточка между дорогими людьми совсем уж истончилась.

— Иду, Тимочка, бегу!

Ирина побежала по дорожке, рукой зовя Сергея, и он было тоже побежал, но тут же опомнился, как бы со стороны на себя глянул, и резко оборвал этот смешной бег. Со стороны он себе жалок показался. В ушах еще не отжил звук ее голоса и эти слова ее: «Отчего вы так вырядились жалко?» И хотя ответ был бы не труден,— он ведь подрабатывал сегодня, а не в гости ехал, — все равно, ее глазами он на себя сейчас поглядел. Повернуться бы, да и назад, за калитку. Добежать бы до машины, да и рвануть отсюда. Что ему — этот Всеволод, эта Ирина, их раздоры в этих Раздорах? Дома ждал сын. Мать ждала дома. Там было настоящее, а здесь муть какая-то. Там он был отцом и сыном, нужным и любимым, а здесь жалким каким-то оказался, вовлеченным в круг чужой для забавы, от скуки. Сергей нацелился глазами на дорожку, которая резко поворачивала назад, ступил на нее, уже решившись на побег. Но тут его Евгения Павловна позвала:

— Сереженька, я жду вас!

«Сереженька...» Единым этим словом старая женщина спеленала его волю, и он побрел на зов, наперед покоряясь своей здесь нелепой какой-то участи.

— Гляжу, удрать вздумали? — спросила Евгения Павловна напрямик, когда Сергей подошел к ней. — А мне тут как одной с ними? Не подумали?

— Управились бы.

— Кабы знать, с чем управляться. Вот посоветуйте, что же мне, за стол их звать — бывших-то супругов, чайком их потчевать?

— Пожалуй.

— А на мой характер, уж разъехались так разъехались.

— Генеральский у вас характер, сразу видно.

— Вот и ошиблись. Я вдова маршала.

Они как раз в дом через веранду вошли, и первое, что увидел за распахнутыми дверями Сергей, был большой портрет Маршала. Из всех героев войны это был главный герой для Сергея. Он знал этого Маршала и любил с детства. Все про него знал. Про его дерзкие

победы, про то, каким был он смелым, великодушным, как любили его солдаты. Вернувшись с войны, отец не уставал рассказывать маленькому Сергею о своем Маршале. Это был главный человек на Земле для отца, служившего в войсках, которыми командовал Маршал. Вместе они прошли долгий путь войны, — сержант Андрей Скворцов и Маршал. Несколько раз сержант видел своего Маршала, слышал его голос, призывный и звонкий, влюбленными глазами следил за всяким его движением, гордясь, что так высок его Маршал, так строен и пригож. Смерть Маршала Андрей Скворцов переживал тяжко, будто мир померк. Маленькая цветная фотография вот с этого самого портрета, что открывался сейчас глазам Сергея, была в их семье реликвией, хранилась в бабушкиной шкатулке вместе с орденом Красной Звезды и медалями отца. До последнего своего часа отец не расставался с этой фотографией, она стояла у него на тумбочке возле больничной койки.

Так вот в чей дом он вступил, с чьей женой и внучкой разговаривал! Тут все было свято, тут все было для Сергея заповедно.

— Очнитесь же!— взяла его за руку Евгения Павловна. Голос ее помягчел, она была счастлива, что портрет мужа так поразил Сергея, она поняла, что ее Маршал был и для этого молодого человека не пустым звуком, как для иных для некоторых. Да, да, что для нынешних былая слава, былое громкое имя? Они заняты собой, только собой.

— Отец рассказывал мне о вашем муже,— сказал Сергей. Он заговорил шепотом, как говорят в музейных залах.— Отец никогда не забывал его. До последнего своего дня...

— Они вместе служили? Может быть, я его знаю?— ожил и помолодел голос старой женщины, а в лице ее зажила готовность к слезам.

— Нет, что вы. Он был одним из сотен тысяч, он был сержантом.

— Но он знал маршала, встречался с ним?— Она ждала чуда.

— Издали видел, слышал голос.

Нет, чуда не произошло, отец этого Сергея слишком далек был от ее мужа, голос из былого не зазвучал.

— Все равно вы для меня как родной,— сказала

Евгения Павловна, померкнув, вернувшись в свое сегодня.— Вы хоть помните...

— Дед был не таким, как на этом портрете,— сказала Ирина.— Портрет не удался, как, впрочем, все у этого льстивого художника.

Ирина сидела у журнального столика в глубине большой комнаты, где даже камин был. Ее в той глубине было плохо видно, и Сергей подошел поближе, чтобы ответить. Еще дальше, еще в большей затененности расположился в кресле Всеволод Андреевич, привычно повернувшись лицом к невключенному экрану телевизора. Таких громадных экранов Сергею видеть еще не доводилось. В его матовой, тусклой поверхности тускло же отражалась почти вся комната. И себя самого Сергей увидел в этом экране, но как бы в мглистой дали, из которой идти сюда и идти.

— А мне этот портрет нравится,— сказал Сергей.— Художник любил и уважал вашего деда. Это видно.

— Еще бы не любить и не уважать!— усмехнулась Ирина.— Он же у нас национальный герой. Я с первого класса школы это бремя ношу.

— Бремя?— не понял Сергей.

— И еще какое. Я никогда не была сама собой, а была внучкой знаменитого полководца. Мои пятерки в школе и не мои вовсе. В университет я была принята чуть ли не заглазно. Да вот и муженек мне достался чуть ли не заглазно. Из прекрасной военной семьи, с прекрасным будущим, международник. Бери, Иришенька, все для тебя, все самое лучшее. Надо бы вам знать, что Всеволод в нашей среде считался женихом из женихов, а я, видимо, первой невестой. Вот и сладились два первых номера.

— Ирина, опомнись, о чем ты толкуешь?!— издали, глухо как-то, будто из глубины мерклого экрана, окликнула внучку Евгения Павловна.

— Толкую на тему о портрете, бабушка. Он писался льстивой рукой, а я жила в льстивом мире. Но не стало деда, и выперла эта лесть красок, эта чрезмерность обожания, как и выперли все мои в жизни углы. Кто-то сказал из умных, что былая слава хуже ржавчины. Это касается и наследников.

— В мой огород камушек, как я понимаю,— сказал Всеволод Андреевич.— Женился, мол, по расчету.

— Но не по любви же?

— А вы, сударыня? Оказывается, чуть ли не заглазно на меня согласились.

— Оказывается. Оказывается.

Странен был этот разговор для Сергея. Не откровенностью своей при нем, постороннем,— он откровенных разговоров понаслушался в жизни, он знал, что как раз при посторонних-то и откровенничают,— странен был этот разговор потому, что зазвучал в музее. Здесь все вокруг было музеем. От портрета начиная — и дальше, дальше по стенам, на которых множество вывешено было фотографий, каждая из которых была историческим документом, полнилась знакомыми и знаменитыми персонажами Великой войны. Здесь возможен был лишь почтительный шепот, а еще лучше — благоговейное молчание.

Сергей пошел вдоль стен, узнавая, дивясь, он даже ахал тихонечко. Он ахал нарочно, чтобы те двое замолчали. Ведь отболело же все, сколько раз уже выяснялось все, обговаривалось,— так зачем же здесь-то? Или не отболело? Эта маленькая девочка, сидящая на ручке кресла возле своего деда, трогающая пальчиком один из бесчисленных его орденов,— это она, та женщина, только что пожаловавшаяся вслух на незадавшуюся свою жизнь? Не хотелось в это поверить, больно было в это поверить.

А Ирина опять заговорила:

— Не жаль, что расстались, жаль, что сходились. Смешно! Шубу покупаешь и сто раз прикидываешь, на свет выносишь, советуешься. А замуж идешь с одного кивка.

— Иришенька!— издали окликнула внучку Евгения Павловна.

Она тоже у стены стояла, тоже к фотографиям приглядывалась, но видно было, что глаза ее ничего не различают, что вся она ушла в слух. Больно было ей слышать этот голос за спиной, наигранную усмешку в нем, боль в нем.

Всполошился Тимка, вздремнувший было посреди комнаты на ковре. Он вовсе не дремал. Он тоже слушал, строго поделив свое внимание между тремя близкими ему людьми, строго отыскав такое место, чтобы до каждого равный пролег путь. Он — слушал, и поскольку в семь раз более чуток собачий слух, чем у человека, нестерпимой болью изнывало его собачье сердце

от этого разговора. Вмешаться он не мог, но он мог вскочить, встряхнуться, так что зубы залязгали, заскулить мог.

— Что, пошли, Тимоха?— поднялся из кресла Всеволод Андреевич. — Тянул, думал, колбаски тебе поднесут, а про тебя и забыли.

Но Тимка за Всеволодом Андреевичем не последовал, когда тот двинулся к двери. Тимка сел посреди комнаты, уперся на хвост и начал лаять, отрывисто и глухо.

Всеволод Андреевич остановился, повернулся к Тимке, стал внимательно его слушать.

— Ругается. Бранит на чем свет стоит. Так что же, не уходить?— Всеволод Андреевич поглядел на Ирину.

— Программа вечера еще не исчерпана,— сказала она.— В девятнадцать сорок пять некий международник выступает по телевизору. Ждать уже не долго.

— И ты будешь смотреть?

— Непременно. Мы с бабушкой всегда тебя смотрим и жалеем.

— Жалеем?

— Ну, сочувствуем.

— Вот как? Это почему же?

— Да разные тому причины. Так сразу не скажешь. Оставайся, посмотрим вместе. Вот Сергей пусть посмотрит.

— Я готов,— кивнул Сергей.— И Тимка, видать, согласен. Смолк.

— И даже разлегся опять,— сказала Евгения Павловна.— Вот кто искренен, так это Тимка. Его хоть понять можно.

— Усаживайтесь, господа, прошу.— Ирина подошла к телевизору, включила его.— Сейчас промелькнут мультяшки, а потом явится нам пророк в своем отечестве.

— Каковых не бывает,— сказал Всеволод Андреевич. Он вернулся к креслу.— Да, а как же тетушка? Она будет ждать меня.

— Сейчас позвоню ей, позову,— сказала Евгения Павловна. Она решительно шагнула к столику с телефоном, решительно, порывистыми движениями набрала номер.

В наступившей тишине было слышно, как отозвались в трубке длинные гудки, как потом ожил спрашивающий голос Зинаиды Васильевны:

— Да, слушаю. Вам кого?

Видимо, оттого, что дачи их были почти рядом, так громок, так отчетлив был голос Зинаиды Васильевны.

— Зина, это я, Евгения. Ты не удивляйся... Тут Всеволод у нас со своим приятелем. Так вот, мы ждем тебя, будем вместе смотреть выступление твоего племянника.

— Ох, бабушка!— шепотом вырвалось у Ирины. Она взглянула на Сергея, поясняя:— Ведь они не разговаривают с тех пор.

В трубке долго не было ответа, а потом вызвенившийся возник голос:

— Хорошо, сейчас буду.

Евгения Павловна опустила трубку, свела трясущиеся руки, устало повторила:

— Сейчас буду... Военная косточка!

6

Шел мультфильм. Не очень занятный, но все равно была в нем важная мысль. У этих рисованных людей и зверей всегда настоящие заботы, про главное у них всегда разговор. О верности, о предательстве, о смелости, о трусости. Мультяшки эти, как их назвала Ирина,— они всегда от притчи, от истока, даже если их делают заскучавшие ремесленники. Фильм, который мелькал на экране, ратовал за то, чтобы добрую, старательную, отзывчивую девочку медведь-волшебник наградил бы по-царски, а злую, жадную и ленивую девочку и ее жадину мать примерно бы наказал. Ведь важная же мысль, чтобы доброе в человеке вознаграждалось. Важная, но из сказки мысль. Еще неясно было, как покарает медведь жадных и злых, куда умчат коротконогую крикливую девчонку и ее мордатую мать волшебные кони, но ясно было, что худо сейчас придется этим отрицательным персонажам. Тоже очень справедливая мысль: злое в человеке должно быть наказано. Но тоже из сказки мысль. А жизнь не сказка, она по-своему кроит. Обид в жизни видимо-невидимо.

Шел детский фильм, мелькала сказочка, а взрослые люди не отводили глаз от экрана, смотрели молча, сосредоточенно. И, кажется, и Маршал смотрел на экран, следил за событиями.

Зинаида Васильевна, как вошла, села поодаль,

у дверей на веранду. Вступать сразу же в разговор ей, к счастью, не пришлось, уже включен был телевизор, и можно было, лишь кивнув с порога, сделать вид, что ее заинтересовало все происходящее в доме медведя-волшебника. Подалась вперед, уперлась подбородком в руку, замерла так, ни на что вокруг не желая смотреть. Ни на племянника своего, незнамо зачем очутившегося в этом доме, ни на его бывшую жену, сидящую почти рядом с ним — руку только протяни, ни на свою бывшую подругу, с которой все порвано, все кончено и которая тоже вот сидит, глупо уставившись на экран. И еще этот некий Сергей, некий подснежник, зачем-то извлеченный на свет божий Севой. Что задумали? Зачем собрались? Рубить так рубить. А она-то, она-то сама хороша. Только кликнули — и побежала. Не нашлась что ответить. «Сейчас буду!» Безволие это, матушка!

Сергей так сидел — он в углу примостился,— что был ему виден и экран, и те, что были перед экраном. Он мог поглядывать на их лица, не поворачивая головы, чуть только скашивая глаза. Он видел, как томится сухонькая старушка, уткнувшая подбородок в сухонькую руку. Старушка замерла, но глаза у нее беспокойно поблескивали, спрашивали, негодовали. Шибкий разговор сейчас вела про себя эта струшка.

А Евгения Павловна? И ее выдавали глаза. Тоже замерла, будто занятая сказочкой, но не отсвечивал экран в ее зрачках, в себя ушла мыслями. Прямо за ее спиной висел портрет Маршала. Он был ее мужем, этот человек на портрете. Неверно, что портрет не удался. Неверно, что он был написан льстивой рукой. Жило лицо на портрете, жили глаза. Того гляди, спросит о чем-то Маршал. И вопрос его будет труден, боль прозвучит в голосе.

А эти двое, из-за которых, казалось, даже воздух напрягся в комнате, из-за которых даже собака вот извертелась и издергалась, не зная, куда голову обратить, а они были невозмутимо спокойны. Так ли? Сергей косил, вглядывался. Спокойны. Косолапый мишка мерцал в их глазах.

Заканчивался фильм, прекрасную внушая мысль: злому — черепки, а доброму — награда.

Сергей перестал изучать лица, о себе задумался, в свою ушел жизнь. Детская картинка эта дотронулась мягкими ладонями до его плеч, согрела будто. Напом-

нила. Не понять что, из какого времени, какой миг, но напомнила. И был тот миг добрым, теплым, мягким. Даже запах у него был. Добрый запах. Так пахнет в детстве. Надо, пожалуй, обзавестись телевизором. Для сына. Он из-за сына и не покупал телевизор, страшась, что этот ящик каждый шаг будет напоминать мальчику о его беде. Слишком много спорта исходит из этого ящика, люди на экране бегают, прыгают, кувыркаются, а парень его едва может ходить. Думалось, пусть читает книжки. Приохотился — вот пусть и читает. Умным растет, много знает уже, не по годам. Вот пусть таким и растет, когда слабость тела восполняется силой разума. Но нет, никуда не спрятаться от этого ящика, сын к соседям стал неведываться и жадно смотрит, как бегают, прыгают, кувыркаются. Надо купить ему телевизор. Пусть смотрит и эти добрые сказки, все пускай смотрит, чем мир живет. Не отгородить, не защитить ему сына от горьких минут, когда будет сознавать свою немощь, сравнивая себя с теми, что на экране. И самому не отгородиться, не спрятаться, не заткнуть уши от этого крика в себе. Кричит душа.

А ведь был он счастлив. Как вот эти двое, не ведающие, что они счастливы, что все их беды, ссоры, разрывы, что все это — счастье, одно только счастье. Глупцы! Слепцы! Счастливцы!

Да, он был счастлив. Была жена, сын, здоровый и веселый маленький мальчик, только лишь начинавший свои «почему?». Все было, все оборвалось. Это называется «несчастным случаем». Ехал автобус по загородному шоссе, ехал навстречу грузовик. Дождик вдруг заморосил. О, кабы не было этого дождика! И еще чего-то, и еще чего-то не было бы... Но все было, как не смеет быть в жизни, все сошлось против жизни в тот миг на шоссе, почерневшем от дождя. Столкнулись машины, погибли и изувечились люди.

Кончился фильм, засветился экран, выплыла, взошла на него торжественноликая дикторша. У этой женщины все в жизни было в порядке, все о'кэй, даже глуповатым казалось ее прекрасное лицо от счастья и довольства. Даже самодовольным.

Увидев эту женщину, Ирина ожила, сонные ее глаза осветились.

— О сегодняшних проблемах Латинской Америки расскажет журналист-международник Всеволод Андре-

евич Кудрявцев,— объявила прекрасная дикторша, ширя прекрасные глаза навстречу загадочной Латинской Америке и, видимо, загадочному журналисту-международнику.

— Она всегда теперь объявляет тебя?— спросила Ирина.— Вы теперь там с ней неразлучная парочка?

Красавица еще миг померцала ресницами, неподвижную удерживая улыбку, и истаяла в эфирных глубинах.

— Что молчишь?— спросила Ирина.— Теперь тебе таиться незачем.

— Сейчас, заговорю,— сказал Всеволод Андреевич.

Он, как мог, был безучастен ко всему, он послеживал за собой, чтобы не выдать своего интереса к надвигающемуся мгновению. А надвигался он сам на себя, вдруг возникнув крупно на светящемся экране.

Сергею показалось, что Всеволод Андреевич вошел в комнату и сел в кресло напротив. Спокойно уселся, спокойно и благожелательно глянув на Сергея. Но рядом, сбоку, сидел еще один Всеволод Андреевич и смотрел на экран. На себя самого.

Все же это были два человека, а не один и тот же. У того, на экране, один просматривался характер, у этого, в комнате,— другой. Тот, на экране, был и впрямь загадочен. Он был облечен доверием, ему предстояло выполнить некую важную миссию, он знал что-то такое, что было интересно для миллионов и чего эти миллионы без него узнать бы не смогли.

А этот, в комнате, наигрывал безразличие, но волновался, дорожа мнением тех, кто был здесь в комнате с ним рядом, дорожа и его, Сергея, мнением. Но более всего хотелось ему произвести впечатление на свою бывшую жену, самую главную сейчас для него зрительницу из всех возможных миллионов. Он хотел ей понравиться? Зачем? Все ведь позади у них. Может быть, он хотел причинить ей боль? Вот, мол, кого потеряла. Но, похоже, не она ушла, а он ушел. И, кажется, к той вон, что истаяла в эфире. Ничего невозможно было понять. Видно только было, как волнуется человек, наигрывая безразличие, в странный этот миг встречи с самим собой.

— Полный эффект присутствия, — прокашлявшись, молвила Зинаида Васильевна. И она волновалась. Забылась даже, привстала, пересела на стул поближе

к двум своим Всеволодам. И тоже быстро глянула на того и на того, сравнивая.

— Тот, что на экране, многозначительней, пожалуй,— тихонько проговорила Ирина, угадывая чужие мысли.— Как это, «коэффициент популярности» от него исходит. Кстати, Всеволод, возрос ли у тебя этот коэффициент?

— Иришенька, помолчи,— сказала Евгения Павловна и начала ужимать ладонью вдруг заболевшие глаза. Ей без надобности был этот Всеволод — и сам он и образ его на экране. У нее глаза разболелись, потому что в насмешливом голосе ее внучки не утихала боль.

А экранный Всеволод Андреевич тем временем начал свой рассказ. Все, все он знал про Латинскую Америку. Это сразу же стало понятно слушателям. Знает человек дело, Латинская Америка для него — открытая книга. И Аргентина, и Венесуэла, и даже Суринам, о котором Сергей впервые в жизни слышал, не говоря уже о Гваделупе и Фолклендских островах,— все, все они были ведомы Всеволоду Андреевичу, он знал, как им быть, что им делать.

Тот — знал, решал за целые страны, а этот, в кресле перед экраном, перед самим собой, не знал даже и того, зачем он очутился в этой комнате и почему его так волнует мнение его бывшей жены о том, каков он на экране. Тот знал все, этот — ничего. Даже пес Тимка знал поболе своего хозяина.

Господи, зачем так плутают по жизни люди?! Зачем накручивают, усложняют, коверкают все? Не ведают, что такое настоящее горе? От скуки мудрят? От счастья, того не ведая, что счастливы, не дорожа тем, что имеют?

В Чили было худо. Там тысячи людей томились в застенках. Там убивали детей и женщин. Он знал об этом, всезнающий Всеволод Андреевич, как убивают детей и женщин. Нет, он не знает об этом. Ничего он не знал про то, как убивают, как умирают люди. Дети... Женщины...

...Когда опрокинулся автобус,— а сперва глухой удар был и звон стекол,— когда опрокинулся автобус и начал сминаться, как мнется конфетная серебряная бумага, когда опрокинулся автобус, закричали дети и женщины, закричали мужчины, и этот крик все время кричит в нем, разламывая виски. То притихает, то взрывается, то отбегает, то возвращается, но все время живет

в нем — этот крик. Сейчас он вернулся, взорвался. И вернулась, встала в глазах полоса черного шоссе, в лес и в небо упершаяся полоса, и он бежит по этой полосе, неся на руках женщину и мальчика, и эта ноша не тяжела ему, он мог бы и взлететь с этой ношей, но не знает, куда лететь,— вокруг все черно, и крик, крик...

Худо нынче и в Аргентине. Бесчинствуют террористы. Дня не проходит без жертв. Как быть? Как обезопасить людей от этих бомб, от этих выстрелов в спину? Разумеется, Всеволод Андреевич не может дать стопроцентной рекомендации, но он все же знает, что надлежит сделать прогрессивным силам страны в первую очередь. Он — знает, как знают орудовцы, что в дождь нельзя ехать слишком быстро и что тормоза у машин должны быть всегда в исправности.

Куда-то в туман ушел знаток Латинской Америки, меркнуть стал сияющий экран в глазах Сергея. Он подумал было, что это из-за помех каких-то. Но и комната померкла в глазах, затянулась серой пеленой. Он понял, что это с ним, что это в нем творится, что это взорвался в нем примолкший было крик. Когда так начинала кричать душа, набегали на глаза слезы. Он страшился их, этих мгновений своей слабости. У него был сын, искалеченный мальчик, которому нужен был сильный отец, стойкая опора. И когда приходила слабость, набегал этот крик, Сергей умел скрыть ото всех свою боль, затаивался где-нибудь, перемогался в одиночку.

Но сейчас он был на людях. И невозможно было вскочить и убежать. Он поискал глазами спасение, пошарил в тумане, ища хоть какой-то для себя помощи, хоть малого просвета. Все сейчас смотрели на экран, всем было сейчас не до него, и это принесло облегчение. Он был на людях, но один. И только Маршал смотрел на него, встретился с ним глазами. Спокоен был взгляд Маршала. Сильный и чистый в его глазах жил свет. Он приструился к Сергею через туман. И полегче стало Сергею. Потому что никто не глядел на него и потому, что приструился к нему этот сильный и чистый свет. Вот почему отец даже в больницу взял с собой портрет своего Маршала. Теперь Сергей понял. Так вот почему! Отец готовился к страшному, и ему нужен был сильный и чистый свет в обступавшем мраке. Надо во что-то верить, в кого-то верить — изо всех сил души.

Беззаветно. Преданно. До последнего вздоха. Солдат верил в своего Маршала. С этой верой и умер, не смятый жалким страхом перед смертью. Может быть, он в атаку поднялся за этим лучиком света. Рванулся, а не сжался в миг последний, не пал, а выпрямился. Как знать?! У отца было спокойное и смелое лицо по ту сторону жизни.

Вот он где сейчас, вот у кого в доме. Полегче стало Сергею, посмелей глянули глаза, развиделось.

Кто-то тронул его руку. Он глянул: к нему по ковру подполз Тимка и ткнулся и раз и другой в руку. Сергей быстро наклонился к Тимке, благодарный ему безмерно. От Тимки пронзительно, солнечно пахло сухим спичечным коробком. Этот запах, такой запах был ведом Сергею лишь в детстве. Только тогда так обольстительно мог дышать спичечный коробок.

— Сергей, что с вами?— спросила Ирина.— Что это вы там с Тимкой целуетесь? Господи, да у вас слезы в глазах!

Как раз кончил свой рассказ о Латинской Америке Всеволод Андреевич, предательски ярко засветился экран.

Сергей поднялся. Все сейчас смотрели на него, и некуда ему было отвести глаза. Вот только на Маршала можно было посмотреть, за этот лучик света ухватиться.

— Вспомнилось...— хрипло сказал Сергей и пошел к дверям. Вдруг обернулся, вдруг выкрикнулось у него: — Зачем вы так? Перед ним!— Он протянул руку к портрету. — Горя вы не знаете! Вы простите меня...

Он кинулся за дверь. Тимка кинулся следом за ним, протестующе лая.

7

Так и пробежали они через сад, так и выскочили за калитку. Тимка настиг Сергея и лаял, лаял. Не злобно, нет, а как-то иначе. Выговаривал, может быть? За что? Не довел, мол, дела до конца? А как его доведешь? Пусть сами, сами.

Тимка проводил Сергея до машины. Он больше не лаял. Понял, что уедет человек, не удержать.

— Прощай, Тима,— опустив стекло, сказал Сергей.— А то ты им помоги, раз ты такой умный. Скажи

им: ребята, не дурите, ведь мне трудно жить, когда вы врозь. Вот так прямо и скажи.

— Сергей Андреевич! Сергей!— запыхавшись, подбежал к машине Всеволод Андреевич.— Куда же вы так?..— Смущенным движением, чуть ли не робким, он протянул Сергею зажатую в пальцах десятку.— Ведь помогли... Время потеряли...

Сергей спокойно взял у него деньги.

— Не много ли?

— Что вы, что вы!

— Ну, прощайте,— сказал Сергей.— Помиритесь. А?..

Кургузая его машинка рывком стронулась с места, заспешила домой.

...А доброму — награда.

СОДЕРЖАНИЕ

Карелин Л. В.

К22 Что за стенами?: Роман. Повести. Рассказы/Худож. А. Денисов.— М.: Сов. Россия, 1981.— 464 с., ил., 1 л. портр.

В книгу вошли известный широкому читателю роман «Землетрясение», повести «Что за стенами?» и «Сейсмический пояс», а также избранные рассказы писателя.

К $\frac{70302-159}{М-105(03)81}$ инф.— 81 4702010200 Р2

Лазарь Викторович Карелин

ЧТО ЗА СТЕНАМИ?

Редактор **Т. М. Мугуев**
Художественный редактор **Г. В. Шотина**
Технический редактор **И. И. Капитонова**
Корректоры **З. И. Шехмейстер, М. С. Никитина, Т. А. Лебедева**

ИБ № 2312
Сдано в набор 16.12.80. Подписано в печать 08.06.81. А06509. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Гарнитура литературная. Усл. п. л. 24,36. Уч. изд. л. 25,84. Тираж 150.000 экз. Заказ № 71. Цена 1 р. 90 к. Изд. инд. ЛХ-250.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия»

1р. 90к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»


Лазарь
Карелин
Что
за стенами?